

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

НИК. ШПАНОВ

Подригачи

- Николай Николаевич Шпанов
 - Часть четвёртая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16

- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

○ Часть пятая

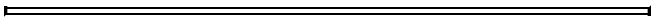
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)

- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)

- [notes](#)

- [1](#)



Николай Николаевич Шпанов Поджигатели Книга 2

Совершенно ясно, что Европой, её трудовым народом, правят люди обезумевшие, что нет преступления, на которое они не были бы способны, нет такого количества крови, которое они побоялись бы пролить.

М. Горький

Часть четвёртая

Весна в 1938 году выдалась ранняя и тёплая. Вечера в Уорм-Спрингс стояли тихие и ясные. Но, несмотря на это, в кабинете коттеджа, который президент в шутку называл «маленьким Белым домом», пылал камин. Собственно говоря, это сооружение, такое же простое, как и все в этом доме, даже нельзя было назвать камином: несколько грубо отёсанных камней и незамысловатая решётка, ниша, прикрытая листом меди, — вот и всё. Это был простой очаг. Он топили теперь целыми днями. Не ради президента, который чувствовал себя

хорошо, как всегда после лечебного курса на водах Уорм-Спрингс, а из-за того, что его главный секретарь и самый близкий поверенный, Гоу, был болен. Он с утра до вечера сидел в кресле, кутаясь в плед. Озноб тряс его, не затихая.

Поставив ногу на решётку очага и опершись локтем о колено, Додд не спеша поворачивал щипцами поленья и слушал более медленную, чем обычно, речь Гоу:

— Все это для нас не тайна, профессор. Хозяин отдаёт себе отчёт в том, где таится опасность для всех его начинаний.

— Это справедливо, Гоу, и... — Додд немного подумал и не выпуская

из рук щипцов, придвинулся к собеседнику: — Честное слово, мне иногда обидно за президента!

— А что он может сделать? — Гоу с трудом выпростал из-под пледа руку и сделал ею слабое движение, как бы подтверждая бессилие президента. — Они делают всё, что хотят.

— И он это знает?

Гоу молча кивнул головой.

Додд с раздражением бросил щипцы, и они загремели на медном листе перед очагом.

— Но чего вы хотите, Додд? — Было видно, что Гоу трудно говорить. — Что он может? Если бы шайка Ванденгейма была в

состоянии, она уничтожила бы всех нас... всех...

— Однажды они уже пробовали.

— И нельзя быть уверенным, что не попробуют ещё.

— Теперь-то уж нет! Народ не позволит.

— Народ... — с горечью произнёс Гоу. — Если бы средний американец не так легко поддавался обману!.. Газеты одна за другою скупаются банками. Скоро президенту негде будет сказать американцам то, что он думает.

— Это уж вы хватили через край, — рассмеялся Додд. — Не нацизм же у нас, в самом деле.

— Пока ещё нет...

Гоу произнёс это таким тоном, что можно было за него докончить: «Но скоро, повидимому, будет».

Он помолчал и все с тою же грустью сказал:

— Наши мероприятия проваливаются одно за другим. Нам не удалось даже провести законопроект об огосударствлении производства электроэнергии.

— Вы слишком много захотели.

— А это был наш главный козырь.

— Знаете что, — с добродушной усмешкой сказал Додд: — наш президент порой кажется мне фантазёром, а иногда хитрецом, его

не сразу поймёшь... Впрочем, оставим это. Хочу сказать вот что: чем дольше я сидел в Германии, тем больше убеждался: нацистов нельзя остановить никакими полумерами. Эта преступная шайка — Геринг, Гитлер, Геббельс — может пойти на любую дикую выходку.

— Они пять раз оглянутся, прежде чем прыгнуть в бездну! — возразил Гоу. — Уроки истории обязательны для всех.

Тоном нескрываемого презрения Додд заявил:

— В том-то и беда, Гоу, что у них психология убийц. А тут уже не до истории, даже если её знаешь!

— Это ужасно! Просто

ужасно... — Гоу откинулся на спинку кресла. Он часто и тяжело дышал. Его бледное до прозрачности лицо отражало душевное страдание.

— Могу я вам чем-нибудь помочь? — сочувственно спросил Додд, растерянно перебирая склянки с лекарствами, которыми был заставлен весь курительный столик.

Гоу, не открывая глаз, отрицательно покачал головою.

После долгого молчания он прошептал:

— Где же выход?.. Выход?!

Он с трудом поднял веки и исподлобья следил за Доддом, молча рассматривавшим модели кораблей, расставленные вдоль стены кабинета.

Любуясь искусно сделанным клипером, Додд рассеянно проговорил:

— Мне кажется, что на свете нет ничего более располагающего к раздумью, чем вот такой чудесный маленький парусник. Как вы думаете?

Гоу болезненно улыбнулся:

— Я прежде всего думаю, что вы не это хотели сказать.

— Я всегда говорил президенту, что дипломат я плохой... Скажите-ка ему, пусть держит подальше от себя Буллита. Он слишком доверчивый человек, наш ФДР. Мне рассказывали кое-что об интригах Буллита в Москве, — совсем нечестная была

игра... Впрочем, не нужно и рассказов, достаточно того, что я слышал от него своими ушами. А как это было отвратительно, когда он из кожи лез, чтобы доказать французам, будто соглашение с Россией равносильно безумию. Он так поносил советскую армию, так отзывался о платёжеспособности Советов...

— Могу себе представить, что этот молодец будет проделывать на посту нашего посла в Париже!

— Неужели Хэлл не может убедить хозяина убрать Буллита?

— Буллит как раз и есть первый, но довольно яркий образец резидента Ванденгейма на

официальном посту американского посла.

Додд отошёл от моделей и вплотную приблизился к Гоу.

— То, что я вам хочу сказать, всегда лучше говорить с глазу на глаз.

Гоу приподнялся было в своём кресле.

— Нет, нет, лежите, лежите. — Додд склонился к его уху. — Я не стал бы спорить, если бы кто-нибудь сказал мне, что видел имя Буллита в списке агентуры Гиммлера и Риббентропа.

Гоу взглянул на него испуганными глазами:

— Это уж слишком!

— Путём несложных софизмов

можно прийти к выводу что нет никакой разницы — получать ли деньги непосредственно от Ванденгейма или через руки Гиммлера, — с усмешкой сказал Додд.

Гоу снова сделал попытку приподняться в кресле, но без сил упал обратно. Его взгляд выражал почти ужас, когда он, жадно лоя ртом воздух, через силу проговорил:

— Профессор... мой дорогой... вы понимаете, что говорите?.. Ведь это же посол Соединённых Штатов!

Додд поднялся, сделал несколько шагов и с таким видом как будто почувствовал себя на профессорской кафедре, проговорил:

— Моё преимущество перед вами, Гоу, состоит в том, что я, как историк, уже научился относиться ко всему более или менее спокойно. Так, как если бы происходящее было только рассказом о давно минувших временах...

Гоу умоляюще протянул к послу дрожащую руку:

— Умоляю вас, замолчите!.. Ни слова хозяину. Да, да, Додд, пожалейте его!

— Пока я не буду иметь в руках точных доказательств, я ему ничего не скажу. А я их, вероятно, уже не получу, поскольку никогда больше не вернусь в Германию.

— А именно о том, чтобы вы

туда вернулись, президент и хочет вас просить.

— С меня довольно! Даже самый нормальный человек может сойти с ума, если его долго держать среди одержимых. Нет, с меня довольно! Пусть кто-нибудь другой...

— Он вам очень верит и любит вас.

— Я был бы рад ему помочь, если бы это было возможно, — серьёзно произнёс Додд, — но в Германии нужен только американский наблюдатель, если мы намерены и дальше равнодушно смотреть, как наци готовятся пустить под откос мир.

— Мир?

— Для них война — дело решённое. Уже сейчас.

— У них ещё ничего нет.

— Скоро будет все. Наши им помогут.

— Не говорите об этом так громко даже тут!

Дверь отворилась, и, тяжело опираясь на две палки, медленно вошёл Рузвельт.

— Вы видите, дорогой Уильям, — грустно произнёс он, поздоровавшись с посланцем, — мы поменялись местами с беднягою Гоу!

Рузвельт кивком головы позвал с собой Додда и вышел на веранду.

— Я в совершенном отчаянии, — негромко сказал он, —

врачи ничего не могут поделать. Бедняга тает у нас на глазах. Я чувствую себя так, словно уходит половина меня самого... Врачи ничего не понимают... а человек умирает!

— Просто плохо верится.

— Я сам не верил, пока не понял сердцем: он умирает... А мы с ним ещё почти ничего не сделали.

— У вас ещё все впереди, президент!

— Хотел бы я знать, когда право на жизнь перестанет быть тем, что нужно вырывать друг у друга из рук.

— Если судить по истории — никогда.

— Знаю, вы пессимист, Уильям,

но если бы я так подходил к делу, то должен был бы считать, что покойный президент Кливлэнд был прав...

— В чем?

— Говорят, когда отец привёз меня ребёнком в гости к Кливлэнду, тот будто бы сказал: «Желаю тебе, молодой человек, того, чего не пожелает никто: никогда не стать президентом».

Додд взял руку Рузвельта.

— К счастью для Штатов, его пожелание не оправдалось!

Рузвельт долго держал руку Додда в своей и, прежде чем выпустить, крепко пожал.

— Вы же знаете, Уильям, как

важно удержать этих людей от безумства, к которому они идут. Это может сделать только честный и умный человек.

Додд грустно покачал головой:

— Благодарю, президент, но... честное слово, я уже не верю в возможность предотвращения войны.

— А вы понимаете, что пожар не ограничится Европой?

— К сожалению, это так, — согласился Додд. — С тех пор как Токио присоединилось к этой «оси», джапы потеряли голову.

— Положим, эти господа потеряли её давно и без помощи Гитлера. Я знаю: нам не удастся остаться в стороне от того, что

начнётся в Европе.

— Может быть... —

неопределённо проговорил Додд, и по его тону было видно, что старый посол и сам не верит такой возможности.

Но, словно спеша досказать свою мысль, президент продолжал, несколько возбуждаясь:

— Вскармливая Марса своими долларами, наши хитрецы воображают, будто им удастся спокойно и безмятежно глядеть отсюда, как европейцы будут истреблять друг друга оружием, на котором с полным правом могло бы стоять клеймо: «Сделано в США».

— Пока дело не дойдёт до

русских. Те предпочитают собственные марки.

— Может быть, — негромко сказал Рузвельт и повторил: — может быть... А ведь и для наших все дело сводится к тому, чтобы столкнуть лбами запад и Россию...

— Речь идёт о Германии, президент, — заметил Додд. — Только о ней.

Рузвельт кивнул головой:

— Мы-то с вами понимаем друг друга... Ужас в том, Уильям, что жадность ослепляет наших. От нетерпения снять золотую жатву...

Додд с усмешкой перебил:

— Я бы назвал её кровавой...

— ...они не любят заглядывать

за кулисы... Я говорю: их нетерпение грозит вовлечь нас в трудные дела. Кое-кому из американцев придётся платить за эту жатву головами.

— Речь может идти только о простых американцах.

— О них я и говорю, — с раздражением сказал Рузвельт.

— А разве в них дело?

— Не прикидывайтесь циником, Уильям! Мы-то с вами знаем, чьи руки нужны, чтобы строить жизнь.

— Но ванденгеймам уже нет до этого дела.

— А мне есть! Есть дело, Уильям. — Рузвельт стукнул палкой по перилам балкона. — Американскому кораблю предстоит

бурное плавание. Я не могу в него пускаться с одними пассажирами вроде Ванденгейма. Мне нужны и простые матросы. Я вынужден думать и о простом матросе, Уильям, без которого все мы должны будем варить суп из бумажных долларов... Одним словом: я должен смотреть дальше своего носа. А между тем мне мешают на каждом шагу. Наш главный противник тут, Уильям. Прежде всего тут! И вы нужны мне в Берлине, чтобы видеть, что происходит здесь, понимаете?

Рузвельт поймал на себе испытующий взгляд старого историка.

— Если мне удастся вернуться к

занятию историей, — сказал Додд, — а я надеюсь, удастся, то одной из самых трудных фигур для меня будет тридцать второй президент.

Рузвельт рассмеялся:

— Ничего загадочного, Уильям, ничего!

— А объяснить сущность «социального ренегата», думаете, так просто? — спросил Додд. — Наши дураки с Пятой авеню не понимают, что вы не ренегат, а их самый верный защитник. Хотя, видит бог, они не стоят этой защиты!

Поднявшись с кресла, Рузвельт подошёл к перилам, откуда открывался обширный вид на

окрестность, и указал Додду в сторону светящихся вокруг озера огней.

— К сожалению, пока это единственное, что мне удалось сделать по-настоящему. И то только потому, что я не претендовал тут ни на чьи средства, кроме своих собственных. Они думали, будто я затеял коммерческое дело, и не хотели мне мешать: надо же и президенту иметь свой бизнес. Этот курорт, может быть, единственно хорошее, что останется от меня американцам. Мало! Почти ничего!.. Словно я не президент, а лавочник средней руки из квакеров.

Додд в задумчивости смотрел на

мерцающие огоньки курорта, и пальцы его нервно отстукивали что-то по перилам балкона.

— Честное слово, президент, если бы я хоть на йоту верил в смысл своей миссии в Германии, я отдал бы себя вам. — Он помолчал и, наклонившись к президенту, проговорил: — Но я не верю в смысл такой миссии.

— Ну, всё равно, по рукам, — весело сказал Рузвельт.

— Я уже стар, президент.

— Хэлл старше вас, а, смотрите, стоит на правом фланге. Вы знаете, что нам удалось, наконец, провести закон, воспреещающий перевозку оружия франкистам на американских

судах? Это в десять раз меньше того, что я хотел бы сделать, если бы меня не держали за руки.

— Не очень большое завоевание, президент! — с невольной прорвавшейся иронией сказал Додд. — А не боитесь ли вы, что наше эмбарго сыграет роль, как раз обратную той, какую вы хотели бы ему дать?

Рузвельт пристально смотрел в глаза старому послу. Некоторое время помолчал. Потом с оттенком раздражения проговорил:

— По-вашему, я не понимаю, что этот запрет окажется односторонним?

— Именно это я имел в виду.

— Увы, Уильям! — Рузвельт покачал головой. — Я знаю больше: никакие, слышите, никакие наши меры не помешают нашим оружейникам вооружать того, кого они хотят видеть победителем в испанской войне... Они сумеют доставить Франко оружие не только в обход, через всяких там иностранных спекулянтов. У них хватит нахальства везти его почти открыто, на глазах нашей собственной полиции. Я все понимаю, старина... — Он умолк, словно не решаясь продолжать. Потом, положив руку на плечо собеседника, быстро закончил: — Видит бог, это уже не моя вина! — и

хотел снять свою руку, но Додд задержал её и понимающе сжал своими сухими, старческими пальцами. — Иногда, Уильям, я завидую... лошади, идущей в шорах... — тихо проговорил Рузвельт.

— И после этого вы уговариваете меня вернуться на пост посла?

— А что же делать, старина!.. Вот и я... С одной стороны, я именно только президент, и нельзя требовать от меня большего, нежели в моих силах... А с другой... Ведь я именно президент, и имею ли я право не заботиться о том, что подумают о нас, американцах, в остальном мире?

Отказаться от эмбарго — значило открыто, понимаете, цинически открыто помогать фашистам!

— Но ведь всякий, кто соображает на йоту больше зайца поймёт: такой декорум, как эмбарго, — удар по Испанской республике! — воскликнул Додд.

Рузвельт всем корпусом повернулся к собеседнику, и, как ни поспешно он отстранился от яркого света, упавшего ему на лицо сквозь стекла балконной двери, посол увидел: краска заливала щеки президента.

— Я не имею права превращаться в фантазёра, — без прежнего раздражения, но с

заметной резкостью, словно бы нарочно подчёркнутой, говорил Рузвельт. — Вы должны это понять. Просто обязаны понять, не только как дипломат, но и как американский историк. Сидя на моем месте и зная десятую долю того, что творится за моею спиной, нельзя сохранять иллюзии. Я недавно узнал, что у меня под носом состоялась большая конференция главных боссов Уолл-стрита с немцами.

— Здесь?

— Да, около Нью-Йорка.

На лице Додда появилось выражение смятения.

— Все те же — Дюпон и весь эскадрон Моргана?

— Конечно, и наш старый приятель Ванденгейм тут как тут. — Рузвельт сердито стукнул палкою по перилам. — Что придумали!.. Самым откровенным образом вооружают немцев. Дюпон двойным ходом, через «Дженерал моторс» и Опеля, занялся уже самолётостроением для наци — купил немецкие заводы Фокке-Вульф.

К удивлению Рузвельта, Додд вдруг рассмеялся:

— А я-то ломал голову: на какие деньги немцы расширили это дело? Оно стало расти, как на дрожжах. Это как раз та фирма, которая доказала преимущество своих боевых самолётов в Испании.

Рузвельт развёл руками:

— И я ничего не в состоянии поделать: все внешне совершенно прилично. Не могу я в конце концов лезть в частные дела предпринимателей!

— И, конечно, как всегда, все через эту лавочку Шрейберов?

— Разумеется. Эта старая лиса Доллас обставил их дело так, что пока не разразится какая-нибудь паника, к ним не подступишься.

— На вашем месте, президент, я велел бы обратить внимание на очень подозрительную компанию немцев, свившую себе гнездо в Штатах. Среди них есть такие типы, как этот Килдингер — самый настоящий

убийца.

— Я уже говорил Говеру...

Додд быстро взглянул на Рузвельта и опустил глаза.

— Говер? — в сомнении проговорил он. — Я бы на вашем месте, президент, создал что-нибудь своё.

— Свою разведку? — Рузвельт повернулся к нему всем телом, не в силах скрыть крайнего удивления.

— Говер Говером, — негромко сказал Додд, а лучше бы что-нибудь своё. Поменьше, но понадёжней.

— Да, не во-время болеет Гоу, — проговорил Рузвельт после паузы. — Мне очень нужны люди!

— Ничего, он ещё встанет.

Рузвельт покачал головой.

— Нет... Он уже заставил и меня привыкнуть к мысли, что я должен буду обходиться без него!

— Мужественный человек.

— Но в последнее время сильно сдал.

Форменная мания преследования. — Рузвельт через силу усмехнулся, но усмешка вышла горькой. — Совершенно как у Шекспира: норовит обменяться со мной стаканами, тарелкой. Не верит никому... Пойдёмте к нему, Уильям. Бедняга любит сыграть вечером роббер бриджа.

Рузвельт поднялся при помощи Додда и пошёл с балкона.

— Гоу, старина, готовьтесь-ка к

хорошей схватке! — крикнул он с порога. — Додд вам сейчас покажет, что такое профессорский бридж...

Он не договорил: Гоу лежал, вытянувшись в качалке. Плед сбился к ногам, пальцы рук судорожно вцепились в ворот рубашки, словно стремясь его разорвать. Голова Гоу была откинута назад, и на мёртвом лице застыла гримаса страдания.

Голые деревья стояли ровными шеренгами, как арестанты, — безнадёжно серые, унылые, все на одно лицо.

Сквозь строй стволов была далеко видна тёмная, влажная почва. Она была уже взрыхлена граблями. Следы железной гребёнки тянулись справа и слева вдоль дорожек Тиргартена.

От влажной земли поднимался острый запах. Из чёрной неровной поверхности куртин лишь кое-где выбивались первые, едва заметные травинки.

Шагая за генералом, Отто

старался думать о пустяках. Глупо! Все то лёгкое и приятное, что обычно составляло тему его размышлений во время предобеденной прогулки, сегодня не держалось в голове. Чтобы заглушить мысли о предстоящем вечере, он готов был думать о чём угодно, даже о самом неприятном, — хотя бы о вчерашней ссоре с отцом. Старик не дал ему ни пфеннига. Придётся просить у Сюзанн. Но вместо Сюзанн представление о надвигающейся ночи ассоциировалось с чем-то совсем другим, неприятным. Избежать, увернуться?.. Чорта с два!..

Узкая длинная спина Гаусса

вздрагивала в такт его деревянному шагу. Сколько раз Отто казалось, что старик должен сдать хотя бы здесь, на прогулке, когда вблизи не бывало никого, кроме него, адъютанта Отто. Вот-вот исчезнет выправка, согнётся спина, ноги перестанут мерно отбивать шаг, и, по-стариковски кряхтя, генерал опустится на первую попавшуюся скамью. Может быть, рядом с тою вон старухой в старомодной траурной шляпке. И попросту заговорит с нею о своей больной печени, о подагре... Или около того инвалида, с таким страшно дёргающимся лицом. И с ним Гауссу было бы о чём потолковать: о Вердене, где генерал

потерял почти весь личный состав своего корпуса, или о Марне, стоившей ему перевода в генштаб... Как бы не так! Голова генерала оставалась неподвижной. Седина короткой солдатской стрижки поблёскивала между околышем и воротником шинели. Одна рука была за спиною, другая наполовину засунута в карман пальто. Всегда одинаково — до третьей фаланги пальцев, ни на сантиметр больше или меньше. Перчатки скрывали синие жгуты склеротических вен. Непосвящённым эти руки должны были представляться такими же сильными, какими всегда казались немцам руки германских генералов.

Все было, как всегда. Все было в совершенном порядке. Прогулка!.. Старик нагуливал аппетит, а ему, Отто, кажется, предстояло из-за этого вымокнуть. Совершенно очевидно: через несколько минут будет дождь. Уж очень низко нависли тучи. Кажется, этот серый свод прогнулся, как парусина палатки под тяжестью скопившейся в ней воды, и вот-вот разорвётся. И польёт, польёт...

В прежнее время, даже вчера ещё, Отто, не стесняясь, указал бы генералу на угрозу дождя. Разве это не было обязанностью адъютанта? Так почему же он не говорил об этом сегодня? Почему сегодня каждая

фраза старика, каждый взгляд заставляли его вздрагивать?

Отто поймал себя на том, что, вероятно, впервые за четыре года своего адъютантства шёл за генералом именно так, как предписывает устав: шаг сзади, полшага влево. Уж не боялся ли он попасться старику на глаза? Нет, генерал и не думал на него смотреть. Он уставился в землю, предпочитая видеть жёлтый песок аллеи и попеременно появляющиеся перед глазами носки собственных сапог. Идя так, не нужно было отвечать на приветствия встречных.

Это называлось у Гаусса «побыть в одиночестве». Достаточно

было не смотреть по сторонам. Ноги сами повёрнут налево, вон там, у памятника Фридриху-Вильгельму. Короткий почтительный взгляд на бронзового короля. От него двести семьдесят шесть шагов до статуи королевы Луизы. Затем — к старому Фрицу. Здесь голова генерала впервые повернётся: дружеская усмешка, кивок королю. Точно оба знали секрет, которого не хотели выдавать. Кажется, король-капрал даже пристукивал бронзовой тростью: смотри не проговорись!

Но вот и Фридрих остался влево. На повороте генерал оглянулся, чтобы ещё раз посмотреть на него. Теперь — вдоль последнего ряда

деревьев. Сквозь них чернел асфальт Тиргартенштрассе. Тут нужно было поднять глаза: на улице шумел поток автомобилей. Полицейские уже обменялись коротким, отрывистым свистком. Тот, что торчал посреди асфальта, поднял руку, но все же за рулями сидели неизвестные штатские. Нужно было глядеть в оба.

Одиночество кончилось. Голова генерала была поднята. Он смотрел перед собою поверх прохожих, поверх автомобилей. Для немцев, сидящих в машинах, этот старик был армией. Отто шагал за ним также с поднятой головой. Вот бы ввести правило: гражданские лица приветствуют господ офицеров

снятием головного убора...

Скотина, а не шущман! Опустил руку, как только генерал ступил на тротуар, и поток автомобилей ринулся вдоль улицы.

Вот и церковь святого Матфея. Кривая Маргаретенштрассе. Почему, собственно говоря, генерал предпочитал старый неуютный дом казённой квартире? Или он не был уверен в прочности своего положения? Может быть, он чуял что-нибудь старческим носом? Ерунда! Разве он не был одним из тех, кому армия обязана примирением с наци?..

Первые капли дождя упали, когда до подъезда оставалось

несколько шагов. В прихожей, сбросив шинель на руки вестовому, Гаусс в упор посмотрел на Отто:

— Ты мне не нравишься. Что-нибудь случилось?

— Никак нет.

— Может быть, дома что-нибудь?

— О, все в порядке!

— Что отец?

Стоило ли отвечать? За шутливой приветливостью Гаусса была скрыта непримиримая вражда к Швереру. Отто знал: Гаусс не мог простить Швереру отказ присоединиться к группировавшимся вокруг него недовольным. Гаусс считал Шверера трусом. Сразу по

возвращении из Китая его запихнули в академию — читать историю военного искусства.

— Старая перечница! — усмехнулся генерал. — Не хочет понять главного: за эти двадцать лет русские выросли на два столетия.

Отто не слушал. Он знал наперёд всё, что скажет Гаусс. Знал, что тот кончит фразой: «Я бы предпочёл оставить этот орешек вашему поколению!» Может быть, он ещё постучит согнутым пальцем по лбу Отто: «Если у вашего брата здесь будет все в порядке».

Отто не слушал генерала. Хотелось одного: улизнуть. У него были дела поважнее.

Генерал подошёл к барометру и ногтем стукнул по стеклу.

— Ты не забыл о сегодняшнем вечере? — спросил он.

— Никак нет.

— Надо присмотреть, чтобы не попал никто, кроме приглашённых.

— Так точно.

Генерал покосился на Отто.

— Заплесневел ты тут со мною. Поезжай-ка обедать куда-нибудь, где собираются офицеры.

— М-мм...

— Сидишь на мели? — усмехнулся Гаусс. — Ну, ну, я же понимаю. Небось, и я не родился с этой седою щетиной.

Генерал посмотрел в каминное

зеркало и провёл рукою по стриженной бобриком голове.

— Н-да-с, позавидовать нечему. — Он с улыбкой обернулся к Отто. — Небось, глядишь на меня и думаешь: «Какого чорта пристал ко мне, старая образина?» Не воображай, будто и ты будешь вечно вот таким петухом. — И вдруг резко оборвал: — Иди!

Отто отказался от казённой машины. Таксомотор он отпустил, не доезжая цели. Целью этой был уединённый дом в одном из кварталов Вестена. Плотные шторы делали его окна слепыми. Ни вывески на карнизе, ни дощечки на дверях. Немногие жители могли бы

сказать, кем был занят дом. Отто уверенно нажал кнопку звонка.

Он знал каждую чётточку в лице человека, который сейчас отворит дверь и молча пропустит его мимо себя. Он знал, в какой позе будет сидеть Кроне; знал жест, которым тот подвинет ему сигары. В этом жесте уже не будет любезности, с какою Кроне предложил ему первую сигару четыре года тому назад. Да, с тех пор Кроне порядочно изменился. Один только раз он был так же обворожителен, как на первом свидании: при встрече после своего выздоровления.

Гаусс лежал, не включая свет. В

тишине было слышно, как поскрипывала кожа дивана под его большим телом. Погруженный в темноту кабинет казался огромным. Отсвет уличного фонаря вырвал одно единственное красное пятно на тёмном холсте портрета. Определить его форму было невозможно. Но генерал хорошо знал: это был воротник военного сюртука. Он отчётливо представлял себе и черты лица над этим воротником. Ленбах изобразил это лицо именно таким, каким запечатлела его память Гаусса. Живым Гаусс видел этого человека всего несколько раз. Гаусс был тогда слишком молод и незначителен, чтобы иметь частые встречи с

генерал-фельдмаршалом графом Мольтке. Тому не было дела до молодого офицера, только что поступившего в академию. Если бы старик знал, что этот офицер сидит теперь в главном штабе, он, может быть, глядел бы на него со стены не так сурово!

Гаусс угадывал в темноте холодный взгляд старческих глаз; сердитая складка лежала вокруг тонких выбритых губ; прядь лёгкой, как пух, седины колыхалась между ухом и краем лакированной каски.

Генерал слышал дребезжащий голос Мольтке:

— Затруднения надо преодолеть. Главенство армии должно быть

сохранено.

— Боюсь, что я не родился с талантом организатора, ваше высокопревосходительство, — скромно ответил Гаусс.

Мохнатые брови Мольтке сердито задвигались.

— Талант — это работа. Извольте работать. Вы полагаете, что я победил в семьдесят первом году так, между делом? Нет-с, молодой человек, я полвека работал для этой победы. Один из ваших товарищей, полковник Шлиффен, сказал верно: «Славе предшествуют труд и пот».

Мысль Гаусса вдруг раздвоилась, и в то время как одна её половина продолжала следить за словами

Мольтке, другая поспешно рылась в памяти: «Кто-то ещё говорил о славе нечто подобное. Кто же?.. Кто-то из французов: „Слава — это непрерывное усилие“.

— Бывает, что ни одно из положений стратегии неприменимо, — робко заметил Гаусс.

Мольтке медленно обернулся куда-то в темноту:

— Послушайте, молодой человек. Скажите этому капитану, что всякий желающий достигнуть решающей победы, должен стать над законами стратегии и морали. Нужно решать: какие из этих условностей можно нарушить, чтобы обмануть

противника, и какие должно использовать, чтобы связать его свободу.

Голос Шлиффена ответил из темноты:

— Позвольте мне повторить слова
вашего
высокопревосходительства:

«Стратегия представляет собою умение находить выход из любого положения». Вот и все... Извольте проснуться!

Гаусс почувствовал лёгкое прикосновение к плечу.

— Извольте проснуться!

— Да, да... — Генерал быстро сел и опустил ноги с дивана. Ноги в красных шерстяных носках

беспомощно шарили вдоль дивана.

Денщик нагнулся и придвинул туфли.

— Телефон, экселенц.

Генерал, шаркая, подошёл к столу.

— Август?.. Да, да... Отлично...
Через четверть часа?.. Жду, жду.

Он потянулся: «Я, кажется, умудрился видеть сон?» Он силился представить виденное и не мог. Но взглянув на портреты Мольтке и Шлиффена, вспомнил все.

Он вышел в зал и повернул выключатель. Со стен на него смотрело несколько поколений руководителей армии. Гаусс мог на память восстановить каждую

деталь старых полотен.

Зейдлиц, Дерфлингер... Дальше Шарнгорст, Гнейзенау... Вот снова победитель при Кенигреце и Седане, по сторонам от него — старый разбойник Бисмарк и Вильгельм I, приведённый им к воротам Вены и во дворец французских королей. Генерал не любил этого портрета. А вот и младшие: Фалькенгайн, Макензен. Эти ловкачи ускользнули от необходимости расхлёбывать заваренную ими кашу. Нагадили всему свету, а расплачиваться «молодым людям» вроде Гаусса!

«Славе предшествуют труд и пот!» Гаусс усмехнулся: «Наивные времена! В наши дни славе

сопутствует риск получить пулю в затылок...»

Генерал сердито выключил свет. Полководцы послушно исчезли. Сразу хоп — и нет никого. Направо кругом! Если бы его так же слушались в жизни! Но жизнь — не то. Вот она течёт там, за окнами, — тёмная и не всегда понятная.

Даже его родная Маргаретенштрассе казалась таинственной в этой мокрой черноте. А ведь здесь прошла почти вся жизнь Гаусса. Он помнил ещё те времена, когда улицу перегораживала большая вила с парком, там, где теперь проходит Викториаштрассе. Это были милые, тихие времена. Он

приезжал домой кадетом, потом юнкером и молодым офицером. Большая квартира, всегда немного пахнувшая скипидаром и воском и ещё чем-то таким же старомодным. Холодные камины; скользкий паркет; тусклый свет даже в солнечные дни. Отец не считал нужным прорубать широкие окна, ломать стены и лестницы, как делали другие. По его мнению, дом и так не был худшим на этой старой улице.

Но вот снесли дом в конце Маргаретенштрассе, и она сделалась сквозной. Старые дома стали ломать один за другим. На их месте вырастали новые. Архитекторы изощрялись в их украшении. Церковь

святого Матфея перестала быть гордостью квартала. В новые дома приходили чужие, непонятные люди. Это не были крупные чиновники или помещики, приезжавшие на зиму из своих имений, чтобы побывать при дворе. Промышленники средней руки и коммерсанты явились, как равные. Среди них многие разбогатели во время мировой войны. Только в ту часть улицы, что прилегает к Маттеикирхштрассе, шиберы не решались некоторое время совать нос. Но вот и на скрещении этих улиц появились новые люди. Великолепная вилла Ульштейна стала резиденцией Рема. Он облюбовал этот дом, похожий на

старинный французский замок, под штаб-квартиру своей коричневой шайки. Наступили шумные времена. День и ночь сновали автомобили. Ярko горели фонари, освещая подъезд и сад с бронзой Функа и Шиллинга. О том, что творилось в роскошных залах и глубоких подвалах виллы, осторожно шептался Берлин...

Преломляя свет далёких, ещё не видимых Гауссу автомобильных фар, дождевые капли крупными светящимися бусинками скатывались по чёрному стеклу. Одна за другою, поодиночке и целыми рядами, появлялись они из-за рамы. «Словно солдаты в ночной атаке,

выталкиваемые из своих окопов и бесследно исчезающие в траншеях врага», — пришло в голову Гауссу.

У дома остановилась машина. Из-за руля вылез коренастый человек. В подъезде вспыхнул свет. Генерал узнал брата Августа.

Тот вошёл, немного прихрамывая.

— До сих пор не могу привыкнуть к твоему штатскому костюму, — сказал генерал, заботливо усаживая гостя.

— Прежде всего прикажи-ка дать чего-нибудь... — Август прищёлкнул пальцами и предупредил: — Только не твоей лечебной бурды!

— Прошлые привычки уживаются с твоим саном?

— Профессия священника — примирять непримиримое.

— Я хотел с тобою посоветоваться.

— В наше время священник не такой уж надёжный советчик, — насмешливо ответил Август. — Речь идёт о церкви?

— Нет, о войне. Теперь уже ясно: мы сможем начать войну.

В глазах священника загорелся весёлый огонёк.

— Ого!

— Да, наконец-то!

— Немцы оторвут вам голову...

Генерал отмахнулся обеими

руками и, видимо, не на шутку рассердившись, крикнул:

— Не говори пустяков!

— Ты же сам хотел посоветоваться.

— Не думаю, чтобы такова была точка зрения церкви. Она всегда благословляла оружие тех, кто сражался за наше дело.

— Тут ты, конечно, не прав. Церковь во многих случаях благословляла оружие обеих сторон!

— Раньше ты не был циником, — с удивлением произнёс генерал.

— Это только трезвый взгляд на политику. — Август потянулся к бутылке. — Позволишь?

— Наливай сам, —
скороговоркой бросил генерал и
раздражённо продолжал: — Что даёт
тебе основание думать, будто мы не
сможем повести немцев на войну?

Август расхохотался:

— Ты же не дал мне договорить!
Я хотел сказать, что немцы
поддержат вас во всякой войне...

— Вот, вот!

— Кроме войны с
коммунистами.

— А о какой другой цели стоит
говорить?.. Именно потому, что эта
цель является главной и
определяющей все остальные, мы и
обязаны относиться к достижению
её с величайшей бережностью. Мы

недаром едим свой довольно
чёрствый хлеб, — с усмешкой сказал
генерал. — Мы начнём с Австрии.
Это будет сделано чисто и быстро:
трик-трак!

— Ты воображаешь, будто никто
не догадывается, как это будет
выглядеть? Перебросками поездов вы
создадите иллюзию движения
миллионной армии, которой нет!

— Для проведения аншлюсса
нам не нужны такие силы.

— Что вы будете делать, если не
удастся взорвать Австрию изнутри?

— Воевать!

— Зачем ты говоришь это мне,
Вернер?

— Потому, что это так.

— Я же не французский или английский дипломат, чтобы дать себя уверить, будто вы способны воевать хотя бы с Австрией!

— Ты не имеешь представления об истинном положении.

Август посмотрел на брата сквозь стекло рюмки.

— Напрасно ты так думаешь, Вернер. Мы знаем...

— Кто это «мы»?

— Люди... в чёрных пиджаках, заменяющих теперь сутаны.

— И что же, что вы там знаете такого?

— Все.

— Сильно сказано, Август. Время церкви прошло! Её акции

стоят слишком низко.

— Ты заблуждаешься, Вернер. Просто удивительно, до чего вы все ограничены!

— Ограниченны мы или нет — реальная сила у нас, — и, вытянув руку, генерал сжал кулак. Синие вены склеротика надулись под белой нездоровой кожей.

Август рассмеялся.

— Вот, вот! Вы сами не замечаете того, что кулак этот состарился. А другие замечают. В том числе и церковь!

— Битвы выигрываются пушками, а не кропилами!

— Кто же предлагает вам: «Откажитесь от огнемётов и идите

на русских с распятием»?.. Но мы говорим: прежде чем пускать в ход огнеётчиков, используйте умных людей. В таком вот пиджаке можно даже прикинуться коммунистом, — Август пристально посмотрел в глаза брату: — Если вы этого не поймёте во-время, то будете биты.

— Ни одного из вас большевики не подпустят к себе и на пушечный выстрел.

Лицо Августа стало необыкновенно серьёзным.

— Нужно проникнуть к ним. Иначе... — Август выразительным жестом провёл себе по горлу.

— Э, нет! — протестующе воскликнул генерал. — Уж это-то

преувеличено.

— Нужно, наконец, взглянуть правде в глаза, Вернер.

— В чем она, эта твоя правда?

— В том, что мы одряхлели.

— Меня-то ты рано хоронишь, себя — тем более.

— Я говорю о нашем сословии, может быть, даже больше, чем о сословии, — о тех, кто всегда управлял немецким народом, обо всех нас. Ваша, военных, беда в том, что у вас нет никого, кто мог бы трезво проанализировать современное положение до конца, во всей его сложности.

— Разве мы оба не признали, что конечная цель — подавить

Россию — является общей для нас?

— Поэтому-то и хочется, чтобы вы были умней.

Август достал бумажник и из него листок папиросной бумаги. Осторожно развернул его и поднёс к глазам недоумевающего генерала.

— Что это?

Генерал взял листок. По мере того как он читал, лицо его мрачнело:

«...мы спрашиваем верующих: не имеем ли мы все общего врага — фюрера? Нет ли у всех немцев одного великого долга — схватить за руки национал-социалистских поджигателей войны, чтобы спасти наш народ от страшной военной

угрозы? Мы готовы всеми силами поддержать справедливую борьбу за права верующих, за свободу вашей веры. В деле обороны от грязных нападков Розенберга и Штрейхера мы на вашей стороне...»

Генерал поднял изумлённый взгляд на брата:

— Тут подписано:
«Центральный комитет коммунистической партии Германии».

— Приятно видеть, что ты не разучился читать.

— Этого не может быть! — воскликнул Гаусс. — Никаких коммунистов в Германии больше нет! Это фальшивка.

— Фальшивка? Нет! — Август рассмеялся. — Это подлинно, как папская булла.

— Открытое письмо верующим Германии?.. Откуда ты это взял?

— Разве это не адресовано в первую очередь именно нам, служителям церкви?

— Я ничего не понимаю, Август. Ты, фон Гаусс, ты, офицер, наконец, просто священник — и с этою бумажкой в руках! Это не поддаётся моему пониманию: протягивать руку чорт знает кому...

— А ты предпочёл бы, чтобы паства шла к ним без нас?

— К этим большевикам?.. Верующие? — Гаусс деланно

рассмеялся.

— Они уже идут.

— Но... — Генерал растерянно развёл руками и снова посмотрел на листок. — Я не могу понять, куда же это ведёт?

— Прямо к ним! К коммунистам... Нaley, пожалуйста, рюмку, тебе ближе!

Пока генерал наливал, Август бережно спрятал листок.

— Дай его мне, — сказал генерал.

— Чтобы ты провалил все дело? Нет, пока оно нам наруку, мы вас в него не пустим!

— «Мы, мы», — раздражённо передразнил Гаусс. — Мне совсем не

нравится это «мы», словно ты уже там, с ними.

— Я должен «понять свои заблуждения» и от католиков перейти к коммунистам.

— Какая мерзость!

— Милый мой, ты, повидимому, никогда не читал Лойолы!

— Признаюсь.

— И напрасно: «Если римская церковь назовёт белое черным, мы должны без колебания следовать ей».

Ad maiorem Dei gloriam^[1]. Я, собственно говоря, заехал сказать тебе, чтобы ты не удивлялся, если когда-нибудь услышишь, что я «раскаялся» и стал «красным».

— Август! — в испуге произнёс

генерал.

— Этого могут потребовать тактические соображения: пробраться в среду коммунистов. Разве тебе не было бы интересно узнать, что там творится? Вижу, вижу: у тебя заблестели глаза! Увы, старик, это только мечты! Так далеко я не надеюсь пролезть, но кое-что мы всё-таки сделаем. Может быть, тебе придётся ещё когда-нибудь спасти от рук гестапо своего «красного» брата. — И Август рассмеялся.

Глядя на него, улыбнулся и генерал.

— А теперь говори, зачем ты меня звал? — спросил Август.

— Ты меня заговорил... —

Генерал потёр лоб. — Вопрос прост: чтобы подойти к главной задаче — покончить с Россией раз и навсегда, нужно решить много предварительных задач.

— Это верно, — согласился Август. — Чем важнее цель, тем больше задач возникает на пути к ней.

— Вот здесь-то, на этом пути, у нас и возникли существенные разногласия.

— С кем?

Несколько мгновений Гаусс исподлобья смотрел на брата, будто не решался договорить. Потом сказал отрывисто:

— С Гитлером.

— Вот что!

— Да. Они там не хотят
понять...

— Кто?

— Гитлер и его дилетанты,
Йодль и другие, — с досадой,
отмахнувшись генерал, — не хотят
понять, что нельзя бросаться на
Россию, не покончив сначала с
Францией и Англией.

— А ты?

— Я считаю, что сначала нужно
очистить свой тыл, нужно поставить
на колени Англию, Францию и
других... — Гаусс сделал
пренебрежительный жест.

Август задумался.

— Ты об этом и хотел меня

спросить?

— Это очень важно.

— Для всего дела?

— И лично для меня.

— Тогда я тебе скажу: не спорь.

Лицо генерала побагровело:

— Я не боюсь...

— Дело не в этом... — Август вскочил и в волнении прошёлся по комнате.

— Говори же! — нетерпеливо сказал Гаусс.

— По-моему, они правы.

— Начинать с России?

— Да.

— Драться с нею, имея за спиною непокорённую Францию, неразбитых англичан? Вы все сошли

с ума!

— А не кажется ли тебе, что именно неразбитая Франция, именно невраждебная Англия не только наш спокойный тыл, но и лучший резерв?

— Англия не успокоится, пока мы не будем уничтожены! Она спит и видит, как бы столкнуть нас с Россией.

— В этом-то и горе! А нужно втолковать англичанам, что все вопросы, все споры могут быть решены за счёт России. Пусть нам дадут Украину, Донбасс и прибалтийские провинции — и мы отдадим англичанам Африку на вечные времена!

— Значит, ты считаешь, что они

правы? — не скрывая огорчения, спросил Гаусс.

— Да! Лучше иметь в тылу англо-французского союзника со всеми его ресурсами, чем ломать себе зубы до драки с русскими. В этой драке пригодится каждый зуб!

— Тут какой-то заколдованный круг. Мы в нём вертимся вот уже сколько лет!

— Рано или поздно мы столкнёмся с Россией, и тогда все станет на свои места.

— Дай бог, дай бог, — сказал генерал.

— От него зависит совсем не так мало, как ты думаешь, — весело проговорил Август.

— От кого? — удивлённо спросил генерал.

— От бога, господин генерал, от господа-бога!

— Я никогда не был его поклонником.

— А между тем я мог бы тебе сказать нечто, что заставит тебя об этом пожалеть: американцы вступают в теснейшие сношения со святым престолом.

— Что? Бизнес с богом? — И генерал рассмеялся.

— Это вовсе не так смешно, Вернер, — наставительно произнёс Август.

— Ну, что касается наци, то они, кажется, никогда не были

поклонниками Христа.

— Дело не в Христе, а в папе. Наци уже знают, сколько дверей может открыть комбинация из креста и свастики. А скоро увидят и новую комбинацию: доллар и крест.

Генерал поморщился:

— Мы с тобой болтали, как двое старых громил, нехватает только заговорить об отмычках.

— Время, Вернер, время! Кстати о времени. — Август озабоченно посмотрел на часы. — Мне пора, старик!

— Послушай, Август, если все это серьёзно, насчёт этих «комбинаций»...

— Которых, Вернер?

— Ну, я имею в виду Ватикан и Америку. Это ведь, наверно, могло бы сильно облегчить нам задачу на западе?

— Если бы вы стоворились с католиками?

— Да!

— Разумеется, умный ход мог бы дать тебе в одной Европе армию в двести двадцать миллионов католиков!

— Ого! — воскликнул генерал. — Мне, признаться, никогда не приходило в голову заняться такою статистикой.

— Иметь союзников на том самом западе, который тебя сейчас так интересует, — союзников

верных, дисциплинированных, организованных и, главное, послушных слову святого отца, — это кое-чего стоит!

— Пожалуй, над этим действительно стоит подумать.

— Ты помнишь Пачелли? — спросил Август.

— Кардинала? Конечно! Нас познакомили на каком-то приёме. Он мне понравился. Те, кто знавал его в Мюнхене, считают его умнейшим человеком.

Август согласно кивнул.

— Иначе он не забрал бы в руки и все католические дела и самого папу.

— Ты полагаешь, что нынешний

статс-секретарь — истинный хозяин Ватикана?

— И можно почти с уверенностью сказать: когда не станет святейшего отца, Пачелли — единственный кандидат на престол Петра.

— Какое отношение все это имеет к нашей теме?

— Самое прямое: если Пачелли согласится положить столько же стараний на то, чтобы привести вам Францию с верёвкой на шее и в коричневой власянице кающегося фашиста, сколько он положил на то, чтобы поставить итальянцев на колени перед Муссолини, испанцев — перед Франко, португальцев —

перед Салазаром, поляков — перед Рыдз-Смиглы и Беком, то можете быть спокойны: французские генералы не ударят вам в спину.

— Что же, по-твоему, нужно, чтобы так расположить к нам Пачелли?

— Твёрдо стоять именно на той позиции, на которой стоят Гитлер и его покровители: Россия — вот враг! Тут нам будет по пути не только с англичанами и американцами, но и со святым престолом.

— Но ведь все его прежние «крестовые походы» против Коммунистической России провалились?

— Воинствующая римская

церковь не устанет их организовывать вновь и вновь. Её не могут обескуражить временные неудачи. Она не привыкла спешить.

— Все, что ты говоришь, чертовски напоминает мне один давнишний разговор, свидетелем которого я был.

Заметив, что старший брат вдруг умолк, словно спохватившись, что сболтнул лишнее, Август ободряюще сказал:

— Ну, ну, можешь быть спокоен — дальше меня не пойдёт ничто.

— Я был однажды вызван Сектой, чтобы присутствовать при его разговоре с неким приезжим из Советской России.

— Это было давно?

— Ещё в двадцатые годы, в трудный для рейхсвера период. Мы думали тогда, что удастся вместе с Польшей и при поддержке деньгами и техникой со стороны бывших союзников России ударить по большевикам, прежде чем они встанут на ноги. Тот человек, о котором я говорю, был, так сказать, полномочным эмиссаром Троцкого. Он тоже болтал тогда о планах, рассчитанных на покорение всего мира, но готов был уступить его нам, отдав впридачу и добрую половину России, лишь бы мы поскорее вторглись в СССР и помогли бы им как-нибудь захватить власть.

— Милый мой, во-первых, Пачелли умнее Троцкого, во-вторых, у него не жалкая шайка политических ренегатов, а отлично организованный аппарат, офицерский корпус в сотню тысяч священников с многовековым опытом работы во всем мире и немало подданных, способных ради того, чтобы попасть в рай, перерезать горло родному брату здесь, в этом мире юдоли и суеты.

— Пожалуй, стоит подумать о том, чтобы использовать эту силу не так глупо, как это пробовали сделать Брюнинг и Папен. Не думаешь ли ты, что мы могли бы сговориться с вашими руководителями о

предоставлении нам опытных священников, прежде всего в России, для ведения разведывательной и диверсионной работы?

— Для этого вам могут пригодиться далеко не одни только священники. У нас существуют и тайные ордены мирян, которые выполняют любой приказ Рима так же беспрекословно, как священники.

— Вопрос в том, во что это может нам обойтись?

— Тут вы найдёте общий язык со святым престолом. Только советую иметь дело непосредственно с Пачелли. Он так ненавидит коммунистов, что сделает вам большую скидку, а может быть,

организует для вас хорошую разведку даже даром. Только пообещайте ему повесить всех, кого он включит в свой чёрный список.

— О, это мы ему обещаем охотно! Это куда дешевле, чем с нас брали троцкисты. Те были чертовски жадны на деньги... Спасибо тебе за отличный совет, Август... Хорошо бы действительно повидаться с этим Пачелли.

— Это можно устроить.

— На нейтральной почве, конечно, — поспешно прибавил Гаусс.

Август протянул брату руку.

— Я не предлагаю тебе благословения, старина, но удачи

пожелаю! Да, от всего сердца. А главное: не ошибись. Не стоит спорить из-за деталей, если ты согласен с Гитлером в главном. Подумай, прежде чем решать.

Гаусс, не без некоторого смущения, произнёс:

— Видишь ли, Август... — он замялся. — Вероятно, я должен был тебе сказать это раньше, но как-то не было случая...

— Что ещё у тебя там?

— Времена быстро меняются. Обеспечением нашего состояния уже не может служить земля, и мне кажется, что нужно подумать о другом — о вложении капитала в промышленность, даже ценою

продажи земель.

— Это, может быть, и было бы верно, если бы у нас были шансы получить в промышленности те места, какие должны нам принадлежать. Но ты же сам понимаешь: мы опоздали!

Впервые за все время свидания Гаусс рассмеялся, негромко и скрипуче:

— Вот, вот, мальчуган! — Он похлопал Августа по плечу. — Поворотливость — вот что нам нужно. Должен сознаться, что, будучи в Испании, я очень выгодно приобрёл директорский пакет одной горнорудной компании.

Он запнулся, раздумывая: стоит

ли говорить, что этот пакет он захватил уже тогда, когда у него выработался аппетит к лёгкой наживе на покупке акций Телефонного общества в Мадриде. Но прежде чем он решил для себя вопрос — говорить или нет, брат уже перебил его.

— Ага! — воскликнул Август. — Ты, я вижу, вовсе не так безнадёжен, как мне казалось! Это и есть путь, на который должны стать наши военные!

— Для этого им нужно побывать в таких обстоятельствах, в каких я был в Испании!

— Наци им эти обстоятельства дадут!

— Дай бог!

— Можешь быть уверен. Да, да, это и есть верный путь: личная заинтересованность каждого из вас в том деле, которое он делает. Это верно понял Геринг.

— А ты не думаешь, что о нем больше врут, чем...

— Врут?.. — Август расхохотался. — Могу тебе сказать с полной достоверностью: именно сейчас идёт грызня за акции Альпине-Монтан между Герингом и Тиссенем! И, пожалуйста, закрой глаза на такую чепуху, как дурное воспитание ефрейтора. Он, друг мой, идёт по правильному пути. Если он и дальше будет шагать так же твёрдо и

правильно, то церковь обеспечит ему свою поддержку!

— Я уже сказал тебе, — в некотором раздражении проговорил Гаусс, — он намерен начинать не с того конца.

— Важна главная цель.

— Тут-то мы сговоримся.

— Тогда — да поможет вам бог!

Часы на церкви святого Матфея пробили одиннадцать. Маргаретенштрассе была погружена во мрак. Горел каждый третий фонарь: магистрат стал экономен. Редкие пятна света дробились в лужах. В воздухе ещё пахло недавним дождём. На углу, у подвала молочной, привычно устанавливалась очередь к утренней раздаче молока. Люди приходили в дождевиках. В этот вечер жители квартала делали уже третью попытку установить обычную очередь. Каждый проходящий с радостью обнаруживал, что на этот раз он оказался первым: если

привезут молоко, он его наверняка получит. Однако радость оказывалась недолгой. От стены отделялась молчаливая тень шупо. Полицейский тихо, но безапелляционно говорил:

— Псс... домой!

— Мне нужно молоко.

— Идите спать.

— Я постою.

— Мне вам долго объяснять?..

Убирайтесь!

Маргаретенштрассе была тиха и пустынна. Несмотря на ранний час, она казалась погруженной в глубокий сон. Окна были закрыты шторами. Шупо внимательно следили за тем, чтобы в этих шторах не появлялось щёлок.

Шупо прохаживались по мостовой. Их шаги глухо отдавались на мокром асфальте. Полицейский офицер, стоя на противоположном тротуаре, смотрел на тёмные окна дома Гаусса.

По ту сторону дубовых дверей подъезда была тишина, хотя вестибюль и был залит ярким светом. Несколько солдат стояли вдоль стены, у парадной двери и у подножия лестницы.

Караульный офицер медленно поднялся до верхней площадки. Прошёл по комнатам второго этажа. У дверей комнат тоже стояли солдаты.

Офицер дошёл до дверей

генеральского кабинета. Попытался прислушаться к тому, что делалось по ту сторону. Но дверь была слишком толста. Офицер пошёл обратно: по комнатам, вниз по лестнице между рядами молчаливых солдат...

В генеральском кабинете Мольтке глядел со стены сквозь голубые облака сигарного дыма. В креслах, на диванах были одни генералы, — ни одного офицера рангом ниже, если не считать Отто, устало прислонившегося к стене. Он следил глазами за своим шефом. Гаусс стоял спиною к карте, закрывавшей всю стену позади письменного стола. Совещание

должно было решить многое: лично для Гаусса, для армии, для страны. Одни горячо поддерживали Гаусса, другие резко возражали. Приглашённые расселись на две стороны, как парламентские фракционеры: одни справа, другие слева.

Никто лучше бывших штабных офицеров Людендорфа не знал, во что обошлась Германии война с Россией, поход Эйхгорна, экспедиция фон дер Гольца, вылазка Вермонта.

Генералы сопоставляли простые на первый взгляд вещи: на востоке — Россия с 21 миллионом квадратных километров территории, с 170 миллионами населения, с огромным

расстоянием от границы до центра страны — Москвы; на западе — Франция с 40 миллионами населения и с Парижем, уже видевшим в своих стенах пруссаков. Для 80 миллионов немцев второй противник заманчивей. Ресурсы запада вдвое меньше ресурсов нападающего, ресурсы востока вдвое больше. Выбор казался несложным. Особенно теперь, когда испанская история показала не только неспособность, но и нежелание Франции сопротивляться, — теперь, когда к её затылку вот-вот будет приставлен пистолет Франко.

Генеральный штаб понимал, что фронт наибольшей длины и глубины,

каким является восточный фронт в войне с СССР, представляется для современной армии прорыва гораздо менее выгодным, чем неглубокий французский фронт.

Генеральный штаб боялся и повторения роковой ошибки — войны на два фронта. Он делал все возможное, чтобы отложить план Шверера — Гофмана на вторую очередь, до тех пор, пока не будет покончено с западом.

Все эти соображения подкреплялись тем, что говорили о Французской армии сами французы. Кому из немецких генералов не была известна книжка Шарля де Голля? Недаром же немецкий перевод

«Наёмной армии» был издан самими немцами. Гаусс не знал, сколько тысяч марок заплатили де Голлю за право этого издания, но любой расход был оправдан тем, что писал этот тип. Он убедительно доказывал, что Франция не способна воевать. Французы не были готовы к войне. Чего же было ещё желать? Разве в евангелии нацизма рукою Гитлера не было написано, что начинать нужно со слабейшего? Разве того же самого не говорили когда-то Гауссу и Гесс и сам Гитлер в приложении к планам овладения Австрией? Так где же был здравый смысл тех, кто пытался навязать генеральному штабу идею первоочередности войны с Россией?

Однако казалось, что действительность опережала лучшие намерения генштабистов. Новая установка наци была ясна: значение Франции как военной державы будет сведено на-нет, прежде чем возникнет война с нею. Приставленный к её затылку «испанский горчичник» рано или поздно окажет своё действие. Лишённая поддержки Англии, Франция будет забаррикадирована с юга и юго-востока Испанией и Италией. В ближайшем будущем Франция лишится всякой поддержки в Восточной и Юго-Восточной Европе. Она сама разрушала там свои союзы. Балканские и Дунайские

страны либо включатся в орбиту влияния Германии, либо попросту станут частью её территории. Североафриканские колонии французов отпадут, так как очень скоро коммуникации Франции с Африкой станут фикцией. Франция перестанет существовать не только как великая держава, но даже как политическая сила, могущая хоть как-нибудь влиять на судьбы Европы. Войны с Англией следовало избежать. Нужно было втянуть её в борьбу с Россией на стороне Германии. Пока имелись шансы обмануть бдительность британцев посулами дележа мира за счёт «третьих государств», фланг

Германии был свободен. Вся тяжесть удара могла быть обрушена на Россию.

Но Гаусс решительно отстаивал свою точку зрения. Его речь не оставляла сомнений в том, чего он хотел.

— Мы не можем согласиться на преждевременную войну с Россией, результатом которой будет гибель германской армии. Я готов бороться. И предлагаю всем, кто не хочет остаться без армии, идти со мной! — проговорил Гаусс.

Отто молча стоял у окна. Время от времени он вынимал часы; нажав репетир, подносил их к уху. Сыграв куплет из наивной старой песенки,

часы мелодично отзванивали
положенное число ударов. Час... час
тридцать... два... два тридцать...

По мере того как время
подходило к трём, Отто чаще
вынимал часы. Он зажал их в руке, с
трудом сдерживая её дрожь.

В три без десяти раздался стук в
дверь. Караульный офицер сказал
Отто на ухо, что на
Маргаретенштрассе появился
полицейский броневик.

Отто кивнул, словно знал это и
без офицера. Перескакивая через
несколько ступенек, он сбежал с
лестницы.

— Отоприте! — крикнул он
солдатам у входа.

В дом вошли эсесовцы. Они двигались уверенно, как если бы расположение комнат было им заранее известно.

В кабинете продолжали совещаться, когда отворилась дверь и в ней появился бригаденфюрер СС. На его щеке ярко белел шрам в виде двух сходящихся полумесяцев. Именно в этот момент на столе Гаусса звякнул телефон; гестаповец взял трубку, вежливо отстранив руку хозяина.

— Все готово, господин группенфюрер... Да, да, уже сделано... Слушаю... Будет исполнено, господин группенфюрер! — Гестаповец

повернулся к генералам: — Вам придётся проследовать за мной на заседание к одному важному лицу. Всего несколько минут ожидания, господа, пока будут поданы машины...

Через четверть часа Отто стоял у окна кабинета и, прислонившись лбом к стеклу, смотрел на улицу. Он видел, как к дому подъезжали автомобили. Шторки в них были опущены.

Отто видел, как сопровождаемые эсесовцами участники совещания один за другим садились в машины. Дверцы захлопывались, и машины исчезали во тьме.

Отто опустил штору. Не зажигая света в тихих комнатах, прошёл в столовую. Нашупал дверцу буфета и вынул бутылку...

Маргаретенштрассе опустела. В холодном сумраке жались у подвальчика молочной робкие тени. Их никто теперь не гнал. Хвост очереди нарастал.

Ждать открытия лавки оставалось недолго: каких-нибудь три часа.

Двое суток Отто не появлялся дома. Если генералу Швереру удавалось поймать его по телефону, Отто отговаривался крайним недосугом и вешал трубку. Ночевал он у Сюзанн.

Беспокойное любопытство грызло Шверера. Он просматривал газеты опытным глазом человека, привыкшего читать между строк смысл сводок, не изображённый печатными знаками. Повидимому, наци собирались преподнести какое-нибудь новое достижение. Военная печать трубила об успехах в строительстве вооружённых сил

империи. Все было неопределённо. Но Шверер готов был поклясться: надвигались большие события. А он оставался в стороне и был попрежнему забыт. Ни одного визита, хотя бы телефонный звонок кого-нибудь из прежних друзей. Ничего! Как будто он виноват в этой нелепой китайской истории.

Преодолевая самолюбие, он попытался вызвать по телефону кое-кого из служащих военного министерства. Одних нельзя было поймать, телефоны других просто не отвечали. Наконец, и это самое неприятное, люди помельче, до которых он докатился, довольно откровенно торопились отделаться

от Шверера. Он понял, что теряет остатки своего достоинства в глазах этой шушеры.

Шверер лёг спать, так ничего и не добившись.

Около часа ночи его поднял телефонный звонок. Автомат настойчиво посылал сигналы в темноту. Шверер спросонок не мог найти выключатель. Наконец снял трубку. В ней слышался голос Пруста. Дружески просто он просил разрешения посетить Шверера.

— С восьми утра к твоим услугам, — сухо ответил Шверер.

— Было бы удобнее сейчас.

Искушение назначить свидание именно завтра, вопреки просьбе

Пруста, было велико. Но Шверер быстро оценил многозначительность ситуации: Пруст просит о свидании глубокой ночью. Это неспроста. Шверер злорадно улыбнулся трубке и согласился на свидание немедленно.

Что могло случиться?

Что бы ни случилось, Пруст нуждался в нём, осмеянном «авторе сумасбродных проектов».

Шверер торопливо одевался. Он не желал предстать перед Прустом в мятой пижаме. Он, конечно, не станет надевать парадный мундир, но рабочая тужурка с ленточкой в петлице все же нужна. Когда войдёт Пруст, Шверер будет сидеть за письменным столом над рукописью

«Марша».

Но все произошло не так, как представлял себе Шверер. Пруст появился уже через несколько минут и застал Шверера в генеральской тужурке, но ещё в полосатых панталонах пижамы.

Не обращая внимания на хмурый вид хозяина, Пруст дружески расспрашивал о семье. Его интересовало здоровье фрау Эммы, работы Эгона, карьера Отто, ученье Эрнста... Ах, он давно уже не учится? Вот как! Бросил? Напрасно. Мальчику нужно было получить диплом.

Скупое отвечая на вопросы гостя, Шверер не стремился подогреть

неожиданный интерес того к делам семейства. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы в потоке слов, являющихся не чем иным, как артиллерийской подготовкой, не прозевать выстрела, означающего начало атаки.

И вот Пруст, словно невзначай, спросил, как подвигается разработка плана восточного похода, скоро ли будет окончена рукопись «Марша». Тут-то Шверер своим острым носом и угадал начало атаки. Несколько усилий с его стороны — и гостю пришлось выложить главное. Спасая собственные головы и головы остальных участников ночного совещания, Гаусс и Пруст должны

были поклясться, что отныне самым серьёзным образом займутся вопросами подготовки большой войны, войны против России! Да, да, войны, которую они ещё неделю тому назад считали преждевременной и называли «свинячьим бредом Гофмана — Шверера».

Шверер был так поражён, что даже не выразил радости. То, что выглядело простым и ясным на страницах «Марша», представилось теперь таким бесконечно большим и сложным, что ему показалось, будто под этим грузом подгибаются его колени. Он ощутил непомерную тяжесть. Хотелось сесть и не

шевелиться.

А Пруст сказал:

— Завтра же поедem к главнокомандующему. Нужно тебя представить. Ты увидишь: иногда он производит впечатление совершенно нормального человека. К тому же он не любит вдаваться в детали. У него главное — масштаб. Остальное он предоставляет нам. Глядя на него, я начинаю думать: и не лучше ли, когда во главе дела стоит ефрейтор?

Пруст собрался уже уходить, когда Шверер решился, наконец, задать вопрос, волновавший его все эти дни.

— Послушай, Берни, — его голос был при этом почти

вкрадчив, — ты не знаешь, что случилось с Гауссом?

— А что?

— Куда он девался?

— Он... получил новое, очень важное задание.

— Ты что-то хитришь, Бернгард, — и Шверер шутливо погрозил пальцем.

Пруст раздул усы, и на его лице отразилось искреннее недоумение:

— Я тебя не понимаю, Конрад.

— Так вдруг не исчезают из-за нового назначения.

Пруст громко расхохотался:

— Кажется, я тебя понял.

Неужели же ты вообразил?..

— Был слух...

— Не воображаешь же ты, что между ними может пробегать чёрная кошка? Так, маленький серый котёнок! Различное толкование одной и той же идеи.

— Я не вполне понимаю...

Пруст вернулся к креслу и, откинувшись в нём, сцепил пальцы на животе.

— Если ты действительно понимаешь не все до конца то пожалуй, лучше сейчас же поставить точку над «і», до твоего свидания с фюрером. Все дело... было в Австрии. В различном отношении к аншлюссу.

Шверер с недоверием посмотрел на Пруста.

— Гаусс, как я понимаю, был полностью «за».

— Да, но представлял себе аншлюсе как укрепление нашего тыла, — не сморгнув, продолжал тот, — а фюрер рассматривает его как мост к Чехии, к дальнейшему походу на восток.

— И в этом все дело? — с облегчением спросил Шверер.

— Разумеется.

— А я-то вообразил...

— Значит, до завтра? — И Пруст снова поднялся.

— Да. Ещё минуту...

— Да?

— А что поручено теперь Гауссу?.. Не секрет?

Пруст на минуту задумался.

— Разумеется, секрет. Впрочем, не от тебя... Видишь ли, поскольку он был настроен против восточных планов как возможного начала решительного наступления, а фюрер вовсе не хочет с ним ссориться и верит в его способности, он поручил Гауссу разработку совсем другого направления.

— Не имеющего отношения к России?

— И да и нет.

— То-есть?

— Все происходящее в Европе и даже в мире имеет теперь отношение к России.

— Значит, ты имеешь в виду...

— Южный театр — и только!

— Ты меня очень успокоил.

Они расстались до следующего дня, когда поезд увёз их в Берхтесгаден.

Приём был назначен на утро.

Ночь генералы провели в одном из отелей.

Давно прошли те времена, когда приезжающие на виллу Вахенфельд находили приют в частной гостиничке «Цум Тюркен». Теперь во всем районе вокруг «Волшебной горы» едва ли можно было найти хотя бы одного жителя, который не был бы зсесовцем или агентом СД, наблюдающим за этим эсесовцем.

Наутро к отелю был подан

закрытый автомобиль с двумя эсесовцами на переднем сиденье.

Автомобиль направился к Бергофу, но вдруг резко свернул у перекрёстка, которого неопытный глаз даже не приметил бы. Автомобиль взбирался извилистой дорогой, пролегавшей по склону горы. Шверер на-глаз определил её высоту примерно в две тысячи метров.

Попрежнему вокруг не было ничего, кроме густого леса. Внезапно совершенная темнота стеною встала перед глазами Шверера. Вспыхнули фары. Машина въехала в глубокую пещеру и остановилась. Эсесовцы предложили генералам выйти. Их

провели в глубину пещеры и усадили в стальную коробку, освещённую призрачным отражённым светом. Бесшумно захлопнулась дверь. Шверер почувствовал лёгкое давление снизу. Лифт начал подъем. Движение все ускорялось. Кабина остановилась не скоро. Дверь распахнулась, и в лицо Швереру ударил ослепительный луч ничем не затенённого горного солнца. Шверер не сразу заметил, что находится не на открытом воздухе, а в просторном холле здания, построенного, казалось, целиком из стекла. Сквозь прозрачную стену открывалась панорама окружающих гор.

Шверер понял, что он у Гитлера.

Растерянность не покидала Шверера в начале беседы с Гитлером. Гитлер нехотя отвечал на вопросы. Почти не говорил сам. Можно было подумать, что его тяготит присутствие некстати явившихся генералов. Время от времени он поднимал сразу обе руки и, морщась, тёр виски. Шверер решил, что лучше всего будет поделиться с фюрером своим кредо, и принялся популярно излагать свои взгляды на стратегию, на перспективы предстоящего движения на восток.

По мере того как он говорил, тема все больше захватывала его самого. А Гитлер слушал все с тем же

скучающим видом. Шверер решительно не понимал, как мог оставаться равнодушным этот человек с неряшливой чёрной прядью на покато лбу, с пустыми глазами, бессмысленно уставившимися куда-то мимо собеседника.

Но Шверер решил все же говорить, — если даже не для Гитлера, то для тех, кто окружал его. Они не могли не оценить идеи беспощадной войны на русском востоке.

Вдруг Гитлер порывисто откинулся на спинку кресла и резко перебил Шверера на полуслове:

— Комплекс нашего жизненного

пространства — Европа. Вся Европа. Тот, кто её завоюет, запечатлеет свой знак в веках. Я предназначен для этой цели. Если это мне не удастся — я погибну, мы все погибнем, но с нами погибнут и все народы Европы. Если вы хотите работать со мной, то должны иметь в виду: старые границы Германии меня не интересуют. Реставрация довоенной Германии не является задачей, могущей оправдать наш переворот. Чтобы воевать, нужно быть сильным; чтобы выиграть войну, не начиная её, нужно быть вдвое сильнее.

Он говорил ещё о том, что могущество Англии миновало навсегда; пояснил своё отношение к

Италии: «Германия пала бы слишком низко, если бы в решительный момент положились на такую страну, как Италия».

В заключение он сказал, глядя куда-то поверх головы Шверера:

— Наша миссия заключается в том, чтобы довести войну, прерванную в тысяча девятьсот восемнадцатом году, до победоносного конца. Если я сумею это сделать, все остальное попадёт в мои руки в силу простой исторической закономерности. — Он простёр перед собою руку: — Позади нас позор Компьена, но впереди — торжество на востоке!

Если бы Гитлер не сказал ничего

больше, то Шверер после одной этой фразы понял бы, что им по пути. Да, черт возьми, если Пруст и оказался не совсем прав в том смысле, что Гитлер вовсе не произвёл на Шверера впечатления вполне вменяемого человека, то насчёт масштабов он не ошибся. То, что Шверер услышал сегодня, превзошло все его ожидания. Его, Шверера, воображение не позволяло себе таких прыжков в фантастическое будущее, какой совершил этот ефрейтор с блуждающими глазами. Да, пусть-ка заносчивые снобы из верховного командования попробуют теперь косо посмотреть на «выскочку» Шверера. Им придётся

иметь дело с соавтором самого фюрера! Шлиффен перевернётся в гробу от зависти, увидев, в какие клещи они с Гитлером возьмут Россию! Это будут Канны! Такого объятия она не переживала за все время своего существования.

Шверер выбросил руку в нацистском приветствии и торжественно произнёс:

— Мой фюрер! Под знаменем, которое вы понесёте, мы двинемся на восток и завершим свою задачу на просторах России!

Гитлер был доволен, даже улыбнулся и покровительственно положил руку на плечо генерала. Но пустой взгляд его попрежнему уходил

куда-то в сторону от ищущих его восторженных глаз Шверера.

Вдруг, так поспешно, как будто он вспомнил что-то очень важное, Гитлер схватил Шверера за плечо и быстро проговорил:

— У вас есть часы, обыкновенные карманные часы?.. — И не давая Швереру ответить: — Берегите их, слышите? Скоро они станут величайшей редкостью. — И понизив голос до шопота: — Сейчас мне пришла совершенно неповторимая, гениальная идея нового аппарата для счета времени. Современные часы пойдут на свалку. Сегодня ночью я составляю окончательный проект аппарата. —

И тут же, без всякого перехода, приняв величественную позу, торжественно воскликнул: — Работайте, Шверер, работайте над тем, чтобы в любой момент, когда я призову вас, быть готовым. Когда я решу сделать свою ставку в России, то ничто не помешает мне совершить ещё один резкий поворот и напасть на неё. Вы поняли меня?

Шверер склонил голову. Ему хотелось на цыпочках выйти из комнаты.

В ту тревожную весну 1938 года, когда большая часть Западной Европы была охвачена смертельным страхом войны, во многих её столицах можно было встретить бледное лицо Фостера Долласа.

Где бы Доллас ни был — на улице ли, в автомобиле, — он то и дело снимал котелок и проводил по голове платком, стирая росинки пота. Потливость была его бичом. Потели руки, шея, голова. Потели при малейшем волнении. Прежде чем подать кому-нибудь руку, он должен был незаметно в кармане обтирать её. Иначе даже самый

выдержанный человек спешил отстраниться от его холодной мокрой ладони.

Март застал Долласа в Париже. Конференция, переговоры следовали друг за другом; свидания, явные и тайные, происходили изо дня в день, — в посольствах, банках, кабаках, гарсоньерках разведчиков и в салонах депутатов. Доллас был неутомим. Казалось, его не занимало ничто: ни весеннее парижское солнце, ни робкая зелень бульваров, ни по-весеннему чёткий стук женских каблуков по тротуарам. Дело, дело, дело — это было единственным, о чём он говорил, о чём способен был думать.

В мартовское утро, если можно считать утром время, когда солнце подошло к зениту, Доллас отпустил таксомотор у Иенской площади. Заложив руки за спину и наклонив голову, словно боясь, что, глядя на прохожих, может отвлечься от своих мыслей, он мелкими шажками устремился к улице Шейо, где помещалось американское посольство. Дойдя до угла улицы Фрейсинэ, откуда был виден подъезд посольства, он заметил хорошо знакомый ему автомобиль посла. Это показалось Долласу странным: ведь они условились с Буллитом именно на это время. И беседа вовсе не должна была быть краткой.

Доллас на мгновение остановился, отёр вспотевшую голову, держа котелок на отлёте и помахивая им. Потом засеменял ещё быстрее.

Буллит не дал ему даже поздороваться:

— Не раздевайтесь, — прямо садимся и едем к одному моему другу. Будем есть простоквашу и любоваться прелестной женщиной.

— Странная комбинация, — проворчал Доллас.

— Её муж — нечто среднее между пресвитерианским проповедником и Зигфридом. Забавный малый. Безобиден, как телёнок.

— Вероятно, именно это вас больше всего и устраивает, — язвительно заметил Доллас.

Буллит расхохотался и вместо ответа выразительно подмигнул. Доллас достаточно знал своего спутника, чтобы понять: его влечёт не странный хозяин дома и уж, во всяком случае, не простокваша.

Адвокату было совсем не по душе ехать куда-то ради того, чтобы занимать загадочную личность, пока посол будет флиртовать с женой этой личности. Он недовольно спросил:

— Быть может, встретимся в другой раз?

— Не дурите, Фосс, — Буллит дружески ударил его по колену. —

Если я скажу вам, как зовут этого малого, то чтобы только иметь возможность с ним поговорить, вы побежите за моим «каделлаком».

Доллас исподлобья
подозрительно посмотрел на
Буллита:

— Ну?

— Не будьте любопытной бабой, — отмахнулся Буллит. — Увидите сами. — С этими словами он нагнулся и поднял стекло, отделявшее пассажирскую кабину от сиденья шофёра. Несмотря на эту предосторожность, он все же заговорил, заметно понизив голос: — Новости знаете?

Острые глазки Долласа быстро

забегали по лицу собеседника, словно на нём-то и были написаны эти новости, ради которых нужно было принимать такие предосторожности. Но черты Буллита, казавшиеся за минуту до того такими открытыми, даже добродушными, не отражали теперь ничего, кроме упрямства и жестокости, сквозивших, казалось, в каждой складке кожи.

— Вчера у меня был человек Киллингера, — сказал Буллит.

Доллас беспокойно заёрзал, и все лицо его мгновенно покрылось крупными каплями пота.

— Промах, — едва слышно проговорил Буллит.

Глазки Долласа испуганно скользнули по видневшейся за стеклом спине шофёра, но Буллит успокоил его движением руки:

— Гоу выпил то, что предназначалось Тридцать второму.

— Киллингер осел! — вырвалось у Долласа громче, чем нужно, и он сразу перешёл на шопот: — Пустая похвальба вся эта их немецкая система.

Буллит покачал головой:

— Нет, они своё дело знают. Киллингер велел передать мне, что ничего страшного нет. Это только первый промах в бактериологической войне, которую они объявляют Тридцать второму.

— Вы совсем передоверили это им?

— Не могу же я толковать о таких вещах от своего имени! — с укоризной проговорил Буллит.

— Ах, дураки, дураки! — в смятении пробормотал Доллас. — Пока жив Рузвельт, сближение с Германией не удастся сделать популярным в Америке. А оно с каждым днём становится все более необходимым. Настоятельно необходимым!

— Поэтому я и хочу, чтобы вы познакомились с одним моим другом...

— Тот, к кому мы едем?

— Пока я не вижу надобности

афишировать нашу близость. Но со временем... У него дьявольский ум, Фосс! Он принесёт нашему делу большую, очень большую пользу.

Но Доллас плохо его слушал. Его мысли вертелись вокруг неудачи с отравлением президента. Следуя им, он сказал:

— Но как вы думаете, Уильям, они сумеют, этот Киллингер и другие?

Буллит досадливо повёл плечами:

— Если они окажутся не способными покончить с ФДР, мы пустим в ход свою собственную машину. Не хочется только подвергать такому риску Говера.

— Нет, нет, что вы! — испуганно воскликнул Доллас. — Президент верит ему и должен верить до конца!

— А Говер мог бы. У него отлично работающая машина, — мечтательно проговорил Буллит.

Глазки Долласа испуганно ощупали лицо Буллита: мог ли этот человек знать, что и первое неудачное покушение на Рузвельта в 1933 году тоже было делом рук Говера?

— Вы чертовски легкомысленный человек, Уильям, — недовольно пробормотал Доллас, чтобы переменить разговор. — Всякому встречному болтаете первое, что придёт в голову. Европа теперь

очень болезненно относится к проявлению каких бы то ни было симпатий к немцам.

— Не к немцам, а к наци, — поправил Буллит.

— Один дьявол!

— К сожалению, далеко не так.

Когда дойдёт до настоящего дела, я не поставил бы ни цента даже на многих из тех, кто носит свастику в петлице, а об остальных нечего и говорить. У фюрера вовсе не так много поклонников в Германии. Там его знают лучше, чем за границей.

— Тем больше смысла в том, что я вам только что говорил: не слишком осторожно для посла Штатов якшаться чорт знает с кем.

Скандал, которым это кончилось для вас в Москве, не должен повториться.

— Париж не Москва.

— Но люди, кажется, начинают кое-что понимать и тут.

— Пока они поймут все, мы завернём их в такие пелёнки...

— В такой игре предпочтительнее саван. — Доллас немного помолчал. — Однако русские меня беспокоят все больше и больше. Та ужасающая гласность, которой они уже успели предать чешские дела, может привести к полному провалу. Мир слишком насторожился. Мы вынуждены следить за каждым своим шагом,

выбирать каждое слово.

Буллит рассмеялся:

— Ага! Теперь вы понимаете, как утомительно быть дипломатом! — весело сказал он. — Привыкли дома при свете дня хватать за глотку всякого, кто стоит на вашем пути. Да, вы правы: мир насторожился, тот мир, который мы с вами не любим принимать в расчёт. И тут уже ничего нельзя поделать. Не мы, а нас могут схватить за глотку при первой ошибке, и тогда уж...

— Нокаут?

— Да!

Доллас резко, всем телом повернулся к Буллиту. На его лице появилось выражение неприкрытой

угрозы.

— Вы удивительный осел, Уильям! Отдаёте себе отчёт в том, к чему может привести неосторожность, а ведёте себя здесь, как рекетир в Штатах... Повторяю от имени Джона: если провалитесь и тут — мы выкинем вас на помойку.

Но Буллит и тут скрыл смущение за деланным смешком и отшутился:

— Не воображаете ли вы, Фосс, что моя голова мне менее дорога, чем вся ваша лавочка?

— Должен сознаться, — проворчал Доллас, — что нас-то интересует именно наша «лавочка», а не ваша голова.

— Однако мы приехали! —

воскликнул Буллит и остановил автомобиль перед небольшим садиком, за едва зазеленевшими деревьями которого виднелись белые стены уютного домика. На его крыльцо вышел высокий молодой человек и, сбегав со ступенек, зашагал навстречу гостям.

Доллас, как всегда, насторожённо ощущал зоркими глазами крепкую, стройную фигуру и лицо незнакомца, с большим улыбающимся ртом, в котором ярко белел ряд крепких зубов. Голова его была покрыта светлыми с сильным рыжеватым оттенком волосами.

Доллас подозрительно смотрел, как Буллит дружески тряс руку

хозяина, поглядывая через плечо на крыльцо. Адвокат не спеша вылез из автомобиля и, осторожно ступая, будто дорожка была посыпана колючками, вошёл в калитку.

— Скорее, Фосс! — с наигранной весёлостью, придавая своему лицу прежнее добродушное выражение, крикнул Буллит: — Знакомьтесь: герр Отто Абетц.

— Абетц?!

Доллас торопливо сунул руку в карман, чтобы стереть с ладони мгновенно выступивший пот...

Гаусс не скоро пришёл в себя после «фокуса», который был проделан ночью в его доме по приказу Гитлера и Геринга. Слава богу, что они деликатно называли это «совещанием» у фюрера! Было все же некоторое утешение в мысли, что он, Гаусс, поддался доводам разума, а не простому страху, когда перед ним совершенно недвусмысленно был поставлен ультиматум: полное и безоговорочное подчинение директивам фюрера и его военного кабинета, без каких бы то ни было уклонений в сторону собственных мнений и намерений, или...

Гауссу даже не хотелось думать о том, что они, собственно говоря, подразумевали под этим многозначительным «или». Не намеревались же они, в самом деле, расправиться с десятком генералов так же, как расправились с бандой Рема?... А впрочем... впрочем, разве заодно с Ремом не отправили на тот свет Шлейхера? Да и не одного Шлейхера.

Сколько ни пытался Гаусс уверить себя в том, что смотрит сверху вниз и на Гитлера и на Геринга, и в том, что ему совершенно наплевать на то, как к нему относится этот боров, вообразивший себя генерал-фельдмаршалом,

сегодняшнее приглашение к Герингу заставило его волноваться. И старик сильно покривил бы душой, если бы сказал себе, что в этом волнении не было оттенка некоторой радости по поводу того, что это приглашение могло означать только одно: ликвидацию конфликта.

Правда, его заставили долго ждать в приёмной, но сегодня Гаусс не мог заподозрить в этом намерение оскорбить его. Он отлично знал, в каком критическом положении находились отношения с Австрией, и знал о важной роли Геринга в этих событиях.

Через приёмную то и дело шныряли адъютанты, военные,

чиновники министерств. С озабоченном видом, не заметив Гаусса, быстро прошёл Нейрат. Он пробыл у Геринга недолго и вышел с сияющим видом. Гаусс поднялся ему навстречу. Они отошли в дальний угол. Нейрат сел, испустив вздох облегчения.

— Хвала господу, кажется, все устраивается как нельзя лучше!

— Удастся обойтись без вторжения?

— Напротив, — в радостном возбуждении воскликнул Нейрат, — вторжение неизбежно!

— Не понимаю, что ты видишь в этом хорошего. Как бы меня ни убеждали в противном, я не считаю

нас способными сейчас на большую войну.

Нейрат дружески похлопал его по острой коленке.

— Сколько раз тебе говорить: о большой войне не может быть и речи. Наши войска пройдут по Австрии парадным маршем, после того как все будет сделано изнутри людьми Зейсс-Инкварта.

— А державы?

— Вопрос ясен: руки у нас развязаны. Готовьте оркестры! На пушки можете надевать чехлы.

— А сами австрийцы? Ты думаешь, они не будут сопротивляться?

— От имени фюрера Геринг уже

издал приказ: всякий
сопротивляющийся должен
уничтожаться на месте. К
завтрашнему утру Австрия должна
стать частью рейха! Президент
Миклас ещё колеблется, но я не
понимаю, на что он рассчитывает...

— А уверены вы в том, что
Муссолини...

— Ему уже дали понять, что
французы тотчас наступят ему на
хвост, если он пошевелится.

— Но ведь это же неправда!

— Пусть он попробует
установить, правда это или нет.
Французы ведут такую игру, что сами
в ней запутались, а другому и
подавно не разобраться. Буллит

сдержал своё слово.

Нейрат обеими руками сильно потёр щеки, словно хотел привести самого себя в чувство.

— До сих пор не могу опомниться: так блестяще, так удивительно все идёт!.. А ты здесь зачем?

— Ещё сам не знаю.

— Не упускай случая выступить хотя бы в последнем акте!

Гаусс пожал плечами:

— Это же не последний спектакль!

— Не знаю, пройдёт ли ещё что-нибудь так изумительно легко... Не зевай, старина, не зевай.

Нейрат дружески протянул ему

руку и исчез.

Через несколько минут адъютант щёлкнул шпорами перед задумавшимся Гауссом и повёл его за собой.

К удивлению генерала, они миновали знакомый ему огромный кабинет Геринга, в котором на этот раз царила полная тишина. Не было слышно даже их собственных шагов, заглушаемых толстым ковром. Слабый свет нескольких канделябров, отражавшийся от золотой обивки стен, наполнял комнату полумраком. В углу на диване Гаусс заметил молчаливые чёрные фигуры офицеров СС.

Ещё две или три такие же

пустые и тихие, погруженные в такой же полумрак комнаты, и послушно следовавший за адъютантом Гаусс очутился в огромном зале, который в первый момент принял было за картинную галерею. Рассечённые на правильные квадраты дубовые панели стен были сплошь завешаны полотнами. Невидимые лампы источали свет в отдельности на каждое из них, оставляя в тени все остальное пространство зала. Поэтому Гаусс в первое мгновение и не увидел ничего, кроме оленей, зубров, лошадей над барьерами и красных фраков охотников, изображённых на картинах. Но вот откуда-то снизу послышался

хриплый голос Геринга. И стоило Гауссу обратить взгляд по направлению этого голоса, как он увидел нечто, что воспринял как личное оскорбление: в небольшом золотом бассейне-ванной, едва прикрытая слоем воды, желтела безобразная туша голого Геринга.

Первым порывом Гаусса было повернуться и уйти. Но он тут же заметил, что не одинок в этом странном салоне. Несколько генералов, высших чиновников министерства иностранных дел, генералы и офицеры СС сидели в креслах или просто стояли у барьерчика, окружавшего бассейн. Среди них Гаусс увидел и Пруста.

Раздувая рыжие усы, тот кричал в телефон так громко, словно командовал на плацу батальонным учением:

— Повторяю: генерал-фельдмаршал приказал придвинуть части к границе настолько, чтобы завтра на рассвете они могли быть в Вене... Да, сигнал будет дан сегодня же. Действовать молниеносно, чтобы австрийцы были вынуждены складывать оружие. Обходить, окружать, обезоруживать!.. Соппротивление? Его не будет. Ну, а если окажутся дураки, расстреливать напоказ остальным. — Пруст подул в усы и крикнул: — Вот и все! Донесения по телефону сюда, в

ставку генерал-фельдмаршала! — И, выпучив глаза, повёл ими в сторону бассейна, где Геринг, лёжа на спине и выставив вверх огромный живот, вполголоса разговаривал с Кроне.

Не прерывая разговора, Геринг кивнул Прусту и продолжал, обращаясь к Кроне:

— Но вместо глупых щитов с гербами, которые могут тешить только американского выскочку, я решил сделать вот это... — и он повёл мокрую рукою в сторону картин. — Сначала я хотел было сделать бассейн в библиотеке... Как вы находите?

— Это было бы здорово; вся мудрость мира по стенам, а в

центре...

— В центре — я.

— Вот именно, — со странной усмешкой подтвердил Кроне.

— Но потом мне показалось это скучным. Картины заставляют немного отвлекаться от дел, а книги — это скучно!

— Это тоже верно. Только я предпочёл бы другие сюжеты.

— Знаю... — Геринг рассмеялся. — Правильно! Погодите, покончим сегодня с этой вознёй, и завтра я позову вас на вечерок.

К бассейну подбежал адъютант с телефонной трубкой, за которой тянулся длинный шнур.

— Вена, экселенц!

— Какого чорта?.. —

недовольно отозвался Геринг.

— Доктор Зейсс-Инкварт у аппарата.

Геринг лениво перевалился на бок и потянулся было мокрой рукой к трубке, но передумал:

— Нет... Дайте сюда микрофон и включите усилитель. У меня нет секретов от господ... — И он величественным жестом указал на обступивших ванну посетителей.

Пока адъютанты торопливо устанавливали возле ванны микрофон и усилитель телефона, Геринг продолжал непринуждённо болтать с Кроне. Наконец, когда все было готово, Геринг, погрузившись

по горло в воду, крикнул в микрофон:

— Господин доктор?.. Мой шурин у вас?

В усилителе послышался голос Зейсс-Инкварта:

— Его тут нет.

— Как ваши дела? — спросил Геринг. — Вы уже вручили заявление об отставке или хотите мне сказать ещё что-нибудь?

Зейсс: — Канцлер отложил плебисцит на воскресенье и поставил нас в затруднительное положение. Одновременно с отсрочкой плебисцита были приняты широкие меры по обеспечению безопасности, например запрещение выходить на улицу, начиная с восьми

часов вечера.

Геринг: — Я не считаю мероприятия канцлера Шушнига удовлетворительными. Отсрочка плебисцита — простая оттяжка. Впрочем, позовите к телефону самого Шушнига.

Зейсс: — Канцлер пошёл к президенту.

Геринг: — Берлин ни в коем случае не может согласиться с решением, принятым канцлером Шушнигом. Вследствие нарушения им Берхтесгаденского соглашения Шушниг потерял здесь доверие. Мы требуем, чтобы национальные министры Австрии немедленно вручили канцлеру свои заявления об

отставке и чтобы они взамен потребовали от него также выхода в отставку. Если вы не свяжетесь с нами сейчас же, мы будем знать, что вы больше не в состоянии звонить. Это значит, что вы вручили своё заявление об отставке.

Кроме того, я прошу вас послать потом фюреру телеграмму, которую мы с вами обсудили. Разумеется, как только Шушниг уйдёт в отставку, вам немедленно будет поручено австрийским президентом формирование нового кабинета... Шушниг не вернулся?

Зейсс: — Нет, мне сейчас сообщили, что он пошёл к президенту, чтобы вручить ему

отставку всего кабинета.

Геринг: — Значит ли это, что вам поручат формирование нового правительства?

Зейсс: — Я буду иметь возможность сообщить об этом несколько позднее.

Геринг: — Я категорически заявляю, что это одно из наших обязательных требований, помимо отставки Шушнига.

Зейсс: — Господин Глобочник из германского посольства просит разрешения взять трубку.

Геринг: — Пусть возьмёт.

Глобочник: — Канцлер Шушниг заявляет, что технически невозможно распустить кабинет в

такой короткий срок.

Геринг: — Новый кабинет должен быть сформирован в течение полутора часов! Нет, даже в течение часа. Зейсс Инкварт ещё там?

Глобочник: — Нет, его здесь нет, его вызвали на совещание.

Геринг: — Каково его настроение?

Глобочник: — По-моему, у него есть свои сомнения в необходимости вызова в Австрию партийных отрядов, находящихся сейчас в империи.

Геринг: — Мы говорим не об этом. Командует ли он, собственно, положением сейчас?

Глобочник: — Да, сударь.

Геринг: — «Да, сударь, да...»
Говорите же, чорт возьми! Когда он сформирует новый кабинет?

Глобочник: — Кабинет... О, возможно, часов через пять.

Геринг: — Кабинет должен быть сформирован через час!

Глобочник: — Слушаю, сударь.

Геринг: — Государственный секретарь Кепплер послан мною для этой цели.

Глобочник: — Докладываю дальше: отряды СА и СС уже мобилизованы в качестве вспомогательной полиции.

Геринг: — Вот как! Гм... В таком случае нужно также потребовать, чтобы партии

немедленно разрешили действовать легально.

Глобочник: — Слушаю, сударь. Будет сделано.

Геринг: — Это должно быть сделано. Со всеми её организациями — СС, СА и союзом гитлеровской молодёжи.

Глобочник: — Слушаюсь, господин генерал-фельдмаршал! (Тут голос в усилителе сделался умоляющим.) Мы просим вас, господин генерал-фельдмаршал, об одном: не возвращать сейчас сюда отрядов, эмигрировавших в империю.

Геринг: — Хорошо, они придут лишь через денёк-другой.

Глобочник: — Зейсс-Инкварт имеет в виду, чтобы они прибыли лишь после плебисцита.

Геринг свирепо рявкнул:
— Что?!

Глобочник: — Он полагает, что выдвинутая после этого программа будет осуществлена Гитлером.

Геринг: — Во всяком случае, назначенный Шушнигом плебисцит на послезавтра должен быть отменён.

Глобочник: — О, да! Он уже отменён. Это уже не подлежит сомнению.

Геринг: — Учтите, что новый кабинет должен быть безусловно национал-социалистским кабинетом.

Глобочник: — Слушаю, сударь.
В этом также нет никаких сомнений.

Геринг: — Через час вы доложите мне, что кабинет сформирован. У Кепплера есть список лиц, которые должны быть в него включены.

Глобочник: — Слушаю, сударь.
Простите меня, сударь, но Зейсс-Инкварт хотел просить об одном: чтобы эмигрировавшие отряды прибыли в Австрию не сейчас, а позже.

Геринг: — Мы обсудим этот вопрос позднее.

Глобочник: — Благодарю вас, господин генерал-фельдмаршал.

Геринг: — Послушайте, нет

никаких недоразумений в отношении легализации партии?

Глобочник: — О, нет! Этот вопрос совершенно ясен. На этот счёт не может быть никаких сомнений.

Геринг: — Со всеми её формированиями?

Глобочник: — Да, со всеми отрядами здесь, в Австрии.

Геринг: — В форме?

Глобочник: — В форме.

Геринг: — Тогда все в порядке.

Глобочник: — СА и СС уже полчаса как дежурят. Не беспокойтесь об этом.

Геринг: — Что же касается плебисцита, то мы специально

пошлём к вам кого-нибудь, чтобы он передал вам, какого рода плебисцит должен состояться.

Глобочник: — Значит, торопиться незачем?

Геринг: — Незачем. Что подразумевал Зейсс-Инкварт, когда говорил, что отношения между Германией и Австрией будут развиваться на новой основе?

Глобочник: — Что он подразумевал под этим? Он считает, что независимость Австрии останется незатронутой. Не так ли? Но всё, что здесь делается, будет осуществляться национал-социалистами.

Геринг: — Мы ещё посмотрим.

Теперь слушайте. В интересах самого Зейсс-Инкварта получить абсолютно надёжные отряды, которые будут целиком в его распоряжении.

Глобочник: — Зейсс-Инкварт обсудит с вами этот вопрос.

Геринг: — Да, он может поговорить со мной об этом.

Глобочник: — Слушаю, сударь.

Геринг: — Я забыл упомянуть Фишбека. Он должен получить портфель министра торговли и промышленности.

Глобочник: — Ну, конечно. Это само собой разумеется.

Геринг: — Кальтенбруннер получит органы безопасности, а Лор — армию. Сейчас на время Зейсс-

Инкварт пусть сам возьмёт армию. С министерством юстиции уже решено. Вы знаете кто?

Глобочник: — Да, конечно.

Геринг: — Назовите мне имя.

Глобочник: — Это ваш шурин, не так ли?

Геринг: — Он. Слушайте, будьте осторожны. Всех работников печати следует немедленно удалить, наши люди должны стать на их место.

Глобочник: — Слушаю, сударь. А лицо, о котором вы упомянули в связи с министерством безопасности...

Геринг: — Кальтенбруннер? Конечно. Он получит портфель. Примите все меры

предосторожности в отношении работников печати и — давайте!

Глобочник: — Генерал-лейтенант Муфф просит разрешения поговорить с вами.

Геринг: — Пусть подождёт. Я не могу тут мокнуть целый час.

Глобочник: — Мокнуть?

Геринг: — Это к вам не относится, пусть Муфф подождёт.

По знаку Геринга камердинер подбежал к ванне и помог ему вылезти из воды. Не стесняясь присутствующих, Геринг, отдуваясь, пошёл к дивану и подставил плечи под мохнатую простыню. В усилителе было слышно нетерпеливое покашливание Муффа.

Можно было подумать, что Геринг
вовсе забыл о Вене. Только усевшись
на диване, он проворчал в
поднесённый адъютантом
микрофон:

— Алло, Муфф! Что там у вас?

Муфф: — Разрешите ещё раз
упомянуть о том, чтобы партийные
отряды были возвращены из
эмиграции лишь по требованию
отсюда.

Геринг: — Да, но фюрер
хочет... Впрочем, фюрер лично
обсудит этот вопрос с Зейссом. Это
лучшие, наиболее
дисциплинированные отряды,
которые будут находиться под
непосредственной командой Зейсса.

Это его наилучшее обеспечение.

Муфф: — Да, но впечатление за границей...

Геринг: — Без глупостей, Муфф! Внешняя политика будет формулироваться исключительно в самой Германии. Впрочем, Зейсс и фюрер обсудят этот вопрос позднее. У вас больше нет вопросов?

Муфф: — Никак нет! У телефона ваш шурин, доктор Гюбер.

Геринг: — Это ты, Франц? Что нового?

Гюбер: — Я как раз собирался сообщить тебе кое-что о себе.

Геринг: — Слушай, Франц, ты возьмёшь министерство юстиции, а по настоящему желанию фюрера

примешь также на время министерство иностранных дел. Позднее мы найдём кого-либо другого для этой цели.

Гюбер: — Ещё одно: Фишбек хочет поговорить с фюрером, прежде чем согласится окончательно со своим новым назначением.

Геринг: — Нет, этого не следует делать. В этом нет сейчас необходимости.

Гюбер: — Я также против этого. Пусть вызовет тебя.

Геринг: — Да, пусть он вызовет меня попозже. Сейчас не время для этого. И пусть он не придумывает никаких отговорок. Пусть он обнаружит хоть немного чувства

ответственности в такой исторический момент и действует надлежащим образом. Из министерских постов пусть он оставит за собой торговлю и промышленность. Кальтенбруннер получит службу безопасности, ты — министерство юстиции и на некоторое время — иностранных дел.

Гюбер: — Знает ли он уже об этом?

Геринг: — Нет, я скажу ему сам. Пусть он немедленно составляет кабинет и не прилетает сюда, потому что кабинет должен быть сформирован через час. Иначе все изменится, и нам придётся

пересмотреть все наши решения.

Гюбер: — Я немедленно выполню всё, что ты сказал мне.

Геринг: — Да, есть ещё один важный пункт, о котором я забыл упомянуть и который должен быть выполнен безоговорочно: возможно более быстрое разоружение красных, которые успели вчера вооружиться, и, конечно, без всяких нежничаний. Пусть Кальтенбруннер позвонит мне по номеру 125224.

Гюбер: — Зейсс-Инкварт пришёл.

Геринг: — Скорее передай ему трубку.

Зейсс: — Положение представляется сейчас в следующем

виде: президент Австрии принял отставку, но он придерживается той точки зрения, что только канцлер ответствен за Берхтесгаденское соглашение и его последствия. Он хотел бы вручить канцлерство такому человеку, как доктор Эндер. Наши люди сейчас у него — Глобочник и другие, они пытаются объяснить ему положение дел.

Геринг: — То, что вы сообщили мне, меняет всю картину. Скажите президенту или кому-нибудь ещё, что эта информация коренным образом отличается от той, которую нам сообщили ранее. Глобочник докладывал мне по вашему приказу, что вы уже назначены канцлером.

Зейсс: — Я — канцлер? Когда он сказал это?

Геринг: — Час тому назад. Он сообщил, что вы назначены канцлером и что партия легализована. Отряды СА и СС, заявил он, выполняют обязанности вспомогательной полиции.

Зейсс: — Все это ложь. Я предложил президенту, чтобы он назначил меня канцлером, но у него, как обычно, это займёт часа три-четыре. Что же касается партии, то мы ещё не в силах восстановить её. Но отряды СА и СС уже получили распоряжение взять на себя полицейскую службу.

Геринг: — Послушайте, так

нельзя действовать! Пусть кто-нибудь скажет президенту, чтобы он немедленно назначил вас канцлером и чтобы он согласился с кабинетом в том составе, в каком мы его наметили, с таким расчётом, чтобы вы получили канцлерство и армию.

Зейсс: — Господин генерал-фельдмаршал, Мюльман пришёл, он уже здесь. Может ли он доложить вам?

Геринг: — Да, пусть подойдёт.

Мюльман: — Президент всё ещё упрямится и продолжает отказываться. Он потребовал, чтобы империя предприняла официальный дипломатический демарш. Мы, трое национал-социалистов, пытались

поговорить с ним лично и втолковать ему, что положение таково, что ему ничего не остаётся, кроме как согласиться на наши требования, но нас даже не допустили к нему. Таким образом, он, повидимому, не намерен уступить.

Геринг: — Гм... (Краткая пауза)
Дайте мне снова Зейсса-Инкварта.

Зейсс: — Алло!

Геринг: — Слушайте.
Немедленно отправляйтесь вместе с нашим военным атташе генерал-лейтенантом Муффом к президенту и поставьте его в известность, что если он не примет наших требований, — а вы знаете, в чём они заключаются, — то войска, сосредоточенные вдоль

всей границы, выступят и Австрия прекратит своё существование. Генерал-лейтенант Муфф пойдёт с вами и настоит на том, чтобы вас тотчас же приняли. Сообщите мне немедленно, как реагирует на это Миклас. Скажите ему также, что мы получили ошибочные донесения, но если дела пойдут так, как сейчас, то вторжение в Австрию начнётся сегодня вечером вдоль всей границы. Если мы получим сведения о том, что сейчас же вы назначаетесь канцлером, то приказ о выступлении будет отменён и войска останутся по нашу сторону границы. Вам лучше всего издать декрет о немедленном восстановлении партии со всеми

примыкающими к ней
организациями, с тем чтобы
национал-социалисты возвратились в
города во всей стране. Вызовите их
повсюду на улицы. Генерал-
лейтенант Муфф пойдёт с вами к
Микласу. Я сам дам Муффу указания
на этот счёт. Если Миклас не смог
понять смысл создавшегося
положения в течение четырех часов,
то ему придётся понять его сейчас за
четыре минуты.

Зейсс: — Хорошо, понятно.

Усилитель умолк. Минуту или
две Геринг сидел, уперев кулаки в
жирные колени. Потом с кряхтеньем
растянулся на диване и закрыл глаза,
как будто собирался спать.

Находившиеся в комнате генералы и чиновники растерянно переглядывались.

Гауссу хотелось возмущённо крикнуть, топнуть ногою, прекратить унижение, которому подвергали его — генерал-полковника Бернера фон Гаусса. Но вместо этого глаза его опустились, руки вытянулись по швам и ноги словно приросли к полу плотно сдвинутыми каблуками лакированных сапог. Он был рад, когда в усилителе раздался голос:

— Алло, алло, у аппарата Кепплер.

— Пусть говорит, — ответил Геринг.

Кепплер: — Я только что

говорил с Муффом. Его демарш шёл параллельно моему, и я ничего о нём не знал. Он только что виделся с президентом, но тот снова отказался. Я позвоню наверх, чтобы узнать, не захочет ли президент поговорить теперь со мной.

Геринг: — Где сейчас Муфф?

Кепплер: — Муфф снова спустился вниз. Его демарш не увенчался успехом.

Геринг: — А что сказал президент?

Кепплер: — Что он не пойдёт на это.

Геринг: — В таком случае Зейсс-Инкварт должен сместить его. Идите наверх и скажите этому

дураку напрямик, что Зейсс-Инкварт вызвал национал-социалистскую гвардию и что не пройдёт и пяти минут, как я дам приказ войскам о выступлении. Дайте мне тотчас же Зейсса.

Кепплер: — Он здесь как раз. Сейчас он будет говорить с вами.

Зейсс: — Зейсс-Инкварт слушает.

Геринг: — Как дела?

Зейсс: — Простите меня, господин фельдмаршал, я не слышу вас...

Геринг: — Как идут дела?

Зейсс: — Президент ещё не изменил своего мнения. Он ни на что не решился.

Геринг: — Как вы думаете: решит ли он что-либо в течение ближайших минут?

Зейсс: — Я думаю, что это займёт не больше шести-десяти минут.

Геринг: — Теперь слушайте. Я согласен подождать ещё несколько минут. Вы должны сделать все живо и энергично. Я не могу взять на себя такую ответственность, мне нельзя ждать ни одной лишней минуты. Если за это время ничего не произойдёт, то вы прибегнете к силе. Понятно?

Зейсс: — Если он станет угрожать?

Геринг: — Да.

Зейсс: — Доктор Шушниг хочет объявить по радио, что германское правительство предъявило Австрии ультиматум.

Геринг: — Да, я слышал об этом.

Зейсс: — Нынешний кабинет добровольно вышел в отставку. Генерал Шилавский принял командование армией и отдал приказ об отводе австрийских войск с границ. Здешние господа решили сидеть и ждать вторжения.

Геринг: — Другими словами, вам не поручили составить новый кабинет?

Зейсс: — Нет.

Геринг: — Но вас отстранили?

Зейсс: — Нет. Никого не отстранили, но кабинет, так сказать, сложил с себя все обязанности и предоставил все самотёку.

Геринг: — И вы не назначены? В вашем назначении отказано?

Зейсс: — Да. На это они никогда не согласятся. Они держатся той точки зрения, что события и без того назреют, — я имею в виду вторжение. Они полагают, что когда произойдёт вторжение, исполнительная власть автоматически перейдёт ещё к кому-либо.

Геринг: — Теперь все ясно. Я тотчас же отдам войскам приказ о выступлении. Вы сами должны взять

власть в свои руки. Известите всех руководящих деятелей о том, что я вам сейчас скажу: всякий, кто окажет сопротивление, будет передан затем нашим судам — военным трибуналам войск вторжения. Ясно?

Зейсс: — Да.

Геринг: — Невзирая на положение и ранг. В том числе и руководящие лица.

Зейсс: — Да. Но они уже отдали приказы об отказе от сопротивления.

Геринг: — Не имеет значения. Президент не назначил вас — это тоже есть сопротивление.

Зейсс: — Ах, вот как?!

Геринг: — Теперь все в порядке.

Вы получили официальные директивы?

Зейсс: — Да, сударь.

Геринг: — Повторяю: мы считаем, что нынешний кабинет вышел в отставку. Но сами вы, Зейсс-Инкварт, ведь не подали в отставку. Следовательно, вы продолжаете осуществлять свои функции и должны принимать все нужные меры официально, от имени австрийского правительства. Вторжение произойдёт тотчас же. Отряды австрийских национал-социалистов, эмигрировавшие в Германию, присоединятся к нашим войскам в любой момент, или, вернее, выступят вместе и под прикрытием наших

регулярных войск. Вам, Зейсс, надлежит следить за тем, чтобы все шло гладко. Тотчас же возглавьте правительство. Да, да, сформируйте его и быстро доведите дело до конца. А для Микласа было бы лучше всего, если бы он сам ушёл в отставку.

Зейсс: — Он этого не сделает. Мы только что пережили драматическую сцену. Я говорил с ним минут пятнадцать, и он заявил мне, что не уступит силе, несмотря ни на что, и не назначит новый кабинет.

Геринг: — Значит, он не уступит силе?

Зейсс: — Да.

Геринг: — Что ж это значит?

Что его придётся фактически устранить?

Зейсс: — Я полагаю, что он будет настаивать на своём.

Геринг: — Отлично. Уберите его к дьяволу. Пусть будет так. И скорее формируйте правительство. Передайте трубку Кепплеру.

Кепплер: — Докладываю о происшедших событиях. Президент Миклас отказался делать что бы то ни было. Кабинет министров, однако, перестал выполнять свои обязанности, распорядившись, чтобы австрийская армия не сопротивлялась ни под каким видом. Таким образом, перестрелки не будет.

Геринг: — Очень хорошо, но все это не имеет значения. Теперь слушайте меня: самое главное сейчас в том, чтобы Зейсс-Инкварт принял на себя все функции правительства, обеспечил бы возможность пользоваться радио и прочее. Затем запишите: «Временное австрийское правительство, образованное после отставки кабинета Шушнига, считает своим долгом восстановить в Австрии законность и порядок, для чего настоятельно просит германское правительство способствовать ему в этом деле и помочь избежать кровопролития. Исходя из этого, оно просит германское правительство послать в

Австрию возможно быстрее немецкие войска». Вот текст телеграммы, которую мы должны получить.

Кепплер: — Слушаю.

Геринг: — Да, ещё одно. Зейсс должен закрыть границы, с тем чтобы нельзя было вывозить деньги из страны.

Кепплер: — Слушаю.

Геринг: — Прежде всего он должен взять на себя министерство иностранных дел.

Кепплер: — Но у нас ещё нет никого для занятия этой должности.

Геринг: — Не имеет значения. Пусть Зейсс возьмёт это на себя и пригласит пару лиц себе в помощь.

Ему нужно выбрать из тех, кого мы предложим. Теперь совершенно неважно, что подумает об этом президент.

Кепплер: — Слушаю, сударь.

Геринг: — Сформируйте временное правительство по плану Зейсса и известите остальные страны.

Кепплер: — Слушаю, сударь.

Геринг: — Зейсс сейчас единственное лицо в Австрии, располагающее какой-либо властью. Наши войска перейдут границу сегодня же.

Кепплер: — Слушаю, сударь.

Геринг: — Отлично. И пусть он поскорее пришлёт телеграмму.

Скажите ему также, что мы хотели бы... Впрочем, пусть он не посылает телеграмму. Пусть он только скажет, что послал её. Вы понимаете меня? Все в порядке. Для доклада об этом вы позвоните мне к фюреру или прямо ко мне. Теперь идите. Хайль Гитлер! Впрочем, постойте! Ещё одно: немедленно арестуйте Шушнига и доставьте сюда.

Зейсс: — Шушниг бежал.

Геринг: — Как бежал?.. Куда бежал?.. Так схватите его жену, детей. Шушниг должен быть у меня. Его бегство считаю предательством. Да, да, это предательство! Теперь меня не интересует, что они приказали своим войскам не

сопротивляться. Поздно! То, что президент не утвердил вас канцлером, и то, что Шушниг бежал, я считаю сопротивлением!.. (Геринг снова перешёл на крик.) Уполномочиваю вас действовать. Вот и все. Приказываю от имени фюрера... Наши войска перейдут границу до полуночи. Они в вашем распоряжении. Можете действовать со всей решительностью. Никакой пощады сопротивляющимся! Довольно!

Геринг решительно отвернулся от адъютанта, изображавшего подставку для микрофона, и, поддёрнув спадающие штаны пижамы, пошёл к выходу.

У двери он наткнулся на окаменевшую фигуру Гаусса.

— А, генерал!.. Хорошо, что вы пришли. Нам нужно поговорить о важной операции.

— Насколько я понял, операция «Отто» уже осуществилась.

— Да, и без единого выстрела! — весело воскликнул Геринг.

Он взял Гаусса под руку и повёл впереди толпы почтительно следовавших за ним офицеров.

— Фюрер в восторге от того, как идут дела! На очереди — «Зелёный план». Пора браться за чехов. Мы скрутим их в два счета! Мы не очень полагаемся на Шверера в

практических делах. Хотите взяться за эту операцию?.. За глотку чехов, а?..

В 22 часа 25 минут 11 марта телефонная станция имперской канцелярии произвела запись следующего разговора Гитлера с принцем Филиппом Гессенским, германским послом в Риме.

Филипп: — Я только что вернулся из Палаццо Венеция. Дуче воспринял новости весьма благоприятно. Он шлёт вам свои наилучшие пожелания. Он сказал, что слышал историю с плебисцитом непосредственно из Австрии. Шушниг рассказал ему об этом в

прошлый понедельник. На это Муссолини ответил, что такой плебисцит представляет собой явную бессмыслицу, невозможность, блеф и что нельзя поступать подобным образом. Шушницг ответил, что он ничего уже не может изменить, так как все теперь обусловлено и организовано. Тогда Муссолини заявил, что если это так, то австрийский вопрос его больше не интересует.

Гитлер: — Передайте Муссолини, что я никогда этого не забуду.

Филипп: — Слушаю, мой фюрер.

Гитлер: — Никогда, никогда,

никогда. Что бы ни произошло. Я готов также подписать с ним любое соглашение.

Филипп: — Да, я уже сообщил ему об этом.

Гитлер: — Поскольку австрийский вопрос разрешён, я готов теперь пройти вместе с Муссолини сквозь огонь и воду. Все это для меня сейчас безразлично.

Филипп: — Слушаю, мой фюрер.

Гитлер: — Послушайте, подпишите с ним любое соглашение, какое он пожелает. Я уже не чувствую себя в том ужасном положении, в каком мы находились ещё совсем недавно, с военной точки

зрения. Я имею в виду возможность вооружённого конфликта. Передайте ему ещё раз, что я сердечно благодарю его. Я никогда не забуду этого. Никогда, никогда!

Филипп: — Слушаюсь, мой фюрер.

Гитлер: — Я никогда не забуду этого. Что бы ни произошло, я никогда его не забуду. Когда бы ему ни случилось попасть в нужду или в опасность, он может быть уверен, что я окажусь подле него. Что бы ни произошло... Если даже весь мир восстанет против него, я сделаю всё, что смогу... Не забуду никогда, никогда.

И, наконец, ещё через день

произошёл телефонный разговор между Герингом и находившимся в Лондоне Риббентропом.

Геринг: — Вы уже знаете, что фюрер поручил мне руководство правительством, и я решил позвонить и дать вам него необходимую информацию. Восторг в Австрии неопиcуем.

Риббентроп: — Это прямо фантастично, не правда ли?

Геринг: — Конечно. Это событие полностью затмило наш последний поход — занятие Рейнской области, особенно в отношении народного ликования... Фюрер был глубоко тронут, когда я говорил с ним прошлой ночью. Вы

должны понять, ведь он впервые вернулся на родину. Но я хочу рассказать вам о политических делах. Разумеется, история о том, что мы предъявили Австрии ультиматум, — чепуха... Фюрер полагает, что вы, поскольку вы уже в Лондоне, могли бы рассказать англичанам, как, по-нашему, обстояли дела, и особенно внушить людям, что если они думают, будто Германия предъявила Австрии ультиматум, то они введены в заблуждение.

Риббентроп: — Я уже сделал это во время своей продолжительной беседы с Галифаксом и Чемберленом.

Геринг: — Я только прошу вас ещё раз сообщить Галифаксу и Чемберлену следующее: Германия не предъявила никакого ультиматума Австрии. Все это ложь. Поясните, что Зейсс-Инкварт, а не кто-либо иной, просил нас послать войска.

Риббентроп: — Мои совещания здесь, в Лондоне, подходят к концу. Если я буду болтаться здесь без уважительных причин, то могу оказаться в смешном положении. Между прочим, Чемберлен произвёл на меня наилучшее впечатление.

Геринг: — Рад слышать это.

Риббентроп: — Я имел с ним недавно длинную беседу. Я не хочу повторять её по телефону, но у меня

сложилось бесспорное впечатление, что Чемберлен честно старается сблизиться с нами. Я сказал ему, что сближение между Англией и Германией окажется гораздо легче после разрешения австрийского вопроса. Я полагаю, что он того же мнения.

Геринг: — Хорошо. Теперь послушайте. Поскольку вся эта проблема разрешена и ликвидирована всякая опасность волнения или возбуждения — ведь это и был источник всякой реальной опасности, — люди в Англии и всюду должны быть благодарны нам за очистку атмосферы.

Риббентроп: — Совершенно

верно. Если эта перемена и повлечёт за собой некоторое возбуждение, то это пойдёт лишь на пользу англо-германскому сближению. Под конец нашей беседы я сказал Галифаксу, что мы честно стремимся к сближению. На это он ответил мне, что несколько обеспокоен относительно Чехословакии.

Геринг: — Нет, нет. Об этом не может быть и речи.

Риббентроп: — Я говорил ему время от времени, что у нас нет ни интересов, ни намерений предпринимать что-либо в этом направлении. Я заявил ему, что если с нашими немцами там будут прилично обращаться, то мы,

безусловно, придём к соглашению и никогда не покусимся на Чехословакию.

Геринг: — Правильно, я тоже уверен, что Галифакс весьма благоразумный человек.

Риббентроп: — Мои впечатления от обоих — Галифакса и Чемберлена — превосходны. Галифакс полагал, что в данный момент здесь могут возникнуть некоторые затруднения в связи с тем, что в глазах общественного мнения все происшедшее покажется решением, навязанным силой, и прочее. Но у меня сложилось такое впечатление, что каждый нормальный англичанин, человек с

улицы, спросит себя: какое дело Англии до Австрии?

Геринг: — Разумеется. Это совершенно ясно. Есть дела, которые касаются народа, и другие, которые его не касаются...

Риббентроп: — Знаете ли, когда я последний раз беседовал с Галифаксом, у меня сложилось впечатление, что он не возражал бы на какие мои аргументы.

Геринг: — Отлично. Мы встретимся здесь. Я очень хочу повидать вас. Погода здесь, в Берлине, чудесная. Я сижу, закутанный пледом, на балконе, на свежем воздухе, и пью кофе. Вскоре мне предстоит выступить. Птицы

кругом поют... Это грандиозно!

Риббентроп: — О, это чудесно!

Бережно, методически Энкель брал из папки лист за листом и, держа его за угол, поджигал от поленьев, догоравших в полуразвалившемся очаге пастушьей хижины. Это был последний привал бригады, до которого ей удалось довести свой транспорт. Дальше — через перевалы и пропасти Пиренеев — предстояло идти пешим порядком: в баках автомобилей не осталось ни литра бензина. Разведывательный эскадрон Варги был спешен, кони рассёдланы. В самодельные люльки уложены раненые...

Нелегко было жечь собственное

сочинение, плод походных раздумий и бессонных ночей, но рука Энкеля не дрожала и черты его лица сохраняли обычное выражение спокойной сосредоточенности. Он не торопился и не медлил, прежде чем взять очередной лист. Он совершенно точно знал, сколько времени есть ещё в его распоряжении, чтобы уничтожить своё детище, — на то он и был бессменным начальником штаба бригады.

По мере того как бригада пробивалась к северу, её движение становилось все трудней. С момента выхода в Каталонию она дралась, чтобы выполнить решение о выводе

из Испании иностранных добровольцев, не складывая оружия к ногам франкистов, пытавшихся отрезать им выход. В то время, когда бригада стремилась вырваться из окружения, борьба на фронтах Испании продолжалась с неослабевающей силой, и её конечный результат все ещё не был ясен, несмотря на усилия мировой реакции помешать защите республики.

По соглашению, достигнутому в лондонском Комитете по невмешательству, ни одному из уходящих из Испании иностранных добровольцев республиканской армии не угрожали репрессии

фашистов, но все отлично знали, что ни испанцы, ни подданные «дуче» и «фюрера», — будь то итальянцы, немцы, мадьяры или новые «возлюбленные дети» Гитлера — австрийцы, — не избегнут тюрем и концлагерей. Поэтому для людей семнадцати национальностей из двадцати одной, входивших в состав бригады, этот поход был не столько борьбою за их собственную жизнь, сколько битвою солидарности, битвою за свободу товарищей. Батальоны Чапаева, Андрэ, Ракоши, Линкольна, Жореса и Домбровского совершали тяжёлый горный поход к французской границе во имя боевой дружбы с батальонами Тельмана и

Гарибальди.

Энкель понимал, что на нём лежит ответственность за то, чтобы все эти люди благополучно достигли французской границы. Там им будут обеспечены неприкосновенность жизни и свобода, дружеский приём, пища и кров.

Лично для себя он не предвидел ничего хорошего и во Франции. Там у него не было ни близких, ни друзей, ни возможности получить какую бы то ни было работу, — ведь он не знал французского языка. Что такое литератор, не знающий языка страны, в которой живёт?

Листы его сочинения, с таким нечеловеческим спокойствием

сжигаемого на огне, который Энкелю, быть может, в последний раз удалось развести на испанской земле, были для него едва ли не самой большой личной жертвой.

Он был старым солдатом я знал, на что идёт; он не собирался цепляться за жизнь. Но мог ли он подумать, что не сумеет сдержать слово, данное генералу Матраи, — довести до последнего дня повесть — дневник бригады, — сделать то, на что сам генерал не считал себя вправе тратить время?..

Огонь осторожно лизал листы, нехотя сворачивал их в трубку, словно не желая показать писателю, как закипают чернила написанных

им слов, как исчезают, сливаясь в одну чёрную рану, строки.

Один за другим сгоревшие листы либо уносились комком в чёрный зев очага, либо, выброшенные обратно порывом ветра, опадали прозрачными, красными, как раскалённый металл, лепестками. Энкель притрагивался к ним концом штыка, и они распадались впрах. Он не хотел, чтобы врагу, если он придёт сюда, досталось хоть одно слово.

Ветер пронзительно взвизгивал над крышей и постукивал грубо сколоченной дверью. В хижине было темно. Только огонь очага бросал красные блики на чёрные от копоти

стены, на серое одеяло в углу, мерно вздымавшееся от дыхания лежавшего под ним человека. Когда вспыхивал очередной лист, блики делались ярче, потом тускнели, укорачивались, гасли. Так до следующего листа.

Энкель был уверен, что лежащий в углу командир штабного эскадрона, ставшего теперь, как и вся бригада, пешей командой, спит. Он не знал, что Варга внимательно следит за каждым его движением. Не видел, каким негодованием горят глаза мадьяра, не видел, как сдвинуты его брови, как сердито топорщатся знаменитые на всю бригаду гусарские усы Варги.

Когда распался пепел

последнего листа, Энкель взял переплёт и после секунды раздумья аккуратно переломил его на четыре части и тоже бросил в очаг. Не глядя на то, как огонь охватывает картон, он застегнул походную сумку и перекинул её на ремне через плечо. При свете последних языков пламени посмотрел на часы.

— Не тужи, Людвиг, — неожиданно послышалось за его спиною. — Я верю, что настанет день, когда мне удастся вернуться в Венгрию и ты приедешь ко мне!

— Если буду к тому времени жив.

— Будешь, — уверенно бросил Варга и, поднявшись на локте,

принялся скручивать сигарету. — Я отведу тебе комнату наверху, с окном на виноградник, за которым видны горы. Ты будешь смотреть на них, потягивать вино моего изделия и, слово за словом, вспоминать всё, что сжѐг сегодня!

Энкель слушал с сосредоточенным лицом. Он редко улыбался, и даже сейчас, когда слова Варги доставили ему искреннее и большое удовольствие, он не мог воспринять их иначе, как с самым серьёзным видом.

Подумав, он сказал:

— Это неверное слово, Бела: «вспоминать». И я и ты тоже — мы оба, наверно, будем думать о том, что

происходит здесь. Ибо мы уходим отсюда, но сердца наши остаются здесь, с этим замечательным народом.

Варга с удивлением посмотрел на всегда холодного немца: слово «сердце» он слышал от него в первый раз.

— Хорошо, что ты так думаешь, Людвиг. Если испанцы будут знать, что все мы, побывавшие здесь, душою с ними, им будет легче.

— А разве они могут думать иначе? Какой залог мы им оставляем: прах наших товарищей — немцев, и венгров, и болгар, и итальянцев, и поляков — лежит ведь в испанской земле. Я верю, Бела, мы

ещё когда-нибудь вернёмся сюда, чтобы возложить венок на их могилы. И не тайком, а с развёрнутыми знамёнами.

— Да будет так! — торжественно воскликнул Варга.

— Мы уходим, но это не значит, что прогрессивное человечество бросает испанскую революцию на произвол судьбы. Помнишь? Гражданская война — это «тяжёлая школа, и полный курс её неизбежно содержит в себе победы контрреволюции, разгул озлобленных реакционеров...» Временные победы! — Энкель по привычке поднял палец. — Временные, Бела! Конечная победа непременно будет

за нами. So!

— Я никогда не отличался терпением.

— Тот, кто делает историю, должен видеть дальше завтрашнего утра.

— Может быть, ты и прав, ты даже наверно прав, но я всегда хочу все потрогать своими руками. Я думаю, что мы будем свидетелями полной победы над фашизмом.

— А ты мог бы усомниться в этом?

Варга не ответил. Они помолчали.

— А Зинна все нет... — Варга обеспокоенно взглянул на часы. — Куда он мог деться?

— Он с Цихауэром ищет скрипача, — помнишь, того, что аккомпанировал певице.

— Француз, которому оторвало пальцы?

— Они хотят держать его ближе к себе, чтобы не потерялся в горах.

— Надо пойти поискать Зинна. Вокруг нашего лагеря всегда шныряет разная сволочь. Того и гляди, пустят пулю в спину!

Варга сбросил одеяло и с неожиданною для его полного тела лёгкостью поднялся на ноги. Словно умываясь, чтобы разогнать сон, потёр щеки ладонями. Раздался такой звук, будто по ним водили скребницей.

— У тебя, видимо, нет

бритвы? — спросил Энкель.

— Не буду бриться, пока не попаду в Венгрию!

И Варга рассмеялся, потому что это показалось ему самому до смешного неправдоподобным, но Энкель не улыбнулся и тут.

Поддѣв штыком уголѣк, Варга старался прикурить от него сигарету.

— Проклятый климат, — ворчал он между затяжками. — Или пересыхает все до того, что мозги начинают шуршать от каждой мысли, или отсыревает даже огонь... А у нас-то, в Венгрии... — мечтательно проговорил он.

Сигарета затрещала и выбросила пучок искр.

Варга в испуге прикрыл усы и рассмеялся.

— Все фашистские козни... Петарды в табаке!

И рассмеялся опять. В противоположность Энкелю он мог смеяться постоянно, по всякому поводу и в любых обстоятельствах.

— Пойду поищу Зинна, — повторил он, когда, наконец, удалось раскурить сигарету, и, подобрав концы накинутаго на плечи одеяла, вышел.

Его коротенькая фигура быстро исчезла из поля зрения Энкеля, стоявшего у хижины и молча смотревшего на север, стараясь восстановить в памяти сложный

рельеф тех мест, по которым предстояло идти бригаде. Он был ему хорошо знаком по карте.

Ветреная и не по-весеннему холодная ночь заставила его поднять воротник и засунуть руки в карманы. Он стоял, слушал рокот горного потока, доносившийся так ясно, словно вода бурлила вот тут, под самыми ногами, смотрел на звезды и думал о печальном конце того, что ещё недавно рисовалось им всем, как преддверие победы. Они думали, что многое простится их несчастной родине за то, что они, тельмановцы, водрузят своё знамя рядом с победным стягом Испанской республики... Тельмановцы! Сколько

человеческих жизней! Неповторимо сложных в своей ясности и простоте. Сколько больших сердец! Тельман! Для многих из них он был олицетворением самых светлых мечтаний о жизни, которая придёт за их победой, — он, носитель идей, завещанных Лениным, идей Сталина... Он, знаменосец, которого они мысленно всегда представляли себе идущим впереди их батальона...

В темноте слышались шаги, стук осыпающихся камней. Энкель хотел было по привычке окликнуть идущего, но услышал перебор гитары и хриплый голос Варги:

Товарищи, мы обнимаем

вас.

Прощаемся с испанскими
друзьями

Возьмите чаше боевое
знамя,

Шагайте с ним в сражение
в добрый час

Во имя братства, что
связало нас...

Из темноты вынырнул силуэт
Варги.

— Посмотри-ка, что за
инструмент. — И Варга придвинул к
самому лицу Энкеля гитару, на
которой тускло поблёскивала
инкрустация из перламутра.

...Два жарких года схваток
и побед
Мы с вами честно шли
сквозь смерть и пламя,
В сердцах боев жестоких
выжжен след.
И где могил любимых
братьев нет!
Так жили мы, так умирали
с вами...

Варга умолк, прислушиваясь к
утихающему звону струн. Негромко
повторил:

И где могил любимых
братьев нет!..

И Энкель так же тихо:

И горе у живых в груди
теснится,
Нам незачем сегодня слез
стыдиться...

— А Варга неожиданно резко:

— Слез нет!.. Нет, и не будет!..

— Нет... не будет... А где Зинн

и другие?

— Тащат своего цыплёнка.

Варга исчез в хижине и через
минуту сквозь звон гитары весело
крикнул:

— А ты знаешь, Людвиг, моего

эскадрона прибыло! Они ведут сюда ещё и того чешского лётчика Купку, которого, помнишь, вытащили из воронки... — Он расхохотался. — Бедняга тоже безлошадный, как и я. Говорит, что, как только вырвется отсюда, раздобудет новый самолёт и перелетит обратно в Мадрид... Вообще говоря, неплохая идея, как ты думаешь?

— Вопрос о выводе добровольцев решён, — размеренно произнёс Энкель, — и мы не можем...

— Ты не можешь, а мы можем! — нетерпеливо крикнул Варга. — Чорт нам помешает!.. Вернёмся — и больше ничего...

Плевать на все комитеты! Только бы вывести отсюда немцев, а там, честное слово, вернусь в Мадрид! Непременно вернусь!

— Верхом? — иронически спросил Энкель.

— Чех возьмёт меня с собою на самолёте.

Пальцы Варги проворней забежали по струнам.

— Эх, нет Матраи!.. Без него не поётся.

Из темноты хижины до Энкеля донёсся жалобный гул отброшенной гитары. Он пожал плечами и сказал:

— Пожалуйста, минуту внимания, майор... Я изменяю порядок движения бригады. Твои

люди поведут лошадей с больными.

В дверях выросла фигура Варги.

— Мы условились: эскадрон отходит последним. Мы прикрываем тыл!

— Нет, — голос Энкеля звучал сухо, — последними идут немцы.

— А что, по-твоему, мои кавалеристы... — начал было Варга, однако Энкель, не повышая голоса, но так, что Варга сразу замолчал, повторил:

— Последними идут тельмановцы... So!

Варга шумно вздохнул.

— «So», «so»! — передразнил он Энкеля. — Значит, мы... госпитальная команда?!

Он хотел рассмеяться, но на этот раз не смог.

Это был уже третий пограничный пункт, к которому французские власти пересылали бригаду, отказываясь пропустить её через границу в каком-либо ином месте. И вот уже третьи сутки, как бригада стояла перед этим пунктом. Полосатая балка шлагбаума была опущена; в стороны, насколько хватал глаз, тянулись цепи сенегальских стрелков, виднелись свежеоткрытые пулемётные гнезда. Вдали, на открытой позиции, расположилась артиллерийская батарея.

Истомлённые горными

переходами, лишённые подвоза провианта, в износившейся обуви, ничем не защищённые от ночного холода, даже без возможности развести костры на безлесном каменистом плато, бойцы бригады с недоуменной грустью смотрели на ошестинившуюся оружием границу Франции.

У сенегальцев был совсем нестрашный вид: забитые, жалкие в своих шинелях не по росту, в ботинках с загнувшимися носами и в нелепых красных колпаках, они часами неподвижно стояли под палящим солнцем. В их глазах было больше удивления, чем угрозы.

Даррак, Лоран и другие

французы пытались вступить с ними в переговоры, но африканцы только скалили зубы и поспешно щёлкали затворами. С испугу они могли и пустить пулю...

Энкель и Зинн третьи сутки напрасно добивались возможности переговорить с французским комендантом. Он передавал через пограничного жандарма, что очень сожалеет о задержке, но ещё не имеет надлежащих инструкций.

Солнце село за горы. Энкель, упрямо поддерживавший в бригаде боевой порядок, лично проверил выдвинутые в стороны посты сторожевого охранения. А наутро четвёртых суток, едва край солнца

показался на востоке, посты, расположенные к северо-востоку, донесли, что слышат приближение самолётов. «Капрони» сделали три захода, сбрасывая бомбы и расстреливая людей из пулемётов.

Не обращая внимания на ухавшие с разных сторон разрывы и визг осколков, Варга подбежал к Зинну. Багровый от негодования, с топорщившимися усами, венгр крикнул:

— Посмотри!..

И показал туда, где на открытой вершине холма стояла французская батарея. Зинн навёл бинокль и увидел у пушек группу французских офицеров. Они все были с

биноклями в руках и, оживлённо жестикулируя, обсуждали повидимому, зрелище бомбёжки бригады. Со всех сторон к этому наблюдательному пункту мчались верховые и автомобили.

— Знаешь, — в волнении произнёс Варга, — мне кажется, это они и вызвали «Капрони»!

— Все возможно.

— Посмотри, они чуть не приплясывают от удовольствия после каждой бомбы! Если бы здесь могли появиться ещё и фашистские танки, те сволочи были бы в полном восторге.

— Ты не считаешь их за людей?

— Люди?! — Варга плюнул. —

Вот!.. Если бы они были людьми, республика имела бы оружие. От них не требовалось ни сантима, — только открытая граница. Они продали фашистам и её. Проклятые свиньи! Ты мне не веришь, я вижу. Идём же... — И он увлёк Зинна к группе бойцов, прижавшихся к земле между двумя большими камнями.

Когда Зинн спрятался за один из этих камней, первое, что он увидел, были большие, удивлённо-испуганные глаза Даррака.

— И эти негодяи называют себя французами! — сквозь зубы пробормотал Даррак.

За его спиною раздался неторопливый, уверенный басок

каменщика Стила:

— Посмотри на их рожи — и ты поймёшь все.

Увидев комиссара, Даррак поспешно сказал:

— Прошу вас, на одну минутку! — и потянулся к биноклю, висевшему на груди Зинна. Он направил бинокль на ту же группу французов, на которую показывал Зинну Варга. Он смотрел не больше минуты.

— И это французы... это французы!.. — растерянно повторял он, опуская бинокль.

Лоран сидел, прижавшись спиною к камню и молча глядя прямо перед собой.

Все так же неторопливо
раздался голос Стила:

— А тебе, Лоран, это ещё один урок: теперь ты видишь, что если в Испании фашизм официально и носил итало-германскую этикетку, то, содрав её, ты мог бы найти ещё довольно много других названий — от французского до американского! Фашизм, дружище, — это Германия Гитлера и Тиссена, Франция Фландена и Шнейдера. Это Англия Чемберлена и Мосли... Это, наконец, Америка Дюпона и Ванденгейма!..

— Тошно!.. Помолчи!.. —
крикнул Лоран.

— Эх ты, простота! Дай нам
попасть во Францию...

— Я мечтаю об этом, мечтаю, мечтаю! — кричал Лоран. — Дай нам только пробраться за эту проклятую полосу с черномазыми — и ты увидишь, что такое Франция, ты увидишь...

В волнении он было поднялся, но Стил сильным рывком посадил его за камень.

Зинн перебежал к единственной палатке, сооружённой из одеял. Здесь было жилище и штаб командующего бригадой. Энкель стоял у палатки во весь рост и, что удивило Зинна, тоже внимательно разглядывал в бинокль не удаляющиеся итальянские самолёты, а все ту же группу офицеров на французской земле.

— Смотри, — сказал он, увидев Зинна, — они спешат к холму даже на санитарных автомобилях, но ни одну из этих машин они не подумали послать сюда!

Но Зинн его не слушал, он спешил организовать помощь бойцам, раненым во время налёта.

— Что я говорил? Ага! Что я говорил?! — услышал Энкель торжествующий возглас Варги и, взглянув по направлению его вытянутой руки, увидел на дороге, ведущей к пограничной заставе, колонну конницы. Накинутые поверх мундиров бурнусы развевались, подобно сотне знамён, за спинами всадников.

— Стоило им дожждаться спектакля, который сами же они и устроили, — захлёбываясь, говорил Варга, — как они, повидимому, готовы открыть границу и выразить сожаление, что опоздали на полчаса. О, это они сумеют сделать! Скоты, проклятые скоты!

— Меня интересует другое, — проговорил Энкель. — Чтобы задержать нас, они не решились поставить на границе ни одного французского пехотинца. Смотри: сенегальцы и спаги. Я не удивлюсь, если следующих, кто идёт за нами, здесь встретит иностранный легион.

Между тем автомобиль, мчавшийся впереди конной колонны,

подъехал к пограничному столбу. Прибежал жандарм и пригласил Энкеля для переговоров с французским комендантом.

Переход мог состояться только на следующий день.

— Помяни моё слово, — сказал Варга. — Сегодня вечером опять прилетят «Капрони»!

Энкель не спорил. Он отдал приказ рассредоточить людей и надёжно укрыть раненых.

Но оказалось, что на этот раз ошибся Варга. Вечером прилетели не «Капрони», а «Юнкерсы». Они точно так же проделали три захода и ушли безнаказанно, провожаемые проклятиями добровольцев.

На следующее утро, ровно в десять тридцать, — время, назначенное французами, — первые солдаты интернациональной бригады (это были раненые французы из батальона Жореса) ступили на землю нейтральной Франции. Собственно говоря, про них нельзя было сказать, что они ступили на землю родины, так как ни один из них не был способен идти. Их носилки лежали на плечах товарищей.

У пограничного столба даже самые слабые раненые приподнимались и сбрасывали к ногам французского офицера лежавшую рядом с ними в носилках винтовку.

Офицер отмечал в списке имя солдата.

Рядом с ним стоял другой француз, небольшого роста, с гладко зачёсанными чёрными волосами на обнажённой голове. Словно нечаянно отбившаяся прядка спускалась на висок почти скрывая резкий белый шрам.

Этот человек был в штатском. Он держал другой список и ставил в нём крестики. Он поставил крестики против имён Цихауэра, Варги, Энкеля, Зинна и всех других немецких коммунистов...

И вот границу перешёл последний солдат бригады — её временный командир и начальник

штаба Людвиг Энкель. Шлагбаум опустился. Французы приказали добровольцам построиться побатальонно. По сторонам каждого батальона вытянулась конная цепочка спаги. Сверкнули обнажённые сабли. Растерянные и злые добровольцы запылили по горячей дороге.

Теперь первым шёл Людвиг Энкель. За ним, судорожно ухватившись за ус, тяжело шагал кривыми ногами Варга. Прошло довольно много времени, пока он смог выдавить из себя первую шутку. Но и она была больше похожа на старческую воркотню.

Ехавший рядом с Варгою спаги

ткнул его концом сабли в плечо и что-то крикнул. Молодые добровольцы не поняли его слов, но догадались, что говорить и смеяться воспрещается. А те из старых солдат, кто нюхал порох двадцать лет назад, разобрали слова спаги:

— Tais toi, tu la!.. Moscovite!

И сразу перестало казаться удивительным то, чему они удивлялись до сих пор: и сенегальцы, и колючая проволока, и даже «Капрони» с «Юнкерсами». Их встречала не Франция Жореса, имя которого было написано на знамени одного из батальонов бригады, а Франция Шнейдера и Боннэ, Петэна и де ла Рокка...

Тут были люди двадцати одной национальности. Они видели ремовских штурмовиков и эсесовцев Гиммлера; они видели карабинеров и чернорубашечников Муссолини; они видели полузверей из румынской сигуранцы и польской дефензивы; хеймверовцев и куклуксклановцев; они побывали в сотнях тюрем и концлагерей. Здесь они поняли ещё, что такое французские гардмоби́ли.

Лагерь, в котором третью неделю содержали бригаду, — все национальности, офицеров и солдат, здоровых и раненых, молодых и старых, — представлял собою каменистый пустырь без всякой растительности. Единственным, чего

правительство Франции не пожалело для своих вольнолюбивых гостей, была колючая проволока. Она трижды обегала пустырь, — три высоких ряда кольев, густо перевитых проволокой. Между этими рядами расхаживали все те же гардмоби́ли — существа в мундирах и касках, утратившие человеческий образ и дар речи. Они только рычали и угрожающе просовывали сквозь проволоку дула карабинов по малейшему поводу.

В лагере не было пригодного для больных жилья. Чтобы укрыть от ночного холода раненых, офицеры отдали свои одеяла.

В лагере не было воды. Чтобы

наполнить котелки из мутного ручейка, пересекавшего угол загородки, две тысячи человек с утра до вечера стояли в очереди.

В лагере не было дров. Не на чём было сварить фунт гороху, выдававшегося на день на каждом из четырех человек.

— Ну что, простота, ты все ещё ничего не понял? — иронически спрашивал Стил Лорана каждое утро, когда они, раздевшись, пытались вытряхнуть песок из складок одежды, куда он набивался под ударами пронзительного ветра. Песок был везде: в платье, в обуви, в волосах, в ушах, во рту. А так как воды едва хватало для питья, то уже

через несколько дней этот песок был настоящим бедствием. Он закупоривал поры, разъедал кожу. Единицами насчитывались люди, у которых глаза не были воспалены и не гноились.

Лорана, который уже многое понял, удивляло теперь другое.

— Ну, хорошо, — грустно говорил он, — я понимаю, что со мною, французским подданным, они могут делать, что хотят...

— Ты ещё не знаешь до конца, чего именно они хотят! — вставлял Стил.

— Я понимаю, что они могут безнаказанно издеваться над тельмановцами, за которых некому

заступить, над гарибальдийцами, которым не с руки обращаться к Муссолини, но вы-то, американцы, англичане, мексиканцы, швейцарцы, поляки и все остальные?.. У каждого из вас есть родина. Америке, например, стоило бы сказать слово...

Стил рассмеялся:

— А я, брат, вовсе не уверен, что это было бы за слово. Может быть, и лучше, что она молчит.

Энкель и Зинн неумоимо писали во все организации, которые казались им мало-мальски подходящими адресатами: от Красного креста до Комитета по невмешательству включительно. Но письма их и телеграммы оставались

без ответа. И они даже не знали, идут ли письма куда-нибудь дальше французской комендатуры.

Издевательски медленно тянулась процедура, которую а комендатуре называли опросом желаний. Добровольцев по одному вызывали в канцелярию и заставляли заполнять длинную и бесцеремонно подробную анкету.

Только на исходе пятой недели у ворот лагеря появились первые грузовики. Они забрали часть раненых и больных. На следующий день, и через день, и ещё несколько дней подряд, пока грузовики и санитарные фургоны увозили больных, в лагере происходила

тщательная сортировка людей. Комендатура делала вид, будто отбирает их в зависимости от того, куда они хотят отправиться, но добровольцы заметили совсем другое: немцев, австрийцев, итальянцев, часть венгров и саарцев — всех, в чьих анкетах значилось подданство стран фашистской оси, комендатура отделяла от общей массы эвакуируемых. Это вызывало подозрения. Зинн и Энкель протестовали, но комендант даже не дал себе труда посмотреть в их сторону. Тогда Зинн высказал свои опасения добровольцам. По лагерю пробежал тревожный слух о том, что немецких и итальянских товарищей

намерены выдать фашистским властям.

В ту ночь бригада не спала. А утром в лагере вспыхнуло восстание.

Нары нескольких жалких бараков оказались разобранными на колья и доски; решётки окон превратились в железные прутья. Под командою своих офицеров добровольцы атаковали караулки. Беспорядочно отстреливающиеся мобили были мгновенно выброшены за ограду, и колонны добровольцев, словно план сражения был разработан заранее, принялись за постройку баррикад вокруг доставшихся им нескольких пулемётов. Сунувшиеся было к

лагерю отряды мобилей и жандармов были быстро обращены в бегство восставшими интернационалистами. Двинутый против восставших полк сенегальцев залёг на подступах к лагерю, и когда политработники бригады объяснили черным солдатам смысл событий, полк отказался стрелять в добровольцев. Растерявшиеся французские власти прекратили попытки силой овладеть лагерем и вступили в переговоры с восставшими. Из переговоров сразу же выяснилось, что восстание не имеет никаких других целей, кроме гарантирования политической неприкосновенности всем добровольцам, без различия

национальности и партийной принадлежности. В таких условиях открытие настоящих военных действий против тех, кто лицемерно был объявлен «гостями Франции», было бы политическим скандалом таких масштабов, что на него не решились даже французские министры. Из Парижа примчались «уполномоченные» правительства с заданием любой ценой замять дело. Они добились этого: сносная пища, медикаменты для больных и гарантия честным словом правительства личной неприкосновенности — это было всё, что требовали интернированные.

Вокруг лагеря в один день вырос

городок палаток, задымили походные кухни. В ворота потянулась вереница окрестных крестьян, женщин из ближних городов и даже парижанок, нёсших добровольцам подарки — пищу, одежду, бельё, книги. Каждый нёс, что мог.

На следующий же день наново началась процедура отбора.

На этот раз она протекала с лихорадочной быстротой. В комендатуре снова появился маленький брюнет в штатском, с белым шрамом на виске, которого писаря почтительно называли «мой капитан», но род службы которого знал только комендант, именовавший его наедине господином Анря.

На этот раз Анри привёз с собою уже проверенные списки немцев.

Он лично наблюдал за тем, как подали закрытые фургоны и погрузили в них первую партию добровольцев. Среди них были почти все офицеры: Энкель, Зинн, Цихауэр, Варга и десятка три других.

Колонна машин с этой партией уже запылила по дороге на север.

Нахмурившийся Лоран долго смотрел ей вслед покрасневшими глазами. Может быть, они и не были краснее, чем у других, но Стилу показалось, что эльзасцу не по себе.

— Ну вот, — сказал каменщик, — теперь-то ты понял,

небось, все.

— Да, — тихо ответил Лоран и провёл заскорузлой рукой по лицу. — Пожалуй, я действительно все понял... Все до конца!

Эгон Шверер отложил газеты и посмотрел на часы. Сомнений не было: курьерский Вена-Берлин опаздывал. Это воспринималось пассажирами как настоящая катастрофа. Правда, поезд мчался теперь так, что кельнеры, пронося между столиками чашки с бульоном, выглядели настоящими эквилибристами, но лучшие намерения машиниста уже не могли помочь делу. Всю дорогу поезд двигался, как в лихорадке. То он часами стоял в неположенных местах, то нёсся, как одержимый, нагоняя потерянное время.

Пресловутая пунктуальность имперских дорог — предмет подражания всей Европы — полетела ко всем чертям с первых же дней подготовки аншлюсса. Южные линии были забиты воинскими эшелонами. На станциях неистовствовали уполномоченные в коричневых и чёрных куртках. Нервозная суета сбивала с толку железнодорожников, терроризированных бандами штурмовых и охранных отрядов, бесчисленными агентами явной и тайной полиции. Царили хаос и неразбериха. Только у самой границы, в зоне, занятой войсками, сохранялся относительный порядок.

Находясь в Вене, Эгон не предполагал, что всё это приняло такие размеры. Профаны могли поверить тому, что Третья империя действительно намеревалась воевать за осуществление аншлюсса.

Эгон расплатился и перешёл из ресторана в свой вагон. Его сосед по купе сидел, обложившись газетами. Это был чрезвычайно спокойный, не надоедавший разговорами адвокат, ехавший так же, как Эгон, от самой Вены. Его звали Алоиз Трейчке. Он был специалистом по патентному праву и имел бюро в Берлине. Очень деликатными намёками Трейчке дал понять, что если Эгону понадобятся какие-либо справки по патентам, по

промышленности и тому подобным делам — он всегда к его услугам. Установленная теперь связь с Веной позволит ему ответить на любые вопросы. Эгон спрятал карточку адвоката в карман.

При входе Эгона Трейчке молча подвинул ему часть своих газет, и Эгон так же молча взял одну из них. Он и не заметил, как заснул с газетою в руках.

Его разбудили толчки на стрелках. Мимо окон мелькали дома. Внизу, по блестящему от недавнего дождя асфальту, сновали автомобили.

Эгон без обычной радости окунулся в шумную толчею вокзала.

Берлин казался особенно

неприветливым после Вены, ещё не утратившей своей легкомысленной нарядности.

Эгон ехал с надеждой, что никого, кроме матери, дома не будет. Но, к своему неудовольствию, попал прямо к завтраку. Все оказались в сборе.

Эрнст сокрушался, что ему так и не удалось принять участие в «завоевании» Австрии. Генерал был тоже недоволен: австрийский поход его не удовлетворял даже как обыкновенные манёвры. Не удалось испробовать ни одного вида вооружения. С таким же успехом Австрию могли занять кухарки, вооружённые суповыми ложками.

Эгон пробовал отмолчаться, но генерал интересовался, как реагирует на аншлюсс средний австриец — интеллигент, бюргер.

— Как всякий немец, — вставил своё слово Эрнст. — О том, что происходит в Австрии, если это тебе самому недостаточно известно, я дам тебе более точные сведения, чем наш уважаемый господин доктор.

— Ты был там? — иронически спросил генерал.

— А ты не слышал по радио музыку, сопровождавшую триумфальное шествие фюрера?

— Каждая дивизия располагает, по крайней мере, тремя оркестрами. Силами одного корпуса можно задать

такой концерт, что мёртвые проснутся! — рассмеялся генерал, к очевидному неудовольствию младшего, сына. — Расскажи, Эгон, откровенно, что видел.

Ещё минуту назад Эгон не собирался поддерживать опасную тему, но бахвальство Эрнста его рассердило.

— Если бы вы не ввели в Австрию своих полков, фюрер никогда не вернулся бы на свою родину.

— Не говори глупостей, Эгон, — недовольно возразил генерал. — Австрия завершила свой исторический путь, вернувшись в состав великой Германской империи.

— Ни в одном учебнике истории не сказано, что Берлин был когда-нибудь столицей этой империи.

— Не был, но будет, — запальчиво сказал Эрнст. — Довольно этих марксистских намёков!

— Мария-Терезия никогда не возбуждала подозрений в причастности к марксизму, — сказал Эгон. — Между тем эта дама во время войны тысяча семьсот восьмидесятого года заметила, что опасность, угрожающая Австрии, заключается не столько в неблагоприятном для Австрии исходе войны, сколько в самом факте существования «прусского духа»,

который не успокаивается, пока не уничтожает радость бытия там, где он появляется. Она писала дословно так: «Я глубоко убеждена, что для Австрии, самым худшим было бы попасть в лапы Пруссии».

— Мой милый Эгон, — наставительно произнёс генерал, — эта старуха была не так глупа, как ты думаешь, а только жадна. Тогда ещё мог возникать вопрос: кто из двух — Австрия или Пруссия будет носительницей германизма. Живи она на полтора-два десятилетия позже, этот вопрос для неё уже не возник бы.

— А мне кажется, что если бы оба её последних канцлера не были слизняками, — заметил Отто, —

Австрия и теперь оставалась бы Австрией.

— Это зависело от Вены гораздо меньше, чем от Лондона, Парижа и Ватикана, — возразил Эгон.

— К счастью, и там начали понимать, что им нужна сильная Германия, — сказал Эрнст.

— Когда речь заходила о борьбе с Россией, Австрия и Пруссия тотчас забывали свои споры! — заключил генерал. — Кто бы из нас двух ни спасал друг друга от напора славянства — Австрия ли нас, или мы Австрию, — важно, что на этом фронте мы должны быть вместе!

— Зачем же тогда нужен аншлюсс?

— Чтобы вдохнуть в австрийцев
новый дух — дух новой Германия! —
сказал генерал. — Моё сознание и, я
надеюсь, сознание всякого
порядочного немца уже не отделяет
Вену от Германии!.. А что думают
венцы?

— Я был там слишком мало, —
уклончиво начал было Эгон, но
неожиданно закончил: — Впрочем,
достаточно, чтобы понять:
большинство нас ненавидит!

Генерал вздохнул:

— Да, это делается не сразу! Но
Вена, небось, веселится: концерты,
опера?.. О, этот Штраус! Та-ра-рам-
пам-пам...

— Венская консерватория

закрыта. Музыканты перебиты или сидят в тюрьмах. Бруно Вальтер вынужден был спастись бегством, оставив в наших руках жену и дочь...

— Бруно Вальтер?.. Бруно Вальтер? — удивлённо бормотал генерал.

— Подчиняться его дирижёрской палочке считали за радость лучшие оркестры мира, — пояснил Эгон.

— Мне стыдно слушать эту галиматью, папа! — резко сказал Эрнст. — Пусть господин доктор не разводит здесь коммунистической пропаганды! Народу сейчас не до капель-дудок!

Эгон не мог больше сдержаться.

— Народ! Какое право имеешь ты говорить о народе?.. Вы тащите народ на бойню, вы... — Он задышался. — Вас не интересует искусство? Ладно. А венская медицинская школа? Она дала миру такие имена, как Нейман и Фукс. Её уничтожили. Те из деятелей, кто не кончил так называемым самоубийством, сидят в концлагерях. Впрочем, что я тебе говорю о Фуксе! Для тебя и это такой же пустой звук, как Вальтер!.. Но, может быть, ты знаешь, что такое крестьянин? Так вот, австрийские крестьяне вилами встречают наших инспекторов удоя. Они отказываются понять, как наше крестьянство допустило введение

наследственного двора.

— Мы им поможем стать понятливее! — сказал Эрнст.

— Ах, крестьянин тебя тоже не интересуется? Это всего лишь «сословие питания»? Его дело давать хлеб и мясо для ваших отрядов и молчать? Так посмотри на промышленность, — нет, нет, не на рабочих, а на самих фабрикантов. Чтобы подчинить их себе, мы должны были снять австрийское руководство промышленностью. Мы импортировали туда таких молодчиков, как ты.

Эрнст выскочил из-за стола.

— Я жалею, что не нахожусь там и не скручиваю их в бараний рог!

— Ещё бы, ты ведь боялся, что вам могут оказать сопротивление! Конечно, лучше было сидеть пока здесь!

— Я не могу этого слушать!

— Эрнст, мальчик, успокойся. — Фрау Шверер погладила своего любимца по рукаву. — Эгги больше не будет! — Дрожащей рукой она протянула Эгону корзинку с печеньем. — Это, конечно, не знаменитые венские булочки, но ты любил моё печенье, сынок.

Эгон рассмеялся:

— Венцы, мама, вспоминают о своих булочках только во сне. Они снабжаются стандартным хлебом по таким же карточкам, как берлинцы.

— Какой ужас! — вырвалось у фрау Шверер, но она тут же спохватилась и испуганно посмотрела на Эрнста.

Эрнст решительно обратился к генералу:

— Мне бы очень хотелось, отец, чтобы Эгон не разводил в нашем доме этой нелепой пропаганды. Если ты можешь приказать это доктору — прикажи. Иначе мне придётся позаботиться об этом самому!

Фрау Шверер не решалась перебить Эрнста. В роли миротворца выступил генерал. Он увёл Эгона к себе в кабинет и, усадив в кресло, сказал:

— Давай условимся: гусей не

дразнить. Особенно когда они молоды и задиристы.

Генерал был с Эгоном ласковее, чем обычно. Старику хотелось поговорить откровенно. На службе такая возможность была исключена. Дома говорить было не с кем. С тех пор как Отто, покинув службу у Гаусса, стал его собственным адъютантом, генерал, в интересах дисциплины, прекратил обычные утренние беседы с ним. Эрнст как собеседник ничего не стоил. Эмма?.. При мысли о жене генерал насмешливо фыркнул.

Одним словом, он рассчитывал на разговор по душам со старшим сыном, но вместо того, после первых

же слов Эгона, жестоко обрушился на пацифизм сына, назвал его трусом.

— Когда речь идёт о войне, я действительно становлюсь трусом, — согласился Эгон. — Самым настоящим трусом. Я же знаю, что такое война!

— Будто я знаком с нею хуже тебя, — сказал генерал. — Но я не устраиваю истерик, не кричу, как полоумный: «Долой войну!» Только пройдя через это испытание, немцы добьются положения народа-господина.

— Народу этого не нужно. Дайте ему спокойно работать. Наше поколение слишком хорошо знает,

чего стоит война.

— Я тоже был на двух войнах!

— Таких, как ты, нужно держать взаперти! — вырвалось у Эгона.

Шверер был потрясён: сын оскорблял его!

Старик нервно передёрнул плечами, точно его знобило.

— Странное поколение! У нас не было таких противоречий... Вы разделились на два непримиримых лагеря. Когда вы встретитесь, это будет хуже войны... А ведь вы — родные братья. Почему это, мой мальчик?

— Я и Эрнст? Мы же как люди разных веков. В моё время Германию трясла лихорадка войны и в ней

загоралось пламя революции. В такой температуре открываются глаза на многое. А он не знает ничего, кроме трескотни господина «национального барабанщика»! Это для него лучшая музыка в мире.

Генерал остановил его движением руки:

— Договорим после обеда.

Стрелка хронометра подошла к делению, когда, как обычно, открылась дверь кабинета и Отто доложил, что машина ждёт. Отто хорошо знал своё адъютантское дело. Школа Гаусса не пропала даром. Правда, с отцом нужно было быть ещё более пунктуальным. Между ними не осталось прежних

дружеских отношений, — они стали строго официальными, но Отто это не пугало. У него были основания мириться с неудобствами своего положения.

Ещё раз кивнув Эгону, генерал в сопровождении Отто покинул кабинет.

Эгон остался один. Он пробовал понять отца и не мог.

Решил пойти к матери, чтобы расспросить об отце.

В столовой её не было. В примыкающей к столовой гостиной тоже царила тишина. Ступая по ковру, Эгон ощущал успокаивающую беззвучность своих шагов. Дойдя до дверей спальни, Эгон остановился.

Через приотворённую дверь, прямо против себя, он увидел большое зеркало и в зеркале Эрнста. Молодой человек не мог его заметить. Эгон видел, как Эрнст торопливо подошёл к туалету фрау Шверер и открыл шкатулку. Эгон знал, что в этой шкатулке мать хранила драгоценности. Порывшись в ней, Эрнст что-то взял и опустил себе в карман.

Не помня себя, ничего не видя перед собой, Эгон шагнул в спальню. Но через мгновение, когда он снова обрёл способность видеть и соображать, Эрнст уже спокойно закуривал сигарету.

— Ты тоже к маме, господин

доктор? — спросил он на. — Её нет дома. Кури!..

Эгон с отвращением оттолкнул протянутую Эрнстом коробку и поспешно вышел.

Эрнст нагнулся и спокойно собрал рассыпавшиеся по ковру сигареты.

Всю дорогу от Берлина Эгон не мог отделаться от ощущения физической нечистоты. Стоило закрыть глаза, как вставала фигура Эрнста в тесной рамке зеркала.

Он неторопливо вышел на вокзальную площадь Любека. Вещи были сданы комиссионеру для доставки в Травемюнде. Эгон был свободен.

Вокзальная площадь в Любеке невелика, но Эгону показалось, что здесь необычайно много воздуха и света. Он любил её, как и весь этот старый город. Каждый раз, проезжая его, Эгон воображал себя за

пределами Третьей империи. Он хорошо понимал, что это ложное впечатление случайного проезжего, не заглядывающего за двери домов, не задающего вопросов прохожим. Но с него было достаточно того, что внешне эти узкие, тёмные улицы сохранили неприкосновенным облик его любимой старой родины. Он нарочно не задумывался над тем, что делалось за толстыми стенами домов. Глаз берлинца отдыхал на благородных готических фасадах города, накрытых высокими шатрами черепичных крыш.

Было хорошо идти, не думая о том, почему так тихи и пустынные улицы, не замечая очередей у

продовольственных лавок, нищих на паперти кафедрального собора, молчаливых групп безработных на скамейках набережной против соляных амбаров...

Миновав тёмную арку крепостных ворот, Эгон вошёл в просторный квадрат рынка. Можно было не обращать внимания на то, что вывески на большинстве лавок унифицированы и принадлежат одной и той же фирме. Хотелось видеть только вот такие, как этот сапог, протянутый чугунным кронштейном на середину тротуара. Правда, их осталось совсем мало. Но какие-то упрямые последыши потомственных ремесленников,

видимо, решили умереть на постах предков, пронёсших своё дело через восемь веков вольного города. Крупным фирмам не сразу удавалось сломить упорство мелкого торгового и ремесленного люда.

Эгон зашёл в пивной зал. Из-за толстой кованой решётки пивной была видна приземистая аркада и круглые высокие шпили старой ратуши. Но пиво стало плохим; за резною перегородкой с цветными стёклышками, разделявшей пивную на две комнаты, слышались полупьяные выкрики, слишком хорошо знакомые всякому подданному коричневому государства.

Эгон с досадою расплатился и пошёл на Хольстенштрассе.

Там находилась небольшая лавка старого Германа: конторские принадлежности, открытки, книги, табак.

На дребезжащий звонок медного колокольчика вышла фрау Германн. Эгон был здесь не совсем обычным покупателем и знал, на какой приём может рассчитывать, особенно после длительной отлучки. Но с первых же слов хозяйки он уловил неладное. Разговорчивая и весёлая старушка была необычно сдержанна. Когда Эгон спросил о здоровье её мужа, она расплакалась:

— Тсс... тсс, господин доктор! С

ним очень плохо... Вы напрасно зашли сюда?

Вопросы были лишними. Эгон понял все: хозяин арестован. За лавкой наблюдают. Он действительно зря зашёл. Здесь, в Любеке, не так много приезжих, чтобы их нельзя было сразу отличить от своих. Но раз уж он был здесь...

— Эльза?!

— Она на работе.

Ну, если после ареста отца Эльзу не уволили с авиационного завода, значит дело не так уж плохо. Эгон попробовал утешить старушку. Но трудно было найти слова для человека, который не хуже его знал, что такое гестапо.

Эгон понимал, что едва ли можно выбраться отсюда так, чтобы никто не видел. Он никогда не занимался конспирацией, но знал, что если есть наблюдение, то ведётся оно за всеми входами. Не в его интересах было войти в одну дверь и выйти в другую.

Стараясь казаться спокойным, он купил ящик сигар, пачку почтовой бумаги. Фрау Германн не поверила глазам, когда Эгон отложил себе несколько открыток с портретами фюрера и министров и выбрал целую серию фашистских брошюр. Она была в курсе дел своего бедного мужа и знала, что тот по секрету снабжал доктора Шверера заграничными

книжками. О, это были только романы немецких писателей, раньше свободно продававшиеся в каждом киоске! Но теперь их приходилось получать через матросов, возвращавшихся из заграничных плаваний. Это всего лишь книги Генриха Манна, Бручо Франка, Бруно Фрея, но раз их запретили продавать, значит, запретили. Сколько раз она говорила мужу: брось это дело. Вот и расплата... Старик хотел заработать несколько лишних марок. Так трудно стало жить! Мало кто покупает эти портреты и брошюры в коричневых обложках. Чего доброго, люди от безденежья скоро перестанут курить! Чем же торговать, скажите,

пожалуйста? Разве это уже такое преступление, что старик купил у матросов несколько томиков немецких романистов? Ведь их авторы — немцы!

Слезы фрау Германн падали в ящичек конторки, когда она отсчитывала Эгону сдачу. Он вышел на улицу, держа на виду незавернутые книжки в коричневых переплётах.

Дома Эгон долго стоял под душем. Ему казалось, что если он хорошенько не смоет с себя нечто невидимое, но клейкое и нечистое, видение Эрнста в рамке зеркала не оставит его никогда.

Среди накопившейся почты Эгон

нашёл короткое письмо без подписи. Он машинально взглянул на него, не собираясь читать, но то, что он увидел, было так оглушающе-страшно, что он в бессилии упал в кресло и просидел неподвижно, пока не вошла экономка.

Экономка таинственно сообщила, что какой-то мужчина несколько раз справлялся об Эгоне. Незнакомец не назвал себя и даже, — голос экономки упал до едва различимого шопота, — просил не говорить о том, что был.

— Когда он приходил? — спросил с напускным спокойствием Эгон, хотя ему стало не по себе.

— Всегда вечером, когда бывало

уже темно.

Экономка многозначительно подняла жидкие брови. Эгону мучительно хотелось расспросить подробней, но что-то удерживало его. Он не знал за этой женщиной ничего дурного. И тем не менее все в ней отталкивало его. Ему казалось, что под её внешним благообразием скрывается существо злое и враждебное. Он и сам не мог бы точно сказать, откуда в нём эта неприязнь, но она была и оставалась непреодолимой, несмотря на доводы разума. Глупо было бы, в самом деле, допустить, что он, взрослый и уравновешенный человек, ненавидел старуху только за то, что видел

однажды, как она меняла чепец на аккуратно причёсанных волосах парика, держа его на коленях. С оголённым, жёлтым и блестящим черепом, остроносая и морщинистая, она выглядела злым сказочным существом. Кружево воротника вокруг жилистой шеи делало её похожей на грифа.

Эгон с неприязнью посмотрел на экономку.

— И вы не помните, как он выглядел?

— Я говорю вам, господин доктор: он приходил по ночам.

Она обиженно подобрала злые, тонкие губы.

Эгон понял: Германн давал

показания. Интерес к эмигрантской литературе мог дорого обойтись клиентам старика.

Как только удалось отделаться от экономки, Эгон перерыл книжные полки и отобрал всю сомнительную литературу.

Когда стемнело, он вынес пачку книг и бросил в траве.

На видных местах он разложил коричневые книжки, купленные у фрау Германн.

Было около одиннадцати вечера, когда появилась экономка.

— Он пришёл...

— С ним кто-нибудь есть?

— Пока никого, —

многозначительно ответила она.

— Ну что же, впустите.

— Он не желает снимать пальто.

— Если таковы его привычки...

Посетитель вошёл и тотчас затворил за собою дверь, оставив за нею разочарованную экономку.

Воротник пальто был у гостя поднят. Поля шляпы опущены на лицо. Прежде чем Эгон мог разобрать его черты, гость выглянул за дверь и строго сказал экономке:

— Не ближе десяти шагов от двери, уважаемая. Понятно? Ну, раз-два!

Голос был хорошо знаком Эгону. Эгон радостно крикнул:

— О, это вы, Франц!.. Знаете, за кого я вас принял?

Лемке приложил палец к губам и негромко сказал:

— Франца Лемке пока не существует. Я — Курц!

При виде разложенных всюду коричневых книжек Лемке-Курц рассмеялся:

— Вы думаете обмануть их этим? Если бы кошки были так наивны, мышки могли бы спать спокойно.

— Чашку кофе, Франц? Может быть, поесть?

— С удовольствием, — сказал Лемке, но тут же спохватился: — Для ужина нужны услуги экономки? Тогда отставить.

— Кажется, в её представлении

вы — полицейский агент.

— Это хорошо!

Эгон собрал ужин из того, что было под рукой.

— Картофельный пудинг будете есть?

— Почему бы нет?.. Для фюрера это плохая шутка истории: опять кригскартофель!

— Наше поколение знает, чем это кончится... Давно здесь?

— Не очень.

— Появление здесь связано с риском?

— У меня за кормой чисто. Посещая вас, я могу испортить себе репутацию.

— Посещая меня?

— Если дядюшка Германн скажет больше, чем нужно.

Эгон положил Лемке руку на плечо:

— Как хорошо, что вы здесь!

— Если б вы не были в отлучке, мы увиделись бы давно. Вы принесли бы нам пользу...

— Кому «вам»?

— Нам... Вы сами понимаете!

При этих словах Эгон испуганно посмотрел на дверь и хотел выглянуть в коридор. Лемке остановил его и приотворил дверь сам. Все было в порядке: экономка не решилась подслушивать.

— С полицией шутки плохи! — Лемке кивнул на висящий на спинке

стула пиджак Эгона: — Вот что было нам нужно.

Эгон не понял.

— Отличная почтовая сумка, — пояснил Лемке.

— Она к вашим услугам!

— К сожалению, поздно, доктор! Мне пора исчезнуть.

— Куда?

— В Берлин.

— Плохое место.

— Да. Очень сильно проветривается. Можно схватить насморк...

— Без вас я не могу быть тут полезен?.. Хотя бы в качестве почтовой сумки?

— Теперь вы не слишком

надёжный почтальон. Именно поэтому-то я к вам и пришёл, рискуя дурным знакомством. Лучше вам куда-нибудь уехать!

— Я только что из Австрии.

— Знаю.

— При желании, конечно, я мог бы туда вернуться.

— Гиммлер там, как дома. Вам полезно на некоторое время убраться за пределы нашего рая.

— Едва ли осуществимо.

— Ваша фирма посылает экспертов в Чехословакию. Я бы советовал вам как можно скорей...

— Мне что-нибудь угрожает? — спросил Эгон.

— Что может угрожать читателю

нелегальных романов? На вас заведут карточку. Вы утратите чистоту репутации. А она может нам пригодиться.

— Я рассчитывал немного отдохнуть...

Лемке состроил лукавую мину и многозначительно сказал:

— Вы были бы там с фройлейн Германн.

— С Эльзой?

Лицо Эгона говорило больше, чем если бы он стал выражать своё отношение к этому предложению словами самого гневного возмущения. Наконец он с отвращением проговорил:

— И обязанности фройлейн

Эльзы заключались бы в наблюдении за мной.

От неожиданности Лемке сел и молча уставился на Эгона.

— Фройлейн Эльза работает в этом почтенном учреждении, — повторил Эгон.

— Такие вещи не сообщаются случайным знакомым.

Эгон долго сидел неподвижно, опустив голову. Потом достал из стола конверт и бросил перед Лемке. Тот с удивлением прочёл анонимное письмо, разоблачавшее Эльзу Германн как агента гестапо при Эгоне.

Лемке ласково тронул Эгона за плечо и попытался сказать несколько

слов утешения. Но тут он увидел, что они звучат вовсе неубедительно: если в анонимке сказана правда — она отвратительна. Франц постарался переменить разговор.

— Что бы вы сказали, доктор, если бы я попросил от вас услуги, требующей большого мужества?

— Не думайте, Франц, что я перестал быть мужчиной...

— Товарищи вас знают.

— Вы преувеличиваете, Франц.

— Если в те тяжёлые годы капитан Шверер мог не выдать своего механика Лемке, то можете ли вы не быть мне другом теперь? Настали трудные времена для Германии, доктор. На стороне

разбойников в чёрных мундирах — сила государственного аппарата. Это так, но не нужно это переоценивать. Наша задача — помочь народу в борьбе против наци, как бы трудна она ни была.

— Она ещё не кажется вам безнадёжной? — спросил Эгон.

— Мы не так легко теряем надежду, доктор!

— Но ведь ваша партия потерпела поражение, она перестала существовать.

— Уйти в подполье ещё не значит быть разгромленным.

Эгон в сомнении покачал головой:

— Боюсь, что наименее

сознательная масса переходит на сторону других вождей.

— Нельзя закрывать глаза на то, что мы имеем дело с очень ловким врагом. Ещё одна-две таких бескровных победы, как Рейнская область, как Австрия, и Германия повернёт за Гитлером. Мы готовы к этому.

— На что же вы надеетесь?

— Кто же поверит, что народ, родивший Маркса и Энгельса, Либкнехта и Тельмана, безнадёжен? Он может заболеть...

— Длительно и тяжело, — вставил Эгон.

— Но как бы ни была ужасна бездна, в которую Гитлер ввергнет

Германию, кризис и выздоровление наступят!

Было уже поздно, когда Лемке собрался уходить. Перед тем как проститься, он спросил:

— Вы помните мою профессию, доктор?

— Бывало вы так часто повторяли мне, что ваша мечта — вернуться к фрезерному станку... Забыть это просто невозможно, — с добродушной усмешкой сказал Эгон.

— Нет, нет! — поспешно перебил его Лемке. — Я говорю о той профессии, которой обучила меня война.

— Когда-то вы были самым исправным шофёром в Германии, —

улыбнулся Эгон.

— И вы могли бы рекомендовать меня кому-нибудь?

— Охотно, но кому?

Лемке посмотрел в глаза Эгону.

— Мне хотелось бы работать у вашего отца.

— Вы не хуже меня знаете, какому просвечиванию подвергнется человек, желающий возить генерала фон Шверера.

— Я никогда не решился бы просить, если бы не был уверен в том, что не могу вас скомпрометировать. Я уже сказал вам: за кормой у Бодо Курца чисто, как у самого густопсового наци.

Эгон молча протянул Лемке

руку.

Уходя, Лемке увидел экономку в прихожей. Она мирно спала на стуле.

— Заприте дверь, тётушка. И вот что... Я ещё зайду кое о чём с вами потолковать. Но, — голос его сделался строгим, — смотрите, ни звука о том, что я был. Понятно?

Только когда сигара стала жечь губы, Эгон очнулся. Злобно швырнул окурок и налил себе вина. Выпил всё, что осталось в бутылке. Эльза?! А это не может быть клеветой?.. Он не может, не хочет поверить! Нет, он не верит!.. Эльза! Какой бред!..

Он решил больше не думать об этом, но и сам не заметил, как через

минуту мысли вернулись к тому же. Зачем Эльзе быть с ними? Она разумная девушка.

Эгон с треском отбросил крышку рояля и ударил по клавишам. Бурю листовского отчаяния сменил экстатический ритм равелевского «Болеро». Эгон любил его. Кто пляшет его теперь на окровавленных полях Андалузии, на руинах Мадрида? Не служит ли знойное пение флейт маршем для мавров, бредущих по выжженным плоскогорьям Кастилии? Эта музыка должна быть им понятна... Об африканских песках, о шаге караванов, о тенистой ласке оазисов поют флейты под мерный

аккомпанемент барабана... За
звоном струн рояля Эгон слышит
оркестр. Пальцы ударяют все
медленней. Танец становится
маршем варваров... Мавры идут
расстреливать Европу! Европа!
Эльза!.. Эльза!..

Францу Лемке так редко
удавалось бывать дома, что теперь,
во время этого приезда в Любек, он
не без труда принаравливался к
жизни, которую приходилось вести
его жене. Из типографии она
приходила поздно ночью, а иногда и
под утро, если цензура «наводила
порядок» в полосе объявлений. Все
содержание открытой немецкой

прессы было давно и достаточно надёжно «унифицировано» ведомством Геббельса, и единственным местом, где немцы могли дать свободу своему перу, была последняя полоса газеты: на ней печатались объявления. Но именно эта-то полоса и доставляла больше всего хлопот наборщице Кларе Буш, так как даже в объявлениях цензура искала подвоха и заставляла переделывать их по десять раз.

Иногда у Клары даже нехватало сил хорошенько вымыть на работе руки, и она приходила домой с пальцами, перепачканными краской и пахнущими скипидаром. Но это не мешало Францу с нежностью

подносить её руки к губам и ласково гладить ей пальцы, пока Клара отдыхала в старом, потрёпанном кресле те несколько минут, что закипал электрический чайник. Потом Франц доставал тщательно завёрнутую в бумагу, для сохранения тепла, кастрюльку с ужином и заботливо, как нянька, ухаживал за усталой женщиной.

Было бы ошибкою думать, что сам он бывал в это время свеж и полон сил. Ночные передачи «Свободной Германии», утомительные путешествия в окрестности Любека, где был скрыт передатчик, постоянное напряжение нервов из-за слезки — все это

требовало огромных душевных и физических сил. Только такой крепкий человек, как Франц, мог после всего этого терпеливо сидеть над книгою, в ожидании, пока вернётся жена, готовить ужин, заниматься домашними делами.

Частенько он откладывал книги, и мысли его вертелись вокруг того, что предстояло завтра: получение через жену нелегальной информации от руководящего партийного центра, нелёгкая и опасная задача хранения этой информация до вечера, поездка в лес под Любеком, радиопередача... Передачи не были обычной партийной нагрузкой Лемке. Их поручили ему вести по той причине,

что заболел товарищ, работавший с Кларой. Работа эта нравилась Францу, и он охотно променял бы на неё беспокойную, в постоянном движении жизнь, которую ему приходилось вести до того. Товарищ, через которого он теперь поддерживал связь с руководством подполья, сказал Лемке, что, по всей вероятности, ему теперь придётся вплотную заняться «Свободной Германией». Но из этого вовсе не следовало, что удастся побыть с женой: ведь именно теперь-то и пришло время перебросить передатчик в другое место, чтобы не дать фашистам запеленговать его. Лемке был старым солдатом партии,

и вопросы личных интересов и желаний давно уже стали для него вопросами второй очереди. Не так было в те времена, когда партия была легальной! Да, в те времена открытой партийной работы, открытой борьбы счастливо совмещалась партийная деятельность с личной жизнью.

Лемке отлично знал, что Кларе не легче, чем ему, хотя никогда не слышал от неё ни одной жалобы, не замечал тени недовольства. Вот только худела она не по дням, а по часам...

Услышав, что в двери повернулся ключ, Франц включил электрический чайник и пошёл

навстречу жене.

Он одним взглядом охватил всю её фигуру, лицо. Боже мой, как хорошо он знал это маленькое, такое хрупкое на вид, но полное такой необыкновенной силы тело! Как он любил каждую чёрточку этого бледного, худого лица с такими большими и такими синими глазами, что в каждый из них можно было глядеть, как в бездонную глубину целого неба! Как он любил, положив ей на затылок руки, почувствовать в них теплоту туго заплетённых в косы волос! Он любил всю её: от кончиков пальцев, наверно жестоко прозябших в плохоньких перчатках, до этого вот такого прямого, такого белого и

такого милого пробора на голове, который он сейчас поцелует... Лемке не могла обмануть улыбка, которую Клара поспешила изобразить на своём лице, едва заведя его. По глубокой морщине вокруг рта, по всем её движениям он угадывал усталость. Как всегда, усадив жену в кресло, он держал её руку в своей, предоставив ей медленно выкладывать новости, которые удалось узнать на работе.

Несмотря на то, что коммунистическая партия была загнана гитлеровцами в глубокое подполье, несмотря на жестокие репрессии, угрожавшие каждому, на кого падало подозрение в

принадлежности к её рядам, коммунисты ни на день, ни на час не прерывали борьбы. Больше того, партия крепла организационно; её люди закалялись, они приспособлялись к тяжёлым условиям подпольной работы, под постоянным пристальным наблюдением тысяч шпиков и доносчиков. В лицо и по имени члены партии знали только тех нескольких товарищей, которые составляли их группу, но от этого связь между организациями не ослабевала, информация оставалась регулярной, директивы от подпольных центров руководства были точны, ясны и своевременны.

Клара Буш была одним из тех звеньев партийной связи, через которые поступала информация для подпольного передатчика «Свободная Германия». Поэтому она почти всегда была в курсе жизни партии, в курсе очередных задач, которые нужно было решать в борьбе с гитлеровской пропагандой человеконенавистничества, с нараставшими усилиями фашистских банд разжечь вторую мировую войну. Это были задачи огромной политической важности, и скромная наборщица Клара Буш чувствовала всю ответственность, лежавшую на её плечах, перед партией, перед всем трудовым народом Германии.

Пока Клара, с неохотой очень усталого человека, ела и пила чай, Лемке рассказал ей о визите к Эгону Швереру.

— Мне очень хотелось бы восстановить его душевный мир, — сказал он в заключение, — но я не знаю, как это сделать.

Клара, подумав, ответила:

— Надеюсь, мне удастся установить, действительно ли Эльза Германн доносчица. У нас есть свои люди на заводе.

— Я был бы тебе очень благодарен.

— Этот Шверер нужен нам?

— Он мой старый знакомый и вполне честный человек.

— Ах, не верю я в друзей... с того берега.

— В том-то и дело, что он не на том берегу...

— На нашем? — она усмехнулась. — Не поверю.

— Он — между берегами.

— Значит, утонет!

— Его нужно вытащить, и вытащить к нам.

— Подумаешь, ценность! Интеллигентский путаник!

— Поможем ему распутать путаницу...

— Разве я возражаю! Хорошо, я узнаю все про Эльзу Германн. — С этими словами Клара встала из-за стола, и её взгляд остановился на

лежавшей на краю его книге в дешёвом стандартном переплёте евангелия. В глазах Клары мелькнуло беспокойство. — Зачем ты её вынул? — И она с ещё большим беспокойством перевела взгляд на угол пола: там был тайник, в котором она хранила кое-какую литературу.

— Потому, что, во-первых, мне захотелось это перечитать, а во-вторых, тебе не следует держать это дома, и, в-третьих, я беру это с собой.

— Мне не следует хранить, а тебе можно взять с собой? — Она покачала головой.

Франц поднял переплёт евангелия и скользнул взглядом по

заглавию: «Анри Барбюс. Сталин». Потом перебросил листки до заложенного места и, удерживая его пальцем, сказал:

— Сегодня утром мы с тобою говорили о том, что можно противопоставить крикливому вранью Геббельса, когда речь заходит о так называемых «национальных» интересах Германии. Я убеждён, что народ и сам скоро разберётся в том, кто с ним, кто против него. Не верить в это — значит не верить в творческие способности масс. И могу тебя уверить: эти творческие способности родят идеи — ясные и безошибочные, которые укажут народам путь: вперёд, только вперёд,

с нами!

— Я очень боюсь, что тем временем может разразиться война.

— Устами Барбюса передовая Франция говорит: «Если разразится война, СССР будет защищаться, — он будет защищать себя и все будущее человечества, представителем которого он является. Война эта охватит весь мир и в очень многих пунктах из империалистической превратится в революционную, в гражданскую. Это не столько политическая заповедь партии, сколько историческая необходимость».

— Да, это верно, — проговорила Клара. — Каким счастьем было бы,

если бы и мы могли от имени всей трудовой Германии так же сказать: мы знаем своё место в предстоящей схватке.

— Да, это было бы счастьем, — согласился Франц и, подойдя к Кларе, обнял её за плечи: — тогда мы могли бы прямо смотреть в глаза всему миру. Но что бы ни таило в себе для нас будущее, мы в нём уверены. Победим мы, коммунисты, — с нами Сталин!..

На другой день, приехав на завод, Эгон с головой ушёл в дела. Отчёт о поездке в Австрию занял несколько дней. Теперь дирекция не скрывала, что вопрос о передаче австрийского авиационного завода немцам был решён задолго до оккупации.

Эгон не заглядывал в проектное бюро, чтобы не встретиться с Эльзой. Она напрасно задерживалась там на лишние полчаса.

Придя на работу, он здоровался с нею таким же сдержанным кивком, каким приветствовал остальных сослуживцев. К тому времени, когда

служащим было положено расходиться, его уже не бывало в комнате. Эльза опять ждала напрасно.

О том, чего стоило Эгону это упорство, знал только рояль. Внезапно Эгон закрывал инструмент и садился за письменный стол. От нот — к интегралам. От симфоний — к теории упругости. Зарывался в расчёты. Работал с ожесточением...

Экономка подала письмо. Городская почта. Почерк Эльзы. Эгон почти со страхом бросил конверт на стол. Попытался снова уйти в работу. Он прижал верхний лист расчёта логарифмической линейкой. Пальцы ласкали белизну её граней, такую же

гладкую и прохладную, как клавиши.

Потянуло к роялю. Эгон встал. На глаза попался конверт. Эгон взял его, подержал, выдвинул корзину для бумаги и... вскрыл письмо.

Эльза была обеспокоена его отдалением. Она была огорчена. Она плакала. Каким жестоким нужно быть, чтобы так вести себя. Она думала, что догадалась: он завёл себе в этой Австрии другую девушку!..

Эгон с трудом разбирался в овладевающих им чувствах. Ложь, цинизм шпионки? Или он совершил ошибку, поверил грязной анонимке? Так легко позволить разбить свою веру в любимую девушку!

«Если ты не придёшь завтра

вечером, я буду знать, что делать. Я не могу пережить нашу любовь».

Нашу любовь, нашу любовь!..

Он напрасно пытался понять, как это могло случиться с Эльзой...

Эльза тоже ничего не понимала в происходящем. Вся её жизнь спуталась, — с того самого времени, как на их заводе появился доктор Шверер. Серьёзный, но живой человек, так мало похожий на её прежних знакомых, он очень нравился ей. Эльзе хотелось принарядиться, а денег не было. Торговля отца шла все хуже. Служба на заводе едва кормила.

Доктор Шверер стал ухаживать за нею. Шарффюрер заводской

нацистской организации, заметив её близость со Шверером, предложил ей помощь: она не должна быть плохо одетой, когда за ней ухаживает видный специалист. Организация даст ей денег на личные расходы. Пусть она сблизится с доктором Шверером и получает своё счастье. Шаррфюрер поставил единственное условие: доктор Шверер не должен и подозревать, что Эльза получает деньги от организации.

Эльза не сразу поняла, что шаррфюрер Шлюзинг выпытывает у неё такие подробности жизни Эгона, которые могут интересовать только полицию. Заподозрив дурное, она наотрез отказалась шпионить за

Эгоном. Эльзу пытались припереть к стене угрозами написать Эгону, что она сотрудница гестапо.

У неё нехватало мужества самой сказать ему обо всём. Узел запутывался. Арестовали отца за распространение нелегальной литературы...

Все это было выше её сил. Промучившись несколько дней, Эльза пришла к решению: как только Эгон приедет, сказать ему все. Но когда он вернулся, Эльза с первого взгляда поняла: он не тот, что был, он не хочет её знать. Но истинная причина перемены не приходила ей в голову. Наконец она решилась написать Эгону.

И вот её письмо, с буквами, расплывшимися от слез, в руке Эгона. Медленно, через силу разорвал он его, сложил клочки и снова разорвал. Клочки бумаги, как хлопья снега, усыпали пол вокруг кресла.

Дни шли тяжёлые, длинные, томительные. Как только кончалась работа, Эгон спешил домой. Вечерами он не выходил, боясь, что Лемке может прийти и не застать его. Видеть Лемке стало главным желанием Эгона.

Наконец однажды вечером экономка с прежней таинственностью сообщила:

— Он!..

Едва поздоровавшись, Лемке первый заговорил об Эльзе:

— То, что я узнал, нужно проверить ещё и ещё раз, но надеюсь, что так оно и есть: анонимка — ложь, она послана Шлюзингом. Пока я ещё не знаю, зачем это ему понадобилось, но узнаю и это...

Эгон молча отвернулся и отошёл к окну. Лемке сделал вид, что очень занят раскуриванием отсыревшей папиросы.

Эгона с нетерпением ждали на заводе. Из Берлина приехал начальник снабжения воздушных сил генерал Бурхард с начальником своего штаба полковником Рорбахом,

в сопровождении военных и технических экспертов. По растерянному виду директора Эгон угадал неладное. Ему с трудом удалось вытянуть полупризнание директора: по мнению высшего командования, выпуск нового типа пикирующего бомбардировщика слишком затягивается. Бурхард требовал немедленной демонстрации бомбардировщика. Доводы, что машина ещё не закончила цикла заводских испытаний, не возымели действия. Генерал настаивал на своём.

Эгон знал, что сам генерал мало понимает в авиационной технике. Бесполезно было втолковывать ему

что-либо. Эгон попробовал апеллировать к инженерам-экспертам. Те пожали плечами, боясь высказывать своё мнение.

Эгон решил не возражать. Он был уверен в своей машине, несмотря на тяжесть предъявленных требований. В небывало короткий срок он создал лёгкий бомбардировщик нового типа.

Эгону казалось, что он справился с задачей. Он даже гордился своим новым произведением. Но если комиссия захочет, то в несовершенстве опытного экземпляра можно увидеть органические недостатки конструкции, даже злой умысел

конструктора. При желании можно было придаться к чему угодно.

Эгон с тяжёлым сердцем ехал на аэродром.

Генерал Бурхард пригласил его к себе в автомобиль. Когда они остались вдвоём, отделённые от шофёра стеклом, Бурхард отбросил свою неприступность. Он дружески расспросил Эгона о работе, о жизни. Оказалось, что он хорошо знал, что Эгон сын генерала фон Шверера. Наконец, как бы невзначай, Бурхард задал вопрос, в котором Эгон сразу угадал главное: как сам Эгон относится к новому бомбардировщику? Ведь он, насколько известно, не только

прекрасный конструктор, но и опытный лётчик. Его мнение особенно ценно...

Эгон криво усмехнулся:

— Бюрократическая инерция вашего военного аппарата губит дело. Когда машина выходит на опытный аэродром — это самолёт сегодняшнего дня. Но его так долго проверяют, так боятся в нём каждой новой мелочи, что когда, наконец, решаются дать на него заказ, он оказывается уже устаревшим. А заказ у нас, как правило, бывает большой, изготавливается долго. Пока завод не сдаст его военному ведомству, никто не решится заикнуться, что самолёт устарел.

— Значит, фабриканты сами не видят недостатков своей продукции?

— Какой смысл промышленнику говорить о её несовершенстве, когда у него запущена серия в несколько сот штук? — откровенно сказал Эгон. — Заводчик не враг своему карману!

Бурхард нахмурился:

— Я говорю об обороне, а вы — о коммерции.

— Для директоров это одно и то же.

Генерал ударил себя снятою перчаткой по колену.

— Вот что, доктор, — решительно сказал он: — мы избрали ваш бомбардировщик

объектом эксперимента.
Технические условия, предъявленные
этой машине, на мой взгляд,
соответствуют самолёту,
необходимому для работы в горных
местностях. В ближайшем будущем
нам предстоит провести манёвры в
Богемии...

— Позвольте, — воскликнул
Эгон, — это же за пределами
империи!

Бурхард не обратил внимания на
его возглас.

— Исходной позицией будут
горные цепи вдоль границ Саксонии,
Баварии и Австрии. Я говорю с вами
откровенно, доктор Шверер, потому
что хочу, чтобы вы ясно представляли

себе задачу вашей новой машины.

Эгону пришлось взять себя в руки, чтобы казаться спокойным.

— Район операций не определяет их характера, генерал.

— Наступление. Бомбардировка.

— Объекты?

— В основном — узкие цели, узлы сопротивления — форты, батареи: бетон, сталь, земля... Возможны и населённые пункты.

Эгон боялся верить ушам. То, что говорил Бурхард, означало воину. Ни больше, ни меньше. А война с Чехословакией означала и войну с её союзниками — европейскую войну.

Бурхард испытующе смотрел на растерянного Эгона.

— Ваше мнение?

Эгон впервые с такою реальностью ощутил, что делает не ёлочные игрушки. С ним ещё никогда так просто и ясно не говорили о намерении сбрасывать при помощи его самолётов бомбы, уничтожать города, убивать людей. Цель его работы скрывалась за туманом отвлеченностей, символизированных цифрами и сложной терминологией технических требований.

— Я слишком давно отошёл от практики полётов, — неопределённо сказал он.

— Мне очень неприятно сообщать вам, но у правительственного инспектора

завода создалось впечатление, что процесс сдачи вашей машины затягивается. Слишком затягивается! Скажем так.

Бурхард видел, как щеки Эгона залились краской.

Эгон вспыхнул:

— Он так и сказал?

Бурхард предостерегающе поднял руку:

— Я говорю с вами совершенно конфиденциально.

— Что же, он подозревает меня в умышленном затягивании? — сердито спросил Эгон.

— Недостаток рвения. Скажем так... Может быть, виноват кто-либо из ваших сотрудников, ну, хотя бы

тот, кто ведёт испытания?

Эгон молчал.

— Вы никого не имеете в виду? — спросил Бурхард. — Мне говорили о какой-то Эльзе Германн...

Эгон уверенно проговорил:

— Не нахожу в её работе ни одного пробела, который можно было бы считать хотя бы ошибкой. Если кого-нибудь нужно обвинить в недостатке энтузиазма, пусть это будет главный конструктор группы.

— Вы?

— Вот именно.

— Никогда не будьте слишком уверены в себе, господин доктор.

— Я достаточно уверен в своей

машине.

Автомобиль остановился. Видя, что к ним подходят офицеры, генерал сказал:

— Разговор закончим в другой раз...

Эгон сам изложил экспертам недочёты, замеченные в машине. Представив своё детище со всех сторон, он устранился от выводов.

Когда комиссия закончила работу, Эгон не знал, радоваться ему или огорчаться: эксперты признали, что, помимо основного назначения корабельного бомбардировщика, его самолёт пригоден для работы в условиях горной войны. Он должен был быть как можно скорее

подготовлен к пуску в серию в сухопутном варианте. Эгон без объяснений понял, что это значило: Рудные горы, Судеты. Может быть, склоны Малых и Больших Карпат.

Что они затевают? Руками таких, как он, собираются перекраивать карту Европы? Им мало Австрии? Значит, очередь за Чехословакией. А что за нею? Может быть, Швейцария? Почему Боденское озеро до сих пор не целиком германское? А Скандинавский полуостров? И там война будет горной, и там его машина окажется на месте. А Балканы? Чорт возьми, почему господа инженеры и доктора математики считают себя глубоко

мирными людьми? Ведь если бы не они, генералам нечем было бы воевать! Сами генштабисты не могут выдумать простой зажигалки, не говоря уже о порохе. Какую эволюцию возвращения к древности должно было бы совершить военное искусство, если бы господа военные не опирались на инженеров!..

Перед отъездом Бурхард сказал Эгону:

— Мы поручим вам ответственную задачу нужно подумать над машиною совершенно нового типа. Для начала поговорим о «москитах»...

— «Москиты»? — спросил Эгон. — Никогда не слышал!

— Когда будете в Берлине, заезжайте ко мне. Я вам кое-что покажу. А пока — это между нами...

Когда стало известно благоприятное заключение комиссии, Эльза, не выдержав нервного напряжения, расплакалась у всех на глазах. Она не решилась подойти к Эгону, когда его поздравляли другие сотрудники. С завистью смотрела она, как Эгон взял под руку Пауля Штризе и, дружески беседуя с ним, повёл в бюро.

Молодой инженер, появившись на заводе, быстро завоевал симпатию Эгона умением схватывать на лету его идеи. Он был исполнительным помощником и способным

организатором. Мало-помалу к нему перешла часть работы, мешавшая Эгону: распределение обязанностей между инженерами бюро, наблюдение за выполнением задания. Эгон и не заметил, как Штризе стал его фактическим помощником.

В личных отношениях Штризе привлекал Эгона кажущейся непосредственностью. Он не стеснялся выражать свои мнения. Когда Штризе критиковал существующие порядки, Эгону нечего было добавить. Но зато очень часто вслед за этими суждениями следовали другие, резко противоположные взглядам Эгона.

Эгон искренно удивлялся: в голове молодого инженера точные технические идеи уживались с очевидным абсурдом, преподносимым министерством пропаганды. Когда Эгон рисовал Паулю картину того, что было бы с Германией, если бы её западные соседи взялись за оружие, Штризе со смехом возражал:

— Но ведь не взялись же!

При всем том Штризе знал своё место. Он был скромн, не лез на глаза, вносил в дело свою долю помощи незаметно.

Узнав, что Штризе играет на скрипке, Эгон несколько раз звал его к себе и охотно ему аккомпанировал.

Эльза ревниво следила за развитием их отношений. Она не любила Штризе и, пока была близка с Эгоном, делала все, чтобы помешать этой дружбе. Может быть, теперь Эгон нарочно подчёркивал своё расположение к Штризе, чтобы досадить ей? Чувствуя своё бессилие, Эльза могла только нервничать и плакать по ночам. Матушка Германн приписывала исчезновение Эгона боязни поддерживать отношения с семьёй арестованного книготорговца. Сидя по ночам у постели дочери, старушка бранила трусливого доктора Шверера.

От утешений матери Эльзе становилось ещё тоскливей, но она

не смела возражать.

Через несколько дней после отъезда комиссии, когда Эльза, понурая и одинокая, шла к автобусу, к ней подошёл блоклейтер.

— Тебя ждёт Шлюзинг.

Она попыталась ускользнуть, но блоклейтер ухватил её за руку и повёл в бюро Шлюзинга. Эльза не скрывала испуга и отчаяния. Она упала на стул перед столом Шлюзинга и, не дав ему произнести ни слова, сквозь рыдания, сбивчиво и путанно объяснила, что не может быть полезной.

К её удивлению, Шлюзинг не закричал, как обычно, не застучал кулаком, не затопал ногами.

— Вы глупая курочка, — сказал он, пряча от Эльзы маленькие колючие глазки. — Мы вовсе не собирались разбивать ваше счастье. Только помочь вам, понимаете? Помочь!

Но и это доброе слово звучало в его устах, как страшная угроза.

Шлюзинг помолчал. Эльза сидела, уронив голову на руки.

— Шверер знает о том, что вы работали у нас, — сказал Шлюзинг.

При этих словах Эльза содрогнулась. Так вот в чём разгадка охлаждения Эгона!

Блоклейтер должен был подать ей стакан воды. Её зубы стучали по стеклу.

Как сквозь сон, она услышала окрик Шлюзинга:

— Да перестаньте же наконец! Мы хотим, чтобы вы были счастливы. Мы даже поможем вашему счастью, но... вы должны будете нас отблагодарить: сообщать нам всё, что говорит доктор Эгон.

— Никогда! — горячо вырвалось у Эльзы.

Шлюзинг сбросил маску любезности. Эльза рыдала, уткнув лицо в платок. Шлюзинг обрушился на блоклейтера:

— Ты подсунул мне эту дуру! Убери её ко всем чертям, и чтобы я её больше не видел!

Блоклейтер

схватил

обессиленную Эльзу, вытащил в прихожую и вернулся к Шлюзингу. Тот быстро успокоился и коротко бросил:

— Эта дура вернётся к Швереру, или я спущу с тебя шкуру.

— Понял, начальник, — прошептал блоклейтер, бледнея.

Крепкий влажный ветер дул с моря, силясь сорвать с Эльзы незастёгнутое пальто. Она брела, как пьяная, попадая ногами в лужи. Долго шла молча. Ранние сумерки обволокли город промозглой темнотой. Редкие шары фонарей расплывались в холодном тумане. Усадив Эльзу на скамейку,

блоклейтер сказал:

— Ей-богу, Шлюзинг хороший парень. Он хотел выдать тебя замуж за Шверера.

Эльза откинулась на спинку скамьи.

— Я понимаю, — сказал он, — ты втрескалась в Шверера и думаешь, что он с другой.

Она отчаянно замотала головой и стиснула зубы.

— Это чепуха, — сказал блоклейтер. — Глупости. Он тебя любит, да, да, очень любит. И ты вернёшься к нему. Все забудется. — Помолчав, он добавил: — У вас будет ребёночек...

Эльза вскочила. Он схватил её за

руки. Она рванулась, но у неё не было сил. Он усадил её, стараясь скрыть торжество. Ведь он вовсе не был уверен в том, что сказал, а Эльза выдала себя.

Она бормотала, глотая слезы:

— Убирайся, или я закричу.

Слышишь, я буду звать на помощь!

Он наклонился к ней:

— Я позабочусь о том, чтобы

Шверер не забыл, что он — отец.

Эльза закричала:

— Ты не смеешь! — Она

заплакала. — Не ходи к нему, я прошу тебя. Он ничего не должен знать, — жалобно бормотала она.

— Дура, это же в твоих интересах! И послушайся моего

совета: не ломайся. Ведь он женится на тебе, когда узнает, что у тебя будет ребёнок.

Эльза сидела неподвижно и слушала, что говорил гитлеровец. Слова его заглушал свист ветра в ветвях ещё оголённых деревьев. Ветер делался все холодней. Он гнал с бухты солёную сырость. Эльзу трясло, она слышала, как стучат её зубы.

Вскоре после этого к подъезду дома Эгона подошёл Лемке. Мокрый клеёнчатый плащ блестящими складками висел на его широких плечах. Прежде чем позвонить, он оглянулся по сторонам.

При виде Лемке лицо экономки расплылось в угодливой улыбке. Она поманила его к себе и топотом выложила всё, что успела подсмотреть и подслушать со времени его последнего посещения.

Эгон несказанно обрадовался Францу.

Франц сказал:

— Условимся: если вы получите от меня открытку, где будет сказано, что Эльза ни в чём не виновата, — значит это так.

После этого Лемке попросил написать рекомендательное письмо к генералу.

Разговаривая, друзья не слышали звонка в прихожей. Звонок

был очень короток и чуть слышен. Перед экономкой стояли двое. Один из них был Шлюзинг. Его спутник придвинулся к экономке, молча отвернул лацкан пальто и показал значок гестапо. Экономка прошептала что-то на ухо Шлюзингу.

— Инспектор? — Шлюзинг поднял брови. — Какой инспектор?

— Тот который наблюдает за господином доктором. Я уже давала ему сведения о жизни господина доктора.

Шлюзинг и полицейский переглянулись. Полицейский быстро обшарил карманы плаща Лемке, оставленного на вешалке. В них ничего не оказалось.

— Стреляный воробей, —
сказал он Шлюзингу.

Растерянная экономка получила строгий приказ: ни слова мнимому инспектору об их посещении!

Шлюзинг быстро зашагал по улице, а шпик нырнул в ворота дома напротив. Закурив папиросу, он приготовился ждать. Дом Эгона был ему хорошо виден.

Выйдя от Эгона, Лемке благодаря опыту и постоянной насторожённости быстро заметил слежку. Это было неприятное открытие, но если «они» и напали на его след, то ещё не могли знать, кому он принадлежит.

Франц понимал, что сколько бы

он ни плутал по улочкам городка, шпик не отстанет. У фонаря Франц взглянул на ручные часы: ночной автобус в Любек уже ушёл. Осталось два часа до последнего поезда. Если он с ним не уедет, то не попадёт на утренний берлинский.

Франц быстро зашагал по дороге к Реннау. Через пятнадцать минут он вошёл в подъезд одиноко стоявшего дома. На лестнице было темно. Франц ощупью взобрался на второй этаж и постучал. За дверью поднялась испуганная возня. Долго не открывали. Франц слышал, как отворилась входная дверь внизу. Вспыхнула спичка, Франц увидел полицейского.

— Да открой же скорее, дядя Крауш, — нетерпеливо прошептал Франц.

— Это ты, а мы думали бог знает кто!

— Ну, ну, все в порядке!.. — Франц поспешно затворил за собою дверь. — Вы бы шли спать, матушка Крауш. Мне нужно переброситься с вашим стариком несколькими словами. Спите спокойно!

Крауш неловко топтался под недовольным взглядом жены.

— Давай-ка потолкуем на лестнице, — сказал он и взялся было за ручку двери. Лемке едва успел его удержать. Они прошли в кухню, и Франц рассказал о неожиданно

замеченной слежке.

Высокий, тощий Крауш долго чесал седую щетину небритых щёк. Франц включил свет и посмотрел в окно.

— Пусть убедится, что я здесь. Это заставит его подождать.

— Я думал, ты хочешь спрятаться.

Лемке отстранил его от окна.

— Тебя ему незачем видеть! Принеси-ка мой плащ и шляпу.

Франц задёрнул занавеску и недовольно покачал головою, слушая, как устало шаркает ногами Крауш.

— Ты не мог бы ступать пободрей, отец? — спросил он, когда старик вернулся.

Крауш вытащил трубку и стал набивать её крупным табаком.

— Если тебе на шестом десятке придётся посидеть год без работы, то и ты тоже не станешь прыгать, как лань...

— Примерь-ка мой плащ и шляпу!

Крауш отогнал ладонью облако табачного дыма.

— Зачем?

— Может быть, сойдёшь за меня.

— Так бы сразу и говорил! — Крауш накинул плащ и надвинул на уши шляпу. — Хорош?

Франц оглядел старика:

— А ну, пройдишь!

Крауш послушно сделал несколько шагов.

— Поднимай ноги, не шаркай, — командовал Франц. — Так! Ещё разок в мою сторону... Так! Все в порядке!.. Теперь слушай, отец. — Франц положил руку на плечо Крауша. — Завтра я должен быть в Гамбурге. Видишь, я не боюсь тебе это сказать. Я тебе верю.

При этих словах Крауш пустил густую струю дыма и часто замигал.

— Ну, ты меня знаешь, Францле... Если бы я не был такой развалиной, ты же понимаешь, где бы я был.

— Знаю. Потому и пришёл!

Крауш вышел из кухни. Через

минуту он вернулся со старой
брезентовой курткой и фуражкой для
Франца.

— А тебе придётся научиться
шаркать ногами. Попробуй... Что ж,
в темноте сойдёшь за меня... Я рад,
что ты зашёл, Францле. Чертовски
трудно жить, когда знаешь, что дело,
на которое ушла вся твоя жизнь,
кончилось.

— Это в тебе говорят твои
старые социал-демократические
дрожжи, Крауш. Мы ещё поживём,
поборемся!

— Какая уж тут борьба, если
знаешь, что ты один!

— Именно это-то и есть
величайшая чепуха, Крауш. Нас

загнали в подвал, но от этого мы не стали одиночками. Пока мы живём и дышим, им приходится держать ухо востро.

На улице, идя впереди шпика, неотступно следовавшего за ними, они условились о дальнейшем плане действий.

— Мы расстанемся у «Браунехютте», Крауш. Ты зайдёшь туда хлебнуть пивца. Задержи инспектора на часок, пока не отойдёт поезд.

— Будь покоен!

Скоро они поравнялись с домом гостиницы, на фронтоне которой висел щит с изображением орла, держащего в лапах свастику. Через

несколько шагов они расстались у дверей пивной «Брауне-хютте». Когда Франц жал на прощанье руку Краушу, шпик был почти рядом с ними. Шаркая ногами, Франц пошёл дальше и свернул на дорогу к Гневерсдорфу. Из-за угла он посмотрел, вошёл ли полицейский за Краушем в пивную. Все было в порядке. Быстро, почти бегом, Франц обошёл квартал и вернулся к вокзалу. Едва он успел взять билет, как слышался шум поезда, подходившего со стороны Штранда...

Прильнув к стеклу вагонного окна, Франц внимательно наблюдал за платформой: он был единственным пассажиром, севшим

в этот поздний поезд на Любек.

Поезд громыхал на стыках.

Франц задремал.

Он очнулся, почувствовав, что поезд стоит. Неужели прозевал? Подскочил к окну. За стёклами было темно. Где-то впереди горел одинокий фонарь. В пятне света виднелся угол кирпичного домика станции и вывеска «Папендорф». Франц успокоился. До Вальдхузена оставалось ещё несколько минут. Поезд снова тронулся. Как только он прошёл станцию, Франц стал на лавку и вывернул лампочку. Открыл дверь и сошёл на продольную ступеньку для кондукторов.

Струи дождя сразу пронизали

старенькую куртку Крауша, Франц съёжился от холода, держась за поручни окостеневшей рукой. Он напряжённо вглядывался в темноту. Не было ни одного огонька вокруг. Невозможно было определить местность. Вот поезд прогрохотал по мостику над ручьём. Значит, до Вальдхузена осталось несколько сот метров. Франц что было силы прыгнул вперёд, подбирая ноги...

Промокший до нитки Лемке вошёл в редкий лесок. Тут луж было меньше, но он дважды упал, натыкаясь на пни.

Среди деревьев показались неясные контуры хибарки. Франц прислушался: кругом царила тишина. Он негромко свистнул. Было слышно, как стукнула задвижка и слегка скрипнула дверь домика. После некоторого молчания послышалось:

— Франц?

— Рупп?

Франц вошёл в дом и отряхнулся.

Стоя на коленях в углу, Рупп

склонился над какими-то банками.

— Мы опаздываем, — сказал он.
Франц рассказал про слезку.

— Худо, — сказал Рупп. — А я принёс новый аккумулятор. Ребята зарядили на совесть.

— Давай начинать!

Рупп подошёл к очагу и отодвинул заслонку. Пока он включал и настраивал передатчик, Франц разделся и, ляская зубами от холода, выжал мокрую одежду.

Нити ламп едва краснели в темноте. Верещал разрядник. Франц достал из очага микрофон.

— Слушайте, слушайте! Здесь передатчик «Свободная г-Германия». Сегодня мы говорим с вами

последний раз перед некоторым перерывом. Слушайте, слушайте... Дорогие друзья!..

Рупп с удивлением следил за передачей. Когда Франц кончил, он резко спросил:

— Почему перерыв?

— Есть указание партии. Мне нужно уехать.

— Я-то остаюсь!

Лемке взял его за руку.

— Ты больше не придёшь сюда.

— Но я же могу вести передачу!

— Ни в коем случае!

— Объясни, почему.

— Ты провалишься.

После минутного размышления Рупп повторил:

— Я должен работать!

Франц рассердился. Его голос звучал сухо:

— Запоминай хорошенько: ты придёшь сюда в последний раз завтра, чтобы разобрать передатчик. Все уложишь в отдельности для перевозки... Будь готов по первому требованию выехать с тем, кого я пришлю за передатчиком.

— Куда ты едешь, Франц?

Франц подумал.

— Вот приедет товарищ за станцией...

Рупп обиженно отвернулся.

— Будь здоров, Рупп! — Франц двумя руками потряс руку Руппа. — Спасибо!

— Я так рад, что мог поработать... Неужели мне больше не придётся?

— Придётся, ещё не раз придётся!

— Мы увидимся?

— Аккумуляторы вылей, просуши и спрячь.

— Мы их не возьмём?

— Куда же тащить такую тяжесть? Достанем на месте.

— А ребята так старались, заряжая.

— Кланяйся им. Пусть слушают нас через неделю. Выйди-ка посмотреть, все ли спокойно.

Рупп вышел, и вскоре снаружи послышался свист.

В лесу царил серый полумрак. Мокрый весенний рассвет пробирался среди деревьев. С моря тянуло холодом.

— Обратно в Травемюнде? — спросил Рупп.

— Сяду здесь в первый утренний, — ответил Лемке. Он протянул Руппу руку. — Ну, и ещё раз спасибо, друг!..

Вода захлупала под ногами Франца. Тропинки не было видно. Франц оглянулся и помахал рукой.

Когда домик исчез за деревьями, Франц резко изменил направление и в обход леса вышел на дорогу к станции Дэниш. Дождь прекратился, но ветер пронизывал до костей.

Весна была здесь неприветлива.

Надев резиновый фартук, Лемке старательно протирал замшею сверкающий глянец кузов. То, о чём он мог только мечтать, как о почти несбыточном, сбылось. Эгон устроил его на службу к генералу Швереру. Теперь зависело от самого Франца удержаться на этом месте, дававшем столько преимуществ, неоценимых в его положении. Он не имел права пренебрегать такою службой. И он ухаживал за генеральским «мерседесом», как за капризной дамой. Он мыл и тёр его не только после каждой поездки, но и перед выездом со двора.

Чёрный лак автомобиля блестел на солнце. Лемке повесил кусок замши на гвоздь и начал старательно мыть руки, когда в дверях кухни появился однорукий полотёр Ян Бойс, с которым они уже стали приятелями; два старых солдата быстро нашли общий язык, хотя они не знали друг о друге ничего, кроме того, что один был полотёром, другой шофёром и оба — отставными солдатами.

Появление полотёра в столь неурочный час удивило Лемке.

— Ты что это сегодня так поздно? — спросил он.

— Пришлось ехать к клиенту в Нойбабельсберг... У одного адвоката

были вчера вечером гости и исцарапали пол, а он... — полотёр наставительно поднял палец: — он любит такой паркет, чтобы, глядя в него, можно было бриться!

— Из-за какого-то адвоката ты позволяешь себе опаздывать к нашему генералу?

Бойс виновато развёл руками.

— Понимаешь, никак не мог не поехать к адвокату... Я предупредил фрау Шверер по телефону.

Лемке взглянул на часы и отвязал фартук.

— Ты куда?

Бойс посмотрел на небо, словно там было расписание его визитов.

— Поеду к Штеттинскому

вокзалу.

— Через часок я буду там же, — сказал Лемке. — Не будь автомобиль генеральским, я бы подвёз тебя.

— Я не в обиде, — усмехнулся Бойс. — Да через час мне и поздно. Я туда — сейчас же!

Он тщательно встряхнул зелёную суконку, завернул в неё щётку и протянул Лемке руку.

— Нам бы с тобою посидеть вечером за кружкой...

— Почему же нет?

— Ты как насчёт ската?

— Можно и в скат...

— Позвоню на-днях.

Бойс приподнял шляпу и направился к воротам, а Лемке

принялся чистить свою синюю форму.

Ему и в голову не могло прийти, что, выйдя из подземки у Штеттинского вокзала, Бойс, прежде чем отправиться натирать полы к смотрителю Дома инвалидов, с видом прогуливающегося бездельника завернёт на кладбище и, дважды пройдясь мимо памятника Эйхгорну, чтобы убедиться в том, что он один в аллее, начнёт с интересом разглядывать надгробие незадачливого «покорителя» Украины. Когда он уйдёт, в щели между гранитом постамента и бронзовой доской останется лежать коробка из-под сигарет, — та самая,

ради которой часом позже Франц Лемке явится изучать знакомый ему до мелочей памятник.

Расклеив крышку коробки надвое, Лемке узнает, что осуществление плана бегства четырех товарищей из концентрационного лагеря — Варги, Энкеля, Зинна и Цихауэра — назначено на такой-то час такой-то ночи. Он узнает и то, что организация рассчитывает на генеральский автомобиль, которым располагает Лемке. Одним словом, он узнает всё, что нужно. Он только не будет знать ни имени адвоката Алоиза Трейчке, от которого придёт приказ, ни того, что этот приказ

доставил в «почтовый ящик Эйхгорна» однорукий полотёр Ян Бойс...

Сидя за рулём генеральского «мерседеса», Лемке выехал из ворот и плавно затормозил у подъезда, готовый в любую секунду распахнуть дверцу перед Шверером, который должен был вот-вот появиться в дверях.

Улица представляла собою сплошную лужу. Из воды выступали жёлтые края колеи, пробитой в глинистой почве. Колея тянулась из конца в конец улицы, как рельсы.

Вдоль неё не было видно следов копыт, — ни на улице, ни на пустыре, куда выходила колея.

Пространство между колеями было вытоптано людьми. На глине виднелись следы разных форм и размеров: широкие — от тяжёлых армейских сапог; узкие — от городского ботинка; узорный отпечаток самодельной туфли с подошвой из шпагата; даже след

босых ног попадался нередко. Было ясно: проезжавшие здесь повозки тянули люди, много людей.

На углу улицы стоял столб с надписью: «Проспект Елисейских полей».

С первого взгляда низкие постройки, вытянувшиеся строгими рядами вдоль Елисейских полей, можно было принять за ярмарочные балаганы. Их фасады были разрисованы. Это была не рыночная мазня и не упражнения дилетанта: сочность красок, глубина перспективы, прозрачность воздуха, заполнявшего промежутки между деревьями и прятавшимися за ними домами панорамы, — все говорило о

высоком мастерстве художника.

Художник воспроизвёл летнюю картину Елисейских полей. На первом плане неслись нарядные автомобили, в боковой аллее — всадники, целая весёлая кавалькада. На скамьях сидели парочки. Беззаботная жизнь праздной толпы Елисейских полей.

Все это было бы радостно и красиво, если бы не один штрих, варварски яркий и грубый, разбивший все усилия живописца. Над дверью барака красовалась вывеска, исполосованная государственными цветами Третьей империи. Она была точно шлагбаум, преграждающий путь в мир,

вдохновивший художника, —
«Тринадцатая рота».

Весеннее солнце с одинаковой заботливостью золотило и нежные тона нарисованной сказки и полосатую эмблему действительности. Под его лучами вспыхнули окна барака. Теперь ясно можно было видеть в них переплёт железной решётки.

Дверь барака распахнулась. Человек в серой холщевой одежде вышел на улицу. Это был Зинн. Он прыгнул в лужу и побежал, разбрасывая брызги. Рядом с ним были дощатые мостки, но заключённый не имел права ступить на их сухие доски, предназначенные

для эсесовцев, несущих охрану лагеря. Вот он добежал до будки на углу и исчез в её дверях. Это было отхожее место, носившее здесь название «пивной». Название не было случайным. Чистку отхожих мест производили наиболее ненавидимые охраной заключённые. Им не давали вёдер. Им давали по пивной кружке, — обыкновенной фаянсовой кружке ёмкостью в пол-литра.

При всем желании эту работу нельзя было проделать быстро. Администрации же только это и было нужно.

На эту грязную работу уходили целые ночи. В такие ночи зловоние

приближался. На его лице была написана злая скука. Он посмотрел на вытянувшегося Зинна, в серой куртке, в серых штанах, концы которых были подвёрнуты, чтобы не мокнуть в воде. Роттенфюрер остановился и внимательно оглядел заключённого с ног до головы. И так же медленно — с головы до ног. Заключённый стоял в воде. Судорога озноба пробежала по его спине, свела шею, дёрнула за локоть.

Охранник молчал. Молчал и заключённый. Спрашивать не полагалось. Если начальство найдёт нужным, оно пояснит само. Заставив Зинна простоять ещё с минуту, охранник ласково проговорил:

— Штанишки, детка, штанишки!..

Зинн расправил подвёрнутые штаны. Концы их погрузились в воду.

— Пшел!

Охраннику надоело. Подав команду, он повернулся и затопал по мосткам.

Добравшись до двери барака, Зинн с трудом переступил окоченевшими ногами через порог.

— Ты знаешь, — сказал он Цихауэру, вот теперь я, пожалуй, был бы способен убить того скота, который отобрал у меня на французской границе ботинки.

Цихауэр усмехнулся:

— А помнишь, как ты тогда, на

границе, пытался убедить меня, будто на этих французов не следует сердиться, что они-де не ведают, что творят... О, они тогда уже отлично знали, чего хотят!

— Да, упрятать нас как можно дальше! Ловушка была подстроена довольно ловко, — Зинн криво усмехнулся. — Никакие уроки в жизни не пропадают даром.

— Ты уверен, что мы ещё будем жить? — Цихауэр в сомнении покачал головой.

— Глупости, — твёрдо произнёс Зинн, — все подготовлено.

Цихауэр снова покачал головой.

— Ты что... сомневаешься? — с беспокойством спросил Зинн.

— Я все больше убеждаюсь в том, как трудно, почти невозможно бежать.

— Ты... просто боишься!

После короткого раздумья

Цихауэр ответил:

— Может быть.

— Ты хочешь, чтобы я ушёл один?.. Это невозможно... Бросить тебя?!

— Да, это невозможно... одному не уйти...

— Что же делать? Остаться здесь я не могу. Смотри: они уже покончили с Австрией. Завтра наступит очередь следующего.

— А что значим в этой игре мы с тобой?

— Партия лучше знает.

Во все время этого разговора, происходившего чуть слышным шопотом в дальнем углу барака, возле маленькой чугунной печки, Зинн оттирал свои окоченевшие ступни. Едва он почувствовал, что они снова обрели способность двигаться, как барак наполнился оглушительным трезвоном сигнального звонка. Начиналась работа — бессмысленная работа после короткого перерыва на обед. Такая бессмысленная, что трудно было себе представить, как люди могли её придумать.

Каждый заключённый был «хозяином» большой бочки,

наполненной водой, и у каждого из них было по ведру. Бочки стояли на расстоянии десятка шагов одна от другой. Заключённые должны были, зачерпнув ведром воду в своей бочке, перелить её в бочку соседа. Трудность заключалась в том, что в доньях вёдер были проделаны дыры и вода выливалась, пока её несли. Когда одна из бочек пустела, обоим заключённым назначалось какое-нибудь наказание, причём «хозяину» опустевшей бочки доставалось сильнее — «за нерадивость»...

«Детка», как они прозвали надзиравшего за ними охранника, особенно ненавидевший Цихауэра за то, что тот был не только коммунист,

но ещё еврей и интеллигент, собственноручно пробил в дне его ведра вторую дырку штыком.

Не желая подвергать друга двойному наказанию, Зинн нарочно замедлял своё движение между бочками, чтобы они опустошались одновременно.

Когда Детка видел, что бочки пустеют медленнее, чем ему хотелось, он заставлял Цихауэра ставить ведро на землю и проделывать какое-нибудь гимнастическое упражнение, пока вода не вытекала совсем.

Если Детка бывал в хорошем настроении, он вместо гимнастики вынуждал Цихауэра выслушивать

поучения.

Пока из ведра, стоявшего на земле, вытекала вода, он, не торопясь, говорил:

— Вот видишь, детка, как нехорошо быть непослушным: рисовал бы ты себе голых баб, и не пришлось бы тебе теперь стоять передо мною. Впрочем, это далеко не худшее, что тебе предстоит, — до смерти переливать воду между этими бочками. Может случиться что-нибудь похуже... Понял? Но я тебе обещаю: если ты будешь вести себя хорошо в течение ближайшего годика, то я поручу тебе нарисовать ещё какую-нибудь картинку. Мы позовём самого тонкого знатока, чтобы он её

оценил. Если она будет хороша, ты её соскоблишь и примешься за новую. А если она будет плоха... Ну, если она будет плоха, тебе не позавидует даже повешенный за ноги. Понял, детка?

Детка бросил взгляд на ведро и, если оно успевало вытечь, командовал:

— За работу, господин доброволец!

И все начиналось сызнова.

Не так давно Цихауэр сказал Зинну:

— Скоро я сойду с ума.

— Ну, ну, держись!

Зинн и сам был готов ударить ведром по голове Детку. Но он держался. Он ждал известий из-за

проволами. Он был уверен, что рано или поздно они придут. Он был убеждён, что партия не может о них забыть и сделает все для их освобождения.

— Таких, как нас, тысячи, десятки тысяч, — с недоверием говорил Цихауэр. — Ты думаешь, всех их можно освободить?

— Может быть, и не всех, но тех, кто держится крепко, можно. — И чуть менее уверенно заканчивал: — Можно попытаться освободить...

И верил он не напрасно: весть пришла. Зинну было дано знать, что в одну из ближайших ночей будет совершена попытка организовать их побег.

До этой ночи оставались
сутки...

Ведра уже не казались им
такими тяжёлыми, лившаяся из них
на ноги ледяная вода такою
холодной.

Предстоящий побег делал
осмысленной даже бессмысленную
работу: отвести глаза Детке, сделать
вид, будто ничего не случилось.

Час за часом они черпали воду и
бегом таскали её к другой бочке.

Сегодня они даже перестали
считать перелитые ведра, как делали
это обычно. Теперь это не имело
значения. Так или иначе, им
придётся сегодня чистить «пивные».
Даже если, бы их бочки остались

полными до краёв, ротгенфюрер найдёт, к чему придраться, чтобы не дать им пропустить очередную «пивную ночь».

И они бегали и бегали, чтобы не дать ему заподозрить воскресшую в душах надежду.

Судя по положению солнца, до конца рабочего дня оставалось уже немного, когда вдруг весь лагерь наполнился оглушительным трезвоном. Это была тревога.

— Смирно! — слышалась команда надзирателей. — Руки на затылок!.. Остаться на месте!.. Не оглядываться!

Заключённые поняли, что это значит: кто-то бежал.

«Безрассудство, — подумал Зинн. —
Ведь ещё совсем светло. Кому могло
прийти в голову такое безумие?..
Довели... довели до отчаяния...
Проклятое зверьё!..»

Непрекращающийся трезвон,
вой сирены, несколько выстрелов —
и все стихло.

Где-то у ограды слышался лай
собак. Едва заключённые вернулись в
бараки, их снова выгнали на плац. В
сгущавшейся темноте свет
прожекторов, брызнувший поверх
голов, казался особенно ярким. В
этом свете с необычайной
отчётливостью выступала каждая
деталь серой арестантской одежды,
каждая черта измождённых серых

лиц. Заключённых выстроили двумя длинными шеренгами поперёк всего плаца. Дрожащий голубой свет прожекторов заливал перемешанную тысячью ног грязь. По деревянным мосткам, за спинами заключённых, прохаживались надзиратели. За тринадцатую ротой прогуливался Детка.

— Чтобы вам не было скучно, детки, пока заседает суд, вам покажут забавный спектакль...

Трусивший следом за ним помощник блокфюрера угодливо хихикал.

Заключённые стояли неподвижно. Не было даже тайного перешёптывания. Они уже знали, что

изловили двоих. Но кого именно — не знали. Кто бы они ни были, эти двое отчаявшихся, — это их товарищи по несчастью.

Шеренги арестованных тянулись, словно два серых забора из поставленных в ряд изношенных шпал. Бесформенной была мешковатая одежда, бесформенными казались одутловатые лица.

Стоять заставили долго. Ноги каменели в холодной грязи, но люди не шевелились. Кроме шагов надзирателей и брани, не было слышно ни звука.

Наконец в конце живого коридора показалась небольшая группа: охранники вели одного из

пойманных беглецов.

— Ага! — весело воскликнул Детка. — Неофициальная часть начинается!

Когда Зинн разглядел лицо арестованного, шагавшего между конвоирами, он сразу понял, что бегство инсценировано тюремщиками, пожелавшими разделаться с ненавистным им арестантом-коммунистом.

Между палачами шёл Энкель. Да, тот самый Людвиг Энкель, писатель-солдат, самый аккуратный начальник штаба, какого когда-либо видел Зинн. Всегда спокойный, обладающий железною выдержкой, Людвиг не мог совершить такой

глупости, как бегство при свете дня. Его не могли вывести из равновесия никакие пытки, никакие издевательства тюремщиков. Нет, Зинн не поверит тому, что Людвиг совершил такую глупую попытку бежать!.. Сомнений быть не могло: его воображаемая «поимка» была подстроена эсесовцами, чтобы на глазах у остальных уничтожить одного из самых стойких товарищей.

Людвиг шёл с поднятою головой. Едва заметным движением глаз он отвечал на взгляды товарищей.

Встретившись с ним взглядом, Зинн понял: Людвиг знает о том, что это конец. И, как ни привык Зинн к

тому, что каждый день совершалось тут на его глазах, он нервно повёл плечами.

Зинн старался не гадать о том, что будет. Один из охранников надел на шею Энкелю высокий воротник из толстой кожи и накрепко затянул его ремнём.

Никто из заключённых не знал, что готовится. Такое они видели впервые. Если бы не окрики расхаживавших за их спинами тюремщиков, то и дело покрикивавших: «Но, но, вы! Не опускать головы!», «А ну, ты, там, не гляди в сторону!» — все головы опустились бы. Но правила лагеря предусматривали и это: арестанты не

имели права не смотреть на экзекуцию.

— Вот, — сказал Детка, когда ошейник Энкеля был застегнут, — теперь он может показать, как умеет бегать!

Распорядитель экзекуции подал сигнал. Энкеля толкнули в спину:

— Беги!

Но он остался неподвижен. Он предпочитал не доставлять тюремщикам последнего удовольствия.

— Ты побежишь или нет?!

Сквозь строй заключённых продрался Детка и с размаху ударил Энкеля по лицу.

— Ну, побежишь?..

Энкель продолжал стоять. Кровь из рассечённой скулы текла по щеке.

— Ах, вот как! — в бешенстве прохрипел Детка и, обернувшись к охранникам, крикнул: — Пускайте!..

Рычание и лай собак сразу объяснили заключённым все.

Между шеренгами показалась свора лагерных овчарок.

— Теперь-то ты побежишь! — крикнул Детка.

Стражники выдернули поводки, и собаки, визжа от нетерпения, устремились к одиноко стоявшему Энкелю. Он вздрогнул, сделал было движение, как бы действительно собираясь бежать, но усилием воли заставил себя остаться

неподвижным. Детка бросился было к нему, намереваясь стукнуть его штыком в спину, но испугался приближавшихся собак и спрятался за спины заключённых. Налетевшие собаки сбили Энкеля с ног...

Так вот для чего был нужен кожаный воротник: чтобы натренированные на ловле беглецов овчарки не прокусили несчастному горло, чтобы не покончили с ним слишком быстро...

Когда Зинн шёл через плац к своему барaku, он увидел у дверей лагерной конторы маленького коренастого Варгу.

От его былой полноты не

осталось и следа. Тёмная кожа складками висела по сторонам подбородка. Бывшие когда-то такими лихими, чёрные усы свисали седыми косицами. Сегодня они были розовыми от крови, которую то и дело оплёвывал Варга. В нескольких шагах от него стоял Детка. Морщась и зажмурив один глаз, он наблюдал за тем, как лагерный столяр снимал с Варги мерку стальной лентой рулетки.

— Ты не суетись, идиот, — лениво говорил Детка. — Ошибёшься меркой — я с тебя шкуру спущу. Гроб должен быть точка в точку.

А Варге, изо всех сил старавшемуся удержаться на ногах,

Детка с обычной издевательской ласковостью говорил:

— Не гнись, не гнись. Небось, мёртвый-то вытянешься во весь свой свинячий рост. — И столяру: — Идиот! Что ты делаешь? За каким чёртом ты прикладываешь мерку к его голове?

— Чтобы знать длину гроба.

— Разве тебе не было сказано: это будет официальная экзекуция?

— Было сказано.

— Господи! — Детка картинно сложил руки, словно в мольбе. — Что можно втолковать этим животным?.. Официальная. — Детка провёл пальцем по шее Варги у затылка: — Меряй отсюда.

Он расхохотался, довольный шуткой...

Зинн не мог уснуть. Он лежал, закрыв глаза, и ему мерещилось измученное лицо Варги.

По крыше стучал усилившийся дождь, и Зинну казалось: тарахтят пулемёты, стучат колеса испанских обозных телег, рокочут барабаны на параде в Мадриде... И снова пулемёты, и лай собак, и пронзительный вой лагерьной сирены... Зинн в испуге открывал глаза и видел мечущихся на тесных нарах товарищей, слышал их тяжёлое дыхание, храп, бормотанье во сне...

Под утро дежурный по бараку

поднял Зинна и Цихауэра и сказал, что их требуют в канцелярию.

— Кажется, вы оба были в приятельских отношениях с этим венгром... Так вот, можете получить удовольствие. Ящик нужно отвезти и закопать.

Детка толкнул дверь в помещение, где Зинн увидел гроб, стоящий на двух табуретках.

Гроб был неестественно короток.

Зинн и Цихауэр подняли гроб и поставили на тачку.

Цихауэр накинул на плечо лямку, Зинн поднял тачку за ручки.

Если бы сбоку не шагал по мосткам Детка, Зинн закричал бы в

полный голос или, может быть, даже завыл бы, как были иногда истязаемые заключённые. Но присутствие Детки заставляло Зинна с каждым шагом все крепче стискивать зубы. Так крепко, как было нужно, чтобы заставить себя молчать. Молчать во что бы то ни стало! Как молчал Энкель, когда на него выпустили овчарок. Как молчал, наверно, и Варга, — весёлый, мужественный Варга, командир эскадрона разведчиков.

Когда Зинн и Цихауэр вернулись в тот день от своих бочек, в бараке царил уже густой полумрак. Часть заключённых лежала, забившись в свои тёмные щели. Другие сидели,

поджав ноги, на полу в проходе.

— Детка опять не в духе, — сказал Зинн.

Кто-то ответил:

— Не выспался. Вся свора ходила смотреть на казнь Варги.

— Да, сегодня он на нас отыграется, — заметил Цихауэр и, обращаясь в тёмное пространство барака, крикнул: — Кто одолжит мне на сегодня резиновые сапоги в обмен на завтрашний обед?

— Жри сам это дерьмо, — слышалось из темноты.

Но другой голос задал вопрос:

— Ты их отмоешь?

— Возвращаю чистенькими.

— Обед и ужин!

— А сапоги крепкие?

— Как от Тица.

— Ладно, давай.

Когда с сапогами в руках Цихауэр пришёл на своё место, Зинн прошептал:

— Нечестно, Руди.

— Пусть не спекулирует на чужих ужинах... Споём на прощанье.

— Товарищи, не спеть ли? — громко спросил Зинн.

— Детка шляется под окнами, — опасливо сказал кто-то.

— Я буду петь один... Небось, сегодня меня не пихнут в карцер, чтобы не лишить удовольствия чистить ямы, а завтра ещё посмотрим, что будет...

Зинн вышел в проход.

Топь, болото, торф
проклятый —
Здесь и птица не живёт.
Мы болотные солдаты,
Осушители болот.

Цихауэр подхватил:

Болотные солдаты
Шагают, взяв лопаты,
Все в топь.

Когда Зинн умолкал, можно
было слышать дыхание двух сотен
грудей. Песню слушали, как

богослужение. В ней знали каждое слово, каждую интонацию певца. Сотни раз они слышали этот мужественный баритон, крепкий и упругий, как сталь боевого клинка.

Но не век стоит запруда,
И не век стоит зима:
День придёт — и нас
отсюда
Вырвет родина сама.
Болотные солдаты
Швырнут тогда лопаты
Все в топь.

— Тише, товарищи, тише! —
говорил Зинн.

Голоса затихали, слышно было только жужжание напева.

Ах, чорт возьми, как это хорошо! Зинн пел вполголоса, чтобы не дать угаснуть мотиву. Его глаза были полузакрыты, и мысли унеслись далеко. На короткий, самый короткий миг. Но в этот миг перед ним успела пронестись далёкая-далёкая картинка, которая давным-давно исчезла из памяти и возникла сегодня в первый раз за многие годы... Пивная неподалёку от завода, где он молодым токарем начинал свою партийную работу. Шум, споры, доносящиеся со всех сторон сквозь сизые клубы табачного

дыма... В этой пивной он впервые запел на людях, чтобы обучить рабочих мотиву «Интернационала». В следующий вечер ещё раз... Потом со сцены рабочего клуба... И так, как-то незаметно для самого себя, он из рабочего превратился в певца. Его песни стали оружием партии. И вот...

Барак был погружён в полную темноту. Едва обозначались решётки в окнах.

Вдоль прохода простучали тяжёлые шаги. Подкованные сапоги были только у капрала роты, доктора Зуммера. Все знали, что он бежит, чтобы повернуть выключатель.

Зуммер нарочно топал, чтобы предупредить поющих: сейчас будет светло.

В конце барака вспыхнул луч. Яркий, прямой и острый, как лезвие кинжала. Фонарь автоматически поворачивался. Разрезая темноту, луч шёл по нарам, — выхватывал фигуры людей и гас. Ровно через минуту он снова вспыхивал, снова резал барак слева направо. И так всю ночь. Каждую минуту он напоминал заключённым, что за ними наблюдают, что всякий, кто подойдёт снаружи к окну барака, может осмотреть все углы помещения.

Но ведь можно было петь, не раскрывая рта: не обязательно же

произносить слова. Важно было знать, что рядом с тобой поют ещё две сотни людей наперекор лагерному уставу, наперекор стражникам, уставившимся в окна, наперекор притаившимся на нарах фискалам.

Голосов становилось все больше. Пел почти весь барак. Одну за другой заключённые пели песни рабочего Берлина. Простые, непримиримые слова подразумевались в мотиве, выходящем из уст учителей, трамвайных кондукторов, студентов, рабочих. Даже крестьяне и мелкие лавочники, кто на свободе никогда не поверил бы тому, что способен

затянуть эту бунтарскую песню, вкладывали всю душу в бессловесный напев.

Ненависть висела в воздухе, чёрном, густом от испарений, то и дело разрезаемом сумасшедшим метанием фонаря.

— Довольно, ребята, — сказал капрал. — Тебе не сдобровать, Зинн, и тебе, Цихауэр.

— Наплевать мне на всю коричневую банду! — истерически крикнул Цихауэр и поспешно вылез из своей норы.

Барак умолк. Зинн схватил Цихауэра за руку, потянул к себе:

— Не надо, Руди, не надо сегодня...

Зинн уговаривал его, как ребёнка. Гладил по спине. Он чувствовал сквозь холст, как дёргается его худая спина. Цихауэр стонал, вцепившись в рукав Зинна.

Зинн схватил художника за плечи и потащил к выходу. Нарушая все правила, он вывел его на свежий ночной воздух. Мало-помалу Цихауэр пришёл в себя.

Снова прогрохотали капральские сапоги Зуммера. До вызова на чистку «пивных» осталось несколько минут. Зуммер втолкнул художника обратно в барак:

— Отдохни...

Капрал надел большие роговые очки и, оставив на вытянутую руку

список, выкликал фамилии. Обязанностью доктора Зуммера, философа и публициста, было распределение арестантов на чистку отхожих.

— Сегодня мы работаем с Руди, папаша Зуммер, — тихонько подсказал Зинн.

Капрал кивнул головой и назвал номер уборной.

Им досталась «пивная», расположенная на краю лагеря, у самого пустыря, превратившегося в море холодной воды.

Вскоре после полуночи к «пивной» Зинна и Цихауэра подошёл Детка.

— Трудитесь, детки? Полезно,

полезно...

Его голос звучал невнятно сквозь респиратор, висящий, как намордник.

Детка заметил, что сделано мало.

— Вы что же? Дурака валяете? — Он обернулся к Зинну. — Это ты, сволочь! А ну-ка, спустись в яму, там тебе будет удобней. Не стесняйся, детка, здесь неглубоко, немного выше колен...

У Цихауэра начала судорожно дёргаться борода.

Детка приблизился к Зинну по доске у края ямы, выставив перед собою приклад карабина.

— Слезай, а не то я тебе помогу!

Детка замахнулся карабином. Зинн поймал приклад и дёрнул. Охранник, расставив руки, выпустил оружие и, потеряв равновесие, полетел в яму. Зинн изо всех сил ударил его прикладом по голове. Роттенфюрер не издал ни звука.

Несколько секунд они прислушивались. Было тихо. Из ямы слышалось слабое бульканье задыхающегося в своём респираторе охранника. Зинн быстро надел башмаки и, подхватив карабин, бросился прочь. За ним побежал Цихауэр. Он на ходу натягивал резиновые перчатки, которые ему не без труда удалось раздобыть у санитаров. Если удастся сделать

проход в электрическом заграждении, все будет в порядке. Только бы не наделать глупостей, не спешить. Раньше утра их не хватятся. Доктор Зуммер заявит о побеге только на поверке. Все будет в порядке.

— Тише, Руди, не порви перчатки.

Зубы художника стучали.

На мостках вдоль ограды слышались шаги. Зинн ничком бросился в воду, сжимая в руках карабин.

Охранники приближались. Луч фонарика скользнул по воде, прошёлся у самой головы окунувшегося в грязь Цихауэра. Шаги

удалились.

До проволоки оставалось несколько метров. Только бы перебраться сквозь электрическое ограждение! Все остальное было предусмотрено.

Цихауэр работал. Нужно было снять два-три провода с изоляторов. Не дай бог оборвать. Замыкание или обрыв вызвали бы пронзительный трезвон в дежурке.

Руки не слушались художника. Зинн передал ему карабин и, надев перчатки и резиновые сапоги, взялся за дело. Он держал проволоку, пока пролезал Цихауэр. Теперь перед ними была каменная ограда с битым стеклом наверху.

— Лезь, Гюнтер, — прошептал Цихауэр и подставил товарищу худую спину.

— Не валяй дурака!

Зинн решительно взял у него карабин и пригнулся. Цихауэр вскарабкался ему на плечи.

Художник лёг животом на осколки стекла, вмазанные в цемент стены, и подал Зинну руку. Из груди у него невольно вырвался хрип, когда Зинн схватился за его руку, искромсанную стеклом. Но он думал только о том, чтобы не выскользнула рука Гюнтера.

Было тихо и темно. Сплошным тяжёлым пологом неслись тучи. С высоты стены Зинн увидел лагерь,

ряды барачков. В их окнах мигали вспышки контрольных ламп.

Едва друзья успели спуститься с ограды, как в лагере раздался пронзительный звон.

— Детку нашли!..

Навстречу беглецам из леска, по ту сторону стелы, спешили люди. Они схватили художника под руки и повлекли к автомобилю.

Когда Цихауэр пришёл в себя, автомобиль уже нёсся без огней по дороге.

Сидящий рядом с Цихауэром человек протянул ему термос:

— Хлебни, товарищ, согрейся!..

Гаусс заметил, что Гитлер не знает, куда девать руки. Он проделывал ими ряд ненужных движений: своей жестикуляцией он не только не подтверждал того, что говорил, но неожиданность движений иногда казалась противоречащей смыслу его слов, и без того достаточно громких, чтобы дойти до самого невнимательного слушателя.

— Я полагал, что
достопочтенный лорд прибывает,
чтобы торжественно заявить мне о
намерении англичан начать войну в
защиту Чехословакии, и, разумеется,

я приготовился заявить ему, что это меня не остановит.

Геринг рассмеялся.

— И вместо того?..

Гитлер не дал ему договорить и крикнул ещё громче:

— Надеюсь, что этот осел вернулся в Лондон, совершенно убеждённый в том, что Судеты должны быть моими!

— Мой фюрер, — с обычной для него развязной уверенностью, не переставая покачивать закинутою за колено ногою, сказал Риббентроп, — сегодняшние донесения Дирксена ясно говорят о том, что Лондон не окажет нам никакого сопротивления!

Гитлер порывисто вскинул обе

руки, и лицо его налилось краской, будто он поднимал тяжёлый камень, который собирался метнуть в Риббентропа.

— Ничего менее приятного старый дуралей сообщить не мог. Военное вторжение в Чехию — вот единственное, что может коренным образом решить вопрос! — Он угрожающе приближался к Риббентропу. — Это будет ужасно, если англичане вынудят чехов проявить уступчивость: мы утратим предлог для войны! Вы обязаны, слышите, Риббентроп, обязаны теперь же принять меры к тому, чтобы англичане и французы уговорили чехов не идти на

удовлетворение моих требований!

— Но, мой фюрер, — нога Риббентропа перестала качаться, и редко покидавшее его лицо выражение самодовольства сменилось растерянностью, — поняв, что он не может рассчитывать на поддержку Англии и Франции, Годжа идёт решительно на все уступки!

При этих словах Риббентроп попытался отодвинуться от продолжавшего наступать на него Гитлера. Гитлер двигался, как во сне. Гауссу начинало казаться, что фюрер не видит ни Риббентропа, ни остальных.

— Вы все должны знать, что я

не отступлю ни на шаг! Если чехи выполняют требования Хенлейна, я прикажу ему выставить новые. Так до тех пор, пока Бенеш не откажется их выполнять. Тогда я войду в Судеты, а за Судетами а Чехию!.. Я сказал уже венгерскому и польскому послам, что они могут готовить свои требования чехам. Если чехи уступят нам в вопросе с Судетами, пусть венгры потребуют Закарпатскую Украину, поляки должны захотеть взять Тешин. Рано или поздно я найду что-нибудь, чего Бенеш и Годжа не захотят или не смогут выполнить!..

Он ещё долго выкрикивал угрозы по адресу чехов, русских,

англичан — всех, кого только мог вспомнить. Казалось, он был неутомим в брани. Только время от времени он закрывал глаза, и его руки застывали в воздухе. Потом все начиналось сызнова. Наконец, когда ему, повидимому, уже некому было больше угрожать и некого бранить, он бросился в кресло и долго сидел, уставившись на лежавшую у его ног овчарку. Склонился к ней, стал её гладить, чесал у неё за ухом. Можно было подумать, что он забыл о сидящих вокруг него генералах, о Риббентропе, даже о Геринге и Гиммлере, тоже ничем не нарушавших молчания.

Вдруг Гитлер порывисто вскинул

голову и крикнул:

— Забыл, совсем забыл! Это касается вас, Риббентроп: я решил арестовать несколько чехов, из тех, что живут в Германии. Ну, человек двести-триста, может быть больше. — Он ткнул пальцем в сторону Гиммлера. — Это могут быть купцы, учёные, врачи — кто угодно, но не какая-нибудь мелочь. — Он резко повернулся всем корпусом к Риббентропу. — Дайте знать Праге, что я буду держать этих чехов заложниками за моих людей, которых Бенеш поймал при перевозке оружия. По моему приказу Гиммлер будет расстреливать десять чехов за каждого немца, которому у

Бенеша вынесут обвинительный приговор.

— Мой фюрер, — проговорил Риббентроп, — они ещё никого не расстреляли...

Гитлер замахал руками, не желая слушать.

— Это меня не касается, не касается!.. Вы слышите, Гиммлер: десять за одного! Идите, Риббентроп, я и так вас задержал. Если в министерстве есть новости из Праги, сейчас же, сейчас же... — и он, не договорив, склонился к собаке. — Слушайте, Госсбах, скажите, чтобы Вотану переменили ошейник, этот давит ему шею. Геринг, мне говорили, что у вас новые собаки.

— Борзые, мой фюрер.

— Я знаю, ваша жена любит борзых. Никудышные собаки, бесполезные.

— На охоте они приносят пользу.

— Охота! У вас есть время заниматься охотой? — насмешливо проговорил Гитлер. — Ах, жаль, ушёл Риббентроп. Мы бы спросили его, кого из англичан нам следует теперь пригласить поохотиться в Роминтен.

— Вы все коситесь на мои охоты, а я вот могу вам доложить, что в результате трех дней, потраченных на охоту с генералом Вийеменом, — правда, он больше охотился на вина и

на мой кошелёк, чем на оленей, — и в результате того, что я показал ему все лучшее, чем располагают наши воздушные силы, он позавчера уже сделал Даладые вполне устраивающее нас заявление... вполне!..

Гитлер сердито уставился на замолкшего Геринга.

— Что вы интригуете нас?

— Он сказал, что не видит никакой возможности драться в воздухе иначе, как только призвав всех лётчиков резерва... чтобы бросить их на уничтожение нашим истребителям. Своих лётчиков действительной службы он считает нужным сохранить до тех пор, пока у

Франции будут хорошие самолёты.

— Разумная точка зрения, — разочарованно сказал Гитлер.

— Но на Даладьё она подействовала, как холодный душ. Он поверил тому, что Франция в воздухе небоеспособна. Боннэ получил ещё один хороший довод в пользу соглашения с нами.

Гитлер хрипло рассмеялся:

— Что ж, это не так глупо: предоставить нам истребить всех лётчиков резерва. И французы воображают, что у них будут потом самолёты для лётчиков действительной службы?

— Им хочется так думать.

— Пусть воображают... Пусть

воображают... Пусть вообра... — бормоча себе под нос, Гитлер снова занялся овчаркой. Потом воровато покосился на дверь: — Риббентроп ушёл? — И сам себе ответил: — Ушёл... Ему это совсем незачем знать... Слушайте, Гиммлер...

Тут Гитлер поднял голову и, проверяя, кто остался в комнате, обвёл взглядом лица присутствующих.

— Было бы жаль, если бы погиб Эйзенлор. Я приказал Александру организовать покушение на нашего посла в Праге. — Он хихикнул, сморщив нос и лукаво прищурившись. — Пусть-ка чехи попробуют тогда сказать, что готовы

воскресить моего посла...

Чемберлен думает, что он умнее всех.

— Мне было бы приятно, мой фюрер, — прохрипел Геринг, — если бы такого рода приказы вы отдавали через меня. Я должен быть в курсе дела.

Впервые оживился и Гаусс:

— Поскольку результатом такого мероприятия должна была бы явиться военная акция...

Гитлер судорожно вытянул в его сторону руку:

— Вот!.. Он меня понимает.

— ...постольку подобные приказы должно знать наше командование, — сухо чеканил Гаусс. — К тому же позволю себе

заметить, что смерть дипломата не может произвести на армию должного впечатления.

Гитлер с нескрываемым интересом посмотрел на Гаусса и с расстановкой повторил:

— Смотрите! Он меня понимает... Он прав: армии нужен непосредственный импульс!

— Ваш приказ — величайший импульс, которого мы можем желать, — произнёс Гаусс.

— Справедливо, справедливо! — воскликнул польщённый Гитлер. — Но то, что вы придумали...

— Я ещё ничего... — начал было Гаусс, но Гитлер перебил:

— Не скромничайте, я вас отлично понял. Кто вам больше нужен: Пруст или Шверер?

— Они работают вместе.

— Но кого вы предпочли бы лишиться?

— В каком смысле?..

— Ваша мысль мне понравилась... — повторил Гитлер. — Покушение на генерала должно иметь большее влияние на армию, чем убийство дипломата.

— Мой фюрер!

— Было бы смешно пытаться разжечь пожар щепками. Если бросать в костёр, то уж полено. Которое из них вам менее жалко?

Гаусс стоял в замешательстве.

— Как вам будет угодно.

— Не виляйте, Гаусс! — Гитлер сердито топнул ногой. — Кого из них можно бросить на это дело?

— Шверер лишён практического опыта, мой фюрер.

— Значит, Шверер?

— Но он отлично знает Россию.

— Тогда Пруст?.. — Носок сапога Гитлера нетерпеливо постукивал по полу. — Шверер или Пруст?.. Послушайте, Гаусс! Не гадать же нам на спичках! Пусть скажет Геринг.

— Оба старые гуси, — сердито пробормотал Геринг. — Но уж если выбирать, я предпочитаю Пруста.

— Слышите, Гиммлер? —

крикнул Гитлер в дальний угол, где, утонув в глубоком кресле, сидел не проронивший за весь вечер ни слова начальник тайной полиции. — Организуйте покушение на Пруста!

Геринг рассмеялся:

— Вот это было бы здорово! Я имел в виду, что именно его лучше оставить для дела. Если уж убирать, то Шверера. — И он расхохотался ещё веселей.

Ни у кого из собравшихся тут не шевельнулась мысль о том, чтобы применить к Чехословакии вариант открытого вторжения. Урок Испании был ещё слишком свеж. Народные массы Испанской демократической республики сумели оказать активное

и длительное сопротивление
франкистским мятежникам.
Учебный полигон воинствующего
фашизма, который гитлеровцы
рассчитывали превратить в плац для
парадного марша своих банд,
оказался театром затяжной и
жестокой войны. Правда, благодаря
помощи британского и французского
правительств положение республики
стало критическим, но Гитлер боялся
ещё раз увязнуть в такой же истории,
особенно так близко к границам
Советского Союза. При той
накалённости, которой достигла
политическая атмосфера в Европе,
при той насторожённости масс,
которая обнаруживалась во многих

странах, фашизму пришлось сочетать запугивание слабонервных чешских политиков танками и авиабомбами с организацией взрыва изнутри. Гитлер мог рассчитывать на победу лишь в том случае, если чехословаки сложат оружие по приказу предателей из рядов правительства, из церковников, из промышленной и аграрной верхушки. В том, что он предпринимал с этой целью, нельзя было различить, где кончается подкуп и начинается шантаж; какая разница между увещанием и угрозой; уже невозможно было провести границу между пропагандой и провокацией.

Даже самые военные действия

против чехословаков, на тот случай, если их придётся вести, планировались военным командованием как провокационная диверсия. Все было направлено к тому, чтобы напугать чехов воображаемой силой натиска «вермахта». Геббельс наполнял печать сказками о необычайной проходимости массы механизированных войск, танков и осадной артиллерии, якобы способной обрушить сокрушающий удар на пояс долговременных фортификационных сооружений, прикрывающих чехословацкую границу. Под панический аккомпанемент купленных

Геббельсом подвывал из французской и английской жёлтой прессы «унифицированные» немецкие газеты расписывали ужасы, ждущие красавицу древнюю Прагу при первых же налётах бомбардировочных эскадр Геринга.

Одним из немногих, близко стоявших к делу и веривших в мощь задуманного удара, был сам Гитлер. Как часто бывало и на прежних совещаниях, он, увлечённый собственным воображением, и сегодня совершенно забыл, что пригласил Гаусса, чтобы в последний раз поговорить о препятствиях чисто военного свойства, которые встанут на пути «вермахта» при военном

вторжении в Чехословакию; чтобы уточнить данные о чехословацких укреплениях, об их артиллерии, бронесилах, авиации и прочих военнотехнических факторах обороны Судет. Вооружённый таблицами и справочниками, пачками разведывательных сводок, планами укреплённых районов и схемами фортов, Гаусс напрасно ожидал, когда ему позволят заговорить. К его удивлению, Гитлер, обведя всех сердитым взглядом и прервав движением руки все разговоры, заговорил вдруг сам:

— Когда все эти приготовления будут закончены, пусть не вздумает кто-нибудь пугать меня мощностью

чешской обороны! Я знаю все и все взвесил. Для меня нет тайн в Судетах: каждый дюйм бетона и стали, каждую огневую единицу я изучил. Я ощупал их вот этими руками, я измерил их точным глазом архитектора...

И, к удивлению присутствующих, Гитлер принялся быстро, едва переводя дыхание, сыпать цифрами. Он называл калибры пулемётов и пушек каждого форта и капонира, указывал расположение батарей; казалось, ему были известны марки стали, из которой была изготовлена броня тех или других танков и броневиков; его голова была заполнена данными о

мощности моторов тягачей и понтонов, о проходимости автомобилей и мотоциклов, о запасах продовольствия в укреплённых районах. Он знал фамилии всех командиров чешских корпусов, дивизий и даже полков. Сотни и тысячи данных сыпались на слушателей, как нескончаемая пулемётная очередь.

В первые мгновения этой тирады Гаусс вместе с остальными поддался внушительной убедительности данных Гитлера. Но по мере того как тот говорил и чем подробнее и внешне убедительнее становились его цифры, тем ближе сходились к переносице брови

Гаусса. Он поймал себя на том, что ещё мгновение — и у него выпадет монокль. Гаусс расправил морщины и быстрыми, точными движениями перебросил несколько страниц лежавшего перед ним досье с описанием чехословацких укреплений. Сопоставив то, что так уверенно выкрикивал Гитлер, со своими данными, Гаусс внутренне усмехнулся. На лице генерала не дрогнула ни одна черта, но с этого момента, следя за речью фюрера и сравнивая то, что тот говорил, с точными данными, Гаусс мысленно предавался такому веселью, какого не испытывал ещё никогда в жизни. Чего бы ни касалось дело: пушек или

пулемётов, танков или фортов, пехоты или конницы — все, решительно всё, что Гитлер выкладывал перед своими безропотными слушателями, было чепухой. Абсолютной, полной чепухой! Набором слов, первых попавшихся слов, какие пришли на ум нахалу, не имеющему представления о предмете, в котором он хотел выставить себя знатоком.

Гаусс методически листал свои таблицы и справочники. Его острый синий ноготь торжествующе резал бумагу на полях там, где расхождение данных было анекдотически вздорным. При всей своей выдержке Гаусс боялся оторвать взгляд от бумаг

и поднять его на оратора, чтобы не выдать переполнявшего его чувства насмешливого негодования.

Заметил ли, наконец, Гитлер, что Гаусс следит за его речью по своим материалам, или внезапно понял, что, забравшись в область авиации, рискует вызвать какое-нибудь замечание Геринга, не отличающегося тактичностью и могущего поставить своего фюрера в глупое положение перед остальными, Гитлер внезапно оборвал свою речь на полуслове и исподлобья оглядел слушателей. Казалось, он силился понять, разгадал ли кто-нибудь, что все его «познания» в области чешских

вооружений — пустой блеф.

Так же неожиданно, как умолк, он вдруг вскочил с кресла и, не оглядываясь, выбежал из комнаты.

Прошло несколько минут удивлённого молчания. Гесс, по своему обыкновению, принялся рисовать в блокноте. Гаусс стал было наблюдать за тем, как из-под его карандаша один за другим, во множестве, появлялись ушастые зайчики. Гесс рисовал их с удивительной ловкостью и быстротой. В любую минуту мог вернуться Гитлер и продолжить совещание о чешских вооружениях. Гаусс аккуратно разложил перед собою бумаги в том порядке, как

намеревался докладывать, в надежде, что ему всё-таки дадут возможность высказаться. Но, так же внезапно, как здесь происходило все, дверь, ведущая в личные комнаты Гитлера, распахнулась и появившийся на пороге Госсбах торжественно провозгласил:

— Совещание окончено!

Франц Лемке, называвшийся теперь шофёром Курцем, тщательно прикрыл штору перед радиатором генеральского «мерседеса», но пронзительный ветер выдувал из-под капота остатки тепла. Франц терпеливо ждал. Ему не приходило в голову справиться, почему его заставляют так долго стоять, хотя, задай он такой вопрос швейцару, тот не выразил бы удивления. Его превосходительство генерал фон Шверер был синонимом точности. В штабе не помнили случая, когда он заставил бы ждать себя хотя бы пять минут, а не то чтобы час.

Наконец сухая, маленькая фигура Шверера мелькнула мимо швейцара. Не ответив, как обычно, на поклон, не приняв салюта часовых у подъезда, генерал нырнул в распахнутую дверцу лимузина.

Лемке тронул машину. Он не повернул головы, не сделал ни одного лишнего движения. Оставалось двести метров до того места, где Лейпцигерштрассе упирается в площадь. Автомобиль набирал скорость. Франц все не поворачивал головы. Генерал молчал. Лимузин миновал Лейпцигерплатц. Оставались секунды, чтобы решить, в какую из четырех улиц, идущих от Потсдамерплатц, свернуть. Генерал

молчал. Франц не поворачивал головы. Сбросить газ и замедлить скорость значило задать безмолвный вопрос генералу. Он не хотел его задавать. Изредка трубя фанфарой, автомобиль промчался мимо насторожённых шудманов и вонзился в Бельзюштрассе. Слева от генерала мелькнул жёлтый купол маяка в асфальте, и автомобиль углубился в тень Тиргартена. Франц включил большой свет. Стволы деревьев мелькали по сторонам. Почти не замедляя хода, не обращая внимания на красные огни светофоров, Франц вырвался на Шарлоттенбургское шоссе и, не ожидая приказа, резко повернул влево. Автомобиль

заскрипел баллонами на повороте и помчался по прямой, как стрела, просеке. На повороте генерала прижало в угол лимузина. Он не издал ни звука. Он радовался тому, что по недоразумению или в силу необъяснимой догадливости, но Курц делал именно то, что хотелось ему самому, — мчался в пространство без определённой цели, с единственным намерением набрать побольше скорости.

Шверер опустил стекло, с удовольствием ловя врывающуюся струю воздуха. Ветер ударил Лемке в затылок. Франц понял это по-своему — генерал хочет воздуха. Сколько угодно! Франц сильнее нажал

акселератор. Шуршание баллонов перешло в пронзительный свист.

Мимо неслись уже последние дома Бисмаркштрассе. «Сейчас мы будем на Кайзердамме», — подумал генерал. Но, ворвавшись на площадь Софии-Шарлотты, Лемке сделал двойной зигзаг, чтобы избежать столкновения с ошеломлённым шофёром такси, и резко повернул влево. Они были в узкой Витцлебенштрассе. Вправо осталась площадь. Несколько крутых поворотов, от которых у генерала закружилась голова, и перед ним стрела автомобильной дороги вдоль Кронпринцессинвег. Генерал схватился за фуражку, точно её могло

унести ветром. От Ванзее веяло холодом и сыростью. По сторонам стояли деревья Грюневальда, декоративно яркие в свете фар, сливающиеся в две сплошные полосы в бешеном беге машины.

Упрямо не закрывая окна, генерал поднял воротник шинели.

Оставалось несколько сот метров до конечной петли.

— Благодарю, Курц... можно домой.

Лемке сбросил газ. Задние баллоны угрожающе закрипели на кривой. Генерала опять прижало в угол кабины. Нос автомобиля повернулся к Берлину. Светлое зарево встало над лесом.

Выходя из автомобиля, Шверер сказал.

— Прекрасная поездка, Курц.

— Рад стараться, экселенц. Если позволите, я бы воспользовался машиной, чтобы съездить на часок по своим делам.

Лемке медленно ехал по улице, ища сигнальный глазок телефона общего пользования. Разговор был краток. Лемке вышел из будки удовлетворённый. Оглядел улицу. Не было видно даже шупо. В этих кварталах жизнь затихла на несколько часов. Не многие из обитателей фешенебельных квартир сидели сейчас дома около полуночи, они разъезжались по клубам и

локалям. Только под утро они начнут возвращаться. В эти ночные часы улицы Вестена были пустынные. В арках ворот шупо флиртовали с горничными. Изредка слышались неторопливые шаги ночного сторожа в сапогах, подбитых каучуком. Его шаги не должны были беспокоить хозяев особняков, когда те спят. Быстрым движением проходил луч карманного фонаря по замкам чугунных калиток. Едва слышно звякали ключи в руке, проверяющей запоры.

Лемке миновал линию кольцевой дороги и пересёк Веддинг. Тут тоже было тихо. Но совсем по-другому, чем в Вестене. Шупо здесь

уже не шептались в воротах с горничными. Они были настороже — держались парочками на перекрёстках, так, чтобы видны были насквозь сразу две улицы. Веддинг оставался красным даже в коричневом Берлине. Он жил словно на осадном положении.

Лемке пересёк почти весь город и свернул по узкой Унгернштрассе.

Улица дугой огибала темневшие слева деревья Шиллер-парка. Здесь не было уже ни прохожих, ни шупо. Темно и пустынно. На одном из перекрёстков аллей в свете фары появилась фигура одинокого пешехода. Точно не замечая автомобиля, он остановился на

мостовой и стал закуривать. Лемке затормозил. Погасил фары. В темноте был слышен стук захлопнувшейся автомобильной дверцы. Автомобиль покати́лся дальше.

Лемке сунул руку в карман кожаного пальто и достал радиолампу. Он протянул её человеку, сидевшему на заднем сиденье.

— Сдала генераторная, — сказал Лемке. — Надо заменить.

Тот, другой, перегнулся с заднего сиденья за лампой. В слабом свете, падающем от приборов, можно было различить резкие черты лица Зинна.

Он откинул спинку сиденья,

отодвинул переборку, отделяющую пассажирское помещение от багажника.

Все делалось быстро и ловко.

— Аккумуляторов хватит? — спросил он через плечо.

— Зарядились на совесть! — В голосе Лемке послышался смешок. — Я катал его превосходительство.

Автомобиль остановился. Зинн включил передатчик. Лемке вышел и закинул провод антенны на ближайшее дерево. Потом вернулся к автомобилю и поднял капот, делая вид, будто копается в моторе. Из-за плотно закрытых дверей был едва слышен голос Зинна:

— Слушайте, слушайте, говорит передатчик «Свободная Германия».

«Починка мотора» продолжалась уже довольно долго, когда в темноте послышались шаги.

Лемке прислушался. Шаги приближались. Едва успев оборвать и отбросить антенну, Лемке приотворил дверцу и, просунув руку, включил дальний свет. Ослепительный луч прожекторов залил улицу. В яркой полосе показались двое полицейских. Они замахали руками, ослеплённые ярким светом фар.

— Свет! Выключить свет! — крикнул один из них и побежал к машине.

— Что за машина? — спросил он. В его руке сверкнул тоненький луч фонаря, скользнул по Лемке, по машине, по фигуре Зинна и остановился на флажке, бессильно повисшем на тоненькой никелированной штанге. Второй шупо грубо дёрнул маленькое полотнище. Оно затрещало.

— Осторожно, вахмистр, — спокойно сказал Лемке. — Вам придётся сообщить мне свою фамилию, чтобы я мог сослаться на вас, требуя новый флажок.

Вместо ответа полицейский протянул руку:

— Ваши документы!

Но шупо, тот, что с фонарём,

уже разглядел военный флажок. Он примирительно спросил:

— Что-нибудь с мотором, дружище?

— Чья машина? — угрюмо повторил его товарищ.

— Его превосходительства генерал-лейтенанта фон Шверера.

Шупо переглянулись и молча, притронувшись к козырькам, продолжали путь.

— Сволочи, сорвали передачу на самой середине! — сказал Зннн.

Лемке долго молчал в раздумье. Потом сказал:

— Что, если попробовать с моего двора? Шум мы заглушим: Рупп будет мыть машину из шланга.

— Придётся попробовать. Нужно во что бы то да стало предупредить о готовящихся погромах.

Лемке включил мотор, и они поехали.

Когда генерал Шверер вернулся домой, фрау Эмма, сдерживая слезы, рассказала ему, что она давно уже заметила пропажу одной из своих драгоценностей. Она никому не сказала об этом, думая, что потеряла её сама. Но с тех пор исчезли ещё две вещи. А сегодня утром она обнаружила кражу нескольких золотых монет, лежавших в шкатулке на туалете.

Генерал кисло поморщился.

— Золото давно изъято из обращения...

— Поэтому я его и хранила!

— Надеюсь, ты никому не говорила об этом?

— Кроме Эрни, никто не знает.

— Напрасно ты впутываешь его в такое дело.

У фрау Шверер сделалось виноватое лицо.

— Я не вижу ничего дурного в том, что Эрни пригласил полицию.

— Они уже были здесь? — нахмурился генерал.

— По крайней мере, все выяснилось: виновата Анни.

— Анни?!

Генерал побагровел. Он не допускал мысли, что его любимица-горничная могла быть виновницей кражи. Дочь его старого фельдфебеля? Почти его воспитанница?! Нет!

— Глупости! Ничего подобного она не могла сделать! — сердито сказал он.

— Эрни сказал, что это доказало.

— Позови её сюда!

Фрау Эмма окончательно смутилась.

— Её нет дома... Её увезли в полицию, — едва слышно проговорила она.

На лбу Шверера вздулась вена.

— Эрнста ко мне!

— Он уехал... с нею...

Воротник душил генерала. Он резко повернуло» и пошёл к себе.

— Но, Конрад, — растерянно крикнула Эмма, — ведь Эрни же знает, что он делает!

Генерал не обернулся.

Эгон подъезжал к Берлину.

Когда поезд уже громыхал над домами, Эгон решил не останавливаться у родителей. Он взял у кондуктора список гостиниц и, раскрыв его наугад, попал на букву К. Бросилось в глаза набранное жирным шрифтом: «Кайзерхоф». К чорту! Он не желает швырять деньги ради сомнительного удовольствия провести два дня в обществе всеимперского «хайляйфа». Если это прежде было стеснительно, то теперь, вероятно, просто невыносимо. Дальше: «Город Киль», Миттельштрассе, 22. Два шага от

вокзала, самый центр. Пусть будет «Город Киль»!

То малоозначащее обстоятельство, что Эгон остановился в гостинице, сделало вдруг его отношения с домом более простыми и лёгкими. Даже не без радостного чувства он набрал на диске номер отцовского телефона. Генерала не было дома. Эгон сказал матери, что заедет вечером.

Потом позвонил Бельцу и выразил желание повидаться. Бельц назначил свидание в погребке Роммеле на Шарлоттенштрассе.

Эгон понял, почему Бельц избрал именно это место — студентами они провели там немало

хороших часов! Много воды утекло с тех пор. Интересно знать, какими путями пошла жизнь остальных товарищей по университету? Кто из них нашёл своё место в нынешней жизни?

Эгон пришёл в подвал Роммеле первым. Самого дядюшки Роммеле уже не оказалось в живых. Его дочь с трудом поддерживала заведение: с тех пор как ввели принудительную сдачу крестьянами продуктов государству, фройлейн Роммеле не может предложить посетителям даже простой отбивной котлеты, не говоря уже о ливерных сосисках, создавших когда-то заведению славу среди студентов.

— Увы, господин доктор, картофель — единственный натуральный продукт, который я могу предложить!

— Запах масла, запах говядины, морковного гарнира, печёных яблок! Всё запахи, одни запахи! — насмешливо проговорил Эгон. — Поройтесь-ка хорошенько. Кладовая, как женское сердце: если покопаться, всегда окажется местечко для более осязаемого, чем запахи. Да не забудьте приготовить ваш картофельный салат.

— Да, конечно, господин доктор: картофельный салат!

— Он сопровождал нашей юности. Но мы сдабривали его

надеждами на жизнь. А нынешняя молодёжь имеет перед собою только прямую дорогу к смерти.

— Хайль Гитлер! — громко раздалось у дверей. — Кому это предстоит шествовать в пропасть небытия, чорт побери?!

Фройлейн Роммеле замерла в испуге. Эгон, узнав Бельца, расхохотался. Друзья радостно поздоровались.

Когда сели за столик, Бельц наклонился к Эгону:

— Ты напрасно пускаешься в откровенности.

— Кому это здесь интересно?

— Теперь, дитя моё, в Берлине не существует мест, где бы что-

нибудь кого-нибудь не интересовало. Хотя бы эту старую козу... Фройлейн. Парочку светлого и картофельный салат.

— А мы пытались изобрести что-нибудь изысканное, полагая, что салат тебе будет не по нутру.

— Когда хочешь снова стать на часок молодым... Впрочем, я свезу тебя в одно местечко, где нам подадут такое!.. — Бельц причмокнул. — Останешься доволен. Кстати, почему ты без орденских ленточек?

— Я, друг мой, человек глубоко штатский.

— Тот, кого учили убивать, никогда не разучится делать это...

— К счастью, это неверно. Что за таинственный кабак, куда надо ходить в орденах?

— Не кабак, а казино! Точнее говоря, лежа военного ордена.

Приняв от фройлейн Роммеле салат, Бельц подождал, пока она удалилась.

— Часть, где я служу, ничего общего не имеет с армией в обычном смысле. Я не просто командир эскадры, я что-то вроде магистра ордена. Ты ещё ничего не слышал о «птенцах Манфреда»? Ты, видимо, действительно далёк от армии.

— К счастью, да.

— Не советую говорить так. Даже мне.

— Есть люди, которым, вероятно, хочется верить, даже зная, что верить нельзя никому.

— У меня такой веры в людей нет.

Бельц задумался, сдувая в сторону пивную пену. Он не спеша отпил и облизал губы.

— Какая разница с тем, что думали мы все тогда! — воскликнул Эгон, грустно покачав головой. — Помнишь, как мы торопились жить, когда со дня на день ждали: завтра позовут и нас!..

— Чего ты хочешь? Чтобы в таком положении, когда человек знает, что девяносто девять из ста за то, что его размелют на котлеты, он

занимался

самоусовершенствованием, изучал
Канта, что ли?

— Кроме Канта, существует...

— Э, брось! В такие дни
существует одно — жадность. Успеть
отведать всего, прежде чем ты стал
покойником.

— В общем все это было
довольно противно, — неожиданно
проговорил Эгон. — Я стараюсь не
думать над такими вещами.

— А мне за последнее время
пришлось кое над чем задуматься.
Меня назначили командиром одной
специальной эскадры.

— Этих самых «птенцов
Манфреда»?

— Вот именно! — Бельц постучал ножом по тарелке. — Давай-ка расплатимся. Повторять салат даже ради студенческих воспоминаний нет никакого смысла.

Эгон расплатился. От него не ускользнула жадность, с которой фройлейн Роммеле взяла деньги. Если вспомнить, как в этом же самом подвальчике отец нынешней хозяйки открывал кредит студентам!..

Приятели с чувством облегчения вышли на свежий воздух.

— Где ты остановился? — спросил Бельц.

— На Миттель. Два шага отсюда.

— Сделай одолжение, зайдём! Ты вденешь в петлицу ленточки. «Железный крест» у моих рыцарей всё-таки котируется.

— Можно подумать, Ульрих, что ты огорчён отсутствием возможности угробить ещё десяток человек в промежуток между двумя войнами.

— Мне, ты знаешь, жаловаться не приходится. Тот, кто работал в «цирке» Рихтгофена, имел достаточно полный мешок.

— Нашёл чем хвастать.

— Даже поварёнок мнит себя героем, потому что умеет кое-как прирезать петуха. Почему же не гордиться человеку, который может с ручательством сунуть в мешок

всякого, встреченного на воздушной дороге, а? — самодовольно воскликнул Бельц.

По дороге домой Эгон узнал кое-что любопытное о так называемых «москитах», о которых ему вскользь сказал когда-то генерал Бурхард. Основным отличием «москитов» от обычных истребителей было то, что они, помимо пушечного вооружения, имели торпеду, укреплённую под фюзеляжем. Для безошибочного поражения противника в бою «москит» должен был сблизиться с ним на дистанцию торпедного выстрела, производимого, а сущности, в упор. Девять шансов из десяти было при этом за то, что и

сам «москит» должен погибнуть в такой атаке.

«Москиты» считались Герингом ударной «безошибочной» силой. Имелось в виду со временем замелить в них живых лётчиков управляемыми по радио пилотами-роботами.

Своеобразие «москитных» частей заставило формировать их из добровольцев. Нагромождение ритуально-мистических фокусов сделало то, чего не могли бы достичь шовинистические лозунги. Патроном ордена числился барон Манфред фон Рихтгофен, а великим магистром — «воздушный маршал» Третьей империи Геринг.

Командование первой «москитной» эскадрой было вверено полковник-лейтенанту Ульриху фон Бельцу.

Своему другу Бельц по секрету признался, что не обольщается храбростью своих «птенцов».

Пока Эгон переодевался у себя в номере, Бельц спросил, что он предпочитает: доехать до цели на автомобиле или лететь.

— Я давно перестал быть энтузиастом воздушных путешествий, но если это далеко...

— Шестьдесят километров.

— Давай слетаем. По крайней мере, не задавая вопросов, я буду знать, куда меня везут.

— Пари на пару «Купферберга»

— ты не определишь даже направления полёта.

— Если бы ты не был старым приятелем, я счёл бы это оскорблением!

Пронизав город по стреле Фридрихштрассе, таксомотор обогнул колонну на Бель-Альянсплатц и стал кружить в закоулках, застроенных новыми неуютными домами. Скоро он остановился у ворот Темпельгофа. Бельца здесь знали. Друзья миновали гражданский аэропорт, не предъявляя пропуска. Только у последнего ангара, на вид ничем не отличающегося от остальных, но

отгороженного от них забором из медной сетки, их остановили. Эгон с первого взгляда оценил назначение сетки: электрическая изгородь. Это было ему знакомо по аэродромам военных заводов. Повидимому, здесь начинались владения Геринга. Из ангара выкатили самолёт. Хотя и помеченный знаками гражданской авиации, он был достаточно хорошо известен Эгону как скоростная военная машина одной из последних моделей. Через минуту Эгон и Бельц были в кабине.

Самолёт стремительно побежал по бетону дорожки и, совершив короткий разбег, оторвался от земли.

Увлечённый наблюдением за

машиной, Эгон не заметил, как Бельц отдал пилоту какое-то приказание. Эгон только с удивлением увидел: вместо того чтобы лечь на определённый курс, пилот начал рыскать из стороны в сторону. Стрелка альтиметра перед глазами Эгона полезла вверх. Показания счётчиков оборотов обоих моторов подходили к красной чёрточке максимального режима. К басистому реву двигателей примешалась новая певучая нотка. Эгон узнал звук нагнетателя. Он испытывал такое ощущение, точно его поддели лямкой гигантских шагов и стремительно тащат вверх. В ушах звенело. Перед глазами вместо ничем не

ограниченного простора неба проходила пятнистая муть земли. Петля... Вторая... Третья... Эгон догадался: Бельц решил выиграть шампанское. Эгона хотели «укатать» до такого состояния, чтобы он перестал что-либо соображать. Самолёт сделал полубочку. Ещё. Немыслимо было уловить что-либо в мешанине парков, дорог, озёр. Вот машина выравнилась. Она начала вибрировать от бешеного напряжения моторов и перешла в свечу, отвесно полезла в небо. И вдруг облака, голубые просветы, все начало вращаться, словно уносимое гигантской каруселью. Пилот начал новую фигуру...

Это было нечестно со стороны Бельца! Эгон решил тоже схитрить. Он сделал вид, что ему плохо, и откинул голову на спинку кресла. Но при этом, не поворачиваясь, следил за местностью. Сомнения не было, они летели над уродливыми башнями Адлерсгофа. Под самолётом прошла цепь озёр. Он летел вдоль Одерокого канала и вышел на автостраду Берлин-Познань.

Через десять минут пилот пошёл на посадку.

— Шампанского ты не получишь! — сказал Эгон Бельцу. — Дай карту, и я покажу тебе, где мы!

Бельц провёл Эгона через

несколько кабинетов казино «москитной» эскадры, библиотеку, читальный и спортивный залы. Нигде не было ни души. Мертвящая тишина. Очевидно, эти помещения не пользовались большой популярностью у «москитов». Они предпочитали ресторан.

После обеда перешли в гостиную, где по стенам, вдоль карнизов, светились аргоном слова надписей. Они шли непрерывной чередой. Лозунги повторялись, настойчиво лезли в глаза, как прописи учебника.

Над всем господствовали портреты Гитлера и Рихтгофена.

Бельц познакомил Эгона с

офицерами. Ленточки на пиджаке Эгона произвели впечатление. Около него собрался кружок. Разговор перешёл на войну, авиацию, воздушный бой. Эгон с интересом вглядывался в лётчиков.

Вот юный лейтенант. На его губе пробился первый пушок. Прилизанный проборчик, упитанная физиономия, — типичный маменькин сынок; повидимому, из богатой семьи, судя по говору — баварец. Можно сказать с уверенностью, что он не отдаёт себе отчёта ни в том, на каком пути стоит, ни куда этот путь его приведёт. А папаша-фабрикант, наверное, обещал своей супруге, что в случае войны

сумеет вытащить сына из мясорубки.

А вот тот ганноверец, в погонах ротмистра? На груди у него орденский знак «Германского орла». Вероятно, побывал в Испании.

Слушая одним ухом беседующих, ротмистр следил за шахматной доской. Его противник, худой капитан-лейтенант с испитым до прозрачности лицом, терял фигуры одну за другой. Время от времени ротмистр ловко пускал несколько колец сигарного дыма. Капитан-лейтенант недовольно морщился, отгоняя дым рукой.

Увлечённый наблюдениями, Эгон плохо следил за разговором. Он

бессознательно улавливал, что беседа переходит в спор. Голоса повышались. Юный лейтенант с азартом доказывал, что «москитная» часть могла быть создана лишь в Германской империи.

— Перестань горячиться, мой мальчик, — сказал юноше бледный капитан-лейтенант. — Стоит ли ломать копья из-за того, что случится через сто лет и, бог даст, без нашего участия...

— Как можно это говорить! Мы существуем для битвы! Ты хочешь лишить меня лучшей надежды! — воскликнул лейтенант.

— Э, мой друг, карась, лежащий на сковороде, понимает, что значит

быть зажаренным, — сказал ротмистр. — Смерть — это серьёзно.

— Так говорят живые! Я ни разу не слышал подтверждения этой версии от мертвеца, — возразил капитан-лейтенант.

Ротмистр рассмеялся:

— Когда дойдёт до дела, Грау, вот тогда я хотел бы вас послушать.

— Здесь, в нашем ордене, правильный взгляд на вещи: сначала ты живёшь, живёшь всем существом, тебе ничего не страшно; потом ты перестаёшь жить, ты мёртв, и тогда тебе тоже на все наплевать. Правильный взгляд на вещи.

— Браво, Вилли! — воскликнул лейтенант. — Ты прекрасно доказал

это!

Все время, пока говорил капитан Грау, ротмистр, прищурившись, смотрел на лейтенанта. Эгон обратил внимание на то, как тяжёл взгляд серых глаз ротмистра, полуприкрытых тёмными, почти синими веками. Эгону показалось, что ротмистр не видит стоящего перед ним юноши, а может быть, и никого из офицеров. При возгласе лейтенанта ротмистр очнулся и нервно передёрнул плечами. Ротмистр спросил лейтенанта:

— Вы были в чистилище? — Лейтенант покраснел и обиженно отвернулся. Ротмистр настойчиво повторил: — Я спрашиваю: вы

прошли чистилище?

— Вы считаете меня трусом?

— Может быть.

— Это оскорбление?

— Возможно...

— Я готов сейчас же спуститься

туда вместе с вами.

Эгон подошёл к Бельцу.

— О каком чистилище идёт речь?

— Советую посмотреть. Это забавно, — ответил тот.

Бельц проводил Эгона в подвальный этаж, где помещался тир. В передней части, у приспособлений и приборов для стрельбы, было разложено оружие — от карманных пистолетов до пулемёта.

— Счастье маменькиного сынка, что Кольбе пьян, — сказал Бельц. — В Испании ротмистр поневоле научился стрелять. Плохо пришлось бы юнцу!

Лейтенант проверил электрический фонарик, вручённый ему смотрителем тира.

— Вам выбирать оружие, мой дорогой храбрец, — насмешливо проговорил ротмистр. — Хотите пулемёт?

— Я бы на вашем месте, Кольбе, ограничился револьверами, — сказал Бельц.

Лейтенант пошёл к мишеням. Ротмистр осмотрел парабеллум.

Когда юнец дошёл до мишеней,

тир погрузился в темноту.

Бельц прошептал Эгону на ухо:

— В распоряжении ротмистра три минуты и три выстрела. В течение этого времени лейтенант обязан трижды дать свет своего фонарика.

— Я тебя не понимаю...

— Задача ротмистра — подстрелить того; потом они переменяются местами.

— И ты не прекратишь это безобразие.

— Мужественные забавы поощряются уставом ордена!

Лейтенант включил фонарик на едва уловимое мгновение. Ротмистр рассмеялся и не выстрелил.

Эгон никогда не думал, что время может тянуться пак томительно долго. Три минуты, наверное, уже подходят к концу, — они и без того тянутся безмерно долго.

— Почему не зажигают свет?

Но вместо света темноту прорезал удар гонга и прозвучал хриплый голос Грау:

— Минута!

«Только минута? Этого не может быть?» — подумал Эгон.

В следующий миг он вздрогнул и вцепился в барьер: у мишени мелькнула короткая вспышка. Грянул выстрел ротмистра. Послышался стон. Свет фонарика вспыхнул и

больше не угасал. Ротмистр выпускал по нему пулю за пулей. Две три... четыре... Ротмистр сошёл с ума! Он же стреляет по лежащему на земле человеку. Повидимому, лейтенант, падая, включил фонарь. Он ранен, может быть, убит! Капитан Грау завопил:

— Свет! Дайте же свет!

Грохнул последний выстрел ротмистра, разбивший фонарик.

В тире вспыхнуло электричество. Ротмистр стоял, прислонившись к барьеру. Глядя в сторону мишеней потускневшими, теперь уже откровенно пьяными глазами, он бессмысленно улыбался. А в дальнем конце тира стоял

лейтенант, уткнув лицо в угол, и, охватив голову руками, истерически рыдал. Отброшенный им фонарик лежал в другом углу.

— Госпожа генеральша фон Шверер просила уведомить её, как только вы прядёте, — сказал портье Эгоиу, когда тот вернулся в гостиницу.

Эгон вызвал мать по телефону. Он слышал, как она всхлипывала у аппарата, умоляя его приехать.

Мать встретила Эгона слезами. Из её сбивчивых слов он не сразу понял, что речь идёт о проступке горничной Анни. Фрау Эмма недолюбливала красивую, умную девушку. Её присутствие в доме она считала угрозой нравственности Эрни. Эгон с неприязненным

чувством смотрел на растерянные глаза матери, на её лицо, густо покрытое слоем пудры, в котором слезы промыли тёмные дорожки.

— Подождите, мама, — прервал он её. — В чем дело? В чем вы обвиняете Анни?

— В спальню никто, кроме своих, не входил... а пропали мои драгоценности.

Эгона словно ударили. Он даже прикрыл глаза.

— Вещи были в шкатулке? Она стояла на туалете?

— Да, да... Откуда ты знаешь?

— Когда пропала первая вещь?

— Я очень хорошо помню, вот в тот день, когда ты вернулся из

Австрии.

— Кто вам сказал, что воровка
— Анни?

— Эрни.

— Он сам сказал это?

Голос Эгона стал хриплым.

Фрау Эмма, принимая его гнев и волнение за возмущение преступницей, поспешно добавила:

— Он привёз знакомого следователя гестапо, и тот подтвердил, что Анни воровка.

— По-вашему, гестапо занимается такими делами, как кража брошек?

— Но ведь это случилось у нас в доме, Эгги?

— Я хочу поговорить с Анни.

— Её увезли...

— Вы позволили увезти её в гестапо?! — в ужасе воскликнул Эгон.

— Так распорядился Эрни.

— Ваш Эрни — негодяй!

Фрау Эмма в ужасе отшатнулась:

— Как ты можешь!

— Где отец? Я хочу с ним поговорить...

Генерал обнял сына. Этого не случилось уже много лет. Эгону бросилась в глаза усталость, сквозившая в каждой черте лица старика. Эгон не решился сразу сказать о своих подозрениях. Генерал тоже не заговаривал о краже. Он прежде всего сказал, что слышал от

Бурхарда хороший отзыв о новой машине Эгона и искренно порадовался успеху сына. Он подвёл Эгона к карте и стал объяснять, какую большую роль в развитии будущей кампании могут сыграть операции в скандинавских фиордах и в финских шхерах. Вопросом жизни для Германии будет свобода мореплавания — снабжение шведской рудой, финляндским лесом, продовольствием из балтийских стран. В свою очередь, Германии будет очень важно держать под контролем все иностранное мореплавание в Балтике и в северных водах. Особенно мореплавание враждебной стороны — русских...

— То, что ты сам не будешь летать на боевой машине, с лихвой окупится военной ценностью твоих конструкций. Ты будешь больше любого из лётчиков содействовать нашей победе, Эгги! А Германия не забывает тех, кто способствует её величию.

— Как я был бы рад, отец, — задумчиво сказал Эгон, — если бы речь действительно шла о величии и счастье германского народа, а не об интересах кучки авантюристов!

Генерал испуганно оглянулся:

— Тсс... Ты с ума сошёл! Кто вбил тебе в голову эти глупости?

— Неужели ты думаешь, что подобные вещи можно «вбить в

голову»? — Эгон усмехнулся. — Ты хочешь, чтобы я ослеп и оглох, а я не могу жить чужим умом, не умею! Я привык размышлять!

— И я вижу, в своём деле размышляешь неплохо! Хочешь ты или нет, но там, где доходит до настоящего дела, ты на нашей стороне. Твои машины — наше оружие!

Генерал умолк и мелкими шажками пробежался по кабинету. Он обдумывал, как половчее подойти к тому, чтобы убедить сына перейти на работу к Винеру, которому предстояли большие дела в Чехословакии. Командованию было очень важно содействовать успеху

опытов фирмы Винера. Нужно было дать этому предприимчивому субъекту надёжного и талантливоего конструктора. Вдвоём они могли бы обеспечить Германии новое оружие, которого не имела ещё ни одна армия мира, — нечто среднее между управляемым на расстоянии ракетным самолётом и летающей торпедой. Всю телемеханическую часть обеспечивал Винер, аэродинамика должна была лечь на плечи Эгона.

Генерал долго и, как ему казалось, убедительно говорил на эту тему. Он рисовал сыну блестящие перспективы, большие доходы, полную независимость.

Единственное, о чём он не решился сказать, — что сам был материально заинтересован в успехе винеровского предприятия. Ведь оно стояло на очень прочных ногах с тех пор, как Винер сумел связаться через Опеля с американцами. И кто, как не сам Шверер, ставший тайным компаньоном Винера, обеспечивал его военными заказами.

Эгон нахмурился.

— Ты ставишь передо мною более трудный вопрос, чем думаешь.

Генерал притянул к себе сына за лацканы пиджака.

— Слушай, мальчик, я тоже кое-что вижу! Мало ли что мне не нравится, но интересы империи я

ставлю выше этих мелочей. Дай срок, и мы будем сидеть верхом на Европе!

— Боюсь, сидеть будет довольно неспокойно...

— Тот, кто так думает, плохой немец!

— А Эрнст, по-твоему, хороший немец?

Генерал развёл руками:

— Конечно, они могли бы быть повоспитанней, но что делать... Таково время, сынок. Трудное время!

Эгон решился:

— Хочешь узнать... кое-что об Эрнсте?

— Кажется, я знаю уже достаточно, — проговорил генерал, но все же вопросительно уставился

на сына.

Эгон коротко рассказал отцу о том, что видел в зеркале в спальне матери. Генерал сидел как каменный. Сухие старческие пальцы впились в потёртую кожу подлокотников. Глаза были устремлены на лицо Эгона.

Эгон кончил. Генерал продолжал молчать. Его взгляд был все так же неподвижен. Эгон испугался:

— Папа!..

Генерал решительно поднялся и пошёл прочь из комнаты.

Он миновал коридор и толкнул дверь в комнату Эрнста.

На шум прибежала испуганная фрау Шверер.

Генерал молча рылся в вещах

Эрнста, обшарил письменный стол, рылся в карманах висевшей в шкафу одежды.

Эгон и фрау Эмма стояли молча. Они не решались ни помогать генералу, ни мешать ему. Теперь Эгону хотелось, чтобы обыск кончился ничем; было жаль старика.

Истерический вскрик матери вывел его из задумчивости. Он поднял голову и увидел генерала, подносящего к самому носу жены блестящий золотой.

— Твой Эрнст не только воришка... Самое страшное то, что он дурак!..

Будильник задребезжал над ухом

Эрнста, как всегда, в восемь. Эрнст хотел было повернуться на другой бок, но вспомнил, что до отъезда отца на службу следует показать ему составленный Золотозубым протокол, якобы изобличающий Анни в краже драгоценностей. Он позвал мать и отдал ей документ. Фрау Эмма долго стояла перед дверью генеральского кабинета, прежде чем решилась постучать. Узнав о протоколе, Шверер приоткрыл дверь и выхватил лист из рук жены. Прочитав протокол, он распахнул дверь. Фрау Эмма в страхе попятилась.

— Эрнста! — прохрипел генерал.

Эрнст пошёл к отцу в пижаме, с бледным, помятым лицом, тщетно пытаясь вызвать в нём выражение независимости. Его губы кривились в смущённую усмешку, глаза беспокойно бегали, уклоняясь от встречи со взглядом генерала.

В отчаянии охватив голову руками, генерал пробежался по кабинету.

— Идиот, совершенный идиот! — крикнул он. — Не понимает того, что в руках этих скотов Анни выболтает все, решительно все!

— Она ничего не знает.

— Идиот, боже мой, какой идиот! — повторял генерал. —

Иметь с ними дело каждый день и не понимать того, что они выколотят из Анни правду, доберутся до истинного вора!

— Если они этого захотят, — пробурчал Эрнст, но Шверер, не слушая, ткнул протоколом в лицо Эрнста так, что тому пришлось отдёрнуть голову.

— Можешь использовать это в клозете! — крикнул генерал.

— Я тебя не понимаю...

Генерал побагровел.

— Врёшь!

— Если ты будешь так разговаривать, я уйду.

— Попробуй! — заорал Шверер.

— Папа...

— Анни должна быть здесь сегодня же!

— Это немыслимо!

— А мыслимо, что все мои враги начнут болтать, что сын Конрада фон Шверера вор? Это мыслимо?!

— Кто смел сказать такую ложь? — Возмущение Эрнста выглядело почти естественно. Он сделал отчаянную попытку перейти в наступление: — Анни созналась! Для правосудия этого достаточно.

— Правосудие! А где гарантия, что ваше «правосудие» не будет держать этот камень за пазухой против меня?..

Генерал потёр лоб и сказал:

— Если дело сегодня же не будет ликвидировано и Анни не будет здесь, я... — Он замялся, не зная, что сказать. Неожиданно для самого себя крикнул: — Тогда ты освободишь от своего присутствия мой дом!

Это не входило в планы Эрнста.

— Моё дыхание отравляет здесь воздух? — с кривой усмешкой пробормотал Эрнст. — Не то, что тихая жизнь любимчика Отто... А ты уверен, что он не приставлен к тебе для того же, для чего был приставлен к Гауссу?..

Прежде чем Эрнст успел оценить эффект своих слов, генерал схватил его за грудь. Тяжёлая пощёчина звоном отдалась в ухе

Эрнста. Шверер толкнул сына так, что тот, ударившись о стол, полетел на пол.

Эрнст тотчас сообразил, что переборщил. Неосторожное сообщение об Отто может стоить ему головы! Гестапо не простит болтливости. Он может быть кем угодно — вором, убийцей, шантажистом — только не болтуном! Прежде всего нужно удержать старика от разговора с Отто. Чем?.. Чем?.. Анни!

Ставка была велика — собственная голова. Эрнст решил не жалеть красок. Не поднимаясь на ноги, пополз к отцу; по щекам его текли слезы.

— Если хоть одна душа узнает о том, что я сказал... ты понимаешь... они меня не пощадят. Я сделаю всё, что ты хочешь... Заставлю их вернуть Анни, хотя бы мне пришлось взять вину на себя...

Генерал холодно перебил:

— Дурак! Только этого нехватало!

— Все, что хочешь, — слезливо бормотал Эрнст. — Только обещай: ты никому не скажешь про Отто...

Генерал молчал.

Но Эрнст видел, что отец сдался.

С видом побитой собаки Эрнст поднялся и, согнувшись, поплёлся прочь. Но мысли текли уже холодно

и ровно; пока старику хватит о чём думать и без него: Отто!.. А там будет видно...

Пруст сидел и смотрел на вращающийся диск пластинки. Шверер стоял у стола, отбивая ногою такт. Шпора на его сапоге негромко позвякивала. Он тихонько напевал, вытянув губы:

Германское оружие —
священный мой кумир.
Германское оружие па-а-
бе-дит весь мир...

— Это «есть то, о чём мечтает „мир“? — слышался у дверей насмешливый голос Эгона.

— А, господин доктор, — дружески приветствовал его Пруст. — Я ещё не успел поздравить тебя с успехом последнего произведения!

— Бывают произведения, которые подчас хотелось бы уничтожить собственными руками, — ответил Эгон.

— Ты считаешь конструкцию неудачной? — На красном лице Пруста отразилась тревога, усы беспокойно задвигались. — Будь откровенен. Мне это важно знать!

— В этом смысле дитя вне подозрений.

— Ты ещё не знаешь? — с гордостью сказал Шверер Прусту. —

Бурхард поручает Эгону разработку нового самолёта. Мой сын не подведёт, в этом я уверен! Ему самому захочется дать нам лучшее, на что он способен.

— Если мне чего-нибудь и хочется, отец, — негромко произнёс Эгон, — то прежде всего забыть слово «война».

— Ещё один любитель музыки! — проворчал Пруст.

Шверер поставил новую пластинку с шумным маршем. Он не хотел продолжать и этот разговор. Он заговорил о «москитах». Эгон живыми красками нарисовал картину своего визита в дивизию Бельца.

— Ты не веришь в их мужество? — удивился Шверер.

Ему уже приходилось слышать мнения о том, что «москиты» — блеф. Пожалуй, своевременно сказать Эгону, что предположение поручить ему с Винером создание управляемого по радио «москита» — работа, который заменит «рыцарей», утверждено командованием.

К удивлению генерала, Эгон принял сообщение без всякого восторга. Он даже позволил себе сказать, что хотел бы уклониться от такого поручения.

— Чего же ты, наконец, хочешь? — рассердился Пруст.

— Остаться в стороне.

Пруст вспыхнул:

— Желающие остаться зрителями будут наблюдать за событиями из ложи с решёткой!

Эгон стоял, глубоко засунув руки в карманы. Черты его лица были напряжены, серые глаза сощурились. Вот он, фатерланд, олицетворённый двумя парами генеральских погон. Он не стал менее страшным оттого, что эти погоны на плечах близких людей. Оба они любят Эгона. И оба наступают на него, хотят лишить его покоя. А он хочет именно покоя, только покоя! Пусть не толкают его на борьбу эти люди, над головами которых не просвистела пуля...

Издалека, точно из другой

комнаты, донёсся до Эгона голос Пруста:

— Перестань дурачиться, — ласково сказал он. — Ты говоришь о покое? Мы дадим тебе его! Понимаешь: деньги, свободу, покой — всё, что вправе иметь человек, исполнивший свой долг. Но... только в обмен на знания, на талант конструктора, не иначе! На другое мы не имеем права.

— Бернгард прав, — сказал Шверер.

Неужели нельзя купить покой иначе, как отдав ещё одну из своих идей?.. Откуда они узнали его сокровенные мысли? То, что он сам ощущает ещё как неясную

конструктивную идею, представляется им заманчивой реальностью: самолёт-робот, не требующий пилота. Автомат, который не ошибётся, не струсит, не изменит, несущий смерть в любом направлении, любому противнику... Но кто мог выдать генералам мысли Эгона? Эльза?.. С нею он не говорил об этих своих планах. Бельц? Он ничего не знает... Кто же тогда? Ах, не все ли равно! Не это сейчас важно. Нужно добиться хорошей платы. Эту свою идею Эгон должен продать дорого: цена — покой. Благополучие и покой. Уехать подальше. В какую-нибудь страну, вроде Швейцарии. Нет! Швейцария

— это слишком близко, лучше в Норвегию, в страну фиордов и угрюмых скал, куда не дотянется коричневая лапа нового фатерланда.

— О чем же ты думаешь, мальчик? — Шверер осторожно тронул Эгона за плечо. — Нервы, я вижу, никуда не годятся. — Он ласковым движением усадил сына в кресло, и рука его легла на голову Эгона. Эгон чувствовал, как дрожит эта рука. Сухие старческие губы прикоснулись к его уху. — Держись, сынок, — ласково прошептал генерал. — Все будет хорошо.

Эгон близко увидел морщинистое лицо отца. Синие жилки тонкой сеточкой покрывали

крылья носа, разбегались по скулам около выцветших глаз. Он читал в этих глазах ласку, такую же, какая бывала в них много-много лет тому назад, когда мать грозила наказанием расшалившемуся маленькому Эгону, а отец брал его под своё покровительство и шептал на ухо: «Ну, ну, держись, сынок, беги в кабинет». Эгон знал, что там он может открыть боковой ящик стола и взять приготовленную для таких случаев шоколадку с картинкой. Потом в кабинет войдёт отец. Посадит перепачкавшегося шоколадом мальчугана на колени и будет рассказывать про войну, про пушки, про лошадей, про все самое

интересное...

Эгон поднялся; теперь он должен добиться своей шоколадки в обмен на конструкцию «москита» — работа!

— Когда, по-вашему, будет проработана телемеханическая часть такой машины? — спросил он Пруста.

Тот перевёл вопросительный взгляд на Шверера.

— Об этом точно скажет Винер.

— Противно, что мне придётся работать с... этим типом! — неприязненно сказал Эгон.

— Что ты имеешь против него?

Эгон пожал плечами:

— Ничего определённого... Но

когда я вижу этого миллионера в дурно сшитом костюме, я всегда вспоминаю, что на свете есть жулики.

Лицо генерала Шверера покрылось краской.

— Тем не менее тебе придётся с ним сработать.

Несколько мгновений Эгон был в нерешительности, потом тихо, словно обессилев, проговорил:

— При условии, что вы отдадите мне Бельца.

— На кой чорт он тебе? — удивился Пруст. — Он не инженер.

— Зато отлично знает, что нужно истребителю! — ответил Эгон и поспешно, не простившись, вышел.

В поезде между Берлином и Любеком Эгона нагнала фотограмма Бельца. Он сообщал о полученном им приказе сдать эскадру «москитов» и отправиться в распоряжение «господина доктора инженера фон Шверера».

Почему Ульрих взял его в кавычки? Обиделся? Может быть, следовало запросить его о согласии, прежде чем говорить с генералами? Впрочем, все это пустяки. Важно было вырвать Бельца из сумасшедшего дома — «москитной» эскадры, а Эгону — получить опытного консультанта.

— Старички торопятся, —

сказал Эгон через два дня, здороваясь с приехавшим в Любек Бельцем.

Действительно, подполковник передал ему предписание штаба отложить все работы и форсировать новое задание.

Эгон думал, что придётся неволить себя, занимаясь проектом «москита». Задание тяготило его. Он не мог заглушить мысль о том, что эта работа ему навязана. Но с приездом Бельца все изменилось. Сначала поддаваясь настояниям Бельца, а потом словно увлекаемый какою-то инерцией, Эгон все настойчивее искал решения конструктивных форм машины. Будущий самолёт представлял его

взорам как прекрасное решение трудной инженерной задачи.

Бельц взял на себя организационное руководство работой. Твёрдый характер, опытность командира помогли ему подчинить себе Штризе. Молодой инженер стал верным помощником Бельца в деле ограждения Эгона от всяких помех. Штризе готов был день и ночь сидеть за расчётами. Бельц рылся в справочниках, писал запросы своим бывшим товарищам-лётчикам, составлял карточки и таблицы.

Вскоре схема летающего снаряда, или истребителя-робота, начала вырисовываться в уме Эгона. Он уже знал, что самолёт явится

невиданным до сих пор сочетанием
высоких скоростей —
горизонтальной и вертикальной — и
будет совмещать в себе то, что не
удавалось соединить ещё ни одному
конструктору, — скорость полёта с
манёвренностью, с необычайным
диапазоном скоростей. Когда все
будет выверено, он преподнесёт
приятелям готовый сюрприз. А пока
— молчок!

Эгон не принимал никого, кроме
Бельца и Штризе. Но и у них он
быстро отбивал желание говорить о
посторонних вещах и радовался,
когда они уходили. Иногда он,
потихоньку ото всех, садился в
автобус и доезжал до конца Штранда.

Дальше он шёл пешком вдоль берега, минуя виллы и купальни.

Там было пустынно. До конца сезона оставалось мало времени. Серо-голубые волны Балтики были уже слишком холодны и слишком крепко били в берег, чтобы привлечь купальщиков.

Когда Эгону надоедал однообразный шум прибоя, он возвращался к курортному саду и погружался в тишину аллей. На клумбах неслышно копошился садовник. Милый старик! Он так старательно ползал в своих кожаных наколенниках, точно кому-нибудь было дело до маргариток, которые вырастали благодаря его трудам. Это

был уголок, каких, наверно, уже немного осталось в Третьей империи.

Однажды, сидя в саду и наблюдая за неторопливой работой старика, Эгон заметил на одной из скамей фигуру, показавшуюся ему знакомой. Человек делал вид, будто читал газету, но Эгон уловил пристальный взгляд, направленный на него из-за раскрытого листа. Не этот ли щупающий взгляд он поймал на себе на-днях, неожиданно выйдя на кухню и застав там экономку, шепчущуюся с каким-то человеком?

Эгон решительно поднялся и подошёл к незнакомцу.

— Напрасная трата времени —

шляться за мной! — грубо сказал Эгон. — Понятно?

И пошёл прочь.

Широко шагая по берегу, он заметил, что далеко ушёл от Травемюнде, только тогда, когда промокли ботинки. Оглянулся и увидел: он был совершенно один на берегу. Отошёл от воды и сел на сырую скамью. Неожиданно, сразу, подошло самое главное. Он вынул записную книжку и набросал несколько формул. Все складывалось именно так, как он предвидел... Эгон поднялся, собираясь вернуться домой, но потом передумал. Хотелось быть одному, совершенно одному. Не видеть Бельца и Штризе!

Эгон решил не возвращаться домой. Пусть побеспокоятся, поищут!

Ему стало весело и жутко, как набедокурившему мальчишке. Он пробежал вдоль берега, — просто так, потому что хотелось бежать и никто не видел этого.

Он остановился, тяжело дыша: не так это просто — сорваться и побежать, забыв о том, что ты доктор механики, что тебе за сорок. Колотилось сердце, стучало в висках.

Отдышавшись, он медленно побрёл берегом.

Тени стали длинными, когда он добрался до Бротена. Усталый, но в приподнятом настроении, он толкнул

дверь под первой попавшейся вывеской деревенской гостиницы. В зале сидело несколько рыбаков, сумерничавших за кружкой пива. Они с любопытством уставились на Эгона: он пришёл пешком, но за плечами у него не было рюкзака. Эгон потребовал комнату и хороший ужин. Появились жена и дочь хозяина. Они пошли показать Эгону номер.

В коридоре царила тишина. Воздух был пропитан тем особенным запахом, какой держится только в приморских деревенских гостиницах: аромат сосны смешивался со смолистым запахом дорожки. Этот запах напоминает о

корабле, особенно когда в открытые окна врывается солёный ветер и слышен прибой. Лакированные перила лестницы на точёных столбиках, лёгкий скрип ступеней, даже начищенная медная лампа — все показалось мило Эгону.

Эгон выбрал комнату с окнами на море. Хозяин принёс толстую книгу постояльцев. Вписав в графу «цель приезда» слово «отдых», он заискивающе попросил какой-нибудь документ. Ничего, кроме заграничного паспорта, приготовленного для поездки в Чехословакию, у Эгона не было, а эту книжку он не хотел здесь предъявлять. Он испытующе

поглядел на хозяина, соображая, можно ли предложить ему вместо паспорта десять марок. Внешность владельца гостиницы не свидетельствовала о процветании заведения. На хозяине был сильно поношенный, залатанный во многих местах костюм. Десять марок могут иметь значение.

— Не сможет ли это заменить паспорт?

Эгон протянул десятимарковый билет.

— А что ждёт меня за постояльца, о котором не сообщено в полицию? — со вздохом сказал хозяин и взял деньги.

Далеко за полночь Эгон поднялся из-за стола. Комната была полна табачного дыма. Голова кружилась.

Он вышел на улицу. Деревня спала. Все окна были темны. Эгон пошёл к морю. Волны нехотя лизали песок и с лёгким шипением сбегали обратно. Облака медленно плыли по небу. Они были длинные и тощие, будто истомлённые долгим странствием. Края их висели неровными тёмными лохмотьями, похожие на поля изношенной шляпы. Вереницы облаков ползли, как усталые мысли, подгоняемые какою-

то неведомою силой, беспорядочные, цепляющиеся друг за друга. Эгон стоял на мягком песке, широко расставив ноги и закинув голову. Он так долго смотрел на небо, что заболела шея и стало рябить в глазах. В голове беспорядочным, расстроенным хором, точно перепутанные зубчатки часов, бежали, цеплялись друг за друга разрозненные формулы, цифры...

Когда месяц выглядывал в окна между облаками, море становилось белесым, как жидкое молоко. Самый невзыскательный художник назвал бы его сейчас безобразным, но Эгон жадно смотрел на него и думал, что, может быть, видит его в последний

раз. Теперь, когда в голове совершенно созрел проект, он должен был как можно скорей убраться за пределы Германии.

Уехать из Германии?.. Чепуха!.. Он же не политик. Ему будет отлично и здесь. Ему дадут много денег. Ему дадут, наконец, покой, долгожданный покой! Он сможет наслаждаться им сколько угодно. С утра до вечера, ежедневно, летом и зимой. И не будет ему никакого дела до того, что произойдёт за его спиной. Война?.. Ну что же, может быть, и война: всеевропейская, мировая, — какая угодно! Германия с её морями и реками, горами и лесами, со всеми немцами останется

на месте.

Ах, чорт побери, опять он в воде! Второй раз за сегодняшний день. И на этот раз ботинки мокры насквозь.

Да, так, значит, все немцы останутся на месте. Ну, конечно, куда им деться? Никуда они не уйдут, кроме разве тех, кто окажется в армии, и тех, кто будет в концлагерях, и тех, кто в тюрьмах, и тех, кто... Постойте, постойте, дорогой доктор, вы зарапортовались: если дальше так считать, то ведь на своём месте не останется ни одного немца!

А что вы, собственно, доктор, подразумеваете под «своим местом»?

И кто, собственно, имеет право определить это место для народа, как не сам народ?

Каков же вывод? Значит, за теми, кто обещает ему благополучие и покой в обмен на конструкцию нового истребителя, Эгон не признает права определить место народа в жизни? Значит, то, что он сейчас делает, он делает не для народа, распорядителя жизни, а против народа? Он должен себе это прямо и честно сказать. Ну и что же, он не должен делать истребитель, не должен брать из рук наци в награду деньги и покой?..

Эгон медленно пошёл к деревне. Над нею, без видимой причины,

вдруг пронёсся одинокий лай, ему ответили собаки на разные голоса в разных концах деревни. На минуту все слилось в безобразном концерте и вдруг оборвалось так же внезапно. Ещё разок-другой тьякнула где-то зачинщица и, не получая ответа, замолчала.

Таинственные шорохи, которые принято называть тишиной, слышались вокруг. Ни одного огонька, кроме окна Эгона. Оно одиноко светило в ночи...

Почему не бывает на свете чудес? Почему, придя сейчас в свою комнату, он не застанет в ней Эльзы?..

Эгон подошёл к приёмнику и

повернул выключатель. Из ящика завывали саксофоны джаз-банда. Англия танцевала. В Париже пели шансонье.

Эгон искал в эфире. Фокстроты, скрипки, скабрёзные песенки и церковные службы. Всяк спешил развлечься на свой лад перед тем, как мир утонет в новом море крови.

Вот Эгон услышал: «Дорогие друзья, как мы обещали, начинаем сегодняшнюю передачу в час по среднеевропейскому времени...» Немецкий язык — сейчас начнётся очередное враньё. Но почему Эгону так знаком этот голос? Что-то хорошее, дружески тёплое звучит в

этом баритоне.

Эгон протянул руку, чтобы повернуть выключатель радио.

«Слушайте, слушайте! Дорогие друзья, говорит передатчик „Свободная Германия“.

Так вот чей это голос, вот почему он знаком Эгону — это говорит Лемке!

«Дорогие товарищи, закройте двери, опустите шторы на окна. Сейчас вы услышите голос нашего певца. Он вырвался из концлагеря, чтобы снова петь для вас. Итак...»

Голос исчез за дробным треском помех. Треск был методичен и резок. Он врывался в тишину ночи, как стук пулемёта, — это была работа

мешающей станции.

Эгон с досадою выключил приёмник.

Ну что же, из-за чего Эгон так волнуется? Почему у него вдруг задрожали руки. Лемке? Что до него Эгону? Он же все решил: путь ясен. Если в уравнении и остались неизвестные, то основной показатель открыт: деньги и покой!

Вот здесь, на столе, — цена богатства и покоя: листки, исписанные формулами.

Эгон ещё раз проверил записи и сложил в ящик стола. Потушил лампу и повалился в постель. Усталость разливалась тёплой истомой. Эльза...

Эгон проснулся рано. Где-то под окном пела птица. От берега, из светлоголового простора, доносился неустанный шопот моря. Ломая горизонт зубцами коричневых парусов, выходила в море флотилия рыболовов.

И сегодня работа спорилась.

Ко второму завтраку Эгон спустился в зал. Он был единственным посетителем.

Дочка хозяина прислуживала, хлопотливо постукивая деревянными башмаками. Чорт возьми, города ещё как-то держатся. В них не было так заметно обнищание. А ведь такие деревянные башмаки носили раньше

в этих краях только рыбаки, да и то не при гостях.

К концу завтрака прикатил на велосипеде хозяин. У него был хмурый вид, но, увидев Эгона, он заулыбался и ещё по ту сторону двери резко выбросил руку:

— Хайль Гитлер!

Эгон, не вставая, ответил:

— Здравствуйте.

— Все устроилось как нельзя лучше! — сказал хозяин, потирая руки. — Вы останетесь у меня, сколько вам будет угодно!

— Завтра вечером я уеду.

— Как это грустно, да, да, очень грустно.

— Но ведь я же вам сказал, три

дня, только три дня!

— Я думал, если все устроится с регистрацией, вам будет приятно отдохнуть у нас... Такой воздух. И тишина. Вы, как король, на всем Штранде. Можете предаваться вашим научным мыслям.

Эгон удивился:

— С чего вы взяли, что меня интересует наука?

— Разве же это сразу не видно? — Хозяин смешался и отвёл глаза.

Во второй половине дня он заглянул в комнату Эгона и, кланяясь ещё ниже, чем прежде, сказал:

— Осмелюсь просить господина доктора... Нам было бы приятно...

Это, собственно, даже не моё желание...

— Говорите прямо, прошу вас!

— Моим дамам очень хотелось бы сохранить на память о первом постояльце этого сезона фотографию: господин доктор в кругу нашей семьи!

Эгон усмехнулся.

— Значит, сегодня налёта не будет?

— О чем вы, господин доктор?

— Карточка не будет готова раньше завтрашнего дня.

— Ну, конечно!

— И только завтра к вечеру вы сможете доставить её в полицию?

— Господин доктор!.. Господин

доктор!...

Хозяин приткнулся головою к притолоке и заплакал. Его спина согнулась под пиджаком, непомерно широким, лоснящимся от многих лет службы. Эгон протянул ему стакан воды.

— Все идёт своим порядком!

Хозяин громко глотал воду.

— Ах, господин доктор, господин доктор! Смотреть в глаза хорошему гостю и знать, что сам, своими руками делаешь так, чтобы он больше никогда к тебе не приехал... Вы думаете, так легко самому вить верёвку, на которой тебя повесят? Разве я не понимаю, что в конце концов немцы перестанут

ездить на курорты! Когда постоялец обнаруживает, что рылись в его чемодане, у него нет желания вторично заезжать в ту гостиницу.

— Вы лазили в мой стол? — сказал Эгон. — Вы видели мои расчёты?

— Но я ничего в них не понял!.. Я им сегодня так и сказал: алгебра, а я никогда её не любил... Мой отец и мой дед держали эту гостиницу. У нас была прекрасная репутация. И вот теперь я сам, вместе с женой и дочкой, разрушаю своё дело.

— Будьте честны с собой и со своими гостями. Это всё-таки надёжней — не запутаетесь.

— Простите, господин доктор...

— хозяин подыскивал слова. — А как же с карточкой? Скоро зайдёт солнце...

Во время съёмки Эгон был весел и любезен с дамами.

Он тут же, в гостинице, купил плитку шоколада для фройлейн. Пообещал хозяйке приехать через месяц для продолжительного отдыха. Потом немного прошёлся по берегу. Возвращаясь, увидел хозяина за конторкой. Старик стоял в жилете, зелёном переднике и шапке с галуном — настоящий портье. Дёргая носом, чтобы удержать сползающее пенсне, он старательно скрипел пером.

Когда Эгон кончил работу, на деревенской кирхе пробило одиннадцать.

Итак, все готово! За эту пачку листов дорого дал бы генеральный штаб любой страны. Здесь был залог его будущего: цена свободы!

В окно тянуло влажной прохладой взморья. Эгон потушил лампу и сел на подоконник. Море было видно на большое расстояние. Где-то на горизонте то появлялся, то снова исчезал едва заметный огонёк. Судно шло из Любека.

Эгон и не заметил, как наступил «полицейский час». Из отеля вышло несколько подвыпивших рыбаков. Громко переговариваясь, они исчезли

в стороне деревни. Хозяйка захлопнула дверь гостиницы. Но через несколько минут дверь снова отворилась. Вышел хозяин. Он катил перед собою велосипед. Подойдя к скамейке, он неловко, с кряхтением, взлез на машину, оттолкнулся ногой и покатил к деревне. Его силуэт быстро растаял в темноте.

Утром Эгон снова ушёл к морю. На этот раз он сунул в карман все листки своих расчётов: до самой Чехословакии их не увидит ни одна душа, даже Штризе и Бельц! Теперь он знает себе цену. Мечта стала реальностью.

Когда он вернулся в гостиницу, сумерки выползали уже из углов

комнаты, но Эгон не зажёл огня. Он лёг в постель и заложил руки за голову. Хотелось лежать и ни о чём не думать. Может быть, простых и ясных дней в его жизни будет не так уж много.

Шум мотора заставил его очнуться. Одним прыжком он очутился у окна: возле гостиницы остановился автомобиль. Слабого света, падающего сквозь стекла двери, Эгону было достаточно, чтобы сразу распознать хорошо знакомые фигуры Бельца и Штризе, вылезающих из машины.

Так вот оно что! Его хотят взять врасплох! Эгон не помнил, чтобы когда-нибудь прежде в нём

поднималось такое жгучее чувство протеста. Оно захлестнуло его сознание, как внезапный пожар. После стольких размышлений, потраченных в течение целых лет на поиски оправдания тому дурному, что он сам видел в своей работе на нацистское государство; после стольких терзаний, казавшихся ему глубокими и тонкими, он вдруг в одно мгновение понял, что всё это пустяки, выдуманные им, чтобы порисоваться перед самим собою, пустяки, явившиеся результатом дурной привычки философствовать там, где все было ясно без всякой философии. Кратких мгновений сейчас оказалось вдруг достаточно,

чтобы увидеть себя в роли убийцы. Да, убийцы, пытающегося найти своему преступлению оправдание в том, что он совершает его таким утончённым, таким высоконаучным способом, что имеет возможность не видеть жертв, даже точно не знать, когда они умирают, сколько их умирает, кто они! В качестве интеллектуально одарённого убийцы он мог совершенно отвлечённо, с высоконаучной точки зрения интересоваться действительностью пущенных им в ход орудий смерти. И самое главное, что внезапно предстало перед ним, как насмешка над всей философской жвачкой, которую он разводил вокруг этого

дела, было желание не знать, что, совершаемые им преступления направлены против него самого, против таких, как он сам, против всего разумного и честного, что преграждает путь царству тьмы, сопутствующему нацистам. Эта мысль не раз и прежде приходила ему в голову, но неизменно отвергалась из-за туманных соображений о его личной надпартийности, о том, что он выше происходящего вокруг. Но сейчас эта мысль предстала ему в таком обнажённом безобразии, что он ощутил её почти вещественно. Он протянул руки в страстном желании схватить и уничтожить её навсегда.

Он со стоном отвернулся от окна, и через мгновение пачка листов с его расчётами была в камине. Эгон сорвал с лампы горелку, выплеснул керосин на скомканные листки. Спичка... Огонь...

За те секунды, что пламя охватило бумагу, перед Эгоном промчалось всё, что было на ней написано. Он почувствовал, что лоб его покрыт испариной. Нечеловеческих усилий стоило отчётливо вспомнить каждую цифру расчёта, пока пылали листки. Но теперь уж он не забудет их никогда! И никто не сможет прочесть их.

Керосиновый чад ещё висел в воздухе, когда в номер постучали.

Эгон повернул ключ. С порога улыбались Штризе и Бельц.

Эгон, нахмурившись, надел шляпу.

Как только Эгон переступил порог своего дома в Любеке, экономка прошипела:

— Вас ждёт дама.

«Эльза», — пронеслось у него в голове. Чтобы успокоиться и принять верное решение, он с нарочитой медлительностью снял пальто. При этом на глаза ему попала лежащая на подзеркальнике открытка. Он жадно схватил её... Лемке писал: «Все отлично. Она ни в чём не виновата...» Эгон отбросил открытку

и бегом устремился в гостиную. Все в нём радостно пело: «Эльза, Эльза!»

Однако вместо Эльзы навстречу ему поднялась со стула маленькая фигурка старушки. Эгон с трудом узнал под вуалью фрау Германн.

— Эльзхен просит вас приехать к ней по очень важному делу, — проговорила фрау Германн, опустив глаза. — Эльзхен давно не встаёт с постели, — едва слышно добавила старушка.

Она посмотрела на него, и Эгону стало стыдно: может быть, она считает его простым ловеласом, разбившим жизнь её дочери?

Губы фрау Германн зашевелились, но Эгон ничего не мог

разобрать. Он должен был нагнуться к её лицу, чтобы услышать:

— Нужно ехать теперь же, немедленно! — И старушка заплакала.

Увидев Эльзу, он испугался. Глаза — вот всё, что он видел на её лице. В них было столько страха, что он готов был поверить всему, что она скажет.

Эльза не плакала и ни в чём его не упрекала. То, что она говорила, было просто и ясно. Эльза была беременна. Прежде ей и в голову не приходило ничего дурного, но когда она узнала, какие надежды возлагает на её беременность гестапо, то

прямо от Шлюзинга она поехала к акушерке. Аборт был сделан неудачно. Эльза заболела. Здесь она не могла даже лечиться об этом немедленно узнал бы Шлюзинг. Эльза просила Эгона помочь ей выбраться из Любека, — куда-нибудь, всё равно куда, лишь бы подальше от Шлюзинга.

И ещё одно: мама ничего не должна знать.

— Зачем же ты это сделала? — с трудом проговорил Эгон.

— Чтобы они не могли больше шантажировать ни меня, ни тебя. Не думай больше ни о чём, только помоги мне уехать. Я сама виновата во всем. Одна я...

Он думал, что она сейчас заплачет, но глаза её оставались сухими. Они стали ещё глубже, ещё синее, — как кусочки голубого льда.

На следующий день рано утром Эгон позвонил Штризе.

— Фройлейн Эльза Германн едет с нами в Чехословакию. Пусть выправят ей паспорт.

— Вы же сами велели вычеркнуть её из списков! — сказал удивлённый Штризе.

— Слушайте то, что вам говорят! — крикнул Эгон. Он ещё никогда не говорил со своим помощником таким тоном. — Её заграничный паспорт передадите мне. Она будет нас ждать в Берлине.

Когда Штризе передал об этом разговоре Шлюзингу, тот едва не подпрыгнул от радости:

— О, молодец, молодец девчонка!

В доме Винера, «ныне коммерции советника фон Винера», царило оживление. Давно уже хозяина дома не видели в таком хорошем настроении. Пожалуй, с тех самых пор, как ему удалось благодаря помощи Опеля спасти свою фирму от посягательства англичанина Грили. Но никто не догадывался об истинной причине этого прекрасного настроения Винера, — Шверер взял с него слово, что он не проговорится о выданной ему политической тайне: со дня на день, может быть завтра или послезавтра, в Берлине произойдут большие еврейские

погромы.

Винер решил вложить все свободные деньги в то ценное, что можно купить у евреев. Не может быть, чтобы они не пронюхали о предстоящем бедствии. У них не было основания не верить слухам. Можно было с уверенностью сказать, что они пожелают обратить в наличные деньги всё, что может гореть, ломаться, все, чего нельзя положить в банковский сейф. А уж Винер знает, что покупать... Недаром он слывёт одним из виднейших любителей живописи. Его испанцами не побрезговал бы сам герцог Альба! Неплох был и французский уголок.

Будь то испанец, француз или фламандец, старый или новый, — трубка длиною в метр — и солидная сумма устойчивой валюты в кармане!

Оставалось только использовать дни до отъезда в Чехословакию, чтобы пополнить коллекцию. Момент был удачным. У ван Димена, говорят, появились полотна, каких торговцы картинами не показывали уже много лет.

Винер пометил в книжечке, что необходимо посетить галерею Хальберштока. Не забыть бы заехать и в аукционный зал Лепке. Там тоже стало появляться кое-что заслуживающее внимания. Вообще жизнь стала занятой: одни спешили

обратить свои картины в деньги, а он, Винер, готов менять их на картины.

— Спроси мать, не хочет ли она поехать со мной в галерею? — сказал он Асте, сидевшей напротив него за утренним завтраком.

Аста поднялась, лениво потягиваясь:

— Опять принять участие в какой-нибудь комбинации?

— Аста! Откуда это?

— Общество чистокровных наци дурно влияет на мои манеры, но зато не может испортить политической репутации.

— Ты ходишь над пропастью, детка!

— Падение в пропасть мне не грозит. Я брожу по её дну.

— Аста! — закричал Винер.

— Так обстоит дело, папа. —

Аста пожала плечами и не спеша закурила.

— Труда! Ты слышишь, что она говорит? — Винер выбежал из комнаты. — Что она говорит!..

Он вернулся в столовую, сопровождаемый испуганной фрау Гертрудой.

— Аста, Аста!.. Да куда же ты девалась?

— Фройлейн Аста пошла к себе и просила её не беспокоить, — сказала горничная.

— Это сумасшедший дом! —

воскликнул Винер.

Он пронёсся мимо горничной, выхватил у лакея шляпу и трость и уехал.

По мере того как машина катилась по освещённым солнцем улицам, спокойствие возвращалось к Винеру. Аста распустилась, но в Чехии он ей покажет!..

С приближением к Курфюрстендамм Винеру бросилось в глаза оживление на улицах. Люди штурмовали киоски газетчиков и тут же нетерпеливо разворачивали листы полуденных выпусков.

Винер приказал шофёру купить газету.

С первых страниц на него

глянули ошеломляющие заголовки. В Мюнхене погромы. Банды штурмовиков разгромили еврейские магазины. За магазинами пришла очередь квартир. Власти издали приказ: всем евреям в недельный срок покинуть Баварию.

Кто же поверит, будто у германской полиции нехватило силы справиться с бандой погромщиков? Она заодно с ними! Официальная версия о том, будто погромы являются результатом возмущения, вызванного убийством евреем Грюншпаном дипломата Рата, — выдумка, к тому же не слишком удачная. Мюнхен — только начало. Может быть, завтра то же самое

произойдёт здесь, в сердце Германии? Нельзя упускать такой момент! Сегодня богатые евреи будут продавать ценности, которые нельзя спрятать от погромщиков; завтра пойдут в ход портфели акций — вот где начнётся главное, вот что имел в виду Шверер, предупреждая его о конъюнктуре! Винеру предстоит поработать за них обоих.

Винер приказал ехать к Хальберштоку. Если правда, что фактическим владельцем галлерей является Блумштейн, скромно именующий себя управляющим, то нюху этого господина надо отдать должное. Он во-время сообразил, что еврею нужно избавиться от

сокровищ.

Здороваясь с Винером, управляющий галлереей Блюмштейн старался казаться спокойным, но Винер сразу почуял, что сегодняшние новости потрясли его.

— Мне удалось получить сокровище, которое вы увидите первым, — сказал Блюмштейн и повёл Винера в одну из боковых комнат. У дверей сидел служитель. Широкое окно было забрано решёткой.

— Ого, святая святых! — воскликнул Винер. — Давненько мы сюда не заглядывали!

— Не часто случается получить вещь, стоящую того, чтобы держать

её здесь. — Управляющий знаком велел дать свет.

Пока поднимали шторы, Винер успел разглядеть, что два небольших полотна висят на противоположных стенах комнаты. В середине комнаты возвышалась скульптура, накрытая чехлом.

Когда ровный, мягкий свет проник сквозь матовые стекла большого окна, Блюмштейн сам стал снимать покрывало со скульптуры с такой осторожностью, будто под холстом скрывались хрусталь и воск.

— Сальватор Кармона, — благоговейно прошептал Блюмштейн.

— Где вы это взяли? — так же тихо спросил Винер.

— Поручение одного испанского гранда...

Уже не благоговейным шопотом, а в полный голос Винер небрежно сказал:

— Это меня не интересует! Скульптуры я не покупаю.

— Ей место в Национальной галлерее!

— Пусть её туда и берут! — В голосе Винера послышалась насмешка. Он хорошо знал, что на предметы искусства у Третьей империи нет ни пфеннига. Ей не до скульптуры, будь то хотя бы Пракситель.

— Покажите, — Винер без стеснения ткнул шляпой в

завешенные картины.

— Зулоага и ранний Пикассо.

Винер мельком взглянул на Пикассо и отвернулся. Он слишком давно охотился за этим мастером, чтобы выдать свой интерес. «Сценка из крестьянской жизни» Зулоаги вознаградила его за необходимость не смотреть в сторону Пикассо. Это он понимал: какая сила красок! А лица! Каждое — целая биография. Да такое полотно заинтересовало бы его, даже если бы это не был Игнасиа Зулоага. А Зулоага тем более: это валюта.

Винер знал, что сегодняшние известия из Мюнхена заставят Блюмштейна поспешить с

распродажей. Когда управляющий назвал цену, Винер рассмеялся ему в лицо.

— А вчера вы сколько хотели?

— Клянусь вам! — воскликнул Блюмштейн.

— Придётся уступить. Серьёзно уступить, господин управляющий. В Мюнхене уже громят!

Управляющий ничего не ответил.

Когда шофёр уже собирался захлопнуть за Винером дверцу автомобиля, из подъезда выбежал швейцар.

— Господина советника просят в контору к телефону.

Оказалось, что его вызывает к

себе генерал Шверер — немедленно и по важному делу.

Длинные тихие коридоры штаба подействовали на Винера угнетающе. Здесь никому не импонировала его замечательная борода.

Шверер сидел где-то в недостижимой дали огромного кабинета. В рамке затенённого шторой окна он казался таким же портретом, как висевшие на стенах вокруг. Кое-кого из этих строго глядевших сверху господ Винер мог узнать: Мольтке, Бисмарк, Гинденбург...

Винер сразу почувствовал, что перед ним сидит не тот Шверер, которого он знал в домашней

обстановке. То же сухое лицо с острым, словно приплюснутым носом, та же седая, стриженная бобриком голова, а в целом — совсем другой человек. Что-то неуловимое заставило Винера пройти блестящее, как каток, пространство до генеральского стола, ступая на носки.

— Вам пора ехать в Чехословакию, если не хотите прозевать все, — без всякого вступления сказал Шверер и сердито сбросил очки на лежавшие перед ним бумаги. — События развиваются быстро. Ваши коллеги, во главе с доктором фон Шверером, уже выехали из Травемюнде. Дальше они

поедут вместе с вами.

Шверер резко встал из-за стола. За гигантским столом, заваленным грудой бумаг, он казался совсем маленьким. Он обошёл стол и протянул Винеру руку.

— Спешите, иначе найдутся ловкачи, которые вырвут кусок у вас изо рта, — сердито проворчал он на прощанье.

Винер понял, что только то, что стены кабинета могли иметь уши, помешало Швереру сказать, что он так же боится за тот кусок, на который разинул уже рот и сам как секретный компаньон Винера.

Сейчас же домой! Предупредить Гертруду, укладываться! Но, сидя в

автомобиле, Винер передумал и велел вернуться к Хальберштоку. Жадность не позволяла ему упустить и этот кусок. У Хальберштока он лихорадочно просмотрел коллекцию и отобрал много картин.

— Одно условие: через два часа всё должно быть у меня.

Блюмштейн не помнил себя от радости.

— Будет исполнено, господин доктор! Но боюсь, что сегодня я уже не успею получить по вашему чеку, время операции кончается.

— Учтёте завтра, — небрежно ответил Винер, пряча глаза, так как знал, что завтра еврею будет не до чека.

От Хальберштака он поехал в аукционный зал и забрал у Лепке всё, что заслуживало внимания. Хозяин зала не сразу решился показать Винеру только что привезённое собрание картин Людвига Кирхнера — художника, доведённого фашистами до самоубийства. Винер сморщился.

— Когда-нибудь картины этих самоубийц будут дорого стоить, но теперь с ними ничего, кроме неприятностей, не наживёшь.

Он критиковал полотна Кирхнера, чтобы сбить цену. Купил почти все. Чек был выписан на большую сумму и помечен завтрашним днём.

Он вернулся домой к вечеру, когда уже темнело. Доложили, что его спрашивает портной Фельдман.

— К чорту! — заорал Винер.

— Вольфганг, — строго сказала фрау Гертруда, — ты же понимаешь, как ему важен теперь каждый пфенниг.

— Отдай ему деньги, и пусть убирается!

Фрау Винер велела впустить портного. Фельдман вошёл в зал, где Винер снимал последние картины, работая наравне с прислугой. В одной жилетке, с растрёпанной бородой, он карабкался на стремянку.

Фельдман стоял молча. Винер делал вид, что не замечает его.

— А ну-ка, помогите! —
скомандовал он вдруг, снимая со
шнура очередную картину.

Фельдман послушно принял из
рук Винера полотно и бережно
приставил его к стене.

— Господин советник... —
Фельдман прижал руки к впалой
груди. Он изогнулся, стараясь
заглянуть в лицо стоявшему на
стремянке Винеру. — Мне нужно
сказать вам несколько слов...

Винер нетерпеливо махнул
рукой:

— Отложим, давайте отложим. Я
знаю, все знаю!

Фельдман с трудом сдерживал
дрожь губ.

— Уверены ли вы, господин советник, что это не может случайно коснуться и вашего дома, как дома любого берлинца?

— Моего дома? — произнёс Винер и даже притопнул тяжёлой ногой. — Вы сошли с ума! Они собираются громить евреев, а не «любых берлинцев».

— В таком случае я прошу вас, доктор... прошу за детей?

— Что за глупости вы там говорите?! — все больше раздражаясь, крикнул Винер.

— Господин советник, вас просит отец. — Голос портного звучал торжественно. — Мне некуда деваться. — Заметив, что Винер с

досадой поморщился, Фельдман поднял руку. — Господин доктор!.. Я прошу убежища не для себя!

Винер спустился со стремянки и, расставив ноги, стоял перед портным. Он собрал в кулак бороду и нетерпеливо мотнул головой:

— Покороче — здесь не синагога.

Фельдман снова поднял руку.

— Я прошу за своих детей!

Винер с раздражением дёрнул себя за бороду.

— Какого чорта вам от меня нужно? — грубо крикнул он.

— Моим детям нужно совсем немножко места в подвале.

— Подвал уже занят, там

картины!

— Детей можно спрятать в сыром уголке, куда вы не решитесь поставить картины.

— Не просите, Фельдман, это невозможно!

Фельдман умоляюще протянул к Винеру руки:

— Моих детей!

Винер подбежал к двери и, распахнув её, крикнул:

— Уходите, сейчас же уходите.

Вошла фрау Гертруда.

— Послушай, Вольфганг, мы должны это сделать.

Винер с изумлением смотрел на жену.

— Но ведь если они узнают, что

здесь есть евреи, в доме не пощадят ничего! Ты это понимаешь?

— Я все понимаю, о, я очень хорошо понимаю! Прежде всего я понимаю, что все эти страхи, все эти слухи — ерунда. Немцы никогда не сделают того, в чём вы их подозреваете.

— Но Мюнхен, Мюнхен! — в отчаянии крикнул Фельдман.

Гертруда подняла голову:

— Так ведь это же баварцы!

— Вот, вот, послушайте, — заторопился Фельдман. — Отсюда они повезли штурмовиков в Мюнхен, чтобы они громили баварских евреев. Из Мюнхена они повезли штурмовиков в Дессау. Из Дессау

везут сюда. Вот как они это делают.

— Какая бессмыслица! —
гневно воскликнула фрау
Гертруда. — Но не в этом сейчас
дело. Ты должен спрятать его детей,
Вольфганг!

— Ага, у Винера есть дом!
Почему же им не воспользоваться?
Там столько места — истерически
закричал Винер. — Но ведь у Винера
есть ещё и деньги. Может быть, вам
нужны и его деньги? — Он выхватил
бумажник и размахнулся, как бы
намереваясь швырнуть его к ногам
Фельдмана, но вместо того снова
сунул его в карман. — Убирайтесь,
пока я не позвонил в полицию!..

Эгон заехал домой проститься с матерью и неожиданно застал там отца. Генерал не хотел показать, что приехал раньше обычного ради сына. Сидя в будуаре жены, он молча слушал её жалобы на покинувших её детей. Даже Эрни, её маленький Эрни, совсем забыл свою старую мать!.. При воспоминании о любимце нос Эммы покраснел.

Это выглядело слишком глупо, чтобы сердиться.

Не обращая внимания на жену, генерал увёл Эгона в кабинет и стал расспрашивать о работе.

Он слушал Эгона с

нескрываемым интересом. Сегодня он гордился сыном. Настоящее швереровское семя. Молодец, молодец Эгон!

Генерал не мог усидеть на месте. Он вскочил и пробежался по кабинету. Он и себя-то почувствовал бодрее, моложе!

— Молодец, малыш! Брось бредни о покое и прочей чепухе! — Маленький, подтянутый генерал остановился перед Эгоном и хлопнул его по плечу. — Твоя машина — не последний козырь в колоде, которой будет играть Германия! Кое-кто будет кричать, что колода краплёная. Нас будут обвинять в нечистой игре. Но пусть кричат! Мы доведём игру до

конца. До конца! — Он рассмеялся. — Значит, и ты, наконец, понял, что Германия должна стать Европой? В неё должно собраться все. И тебе перепадёт оттуда кое-что!..

Раздражение Эгона поднялось сразу. Он хотел уехать из Германии, оставив её родной и любимой, а тут ему говорят бог знает что!

— Ты помнишь условие? — спросил Эгон. — В обмен на машину — свобода.

— Да, да! Ты будешь богат и сможешь жить в любом месте Германии.

— Басня о соловье в золотой клетке, — раздражённо сказал Эгон.

Сухие старческие пальцы Шверера впились в плечо Эгона. В голосе старика слышалась страстность, которой Эгон ещё никогда не слышал.

— Ты хочешь сказать, что намерен уйти за пределы родной страны? Ты — единственный Шверер!

Генерал порывисто привлёк его к себе и, поднявшись на цыпочки, поцеловал. Он не мог достать до лба Эгона — мокрый старческий поцелуй пришёлся в переносицу.

Эгон стоял молчаливый и угрюмый. Ему хотелось вытереть влажную переносицу. Он чувствовал, как рвётся нить, связывавшая его с

отцом, со всем, что его окружало, с этим домом.

Первый раз в жизни они переменились ролями: Эгон указал отцу на стрелку часов, напоминая об отъезде.

Генерал опустил голову, сгорбился.

Он стоял маленький, старый. Совсем старый и жалкий.

Так прошло несколько мгновений. Наконец Шверер поднял голову, выпрямился и, посмотрев сыну в глаза, протянул ему руку.

Эгон с облегчением переступил порог отцовского кабинета. Как казалось ему — навсегда.

Он велел позвать Лемке.

Франц пришёл подтянутый и строгий.

— Прощайте, Франц. Может быть, мы никогда не увидимся.

Лемке огляделся.

— Здесь не место торчать шофёру. Вытребуйте меня у генерала на час раньше. Автомобиль — самое подходящее место для разговоров.

— Отец, наверно, и не подозревает, что его автомобиль превратился в конспиративную квартиру на колёсах.

— К счастью, нет!

Через четверть часа они сидели в автомобиле. Вместо того чтобы ехать на вокзал, Лемке кружил по городу.

— Выкиньте из головы ваши сомнения! Где бы вы ни были, оставайтесь сыном своего народа.

— Мне надоело, — резко сказал Эгон. — Все твердят на разные лады: служи Германии, будь немцем!

— Нет, доктор, все мы говорим о разном. Просто «быть немцем» — это вовсе не то, чего я от вас хочу. Быть честным — вот что нужно.

— То-есть... быть с вами?

— Да!.. А то, что мы все говорим о Германии, должно вам доказать, что она не перестала существовать, хотя каждый из нас и вкладывает свой смысл в слово «Германия».

— Той Германии, о которой

говорите вы, Франц, больше не существует. Они перекраивают её на свой лад. Теперь, когда между Гитлером и генералитетом нет разногласий, наци крепче, чем когда-либо.

— А вы уверены, что между ними все ладно? Рейхсвер снёс это тухлое яйцо — Гитлера. А такая курица, как рейхсвер, не сможет примириться с тем, что ею командует её же цыплёнок. Генералы хотят стоять на горе и командовать. А там стоит ефрейтор с шайкой штатских купцов.

— Вы — моя совесть, Франц, — грустно сказал Эгон, — а от совести-то я и хочу скрыться.

Лемке вынул из кармана конверт.

— Передайте Цихауэру, — сказал он.

— Сумка снова пригодилась? — улыбнулся Эгон.

Автомобиль остановился перед вокзалом.

В подъезде вокзала Эгона ждали Бельц и Винер.

Через несколько минут Винер, Эгон и Бельц были в купе.

Штризе и Эльза ехали отдельно, в третьем классе.

Стук колёс становился все более частым. Он гулко отдавался в обшитом деревом вагоне третьего

класса. Мимо окон мелькали дома Шенеберга. На стрелке Эльза едва удержалась на ногах. Держась за стенку, она прошла в купе.

Штризе предупредительно очистил ей место у столика. Она молча уставилась в окно. Штризе предложил ей журналы. Она взяла их, но, не раскрыв, уронила на колени.

Поезд набирал ход. Движение вагона становилось все более плавным. Его больше не швыряло на стрелках. За окнами прошли увенчанные сиянием неона радиомачты Кенигсвустергаузена.

Но вот и эти огни исчезли. Берлина больше не было. Неужели

правда, что она вырвалась? Живая? Эльза сдерживалась, чтобы не заплакать. Может быть, в чужой, свободной стране ей удастся вылечить тело и душу?

Эльза оторвалась от окна. За стеклом осталась только пустая темнота ночи. Изредка мелькали огни, от быстрого движения поезда сливавшиеся в сверкающие полосы. В дверях купе показался Эгон.

— Я за вами! Идёмте ужинать, — приветливо сказал он молодым людям.

Эльза колебалась. Она чувствовала себя плохо, но соблазн побыть с Эгоном был слишком велик.

Штризе вёл Эльзу по коридорам

раскачивающихся вагонов.

Бельц весело помахал им рукой из-за столика. Рядом с Бельцем гордо топорщился чёрный клин бороды Винера.

— Сюда, Пауль, сюда! — крикнул Бельц.

Для этих двух не происходило ничего особенного. Через месяц или через год, но те же огоньки за окном будут для них мелькать в обратном направлении. Они это знали и были спокойны.

Бельц подул в кружку, чтобы отогнать пену, сделал глоток и громко сказал:

— Пильзен! — Он обвёл спутников взглядом. — Я пью за

Пильзен, господа! Честный
немецкий Пильзен. К чорту Пльзень.
Мы покажем чехам их настоящее
место. Прозит, господа!

Штризе высоко поднял свою
кружку.

— Да здравствует немецкий
Пильзен!

Остальные молчали. Винер
натянуто улыбался. Эльза смотрела в
чёрную пустоту окна. Эгон уставился
в карту кушаний.

Едва успев поздороваться с вошедшим в номер Роу, Монти быстро проговорил:

— Вы должны меня выручить, Уинн!

— Пойдите, не так поспешно.

— Вы не понимаете, Уинн, мне дорога каждая секунда. Мы...

— Кто это «мы»?

— Я и Бен... Ну, Бен и я...

— Зачем вы здесь и притом вместе?

— Мы — миссия... Миссия доброй воли!

— Добрая воля — и вы? — Роу расхохотался.

— Правительство его величества хочет избежать войны в Чехословакии.

— Правительство его величества всегда хочет избежать маленькой войны, чтобы дать возможность вспыхнуть большой...

— Пусть, пусть так. — Монти умоляюще взглянул на Роу: — Выслушайте же меня!

— Выкладывайте. — Роу поудобнее устроился в кресле. — Только имейте в виду: каждое слово, которое вы тут произнесёте, будет известно немцам.

— Что же делать? — растерянно спросил Монти.

— Не говорить.

— Но мне очень нужно!

— Тогда взять две подушки и одною накрыть телефон, другою — вон ту вентиляционную решётку.

Пока Монти торопливо выполнял это указание, Роу старательно набивал трубку.

— Теперь, пожалуйста, по порядку... Итак: вы с Беном в Берлине...

— Проездом в Чехию. Правительство его величества желает умиротворения чехов, которые могут потерять голову и начать защищаться от притязаний Гитлера.

— Так. Это понятно.

— Бен сейчас на приёме у рейхсканцлера. Они

консультируют...

— Это тоже понятно: «консультируют». Гитлер пугает лорда Крейфильда тем, что свиноводство того пострадает, если чехи не отдадут Гитлеру Судет.

— Боже мой, вы неспособны быть серьёзным в такой момент! Вы должны разузнать, зачем едет в Чехию самолётный фабрикант Винер.

— Вероятно, за тем же, зачем там копошатся уже тысячи немецких коммерсантов: прибрать к рукам что можно!

— Кажется, интересы Винера столкнулись с моими.

— Тем хуже для вас. Винер —

это генералы.

— Напротив, он с ними в ссоре.

— Был. — Роу

многозначительно поднял руку с трубкой. — Теперь он не только работает на них, но они попросту являются его компаньонами.

— Кто?

— Шверер и Пруст.

— Я должен их опередить. Нам очень важно получить Вацлавские самолетостроительные заводы в Чехии.

— Кому вам?

— Мне и Мелани.

— А при чем тут я?

Монти на минуту смешался.

— Я всегда считал вас другом...

— Милый Монти, — Роу поднял глаза к потолку, — даже древние знали, что для предохранения дружбы от ржавчины её следует покрывать золотой амальгамой.

Монти стоял перед Роу, удивлённо моргая.

— Не хотите же вы сказать...

Роу со смехом перебил:

— Именно это, Монти: принять участие в деле! Но только не в том, которое вы предлагаете.

— Это блестящее дело! — оживляясь, воскликнул Монти. — Самолёты нужны чехам, как воздух, а когда туда придут немцы, они будут нужны вдвое!

— Немцы туда уже пришли. Они

уже сидят на Вацлавском заводе.

Монти поник головой.

— Вы меня убиваете, Уинн! Просто убиваете. Я рассчитывал дёшево перехватить заводы.

— Поскольку их уже перехватили, не будем тратить слов.

— Это было такое верное дело!

— Паника в Чехии не ограничится этими заводами.

— Но в остальной военной промышленности хозяйничают французы.

— Попролам с Герингом, дорогой.

— Да, попролам с Герингом. Об этом я и говорю.

— Не приходите в уныние.

Найдём что-нибудь другое. Немцы не остановятся в Судетах. Вы не успеете опомниться, как они ворвутся в Чехию. Они уже сейчас болтают о Югославии, Греции, Болгарии... Неужели мы не возьмём своего?

— Так нужно не зевать!

— Вам давно нужно было обратиться к старым друзьям, а не путаться с пустыми девками, вроде вашей Мелани.

— У неё отличные связи, Уинн. Хорошие связи всюду.

— Значит, вы предпочитаете её? — иронически произнёс Роу.

Монти взмахнул обеими руками:

— Что вы, что вы, Уинн! Давайте работать вместе. Жаль, что

мы с Беном должны сегодня выехать в Чехию.

— Уже сегодня?

— События развиваются стремительно.

— Да, стремительнее, чем нужно. Как бы нам не остаться в дураках.

— Вы же говорили...

— На этот раз я имею в виду не нас с вами, а всю Англию, то, что вы изволите называть «правительством его величества», — Бена и других ослов.

— Уинн! Опять? Вы же трезвы! Мы едем вместе с одним из немецких генералов, — сказал Монти.

Роу встрепенулся.

— С кем?

— Такой маленький, похожий на старую злую ворону.

— Шверер?

— Вот, вот!

— Дайте мне подумать... — Роу вскочил и пробежался по комнате. Мимоходом, будто машинально, потрогал подушку, лежавшую на телефонном аппарате. — Со Шверером?! — повторил он и искоса посмотрел на стоявшего у окна Монти. Он старался охватить умом неожиданно создавшуюся ситуацию и её возможные последствия: англичане поедут со Шверером!.. По своим агентурным данным Роу знал,

что на Шверера немцы подготовили провокационное покушение. Что будет, если вместе со Шверером, якобы от руки чехов, погибнет и британская миссия?.. Роу поспешно перебрал возможные варианты далеко идущих последствий: если широкие круги Британии поверят тому, что покушение совершено чехами, англичане убедятся в их непримиримости и агрессивности в отношении «миролюбивого» Гитлера, а ведь именно в этом-то и старается уверить англичан Чемберлен. Но если в преступлении будет раскрыта немецкая рука, англичанам станет ясна грязная политика нацистов. Тогда они

потребуют от Чемберлена стать на сторону чехов...

Роу старался взвесить все.

Вдруг он хлопнул себя по лбу и облегчённо вздохнул: как же это не пришло ему в голову раньше! Ведь он же послал уже в Лондон донесение о подготовленной немцами провокации с убийством Шверера! Значит, если всё-таки решили отправить Бена и Монти именно в обществе Шверера, значит там, в Лондоне... санкционировали все: и то, что «чехи» убьют немецкого генерала, и то, что вместе с этим генералом отправятся на тот свет два англичанина, — все!

Он быстро обернулся к Монти.

— Вы сами навязались в спутники к Швереру?

Монти возмущённо поднял плечи:

— Вы в уме? Риббентроп предложил эту поездку через Дирксена.

— Значит, Лондон знал?

— Конечно!.. Почему это вас так заинтересовало?

— А вы непременно должны сопровождать Бена?

— Разумеется. Он наверняка будет интересоваться там только свиноводством. Было бы здорово, если бы вы могли поехать с нами!

— Очень здорово! — усмехнулся Роу.

— Я это мгновенно устрою, — обрадовался Монти. — Вы будете единственным журналистом...

— Нет, Монти! Я буду ждать от вас известий тут! — твёрдо сказал Роу.

Медленно спускаясь по лестнице «Адлона», он снова подумал о том, что если Лондон послал братьев именно со Шверером, значит Лондону нужно было доказательство дурного поведения Праги... И вдруг он остановился посреди лестницы. Новая, блестящая мысль осенила его: что, если бы удалось выдать убийство Шверера за происки чешских коммунистов, за руку Москвы, протянувшуюся к

границе Судет?!.

Перепрыгивая через три ступеньки, он устремился вниз: Чемберлен озолотит того, кто даст ему в руки такой козырь!

Билеты были взяты до Хемница, но сойти следовало раньше. Это должно было ввести в заблуждение полицию, если бы она напала на след беглецов и дала телеграфное поручение в Хемниц схватить их.

Поезд, которым выехали из Берлина Зинн и Цихауэр, был ночной. Пассажиров в нём было мало.

Зинн и Цихауэр сошли во Флеха.

Становилось холодно. Цихауэр поднял воротник плаща и поёжился от неприятного прикосновения холодной клеёнки к шее.

Прислонясь к стене, Цихауэр

смотрел на присевшего на скамью и задремавшего Зинна.

Когда открыли кассу, Цихауэр взял новые билеты до Аннаберга. Так условлено: там к ним присоединится местный товарищ, знающий, где и как перейти границу. Взяв билеты, художник вернулся под навес, где дремал Зинн.

Гор ещё не было видно, но присутствие их чувствовалось по их дыханию, долетавшему до платформы. То ветер приносил струю холода, заставляя Зинна ёжиться во сне, то накатывалась волна тёплого воздуха, сохранившегося где-то в ущелье...

Когда подошёл местный поезд

Хемниц — Визенталь, Цихауэр и Зинн пошли к предпоследнему вагону, чтобы занять в нём места. Это тоже было условлено ещё в Берлине.

Поезд тронулся. Полоса света от станционного фонаря прошла по купе. Цихауэр достал из рюкзака бутылку и молча протянул её Зинну. Тот так же молча взял её и отхлебнул из горлышка. В купе запахло коньяком.

— Кажется, я никогда не отосплюсь после пансиона этого проклятого Детки, — сказал Зинн и, забившись в угол купе, снова закрыл глаза.

Ехали в молчании. Был слышен

стук колёс на стыках. Он делался все размереннее — поезд шёл в гору. Железные крепления старого вагона жалобно дребезжали.

Силуэты гор за окном становились отчётливей. Небо между вершинами отсвечивало едва заметным розоватым сиянием. Это ещё не был рассвет — солнце было внизу, за горизонтом. Первыми узнали о его приближении облака над погруженными в сонную мглу вершинами гор.

Приблизив лицо к стеклу, Цихауэр следил за тем, как река терпеливо прокладывает себе путь в горах. Поезд послушно следовал её прихотливым извивам.

Внизу показались огни, бледные в полусвете начинающегося утра.

— Вероятно, Цшопау, — сказал Цихауэр и тронул Зинна за плечо. — Скоро остановка, — повторил он, — могут войти...

В долине Земи показались большие группы построек. Это был Аннаберг.

Зинн встряхнулся и снял с крючка рюкзак.

— Мы не подождём товарища? — спросил Цихауэр.

— А если он сразу даст знак выходить?

Художник послушно потянулся за своим мешком. В дверях показалась голова кондуктора.

— Э, да это целый город! — с наигранным разочарованием громко проговорил Цихауэр.

— Прекрасный городок, — ответил кондуктор.

— Нам хотелось более тихого местечка.

— Тогда можно проехать до Нижнего Визенталя, — сказал кондуктор. — Дальше пока нельзя: Верхний Визенталь пока ещё чешский.

— Пока? — спросил из своего угла Зинн. — А потом?

— Можно будет, — с готовностью пояснил кондуктор, — как только заберём Богемию. Однако вы не пожалеете, если поживёте и в

Визентале: горный воздух, тишина... Я дам вам адресок: светлые комнаты, горячая вода, а таких обедов не получите во всей Германии.

— Успеем ли мы взять в Аннаберге билеты? — в сомнении спросил Цихауэр.

— Если господам угодно, я это сделаю.

Зинн дал кондуктору кредитку.

— Два билета до Визенталя. Посмотрим, чем эта дыра отличается от других.

Когда дверь за кондуктором затворилась, Цихауэр спросил Зинна:

— А что, если наш провожатый поедет вовсе не до Визенталя? Если нам придётся сойти тут же, в

Аннаберге? Что подумает кондуктор?

— Что на его пути встретились ещё два бездельника, не знающие сами, чего хотят.

Поезд подошёл к Аннабергу. Фонари на платформе уже были погашены. Ярким пятном выделялся в ясном утреннем воздухе сигнальный кружок в руке начальника станции. Он поднял его, и с паровоза уже слышался свисток, когда, расталкивая служащих, на платформу выбежала девушка. У неё за спиной качивался высокий короб, пристёгнутый наподобие ранца. Девушка устремилась к хвосту уже двигавшегося поезда. Несколько

мгновений она бежала рядом с вагоном, в котором сидели Зинн и Цихауэр. Художник поспешно распахнул дверь и протянул ей руку. Она сделала отчаянное усилие и вспрыгнула на ступеньку.

Тяжело дыша, она стояла посреди купе. Короб мешал ей сесть. Она позволила Зинну отцепить его.

— Ещё немного, и я бы опоздала.

— Глотните-ка, — Цихауэр протянул ей бутылку. Девушка сделала глоток и закашлялась. Вытерев выступившие слезы, она всмотрелась в лицо художника. — Как удачно, что я попала прямо в ваше купе.

Цихауэр удивлённо поднял брови.

— Для меня или для вас?

Девушка молча показала на яркую булавку в виде трилистника, горчащую в его галстук.

— Вы правы! А я и забыл, — сказал Цихауэр.

В дверях купе показалась голова кондуктора. Увидев девушку, он вошёл.

— Вы сели на ходу! Придётся уплатить штраф.

Он повернулся к Цихауэру и, коснувшись козырька, вручил ему купленные билеты и сдачу.

— Вот вам пять марок за хлопоты и пять марок штрафа. — С

этими словами Цихауэр взял кондуктора за плечи и, повернув, подтолкнул к двери купе.

Приглядевшись к девушке, Цихауэр увидел, что она хороша собой. Но на ней было пальто, переделанное из мужского и слишком ей широкое; на ногах — грубые ботинки с низкими подкованными каблуками. Разглядывая новую спутницу, Цихауэр не сразу отдал себе отчёт, что в её наружности показалось ему таким привлекательным. Бледная кожа, впалые щеки и необычайна усталые глаза. Впрочем, может быть, в этих-то глазах и было все дело...

Между тем поезд сбавлял ход.

Рельсы все круче поднимались в гору. Горы теснее сдвигались к железной дороге. Как огромные раны, зияли провалы каменоломен. На их светлых выработках темнели фигуры рабочих. Подвешенные на верёвках, они долбили отвесную стену скалы. Светложелтая пыль поднималась под ударами кирки и, расплываясь в воздухе, как дым, оседала в лощине.

— Визенталь, — сказала девушка и встала, потянувшись за своим коробом.

Когда они сошли с поезда, к ним подошёл кондуктор.

— Прекрасные места, — сказал он и порылся в своей сумке. — Нигде в Германии не получите такого

обеда! — И, уже вскакивая на подножку тронувшегося вагона, протянул Цихауэру карточку: — Нигде в Германии!..

Художник взялся было за огромный короб спутницы.

— Чтобы на нас показывали пальцами? — сказала она и ловко вскинула ношу на плечи.

На платформе было несколько крестьян. Они сидели на скамьях, кутаясь в пальто и плащи. Около каждого стоял такой же огромный короб.

— Что в них? — с любопытством спросил художник.

— Игрушки. Мы возим их в Аннаберг.

— И вы тоже?!

Она прервала его:

— Вы приехали на похороны вашего дяди... Сегодня мы хороним отца. Меня зовут Рената Шенек.

— Рената. Рени?.. Я не забуду.

На площади перед вокзалом тоже сидели люди с коробами. Их было много. У всех был одинаково измученный вид, хотя день ещё не начинался.

— Смотрите-ка, молодая Шенек уже вернулась, — с завистью сказала старуха, сидевшая с краю, прямо на земле.

— Мы сегодня хороним отца, матушка Зельте, — на ходу ответила Рени. — Вы придёте?

— Иди, иди, — проворчала старуха. — Кому надо, тот и придёт.

Сначала они шли дорогой, потом свернули на тропинку, круто поднимающуюся в гору. Когда им встречались крестьяне, Цихауэр первый снимал шляпу.

— Грюсс гот! — говорил он.

— Грюсс гот!.. — хмуро отвечали они, отводя глаза.

Мужчины попадались все реже. Откуда-то из кустов неожиданно появлялись детишки и старухи, сгибавшиеся под тяжестью вязанок хвороста.

Цихауэр приподнимал шляпу:

— Грюсс гот!

Но никто ему уже не отвечал.

Дети пугливо шарахались в кусты, старухи угрюмо отворачивались, опираясь на палки и сходя с тропинки, чтобы пропустить незнакомцев.

Чем дальше они шли, тем труднее было Цихауэру скрыть утомление, тяжёлое дыхание выдавало его.

Рени поставила короб и опустилась на камень. Она сняла шляпу, и Цихауэр увидел, что её волосы закручены в тяжёлый узел на затылке. От этого голова её уже не казалась такой маленькой, но незатененное полями шляпы лицо выглядело ещё более усталым. Цихауэр отвёл от неё взгляд и

посмотрел на восток. Солнце уже поднялось над хребтом. Далеко впереди, окружённая грядою тёмных скал, возвышалась могучая гора. Она стояла величественная и тяжёлая, распустив зелёный подол подножия до самой долины. Вершина её, коричневая, изрытая глубокими складками, была накрыта высоким серебряным чепцом снега. Белые фестоны, как кружево, спускались на её широкие серые плечи. Рени взглянула туда.

— Там уже нет наци, — сказала Рени, указывая на горы.

Оба её спутника кивнули головами и с интересом посмотрели на ту землю, где «не было наци».

Зинн поднялся первым.

— Идёмте...

— Теперь сюда, — сказала Рени и свернула направо.

За поворотом сразу открылась деревня. Поднявшись к ней, они вошли в последний дом, выходящий на дорогу глухой стеной двора. В лицо им ударила густая струя смрадного пара, в котором смешались запахи распаренного дерева, клея, дешёвых красок. В комнате царил полумрак.

Неприятный запах исходил и от игрушек, сушившихся на нескольких полках, опоясавших огромную печь, занимавшую всю середину комнаты. Здесь был целый зоологический сад,

вырезанный из дерева.

Куча фигурок, белевших свежеструганным деревом, была свалена на полу у большого стола, вокруг которого сидела вся семья. Дети наравне со взрослыми клеили и раскрашивали. Когда вошла Рени, дети обступили снятый ею короб. Рени извлекла из него несколько пакетиков. Один из них — пачку печенья — она тут же вскрыла и дала детям по круглому бисквиту. Это было самое дешёвое печенье, но дети ели его, причмокивая от удовольствия.

Вскоре сели завтракать. На столе стояли две плошки. В одной был картофель, в другой — льняное

масло. Каждый брал себе картофелину, макал её в масло и, придерживая ломтиком хлеба, нёс ко рту. Зинн достал из своего мешка и положил на стол банку консервов и несколько булочек. Дети жадно уставились на консервы, но мать Рени сказала:

— Это оставим на поминки.

— Мы тоже пойдём хоронить? — спросил Цихауэр у Рени.

— Иначе вам не пройти к кладбищу, — тихо ответила она.

— Нам туда непременно нужно?

— Там — граница...

Рени пересела в угол комнаты, где стояла детская кроватка. Цихауэр

заглянул через плечо Рени и увидел мальчика лет шести. Его заострившееся личико было очень бледно, тонкие прозрачные ручки лежали поверх одеяла.

— Ваш братишка? — спросил Цихауэр.

— Нет, сын.

— А я думал...

— Я вдова, — просто сказала Рени.

Зинн опустился на табурет возле кровати и посмотрел на больного ребёнка.

— У вас нет никакого музыкального инструмента?

Рени сняла с печки игрушечную гармонику. Она была ещё сырая от

свежих красок. Зинн растянул мехи. Инструмент издавал хриплые, неверные звуки. Пальцы Зинна побежали по ладам, и он запел:

Спи, сынок, молчи, дружок.
В папу вовсе не стреляли,
Дяди только поугали,
Папа вышел на лужок
Спи, сынок, молчи, дружок.

Цихауэр видел, как напрягаются черты лица Рени, словно она силилась удержать слезы, а голос певца, всегда звучавший сталью, становился все мягче:

Ничего здесь не случилось,

Это все тебе приснилось.
Спи, сынок, молчи, дружок.
Я молчу — молчи и ты.
Слышишь, вновь трубят
горнисты?
Если правду скажешь ты,
И тебя убьют фашисты.

Зинн опустил гармонику и без
аккомпанеента тихонько повторил:

Спи, сынок, молчи, дружок.

Рени опустила голову на руки, её
плечи слегка вздрагивали.

— Я пойду на воздух, — сказал
Цихауэр.

Рени взяла с постели две подушки и повела друзей в коровник.

— В сарае для соломы было бы лучше, но он занят, — сказала она и отворила дверь сарая, чтобы набрать для них соломы. Они увидели стоявший там гроб.

Скоро Рени разбудила их и попросила помочь внести гроб в дом. Гроб был тяжёлый, из толстых дубовых досок. Его поставили на стол, около которого попрежнему высилась груда свежеструганных игрушечных зверей.

На скамье вокруг печи, под рядами пёстрых игрушек, сидела вся семья и соседи. Только вдова стояла у стола, молча, с каменным лицом

установившись на покойника.

Пастор читал молитву.

Дверь широко распахнулась, и на пороге появился здоровенный детина. На нем была форменная фуражка с кокардой. Это был правительственный инспектор. Из-за его спины выглядывал стражник сельской полиции.

— Хайль Гитлер!

Пастор захлопнул молитвенник и, не ответив, отошёл в сторону.

— Я ещё не давал разрешения на погребение, — сердито сказал инспектор матери Рени. — Где свидетельство о том, что рот покойника осмотрен, что в нём нет золота?

Вдова дрожащими руками рылась в ящике того же стола, на котором стоял гроб. Инспектор откинул простыню, закрывавшую покойника до подбородка, и осмотрел его пальцы.

— А обручальное кольцо?

Вдова покорно протянула инспектору тоненький золотой обруч.

Он поставил в углу свидетельства печать и весело сказал:

— Можете ехать!

Прежде чем уйти, он окинул взглядом комнату и остановил его в углу за печкой, где стояла кроватка больного мальчика. Проследив за его

взглядом, Цихауэр увидел лежащий перед кроватью самодельный коврик из разноцветных лоскутков. В середине лоскутки образовали яркую красную звёздочку.

Инспектор медленно подошёл к коврику, подкинул его носком сапога и обвёл взглядом молча сидевших крестьян.

Все угрюмо потупились.

— Возьми! — приказал инспектор стражнику и сказал пастору: — Теперь можете молиться. А с тобой, — он обернулся к Рени, — мы ещё встретимся.

— Послушайте!.. — проговорил Цихауэр, но прежде чем он успел продолжить, Зинн схватил его за

руку.

Инспектор и стражник ушли, громко хлопнув дверью. Зинн чувствовал, как дрожит локоть Цихауэра.

— Выйдем-ка, — сказал он.

Деревня была уже окутана густыми сумерками. Зажигались огни. Было очень тихо. Они стояли и молча курили. За их спинами неслышно выросла фигурка Рени.

— В Верхнем Визентале вас уже ждут.

Она ещё постояла в нерешительности и пошла к дому.

— Через десять минут вынос, — не оборачиваясь, сказала она с порога дома.

Гроб несли на плечах вдоль деревенской улицы. Из домов выходили жители. Завидев процессию, они наскоро сбрасывали фартуки, облепленные стружкой, и присоединялись к хору крестьян. Некоторые выходили с фонарями и занимали места по сторонам процессии. Вскоре она была окружена цепочкой огней.

Последнее прибежище визентальцев не было уютным. Его обвевали ветры со всех сторон. Выветренные камни могильных плит стали шероховатыми, как руки лежащих под ними бедняков.

Было уже совсем темно, когда гроб отца Рени опустили в могилу.

Она была неглубокой и узкой. Фонари крестьян освещали острые камни, торчавшие по её краям. Опускаясь, гроб стучался о них. Ещё громче стучали по его крышке камни, заменявшие здесь горсть земли, бросаемую в могилу провожающими.

Рени отвела Зинна в сторону.

— Видите вон ту гору?

Зинн зажмурился, чтобы привыкнуть к темноте.

— Идите на неё, — сказала Рени. — Все время по гребню. Не спускайтесь в долину, там кордон. В пятистах метрах вас ждут друзья.

— Мы вам очень обязаны, товарищ Шенек, — сказал Зинн.

А Цихауэр взял руку Рени и, поддерживая в обеих своих, бережно поднёс к губам.

— Мне пора, — сказала Рени, мягким усилием освобождая свою руку.

— Нижний Визенталь, Рената Шенек... Рени... — сказал Цихауэр едва слышно.

Она подняла на него глаза, но только повторила:

— Мне пора... Вам тоже...

Через минуту её силуэт расплылся в темноте.

По примеру Зинна Цихауэр опустился между могилами и больно ударился при этом плечом о каменное надгробие.

Перед глазами Цихауэра
качалось что-то большое, тёмное,
похожее на дерево с плоской,
растрёпанной ветром кроной. То, что
он принял за дерево, качнулось, и
Цихауэр почувствовал нежное
прикосновение к лицу. Он поднял
руку и нащупал цветок. Цветок был
маленький и, кажется, белый, с
тонким стеблем, легко
обломившимся под пальцами
художника. Цихауэр бережно воткнул
цветок себе в петлицу.

Лежать было неудобно. Острые
камни резали колени и грудь. Но
Цихауэр боялся повернуться, чтобы
не произвести шума. На кладбище
царила уже мёртвая тишина. Было

видно, как вдали спускаются к деревне точки фонарей.

Скоро туман скрыл деревню и окутал гребень горы и кладбище. Сквозь него Зинну не было видно ни луны, ни горы, на которую велела итти Рени.

— У тебя нечего хлебнуть? — шопотом спросил Цихауэр.

— Помолчи!

— Пора итти.

— Туман может подняться.

— Пятьсот метров — пять минут.

После некоторого молчания Зинн сказал:

— Хорошо, — и поднялся из-за своего камня.

— Постой! — спохватился вдруг Цихауэр и опустился на колени.

— Что ещё? — недовольно спросил Зинн.

— Пустяки. Сейчас. — смущённо пробормотал Цихауэр, вынув из петлицы цветок и бережно пряча его в шляпу. — Вот и пошли!

Часть пятая

И вот эти — едва ли уже люди — готовят новую войну. Наделано очень много пушек, ружей, пулемётов и прочего, — пора снова убивать людей, иначе — для чего работали? Насверлили пушек не для того, чтобы употреблять их в качестве водопроводных труб.

М. Горький

На этот раз плавание «Пирата» было обставлено с особенной пышностью. О его появлении в виду берегов Ривьеры газеты подняли такой шум, словно яхта прибыла не из Америки, а по крайней мере с Марса. Подробные описания пути были разосланы редакциям газет вместе с расписанием балов и развлечений, предоставляемых на борту «Пирата» гостям Джона Ванденгейма Третьего.

«Пират», как видение, появлялся то тут, то там; от него отваливал катер, забиравший на берегу почту, и яхта снова исчезала в синеве

горизонта.

В газетной шумихе, поднятой вокруг яхты по приказу Ванденгейма, существенным обстоятельством, о котором не подозревал ни один из репортёров, было то, что самого Джона на борту «Пирата» не было. В то самое время, когда все считали, что он наслаждается прелестями Средиземного моря, Джон расхаживал по апартаментам парижского отеля «Крийон», в книгу которого был записан под именем Горация Ренкина, представителя адвокатской конторы «Доллас и Доллас». Ради сохранения тайны совещаний, происходивших у него каждый день с крупнейшими

представителями французской политики, промышленности и банков, чуть ли не каждое из них созывалось в новом месте. Министры и послы, банкиры и промышленники приезжали в кабинеты дорогих ресторанов, в загородные виллы и в салоны кокоток, не доверяя ни секретарям, ни советникам, ни адвокатам истинного смысла и цели своих свиданий с Ванденгеймом. Когда могли, они старались остаться неузнанными. Они знали, что разглашение интриги, затеянной Джоном, не угрожая ему ничем, кроме расхода в несколько десятков тысяч долларов на затычку рта

газетам, было бы для любого из его
французских сообщников
равносильно политическому
самоубийству.

С одними из своих контрагентов, такими, как барон Шнейдер, барон Ротшильд или де Вандель, Ванденгейм вынужден был разговаривать вежливо и, в случае их упрямства или чрезмерной жадности, срывать потом гнев на Долласе. На других, вроде министра Боннэ, полковника де ла Рокка, Буллита или Абетца, он кричал так, как если бы они были его провинившимися лакеями.

Его приводила в бешенство
неповоротливость французского

кабинета в чешском вопросе. Вместо того чтобы взорвать франко-чехословацкий пакт и решительно отказаться от всякой возможности сотрудничества с СССР, министры-радикалы юлили перед общественным мнением. Они тряслись над своими портфелями, воображая, будто волка можно накормить, сохранив овец.

Ванденгейм вовлёк в игру Боннэ, параллельно с обязанностями министра иностранных дел Третьей республики, много лет занимавшего должность главного юрисконсульта в банкирском доме «Братья Лазар». Джон пригрозил министру-юрисконсульту, что немецкая

банковская группа «Д» лишит «Братьев Лазар» функций своего тайного представителя, если Боннэ немедленно не примет решительных мер к дискредитации пропаганды за сохранение франко-чехословацкого пакта.

На следующий день Боннэ прислав ему текст прокламации:

«Француз!

Тебе внушают, будто непроходимая пропасть отделяет требования Гитлера от уже достигнутых соглашений. Это ложь. Единственное разногласие — в вопросе о

процедуре: должны ли немецкие войска вступить в Судетскую область, бесспорно признанную немецкой, до или после определения её границ.

Ты хочешь, чтобы вороны клевали твои кости из-за этого «разногласия»?

На наш взгляд — вся Чехия не стоит костей одного пуалю».

Текст понравился Ванденгейму, но он назначил Боннэ свидание и новыми угрозами заставил его собственной рукой переписать прокламацию под предлогом

нескольких мелких поправок. Получив этот документ, делавший министра его рабом, Джон переслал копию де ла Рокку вместе с чеком и с приказом: не позже утра «Боевым крестам» оклеить стены Парижа сотнею тысяч таких прокламаций. Когда это было исполнено, он, даже не дав себе труда поговорить с Боннэ, передал через Долласа, что господину министру предоставляется выбор: пресечь всякую попытку Франции оказать сопротивление немецкому вторжению в Чехию или увидеть расклеенным на стенах столицы и факсимиле его провокационного сочинения.

Боннэ исполнил все — и в тот

же день получил через «Братьев Лазар» «тантьему» в полмиллиона франков и уведомление об удвоении его юрисконсультского оклада.

Боясь скомпрометировать Даладье личным свиданием, Ванденгейм поручил его попечениям Долласа и Буллита.

Он обещал барону Шнейдеру, главе оружейных заводов в Крезе, что знаменитые чешские заводы Шкода перейдут в его полную собственность в тот день, когда немцы вступят в Чехию, и в качестве гарантии депонировал пакет собственных акций этого предприятия. Но в тот же день он дал своим маклерам приказ играть на

понижение акций Шкода на всех биржах Европы и скупать их в любом количестве. Они были ему нужны для дальнейшей игры: заводы Шкода были крупной приманкой, на которую он собирался поймать ещё одну акулу.

Благодаря придуманным комбинациям и французский химический трест «Кюльман» и британский «Империиел кемикл» пришли к выводу, что они заинтересованы в том, чтобы немецкая «ИГФИ» как можно скорее стала хозяином чешской химической промышленности.

Одних Джон связывал общими интересами, других сталкивал лбами.

Но не без удивления он видел, что, несмотря на все эти усилия, несмотря на то, что французские министры готовы были послать Гитлеру ноту с приглашением вступить в Судеты, дело все же нельзя было считать полностью обеспеченным: миллионы французов громко протестовали против подлости, которую собиралось совершить их правительство.

Ванденгейм приказал Долласу покупать прессу. Секретные «фонды» Боннэ тотчас оказались утроенными. Боннэ раздавал налево и направо свои знаменитые конверты, набитые на этот раз уже не дешёвыми франками, а полноценными

долларами. Успех Гитлера обеспечивали налогоплательщики далёкой заокеанской республики. Журналисты всех мастей — от шантажистов «Гренгуара» до «социалистических» зубров типа Блюма — стали скрипеть перьями из американского золота.

Чтобы подбодрить жадных, но трусливых парижских писак и заставить биржи мира прислушаться к их истерическому визгу, Джон сумел из Парижа инспирировать выступление британских газет в том же духе. От Долласа к Абетцу, от Абетца к Вельчеку, от Вельчека к Дирксену — по этой цепочке с быстротою дипломатической депеши

пропутешествовал чек на имя издателя лондонской «Дейли мейл», и в ней тотчас появилась статья, произведшая на мир более ошеломляющее впечатление, чем если бы бомбы Геринга разорвались на Площади Звезды в Париже. Взгляды правящей верхушки Британии целиком совпадали с планами Джона, и сам лорд Ротермир писал: «Нам нет никакого дела до Чехословакии. Если Франции угодно обжечь там пальцы, то это её дело». Ротермир, смакуя, повторял гнусные слова Боннэ, — по-английски они оказались звучащими ничуть не менее зловеще, чем по-французски: «Кости одного

французского солдатика стоят больше, чем все чехословаки, вместе взятые».

— Англия думает о наших пуалю!.. — Парижане утирали слезы умиления, забывая о следующих строках Ротермира, где он сводил на-нет всю прежнюю политику Франции, направленную на создание дружественного ей и сильного чехословацкого государства. Ротермир называл Чехословацкую республику государством, созданным недальновидной политикой, и откровенно выражал надежду, что «с приходом к власти национал-социалистского правительства, под энергичным руководством этой

партии, Германия сама найдёт способ исправления несправедливостей. В результате Чехословакия... может в одну ночь прекратить существование».

Но Джону казалось мало и этого. Доллас продолжал действовать, и к полному восторгу Ванденгейма в «Таймсе», который лондонские биржевики раскрывали по утрам, как евангелие, появилась передовая, откровенно предлагавшая Гитлеру захватить Судеты.

Ванденгейм закусил удила, — он уже не мог остановиться: американские миллиарды, вкладываемые в немецкую промышленность, росли, как на

дрожжах, им было тесно в границах Третьего рейха, они требовали новых завоеваний.

Предостерегающий голос «Юманите» раздавался со Франции, перекрывая бесовский хор, рождённый чеками Джона. Трудовой французский народ не верил в необходимость капитуляции перед Гитлером, рисовавшимся правящей кликой Франции чуть ли не спасителем её миллионов, вложенных в Чехию. Но рантье уже колебались: что будет, если на твёрдость Франции немцы ответят войной?

Нет, нет, война не для Франции! И из-за чего, из-за каких-то там

Судетских гор, которые не всякий француз способен найти на карте! Чорта с два! Если чехи не хотят примириться с потерей этих гор, так пусть сами за них и воюют...

Вся Чехословакия не стоит костей одного пулю!

В «Гренгуаре» афоризм Боннэ трансформировался в столь же лаконичный, но, пожалуй, ещё более гнусный аншлаг, перепоясавший первую страницу этого органа паромщиков: «Хотите ли вы умереть за Чехословакию?»

«Спасителем нации» был объявлен некий профессор Жозеф Бартелеми, который по заказу Долласа написал для «Тан» статью,

«доказавшею, как дважды два», что франко-чехословацкий договор о взаимной помощи давным-давно утратил силу, поскольку Гитлер денонсировал Локарнский договор.

В сорок тысяч франков обошлось Ванденгейму то, что статья журналиста, разоблачавшего продажность Бартелеми, не появилась в печати.

— Запомните, Фосс, — наставительно проговорил Джон Третий, обращаясь к Долласу, — и не уставайте повторять тем, кто этого не понимает: вышибить из этой игры Францию — значит выиграть всю партию, потому что этим, быть может, нам удастся выбить из игры

Россию. А это для нас важнее Англии и Франции, вместе взятых.

Удовлетворённый результатами своей деятельности, Ванденгейм собирался уже покинуть окутанный осенней мглою Париж, когда к нему явился встревоженный Доллас.

— Дурные вести из Германии, хозяин!

Он съёжился было под свирепым взглядом Ванденгейма, но все же решился договорить:

— В кругу близких людей Гитлер проговорился, что боится провала с Судетами.

Ударом ноги Джон в бешенстве отбросил китайский столик со стоявшим на нём чайным сервизом.

— Господь-бог наказал нас этим идиотом!

— Не столько бог, сколько Генри Шрейбер, — лукаво заметил Доллас.

— К дьяволу ваши гнусные остроты! — рявкнул Джон.

Отбросив обломки столика и топча осколки фарфора, он прошёлся по комнате.

— Помните того малого, что был нами приставлен к Герингу?.. Мак?.. Мак?.. — силился вспомнить Джон.

— Мак-Кронин?

— Надо связаться с ним!

После некоторого колебания Доллас сказал:

— Эти сведения от него и идут.

— Так, значит, Гитлер говорил это Герингу?

— Герингу и Геббельсу.

— Ну, Геббельс... — Джон пренебрежительно махнул.

— Его влияние на Гитлера...

— Дело не только во влиянии, а и в личной заинтересованности, Фосс. — Джон неожиданно рассмеялся и крепко ударил Далласа по плечу. — Чего стоило бы ваше влияние на меня, если бы вы не были заинтересованы в успехе того жульничества, которое провели вчера для Буллита?!

Доллас хотел возразить, оправдаться, но губы его омертвели от страха: он знал, что Джон

способен простить все — ложь, измену, любую подлость, только не посягательство на его кошелёк.

— Честное слово, хозяин... — пролепетал он, овладев, наконец, способностью речи и отирая о брюки влажные ладони. — Честное слово...

Ванденгейм угрожающе проговорил:

— Вы вообразили, что если вы ведаете моей разведкой, а не я вашей, то я уже ничего не знаю о проделках за моего спиною?.. Как бы не так! Каждый ваш шаг, каждое слово... — Он стоял страшный, как идол, и Долласу уже чудилось, что десяток рук багрового страшилища обвивают его в смертельном объятии, чтобы

выжать всё, что он успел нажать. Он смотрел на Джона остановившимися от ужаса глазами. Если бы не бешеные удары сердца и не холодные струйки пота, катившегося по рукам, по лицу, по всему телу, он поверил бы тому, что страх способен мгновенно убивать.

Глядя на него, Ванденгейм презрительно усмехнулся:

— Нельзя быть таким трусом, Фостер.

— Я не боюсь ничего на свете...
— заплетающимся языком промямлил Доллас и поднял руку, чтобы отереть мокрое лицо.

— В общем это пустяки. Я на вас не сержусь! — заявил Джон. —

Смотрите только, чтобы вас не надул Буллит в той спекуляции, которую вы с ним затеяли.

— Буллит меня? — Доллас рассмеялся скрипучим долгим смехом.

— Приглядывайте за ним. Этот лягавый из тех, что норовят таскать дичь из-под носа хозяина... Президент это скоро почувствует.

Неожиданно Ванденгейм спросил адвоката:

— Вы передали Буллиту последний чек?

— Разумеется.

— Без удержаний?..

Доллас пожал плечами и обиженно отвернулся.

— Нужно дать ему деликатное поручение... Впрочем, лучше не впутывать в это дело Буллита, — сказал Джон. — Ведь вы и сами близки теперь с Абетцем?

— Более или менее.

— Мне нужно встретиться с Герингом.

— Такое дело требует времени.

— Его-то у меня и нет.

— Абетцу придётся ехать в Германию.

— Пусть летит завтра же!

— Приём у Геринга, говорят, расписан на месяц вперёд.

Ванденгейм резко остановился посреди комнаты и проговорил:

— Он должен принять меня не

позже следующей недели.

Шверер был раздосадован: намеченный отъезд в Чехословакию вдруг отложили. Гаусс объяснил ему эту отсрочку тем, что англичане, с которыми должен был отправиться Шверер, отложили свой выезд.

— Не я должен был ехать с англичанами, а англичане со мной, — сдерживая раздражение, сказал Шверер. Ему показалась обидной эта зависимость от англичан.

— Весьма любезно было со стороны англичан пригласить вас в качестве немецкого наблюдателя в их комиссию, — возразил Гаусс.

Шверер недовольно фыркнул: опять наблюдатель! Опять партикулярный пиджак, опять зависимость от каких-то штатских субъектов, которых он заранее презирал. Он уже знал по опыту, что значит быть «наблюдателем». Положительно ему не везло. Не ради же удовольствия хотел он побывать в Чехословакии, где ему предстояло воевать и одержать победу над передовым западным отрядом ненавистного славянства — чехами. Ему не терпелось осмотреть театр военных действий, которому суждено стать мостом к восточному пространству, мостом, по которому он, Конрад фон Шверер, поведёт

полки германцев!

Не подозревая того, что Геринг именно его назвал в качестве жертвы провокации, задуманной Гитлером, Шверер нетерпеливо стремился навстречу собственной смерти. Он был далёк от мысли заподозрить что-либо недоброе в том, что Гаусс пригласил его к себе и заставил в своём присутствии передать Прусту все дела, не исключая и далеко идущих планов подготовки восточной кампании. Ему не приходило в голову, что все его слова Гаусс воспринимал как своего рода предсмертную исповедь. В мерно покачивающемся носке лакированного сапога Гаусса, в

блеске его монокла было столько спокойствия, что предположение о его участии в плане убийства Шверера не пришло бы в голову даже тому, кто и знал о предстоящей провокации.

Инициатива отсрочки отъезда Шверера, давшей Гауссу возможность передать военную часть заговора против Чехословакии из рук Шверера Прусту, не исходила от Гаусса, и тем не менее именно он был её виновником. Вот как это случилось.

В последний день пребывания миссии лорда Крейфильда и Монтегю Грилли в Берлине британский посол Невиль Гендерсон

устроил в их честь приём. Тут-то Гауссу и представилась редкая возможность проверить в личной беседе с французскими и британскими дипломатами то, что он уже не раз слыхивал из уст Риббентропа и от Нейрата, но что все же представлялось ему почти невероятным. Здравый смысл Гаусса отказывался признать за англичанами и даже за французами ту меру безрассудства, граничащего с безумием, какою нужно было обладать, чтобы дать возможность немецким дипломатам с уверенностью утверждать, будто у Германии в чешских делах руки развязаны так же, как они были

развязаны в вопросе с Рейнской областью и с аншлюссом Австрии. Гаусс отлично знал, что он не является единственным немецким генералом, у которого чешутся руки затеять драку в Судетах и отхватить хотя бы часть чешских земель. Но он хорошо знал и то, что не одинок в желании соблюсти некоторую осторожность и отложить авантюру до времени, когда немецкая армия будет готова к серьёзным боям.

В минуты острых сомнений он, подобно многим своим коллегам-генералам, готов был пойти даже на арест Гитлера во имя спасения серьёзных военных планов реванша от преждевременного провала.

Однако он хорошо знал и то, что для ареста Гитлера нужно выбрать момент острейшего политического кризиса, угрожающего Германии бедами или крупным провалом на международной арене. Такой политический кризис мог возникнуть в Европе вследствие попытки захвата Судетской области. Многие из генералов до сих пор были убеждены, что если не Англия и Франция вместе, то уж во всяком случае Франция, а следовательно, и СССР выступят. Тогда могло произойти то, чего генералы боялись как огня, — быстрый разгром не готовой к войне германской армии и крах всех их планов.

Случилось так, что приём в британском посольстве совпал с моментом, когда Гаусса терзали сомнения. Именно в этот день стало очевидным, что для развёртывания немецкой армии недостаёт офицеров и унтер-офицеров.

Словно нарочно, чтобы подзадорить генералов, Гитлер собрал их в тот день на совещание и, в ответ на осторожный довод о некомплекте командного состава, побагровев, хрипло прорычал:

— Машина пущена, я не намерен тормозить!.. Кому со мною не по пути — прошу! — и резким движением указал на дверь.

Никто из генералов, в том числе

и поставивший вопрос Гаусс, не поднялся и не вышел.

В течение нескольких секунд Гитлер налитыми кровью глазами оглядывал присутствующих, потом крикнул:

— Выступит Франция или нет, Геринг уже получил от меня приказ: по первому знаку обрушиться на Чехословакию всеми силами моей авиации. Генеральный штаб выразил желание начать движение наземных частей в шесть часов утра. Так и будет!

— Но прогноз погоды может быть дан не дальше чем на два дня, — заметил Гаусс, — а до конца сентября ещё далеко.

Гитлер повёл на него злым, с красными прожилками глазом, но вместо ответа проговорил, обращаясь к остальным:

— Я пригласил вас, господа, не для споров. Здесь присутствуют рейхсминистры фон Риббентроп и доктор Геббельс. Они желают знать, какого рода нарушения международного права им придётся защищать перед так называемым общественным мнением, когда вы двинетесь вперёд.

Генералы переглянулись: они ничего не имели против того, чтобы обусловить себе свободу от законов ведения войны. Сидевший несколько поодаль, откинувшись в кресле и

выставив вперёд огромный живот, Геринг весело крикнул:

— Великолепно, мой фюрер! Ослепительно! Пусть Риббентроп заранее составит ноту с оправданием того, что мы нечаянно разбомбим британское и французское посольства в Праге... Думаю, вы, мой фюрер, не станете возражать против такого «недоразумения»?

Гитлер рассмеялся и вопросительно посмотрел на Риббентропа. Тот с поспешностью, угодливо улыбнулся:

— Нет ничего проще!.. Британское посольство расположено вблизи объектов, которые мы не можем не бомбардировать.

Известить же англичан о предстоящей бомбардировке мы не сможем вследствие «порчи телефонов» в их посольстве. Только Хенлейн должен позаботиться о том, чтобы телефоны у них действительно не работали. Вот и все!

— Отлично! — воскликнул очень довольный Геринг. — Ослепительно! Вы дали нам изумительную идею, мой фюрер!

— Теперь вы понимаете, чего я от вас хочу? — И Гитлер снова оглядел генералов.

В Прусте проснулся артиллерист.

— Нужно дать нам возможность стрелять химическими снарядами.

Гитлер поблагодарил его улыбкой и обернулся к сидевшему у его левого плеча Геббельсу:

— Что скажете?

Геббельс ответил, не задумываясь:

— Сегодня же подготовим сообщение для радио: «К нашему командованию поступило донесение передовых частей о том, что чехи пустили в ход отравляющие газы, — мы были вынуждены ответить газовыми снарядами». Если впоследствии не удастся доказать, что чехи нарушили законы войны, то всегда можно найти офицера, который в боевой обстановке послал это неверное донесение. Можно

будет даже примерно наказывать его.

Геринг тяжело поднялся с кресла.

— Я тут больше не нужен, но хочу ещё сказать Риббентропу, что моим лётчикам, вероятно, придётся не раз и не два пролетать в Чехословакию над польскою территорией.

— Липскому уже сказано, что Бек может предъявить претензию на Тешин. За эту плату поляки охотно пропустят весь ваш воздушный флот, — сказал Риббентроп. — Летайте хоть каждый день.

— Кстати о поляках... — Гитлер говорил негромко, однако его хриплый голос сразу заставил всех

умолкнуть. — Мы не должны больше откладывать работу над планом разгрома Польши. Как только будет покончено с Чехословакией, я непосредственно займусь Данцигом, и война с Польшей станет неизбежной.

Гаусс ничего не имел против этих необузданных планов, которые для него, как и для всех присутствующих, были логическим завершением всей их «деятельности». Но легкомыслие, с которым Гитлер определял сроки и формулировал будущую политическую обстановку во всей Европе, раздражало его и пугало.

Он приехал на приём в

британское посольство, находясь под влиянием этого заседания. По-своему расценивая международную ситуацию и предвидя возможность непоправимых последствий в случае, если ещё не подготовленная армия необдуманно влезет в чешскую авантюру без абсолютных гарантий безучастности англичан и французов, он решил использовать редкую возможность поговорить с Гендерсоном и присутствовавшим на приёме послом Франции Франсуа Понсэ.

На прямые вопросы неискушённого в дипломатии генерала опытный и ловкий француз, прогерманские настроения которого

были достаточно широко известны, давал тем не менее витиеватые и туманные ответы, заставлявшие седую бровь Гаусса высоко выгибаться над моноклем.

— Современная внешняя политика — не что иное, как компромисс, — чаруя слушателя приветливой улыбкой, говорил Понсэ. — Франция не может и не захочет осуществлять свои желания в области международной политики изолированно от желаний других заинтересованных держав.

— Следует ли это понимать как желание Франции согласовать свои действия с намерениями, скажем, Германии, или дружественные

отношения с Чехословакией заставили бы французов более сочувственно прислушиваться к тем выдумкам о наших кознях, которые распространяет Прага? — спросил Гаусс.

— Мы готовы прислушаться к каждой мысли, имеющей конструктивный характер. Вашему превосходительству, чьи слова и поступки подчиняются прямым и ясным велениям открытого сердца солдата трудно себе представить сложность извивов, которыми идёт современная дипломатия.

— В нашем деле тоже далеко не все так просто, как вам кажется, господин посол, — усмехнулся Гаусс.

— О, разумеется, — с полной готовностью поспешил согласиться Понсэ. Но он был прямо заинтересован в успехе немцев, в чью промышленность были вложены его деньги. Поэтому в его интересы вовсе не входило оставлять немецких генералов в неуверенности относительно уже совершенно ясной для него позиции французского кабинета, готового идти на все уступки Гитлеру. Он поспешил заявить: — В качестве примера сложности узла, который мы с вами призваны совместно развязать...

— Мы с вами? — удивлённо переспросил генерал.

— Я имею в виду судетскую

проблему.

— А-а... — неопределённо промычал Гаусс.

— Чтобы дать вам ясное представление о положении дел, я рискнул бы из дружеских чувств к вашей армии и её вождю, всеми нами уважаемому канцлеру, выдать вам маленькую служебную тайну... — Понсэ принял таинственный вид. Гауссу оставалось только щёлкнуть под креслом шпорами и движением руки подтвердить, что дальше него тайна Понсэ пойти не может. Удовлетворённый этой наивной игрой, француз понизил голос до полушёпота: — Не так давно господин Боннэ просил парижского

коллегу нашего милого хозяина, сэра Эрика Фипса, получить у лорда Галифакса ясный ответ на вопрос, сформулированный примерно так: «Если немцы атакуют Чехословакию и если Франция обратится к Великобритании с заявлением: „Мы выступаем“, что ответит Лондон?»

Понсэ сделал
многозначительную паузу.

Бровь Гаусса оставалась на этот раз неподвижной, и лицо его окаменело в напряжённом внимании. Не мешая послу, но и не поощряя его, генерал ждал того главного, ради чего и затеял этот разговор.

— Вот что ответил лорд

Галифакс. — Голос Понсэ стал ещё таинственнее. — Стараюсь вспомнить для вас почти дословно, мой генерал: «Дорогой сэр Эрик, вы справедливо заметили Боннэ, что вопрос сам по себе, несмотря на кристальную ясность формы, не может быть оторван от обстоятельств, в которых будет задан, а именно они-то в данный момент и являются гипотетическими».

Француз посмотрел на генерала так, словно хотел спросить: «Неужели тебе ещё не все ясно? Не хочешь же ты, чтобы я прямо сказал тебе: действуй, действуй, наше дело сторона!» Именно этот смысл он вложил в рассказ о Фипсе и хотел,

чтобы немец понял его до конца, чтобы немец не боялся никаких подвохов со стороны правительства Франции, которому только собственное общественное мнение мешало открыто набросить петлю на шею Чехословакии, чтобы привести её Гитлеру в качестве своей доли при новом дележе мира. Понсэ очень хотелось намекнуть генералу, что он советует вспомнить позицию англо-французов в инциденте с Рейнской зоной, а австрийском, абиссинском и испанском вопросах. Но он боялся: в случае провала интриги или поворота в политике, вызванного давлением общественного мнения, ему, старому дипломату, не простили

бы такой неосторожности. Кэ д'Орсэ сквозь пальцы смотрело на его закулисные денежные связи с немцами, очень похожие на прямую измену Франции, но болтливость, связанная с публичным скандалом, могла оказаться роковой для его дипломатической карьеры. А в том, что не существует бесед, которые оставались бы тайною, даже если они ведутся с глазу на глаз в укромных уголках чужого посольства, француз был уверен. Это удерживало его от полной откровенности с Гауссом. Гаусс решил проверить себя и побеседовать с кем-нибудь из англичан и был рад, когда ему удалось увлечь в зимний

сад лорда Крейфильда, о котором было достаточно хорошо известно, что он является не только доверенным лицом Галифакса, но и личным другом британского премьера. От этого флегматичного британца Гаусс рассчитывал вытянуть что-нибудь более определённое. На откровенность с Беном генералу давало право их старое знакомство. С англичанином он говорил ещё более прямо.

— Вопрос о нашем праве на Судетскую область больше не вызывает сомнений, — решительно проговорил он и умолк в ожидании, когда Бен устроится в плетёном кресле под сенью пальмы.

— Правительству его величества вопрос действительно ясен, — охотно согласился Бен. — Но, к сожалению, он вовсе не представляется таким ясным среднему англичанину.

Гаусс пренебрежительно сжал сухие губы.

— Там, где мы не хотим путаницы, среднему человеку не должно быть места.

— К сожалению, нам, при наших порядках, — не скрывая неудовольствия, ответил Бен, — не всегда удаётся исключить его из игры.

— Это должно вас лишний раз убедить в том, что английские

порядки мало пригодны для эпохи, требующей быстрых и категорических решений... Вестминстерская система отжила свой век.

Бен с удивлением взглянул на генерала, хотел было сказать, что Гаусс, повидимому, просто ничего не понимает в английской государственной системе, но воздержался и только ещё плотнее сжал губы.

А Гаусс, не получив реплики, продолжал:

— Даже нам, при полной свободе нашего руководства в вынесении любых решений, было не легко избрать вариант овладения

Судетами.

Бен непонимающе взглянул на него.

— Я имею в виду выбор одного из уже испробованных способов, — пояснил Гаусс. — Можно было пойти на «саарский вариант» с плебисцитом, но фюрер отверг его, не будучи уверен в результатах голосования. — Генерал сделал презрительный жест и добавил: — Происки чехов могли испортить дело... Нам известен уже и «испанский вариант», когда мятеж происходит изнутри и остаётся только ему помочь...

Он снова умолк и вопросительно посмотрел на лорда.

Но Бен молчал, прикидывая в неповоротливом мозгу значение реплик, какие он мог бы подать.

— Возможен был бы и молниеносный захват австрийского образца, — продолжал между тем Гаусс, — но для этого нужно было бы иметь полную уверенность в том, что Англия и Франция не вмешаются.

На этот раз Бен не выдержал и сказал генералу то, чего не решился высказать Гауссу Понсэ:

— На этот счёт у вас был уже опыт Рейнской зоны и той же Австрии.

Тут он спохватился, что ни премьер, ни Галифакс не уполномочивали его на ведение

каких бы то ни было переговоров, и недовольно умолк. Да, кажется, он сильно продешевил, выкинув даром то, что дорого стоит. Глупо, глупо!

От раздражения Бен задул дыханием свечу, когда закуривал сигару. И тут же обнаружил ещё одну неприятность: откуда ни возьмись, вынырнул лакей и зажёг свечу снова. Значит, этот тип мог слышать и его реплику? Глупо, удивительно глупо! Надо перевести разговор на более интересующие его вопросы свиноводства. Кажется, у Гаусса есть большое поместье в Восточной Пруссии, не может же там не быть свиней!

Бен уже раскрыл было рот,

чтобы спросить генерала о свиньях, но то, что он услышал, заставило его насторожиться.

— Это я имею честь совершенно доверительно сообщить вам от лица значительной группы моих коллег, в руках которых практически находится армия... — насторожённо проговорил Гаусс и вопросительно умолк.

Занятый своими мыслями, Бен прослушал начало фразы, но в тоне генерала он уловил что-то такое, что заставило его ободряюще кивнуть и с готовностью пробормотать:

— Конечно, конечно! На правах нашей дружбы!

Он, сам не знал, зачем прибавил

эти слова, но они возымели своё действие, и Гаусс, придвинув своё кресло к лорду, понизил голос:

— Мы решили от него избавиться. В день его возвращения с нюрнбергского съезда он будет арестован. — Генерал, подумав, убеждённо закончил: — И если понадобится... вовсе убран.

Признание ошеломило Бена, как неожиданный выстрел над ухом, лишило способности соображать и действовать.

Впоследствии он даже не мог хорошенько вспомнить, попрощался ли с генералом. О свиньях-то не поговорил во всяком случае.

А Гаусс ехал домой, довольный

собою и всем, что произошло. Он рассчитывал на то, что, посвятив англичан в заговор, готовящийся против Гитлера, он делал для них ясной свою позицию в игре, которая велась вокруг чешского вопроса. Если намёк англичанина на невмешательство был только дипломатической игрой и если англичане в действительности ведут подготовку к отражению немецкого натиска силами континентальных государств от Франции до Польши включительно, то теперь они должны будут понять, что имеют дело с диктатором, приговорённым к смерти. Они могут топнуть ногой — Европа встрепенётся, и животный

страх заставит страдающего манией величия, но трусливого Гитлера отказаться от нападения на чехов. Это не только явится для генералов отличным моментом, чтобы арестовать выскочку, но и спасёт их от преждевременного разгрома ещё не окрепшей военной машины Германии.

«Если же англичане всерьёз намерены умыть руки в чешских делах, то, — думал Гаусс, — избавившись от Гиглера, генералы присвоят себе в глазах немецкого народа всю славу победы над Чехией».

Но, к своей беде, старый генерал, несмотря на весь

жизненный опыт, не учитывал, что предлагает выбор между гитлеровской и военной диктатурой в Германии английским политикам, среди которых едва ли нашёлся бы хоть один, не связанный теснейшими деловыми узами с промышленными кругами континента и в том числе — Германии. Он не представлял себе, что потомственному бирмингамскому дельцу Чемберлену нужен в лице Германии не только участник интриг, но и объект для приложения капиталов, нужен рычаг для влияния на финансовые и промышленные судьбы всего континента.

При всей его ограниченности в

качестве политика Бен отлично понимал значение признания, сделанного ему генералом. Он тут же распорядился отменить назначенный на завтра отъезд в Чехословакию и наутро вылетел в Лондон. Он не решился доверить даже дипломатической почте то, что сказал ему Гаусс, и намеревался передать это Чемберлену из уст в уста.

Гаусс же, снесшись с Гиммлером по вопросу о том, следует ли отправить Шверера одного, получил разъяснение, что лучше подождать возвращения лорда, ибо таким способом будут убиты сразу два зайца.

Генерал рад был такому решению. Возможность уничтожить лорда Крейфильда заодно со Шверером была бы весьма кстати. Мёртвый свидетель рискованной откровенности всегда приятнее живого.

Тем временем Бен, прибыв в Лондон, прямо с аэродрома отправился на Даунинг-стрит и наедине с Чемберленом поведал ему тайну немецких генералов. Но премьер сдержанно выразил ему благодарность за интересное сообщение и предложил вернуться в Германию и осуществить поездку в Чехию. Премьер, несмотря на личную дружбу с Беном, не счёл

нужным посвящать его в свои планы. Он, Чемберлен, предпочитал иметь дело с немецким ефрейтором, которым командуют капитаны промышленности, нежели с немецкими генералами.

Эгон лежал в траве, закинув руки за голову. Он с наслаждением вдыхал терпкий аромат окружавшего его осеннего леса, смешивавшийся с доносимым ветром запахом сена, стога которого виднелись далеко внизу, на лугах. С холма были видны работающие на уборке люди, но их голоса не долетали до Эгона. Это придавало движениям людей какую-то особенную спокойную прелесть. Слева доносился перезвон колокольцев далёкого стада, словно перекликались под сурдинку церкви округи.

Панорама завода и городка,

раскинувшихся по обоим берегам реки, напоминала скорее вид курорта, чем большого промышленного предприятия. Домики были уютно белы, крыши их алели черепицею, до блеска вымытой дождями. Эгону нравилась атмосфера настойчивого труда, пронизывающая всю жизнь здешнего народа. Ему была по сердцу любовь, которую большинство чехов питало к своей стране, к своему заводу, к обычаям, крепко вошедшим в трудовую, отмеченную культурой и достатком жизнь.

В первые дни после приезда в Чехословакию Эгон не мог отделаться от чувства, будто прибыл

сюда подышать свежим воздухом гор,
а совсем не для работы,
направленной к тому, чтобы
разрушить этот покой и разбить
тишину.

Сначала ему казалось, что жизнь
течёт здесь особенно безмятежно,
без тревожений и политической
борьбы, отравлявших его
существование в Германии. Но скоро
он понял, что ошибается. Его
иллюзии были развеяны первою же
дракой в пивной, где на мирно
распевавших свои песни чехов
напала банда хенлейновских
головорезов. Вместо коричневых
рубашек нацизм явился сюда в белых
чулках, но это был он,

стопроцентный гитлеризм. Те же погромные лозунги, те же замашки громил и такие же тупые физиономии. Белочулочники готовы были избивать всякого, кто не поднимет руку в нацистском приветствии, не завопит «зиг хайль» или «хайль Гитлер». Хорошо знакомый каждому немцу арсенал средств воздействия — пистолеты, стальные прутья, кастеты — был тут как тут.

Да, это были его соотечественники, это были немцы. Фатерланд шествовал за ним по пятам. И Эгон не мог не сознавать, что и он сам является одним из тех, кого этот фатерлянд послал

прокладывать дорогу через Судеты. Лишь тогда, когда удавалось с головою уйти в работу, Эгон забывал, для кого и ради чего он её выполняет.

И всё-таки здесь было лучше, чем дома. Хотя бы потому, что не чувствовалось на каждом шагу почти неприкрытой слежки. Здесь можно было надеяться, что хоть кто-нибудь говорит с тобою не для того, чтобы вывести твои мысли и донести в гестапо.

Эгон потянулся, намереваясь встать, но поблизости хрустнули ветви под чьими-то шагами. Он снова опустился в траву. Ему не хотелось ни с кем встречаться. Шаги приблизились и замерли рядом. Эгон

ещё некоторое время лежал тихо, потом осторожно выглянул из-за кустов и увидел Рудольфа Цихауэра, рисовальщика из его собственного конструкторского бюро. Он знал, что Цихауэр — немец и антифашист, — не то такой же полубеглец, как он сам, не то попросту эмигрант. Во всяком случае — человек, с которым можно было поговорить, не боясь доноса.

Эгон молча следил за тем, как Цихауэр раскинул на коленях альбом и взялся за карандаш.

— Пейзаж кажется вам привлекательным? — спросил Эгон.

— Вероятно, на свете есть более красивые места, но мне хочется

зарисовать это на память.

— Вы намерены уехать?

— Едва ли наши дорогие соотечественники будут интересоваться моим желанием, когда придут сюда.

— Вы уверены, что это случится?

— Так же, как в том, что они с удовольствием отправили бы меня обратно в Германию... Но мне-то этого не хочется!

За минуту до того Эгон думал о своём отечестве ничуть не более нежно, но ему было неприятно слышать это из уст другого. В душе поднималось чувство протеста, смешанное с чем-то, похожим на

СТЫД.

— Можно подумать, что вы не немец, — с оттенком обиды проговорил он.

— А разве вы сами, доктор, не бежали сюда?

— Это совсем другое дело.

— А мне сдавалось, что и вас тошнило от Третьего рейха.

Эгон пожал плечами. Он не знал, что ответить. В душе он был согласен с художником, но повторить это вслух!

Цихауэр принялся точить карандаш. Бережно снимая тоненькие стружечки, насмешливо цедил:

— Вам не нравится, что, ложась

спать, вы не боитесь быть разбуженным кулаком гестаповца, вам скучно без концлагерей? — И он протянул руку, указывая на мирную панораму завода. — Будет, милый доктор, все будет. И очень скоро!

— Этому я не верю! — живо возразил Эгон, поднимаясь с трапы. Волнение не позволяло ему больше оставаться неподвижным. — Объясните мне: почему я должен бороться здесь против всего немецкого? Я этого не понимаю.

— Если вы не понимаете, то...

— Что же?

— ...сами погибнете вместе с ними, с этими негодьями, изображающими себя носителями

некой «германской идеи», а на самом деле являющимися отъявленными грабителями и убийцами. Именно из-за того, что болото «не поняло» во-время, что грозит ему на пути с Гитлером, оно и пошло за ним. Вместе с ним оно и исчезнет!

Машинально сплетая гибкие прутьики, Эгон слушал.

— Все это не так просто, — сказал он в раздумье. — Может быть, есть доля правды в том, что говорит патер Август...

— Август Гаусс?

Цихауэр покосился на Эгона. Но тот не заметил этого взгляда и продолжал:

— Он говорит, что теперь, когда

Гитлер делает общенемецкое дело...

— Это говорит Август Гаусс, тот самый патер Гаусс? — Цихауэр захлопнул альбом и поднял лицо к собеседнику. — Вы совершенно забыли Лемке?

— Ах, Цихауэр! — почти в отчаянии воскликнул Эгон. — С чужой земли все это выглядит иначе. Может быть, я немного запутался...

— Я понимаю, доктор: человека не так легко перевоспитать. Но сейчас нужна ненависть, всепоглощающая, сжигающая за собою все мосты!

— Но вы ведь тоже не ездите отсюда в Германию с бомбами за пазухой, — усмехнулся Эгон.

— Мы посылаем бомбы почтой, — сказал художник и в ответ на удивлённый взгляд инженера перекинул несколько страниц своего альбома. Эгон увидел целую серию шаржей и карикатур, заготовленных для подпольного издания «Роте фане».

— Да, — в раздумье произнёс Эгон, — у вас есть основание бояться их прихода.

— Дело не в этом, мы их вовсе не боимся! Мы просто должны сделать всё, что можем, чтобы они здесь не очутились!

— Что это может изменить?

— Если бы народы окружили нацизм огненным кольцом

ненависти и непримиримости, он, как скорпион, умертвил бы себя собственным ядом.

— Я не вижу этой непримиримости вокруг, — неуверенно произнёс Эгон.

— Вы многого не видите! — воскликнул Цихауэр. — Поймите: те, кому это наруку, усыпляют в народах бдительность.

— Не понимаю, о чём вы?

— Узнаю немецкого инженера. Расчёты, формулы, немного биржевых бюллетеней, — остальное да минует меня!

— Уезжая с родины, я искал прежде всего покоя.

— И нашли?

Эгон долго в задумчивости смотрел на темнеющие по склонам гор массивы лесов. Вместо ответа грустно покачал головой.

— Скребёт вот здесь? — и Цихауэр с улыбкой показал себе на грудь. — Значит, не все потеряно!

Эгон шёл, отгоняя назойливые мысли: не ради этих размышлений он приехал сюда. Его мысли должны принадлежать проекту, производству, за руководство которым он получает деньги.

С некоторых пор на завод стали поступать непрерывные рекламации на самолёты, сдаваемые по заказу чехословацкой армии. Обнаруживались странные неполадки, мешавшие ставить самолёты в строй. Причину этих неполадок следовало искать где-то между заводским лётчиком, благополучно сдававшим самолёты

военному приёмщику, и отделом отправки. Когда Эгон поручил Штризе найти причину неполадок, тот сделал вид, будто в один день закончил расследование. Он высказал убеждение, что прямым виновником, притом виновником злостным, является пилот Ярослав Купка, единственный сохранившийся ещё на заводе лётчик-чех. По словам Штризе, именно Купка портил самолёты после их официальной сдачи в воздухе. Штризе высказал предположение, что Купка — шпион, может быть, польский, может быть, венгерский. Он не советовал поднимать вокруг этого дела шум, а немедленно удалить Купку и на том

покончить.

Все это казалось Эгону странным: не кто иной, как именно Купка указал Эгону на повреждения. Было просто удивительно, что шпион донёс на самого себя. Эгон решил рассказать обо всём директору завода доктору Кропачеку.

Кропачек энергично восстал против предположения Штризе. Он слишком хорошо знал Купку, он потребовал у Эгона доказательств. Тот не был уверен, что они есть и у самого Штризе. Поэтому он решил устроить встречу Кропачека со Штризе и направился теперь к директору, жившему на уединённой вилле неподалёку от завода.

Кропачек был симпатичен Эгону. Живой, энергичный толстяк с приветливым розовым лицом, розовою лысиной и такими же пухлыми, как весь он, розовыми руками, он обладал весёлым и покладистым нравом. Его суждения отличались ясностью и прямоотой, от которых Эгон успел уже отвыкнуть на родине. Как делец, Кропачек был полной противоположностью Винеру, раздражавшему Эгона мелкой скарედностью, подозрительностью и нетерпимостью к людям. Винер неизменно и настойчиво требовал одного: служения его — и только его — интересам. Эгон сразу увидел, что

эта пара не сможет сработаться.

Кропачек, как всегда, приветливо встретил Эгона. Усадив его в кресло и пододвинув к нему коробку с папиросами, директор заговорил быстро, взволнованно:

— Чем больше я думаю об этой истории, тем неприятней она мне представляется.

— Нужно её распутать.

— Мне, старому патриоту завода, пятно на его репутации кажется непереносимым! Но пусть меня покарает господь, если я соглашусь уцепиться за первый попавшийся предлог, чтобы свалить вину на того, кто виноват не больше нас с вами.

— Штризе уже расследовал дело.

— О, я его знаю: этот тянуть не любит!

— Говорят, он уже раньше работал здесь?

Кропачек ответил не очень охотно:

— Да, он учился в Чехии. Карьеру инженера начал на моем заводе.

— Говорят, — осторожно начал Эгон, — будто он приходится вам родственником.

— Очень дальним, по жене.

Было заметно, что Кропачеку не хочется поддерживать эту тему.

— Этого вполне достаточно,

чтобы вы могли ему безоговорочно доверять, — заметил Эгон.

— Пауль сильно изменился, — уклончиво проговорил толстяк. — Он перестал понимать нашу жизнь.

В это самое время Штризе сидел на заводе, в застеклённой клетушке механика по выпуску Фрица Каске — небольшого вертлявого человека с яркорыжей головой и измятым лицом. Каске не пользовался на заводе популярностью. Когда он появлялся, когда слышался его злобный фальцет, большинство рабочих, и далеко не одни только чехи, пренебрежительно отворачивались, не желая вступать с

ним в ссору. Но чем крепче становилась на ноги судетская поросль национал-социализма, тем увереннее чувствовал себя Каске, тем громче и грубее делались его окрики.

Пауль Штризе был едва ли не единственным человеком на заводе, при виде которого Каске мгновенно умолкал. В данный момент рыжий механик почтительно стоял перед инженером и, насколько мог, внятно, стараясь скрыть сильную шепелявость, говорил:

— Даю вам слово, я сумею обвинить Купку.

— Ваш способ выводить из строя самолёты никуда не годится.

— Мне кажется... — робко

начал было Каске, но Штризе оборвал его:

— Пусть вам кажется только то, что кажется мне! Нужно найти такой способ выводить из строя сданные самолёты, чтобы ничего не было заметно. Они должны разваливаться в воздухе при первом полёте в чешской воинской части. Тогда каждая авария не только будет выводить из строя машину, но будет гибнуть и лётчик... Поняли, Каске?

— Вполне, господин Штризе, но ведь если это будет обнаружено... В стране чрезвычайное положение...

Брови молодого инженера угрожающе сошлись.

— Уже поджали хвост?! Вы, что

же, представляли себе работу для фюрера как забаву, за которую на вас будут сыпаться только награды?

— Я готов служить фюреру.

— Он требует не готовности, а службы! — строго сказал Штризе.

— Понимаю, господин Штризе!

— И заодно уже запомните: я для вас не Штризе, а господин штурмбаннфюрер! — По мере того как инженер говорил, руки Каске все послушнее вытягивались по швам. — Завтра доложите мне, что вы придумали для вывода самолётов из строя в воздухе. — Забыв, что он находится в камерке Каске, Штризе крикнул: — Все, можете убираться!

Каске послушно повернулся

кругом и вышел.

Через пятнадцать минут Штризе входил в кабинет Кропачека. В прежнее время жизнерадостность Пауля всегда заражала Эгона. Теперь же он думал, что здесь, в Чехии, у Штризе появилась излишняя самоуверенность, даже развязность, которой не было в Германии. Мысленно Эгон определил это так: «Стал похож на завоевателя».

Эгон насторожённо прислушивался к его голосу. У молодого инженера не было доказательств виновности Купки.

Кропачек был доволен. Разговор перешёл на частные темы:

— Мне говорили, вы любите

музыку, — с интересом осведомился Кропачек. — Это необыкновенно кстати! Да, мы можем составить отличное трио: вы, Пауль и моя виолончель! Это будут отличные вечера... Вы должны чувствовать себя здесь, как дома. Да, да, именно так: у нас все чувствуют себя, как дома, говорю вам прямо!

Он несколько раз потрянул руку гостя, и его усы задорно-весело топорщились, когда он смотрел на него поверх старомодных золотых очков.

— Нам по дороге, — сказал Эгон Штризе, но Кропачек удержал молодого человека.

— Ты мне нужен.

Когда Шверер ушёл, Кропачек несколько раз пробежался по комнате, быстро перебирая коротенькими толстыми ножками, словно катаясь на маленьких колёсиках. Так он подкатился к письменному столу, побарабанил по нему пухлыми пальчиками и, резко обернувшись к Штризе, поднял очки на лоб.

— Ты меня сильно огорчаешь! — крикнул он, но при этом тон его был почти весёлым. — Да, да, именно огорчаешь! Говорю тебе прямо. Пожалуйста, не смотри на меня глазами изумлённого ангела: я все заметил, решительно все... — Он понизил голос почти до шопота и

таинственно проговорил: — Ты якшаешься с этим рыжим Каске. Брось! Он дрянь. Это я тебе прямо говорю, настоящая дрянь. Я его непременно выгоню с завода!

Штризе насторожился:

— Что вы против него имеете, дядя Януш?

— Где бы ни появилась эта рыжая пиявка — крик, ссоры. Да, да, ты не поверишь: он устраивает даже настоящие драки. — Кропачек угрожающе поднял свой розовый кулачок. — Пусть отправляется туда, где хотят видеть хенлейновских башибузуков. Мне они не нужны. Не нужны, это я прямо говорю.

— И совершенно напрасно! —

проговорил Штризе.

Директор удивлённо вскинул на него глаза:

— Что ты сказал?

— Кое-что следует держать про себя.

— Ах, вот что: держать про себя! Только этого ещё недоставало: бояться у себя дома говорить правду. Когда и где это было видано, чтобы я боялся говорить правду, а? — Он подбежал к Штризе, приподнялся на цыпочки и погрозил: — Смотри, не начни и ты вилять хвостом, как вся эта дрянь в белых чулках!

— Дядя!..

— Знаю, знаю, что ты не такой. Потому и говорю: держись. Честный

человек может жить с открытыми дверями и всем смотреть в глаза.

Штризе пристально посмотрел в живые глаза толстяка.

— Именно так я и делаю, — сказал он.

— Каске тебе не компания, — успокоился Кропачек. — Послушайка, Паулюш, вот о чём я хочу тебя спросить... — И вдруг замахал руками: — Нет, нет, ничего, иди. Вечером ждём к чаю.

Пауль поглядел на него исподлобья.

— Что у вас там такое?

— Да, да, именно «такое». Хотел сказать, а теперь не скажу!

— Интригуете? — натянуто

улыбнулся Штризе.

— Интригую, именно интригую! — Кропачек подпрыгнул на носках и щёлкнул Пауля в лоб. — Эх, ты!.. — Он повернул его за плечи к двери и ласково шлёпнул по спине. — Вечером потолкуем. О, я старый интриган! — и рассмеялся.

Он долго ещё смотрел на затворившуюся дверь, словно ждал, что она снова отворится и он услышит то, о чём хотел спросить Штризе. Его вывело из задумчивости появление жены, пани Августы, большой дородной женщины с ещё красивым моложавым лицом, увенчанном тщательно сделанною причёской из высоко, по-

старомодному, взбитых и завитых седых волос.

— А, королева! — радостно приветствовал её Кропачек. — Ты умеешь появляться в тот момент, когда мне именно тебя-то и недостаёт. — Он с нескрываемым удовольствием поцеловал её полную руку и немного виновато продолжал: — А я ведь так и не решился заговорить с Паулем. Тебе бы следовало самой, а? В конце концов он твой племянник или мой?

— Мой племянник?! — Слегка подрисованные брови пани Августы грозно шевельнулись. — Может быть, ты скажешь, что и Марта моя дочь, а не твоя?

Кропачек стремительно описал по комнате круг и с разбегу остановился перед женой. В его голубых навывкате глазах не осталось ни капли весёлости.

— Да, да, именно это я и хотел сказать! — решительно крикнул он. — Прямо говорю тебе: будь она женой Яроша, все было бы уже в порядке!

— Так! — Пани Августа величественно опустила в кресло с высокою спинкой, стоявшее за письменным столом, и взяла в руки большой костяной нож. Постукивая им по столу, от чего на синем сукне оставались прямые длинные бороздки, она внушительно

проговорила:

— Вы, пан Януш, повидимому, предпочли бы видеть свою дочь несчастной, чем поломать немного вашу директорскую голову над тем, как помочь ей в беде?

Пан Януш виновато опустил глаза. С напускною небрежностью пробормотал в усы:

— Мне больше не над чем ломать голову, как только над любовными делами девчонки...

— Вот это отец! — В голосе пани Августы прозвучал пафос, и она ножом указала кому-то невидимому на мужа. — Так вот что: Купка девочке не пара!

Кропачек, начавший было снова

прохаживаться по комнате, остановился как вкопанный и, моргая, уставился на супругу.

— Не смей так смотреть на меня! — крикнула пани Августа. — Не смей смотреть!.. Я не сказала никакой глупости.

С неожиданною решительностью директор сделал несколько быстрых шагов к столу и так же громко крикнул:

— Глупость, именно глупость! Ярош — это и есть настоящая пара для неё! И ты, моя милая, была того же мнения, пока не вернулся из Германии этот твой Пауль. Именно тут и пошло все кувырком. Да, да, да, я прямо говорю!

Пани

Августа

пренебрежительно

молчала,

величественно откинувшись в кресле
и играя ножом для бумаги.

— Я сам спрошу дочь, что она
нашла в твоём Пауле, — решительно
сказал он. — Как будто любовь —
это так... Сегодня Ярош, завтра
Пауль, а там не знаю, кто ещё...
может быть, Каске!

Нож с треском опустился на
бювар:

— Януш!.. Речь идёт о счастье
девочки, о её жизни.

— Только об этом я и думаю.

— Она не может быть женой
Яроша!

— Это ещё почему? — Кропачек

даже приподнялся на цыпочки, хотя ему вовсе не нужно было смотреть на неё снизу вверх, когда она сидела. — Это почему же?

— В наше время...

— Время как время, не вижу ничего особенного! — Он с наигранной наивностью пожал плечами.

— Не говори глупостей! Сейчас никто не позволит, чтобы девушка с немецкой кровью в жилах вышла замуж за чеха!

И она тотчас же пожалела, что эти слова сорвались у неё с языка. Лицо Кропачека побагровело, и пани Августа испуганно вскочила, отбросив нож.

— Что ты сказала?.. Что ты сказала? — отдельно, но очень тихо повторил он, продолжая машинально то приподниматься на носках, то снова опускаться. — Что... ты... сказала?

Она подошла к нему и тоном ласкового убеждения быстро заговорила:

— Нельзя же, Янушку. — Она попыталась взять его за руку, но он вырвал руку и спрятал за спину. — Сейчас, когда такое... это было бы ошибкой.

— Ага!.. Теперь я понимаю: брак с чехом ошибка. Значит, и то, что Марта дочь чешского мужика, тоже ошибка?

— И твой брак с чехом, вероятно, тоже ошибка... — Он неторопливым движением снял очки и, совершая ими какие-то неопределённые движения, словно писал в воздухе, продолжал бормотать: — И вообще всё, что здесь происходит, тоже одна ужасная, огромная ошибка.

Пани Августа обняла мужа за плечи и, припав лицом к его плечу, заплакала. Он продолжал стоять с вытянутою рукой, в которой поблёскивали очки. Потом он их выпустил, и очки неслышно упали на ковёр. А рука его легла на голову плачущей жены и стала растерянно гладить по сбившимся волосам.

— Боже мой, — прошептал он, припадая губами к её лбу, — откуда все это?.. Хотел бы я знать, откуда это?

В Германии Кроне забыл, что такое чувство опасности, привыкнув сознавать себя настоящим немцем и полнокровным наци и чувствуя свою полную безнаказанность. Тем более трудно было ему признаться себе теперь, что ощущение постоянного присутствия за спиною чего-то постороннего есть не что иное, как самый обыкновенный подлый страх. Здесь, на чуждой ему славянской земле, он всем своим существом ощущал собственную враждебность не только людям, но, казалось, и самой природе. А сохранившееся чувство реальности говорило ему, что

единственной правильной реакцией на эту его ненависть ко всему здешнему может быть только ответное неприятие его самого как тёмной и враждебной силы, пришедшей предавать и разрушать. Порой он пытался доказать себе, что чехи не должны питать неприязни к нему, американцу, мистеру Мак-Кронин. Но эти утешительные мысли быстро тонули в трезвом сознании того, что он давно уже даже в сокровенных тайниках своей души не чувствует себя частицею собственного народа, природному здравому смыслу которого и доброй воле он, Мак-Кронин, противопоставлен. Он не пытался

анализировать силы, по воле которых оказался враждебен и собственному народу. Наличие в его жизни сил ванденгеймовского золота и власти Говера стало чем-то столь же органическим, как для верующего божественная воля. Лишиться этих движущих сил было бы для него равносильно тому, чтобы очутиться в безвоздушном пространстве. Атмосфера нравственной чистоты, бывшая для миллионов людей кислородом, явилась бы для него чем-то вроде углекислоты, в которой он должен был бы задохнуться.

Мысль о принадлежности к американской нации показалась самому Кроне несостоятельной,

почти вздорной. Разве сам он мог отделить своё американское «я» от второго — благоприобретённого, немецкого? Это второе, немецкое «я» давно уже перестало для него быть маской. Оно гармонично и полно сливалось с его природою американского разведчика. Не существовало никакой разницы в целях, которые он преследовал как агент Ванденгейма — Говера и как гестаповец. А это было главное — цель, цель его хозяев и его собственная. Они совпадали.

Да, в Чехословакии Кроне испытывал чувство обыкновенного страха. Страх следовал за ним неотступно. Кроне сделал открытие:

он трус.

Прохаживаясь по лесной тропинке с Августом Гауссом, которого он вызвал на свидание, Кроне крепко сжимал кулаки, засунутые в карманы. Страх подкрадывался к нему из-за каждого дерева. Враждебными казались эти деревья, лесная темень. Закрадывалось чувство зависти к той беззаботной лёгкости, с которою держал себя Август.

— Мы должны получить в свои руки и Зинна и Цихауэра, — мрачно ответил Кроне. — Оставить их здесь — значит иметь удовольствие не сегодня — завтра снова услышать голос «Свободной Германии».

— В первый же день, как Судеты станут немецкими, мы накроем всю компанию.

— Вы должны помочь мне теперь же!

— Я не могу компрометировать себя. А такая игра не осталась бы тайной, — возразил Август. — Потерпите, потерпите, Кроне. И лучше будет, если вы не станете меня таскать на эти любовные свидания. Это может дорого обойтись нам обоим.

Кроне в задумчивости потрогал носком ботинка светившуюся возле пня гнилушку, молча повернулся к Августу спиной и пошёл прочь.

Он ждал, что за спиной его

послышится смешок патера, и знал, что тогда он обернётся и крикнет что-нибудь грубое, чтобы сорвать накопившееся раздражение и прикрыть боязнь всего окружающего. Но Август не только не издал ни звука, он даже не взглянул в сторону Кроне. Как ни в чём не бывало он стал закуривать сигару.

Кроне шёл, вздрагивая от каждой хрустнувшей под ногой ветки, и все крепче стискивал зубами папиросу. Прежде чем постучать в дверь показавшегося среди деревьев домика, он обошёл его кругом, прислушался, посмотрел на все окна. Он боялся засады даже здесь, в жилище Каске, служившем

конспиративной квартирой агентуре гестапо.

Когда Кроне вошёл, Штризе сидел за столом и, разглядывая потрёпанный альбом, потягивал пиво. Он тотчас откупорил новую бутылку, но Кроне с гримасою сказал:

— Нет ли тут чего-нибудь крепкого?

Штризе рассмеялся:

— У вас такой вид, словно на улице мороз.

Кроне и вправду едва удерживался от того, чтобы не ляскнуть зубами, и нервно повёл лопатками.

— Действительно... холодно!

Штризе, распоряжаясь, как дома, обыскал буфет Каске и налил полстакана анисовой водки. Кроне медленно выцедил её и некоторое время сидел, прижав ладонь к глазам. Наконец, не отнимая руки от лица, негромко пробормотал:

— Что у вас там?

Штризе никогда не видел его таким.

— У меня?.. Вы же сами хотели меня видеть.

Кроне отнял руку, и на лице его отразилось напряжение мысли. Он медленно проговорил:

— Нам нужны заложники, чехи.

— Мы держим кое-кого на прицеле.

— Их нужно... туда! Фюрер желает иметь их под рукою. Могут понадобиться расстрелы.

— Прежде чем мы войдём сюда? — удивился Штризе.

— Именно для этого. Может быть, нужно будет вызвать чехов на эксцессы.

— А-а... — Штризе понимающе кивнул. — Много нужно?

— Мелюзга не нужна. Вы должны перебросить в Германию Кропачека.

Пауль удивлённо моргнул и переспросил:

— Директора Кропачека?

— Поскорее и без шума. Лучше всего, чтобы он поехал сам, по

каким-нибудь делам, что ли...

На лице Кроне появилась гримаса усталости.

— С семьёй? — спросил Штризе.

Кроне подумал.

— Кого-нибудь из двух — дочь или жену. Другая пусть остаётся тут.

Пауль понимающе кивнул.

Они помолчали.

Кроне, нахмурившись, с неприязнью смотрел на молодого инженера. Почему и Штризе и патер Гаусс — оба чувствуют себя здесь, как рыба в воде? Они не боятся или научились скрывать страх?

Чтобы нарушить возбуждающее зависть спокойствие Штризе, Кроне

сердито спросил:

— Все поняли? Дело должно быть сделано. Я не потерплю никаких отговорок.

— Все, что смогу...

— К чорту! Я должен знать: когда Кропачек вылетит в Германию?

Штризе пожал плечами:

— К сожалению, пока ещё директор тут он, а не я.

— Если вы будете так работать, то вам не видать директорского кресла, как своих ушей. «Все, что смогу...» — передразнил он.

Крепко сжатые кулаки Штризе лежали на столе по сторонам пивной кружки. От его лица отхлынула краска, брови сдвинулись,

подбородок угрожающе выпятился. Можно было подумать, что он удерживается от искушения схватить тяжёлую кружку и опустить её на голову собутыльника. Но на Кроне его угрожающий вид не произвёл никакого впечатления. Ему были страшны не такие, не свои, не немцы. Он боялся темноты чешского леса, закоулков чешских городов, загадочной глубины чешских глаз...

— Проводите меня до отеля, — сказал он, не заботясь больше о том, как поймёт это приглашение Штризе. Но, подумав, как бы невзначай прибавил: — В этих трущобах я не найду дороги до городка.

Он старательно застегнул пальто, переложил пистолет в наружный карман и кивком головы приказал Штризе погасить лампу.

Корт был окружён пожелтевшими буками. Совсем недалеко, за деревьями, слышался шум набухшей от осенних дождей реки. Возгласы играющих не нарушали, а ещё больше подчёркивали тишину, заполнявшую уединённый уголок парка. Это не была звонкая, горячая тишина лета, состоящая из неувимого жужжания насекомых, шороха трав и неугомонной возни птиц, а усталый покой увядающего леса, уже не сопротивляющегося приближению неизбежного октября.

Быстрые движения белых фигур

игроков то и дело прорезывали яркую желтизну площадки. Игра Марты была ничуть не менее стремительной и точной, чем удары её противника. Ослепительный смэш, данный ею к самой сетке, заставил Яроша сделать длинный прыжок. Но зато и ей пришлось, в свою очередь, мчаться что было сил, чтобы взять коротко срезанный мяч. Она приняла его и с возгласом торжества послала противнику, но, прежде чем успела опомниться, отражённый молниеносным драйвом мяч прочертил по песку и плоско ушёл за линию, едва не заставив Марту растянуться и бесплодной попытке отрезать ему путь.

— Два — один! — негромко, словно смущаясь своего выигрыша, крикнул Ярош.

Марта сбросила козырёк.

— Только, пожалуйста, не делай вида, будто это само собою разумелось.

Он улыбнулся.

— Хочешь реванш?

— Пауль возьмёт его за меня, — сказала она, устало опускаясь на скамью.

Весёлость Яроша сняло как рукой. Он хмуро осмотрел ракетку и стал с ненужной старательностью укладывать её в чехол. Прошло ещё несколько мгновений тишины. Ярош, наконец, не выдержал:

— Сказать правду, это перестало доставлять мне удовольствие...

Она посмотрела исподлобья на его нахмуренное лицо.

— Все Пауль и Пауль... — пробормотал он.

— Право, ты рискуешь стать смешным! — Она закурила. — Я всегда думала, что такого рода чувства у мужчин принято держать про себя. — И посмотрев ему в глаза: — Разве это не наша женская привилегия — вцепляться в волосы сопернице?

— Именно из-за того, что у нас делают любезную мину там, где следует дать в зубы, эти господа и лезут во все щели.

— Пауль всё-таки мой
двоюродный брат!

— Я говорю вообще о
хенлейновцах.

— При чем же тут Пауль? Я
никогда не видела его в белых чулках.

Ярош присвистнул:

— Вот в чём дело! Может быть,
ты по-своему и права: он
действительно не совсем такой, как
здешние громилы.

— Ярош! — Марта сердито
смяла сигарету. — Ведь тут его
родина! Он поэтому и вернулся.

— Именно таких они и
посылают сюда.

— Зачем думать нехорошее,
если...

Он не дал ей договорить:

— ...если некоторым наивным чешкам хочется видеть своих в тех, кто явился только для того, чтобы убивать и разрушать?

— Разрушать свою родину? — В её голосе прозвучал испуг.

— Да, разрушать страну, давшую им жизнь, вскормившую их. Все это для них жалкие условности!

— Ты... ревнуешь.

— Конечно.

— Пауль стал трезвее смотреть на вещи — вот и всё. Он вернулся, наученный жизнью.

— Этих молодцов учила не жизнь, а их атаман, которого они называют фюрером. Пауль не тот, что

был. Это совсем другой человек. С другой душой, с другой психологией. Он ещё улыбается, он ещё прячет когти, но недалёк день, когда он выпустит их!

— Ты говоришь глупости!

— И тогда ты узнаешь настоящего гитлеровца. Такого, каких мы видывали в Испании. Их там и дрессировали.

— Не смей! Не смей так говорить о Пауле. Он был там совсем не за тем.

— Я-то знаю, зачем он был там!

— Я не хочу тебя больше слушать.

Марта отвернулась и стала собирать рассыпавшиеся волосы.

Взяла сумочку и посмотрела в зеркало. Да, вот здесь и вся разгадка. Самая обыкновенная ревность! Именно поэтому наших молодых петухов будет труднее примирить, чем самых яростных политических противников. Впрочем, Марте это только льстит.

Она из-за сумочки украдкой взглянула на Яроша:

— Ну... отошёл?

Он молчал, насупив брови.

— Не делай из мухи слона. Ты сходишь с ума от какой-то необъяснимой ненависти.

— Да, от этой ненависти действительно можно сойти с ума! Только она вовсе не необъяснима. Я

и все мы отлично знаем, за что ненавидим эту проклятую гитлеровскую саранчу. Она пожрёт всё, что посеял чешский народ.

Марта резко отстранилась от него.

— Ты, наконец, забываешь: я тоже наполовину немка.

— Но между тобою и Паулем большая разница. Он из тех, кому не должно быть места на чешской земле!

Он опустил на соседнюю скамью. Закурил.

— Давай переменим тему, — неохотно сказал он.

— Так-то лучше!

Они сидели, глядя на

багровеющее закатом осеннее небо. Тени деревьев изрезали песчаную плоскость корта. В ветвях осторожно сустились птицы, устраиваясь ко сну. Время от времени они стайками перелетали с дерева на дерево. Когда стихали шум крыльев и возня на ветвях, становилось слышно отдалённое дыхание завода. Это не был ясный, определённый звук, а лишь ритмический гул, который нельзя было назвать иначе, как симфонией большого промышленного предприятия, слишком сложной и монолитной, чтобы в ней можно было выделить звучание отдельных инструментов. Впрочем, ухо Яроша не было ухом

дилетанта: прислушиваясь к доносящимся из долины голосам завода, он отчётливо представлял себе их происхождение. Его связь с заводом не ограничивалась теми пятью годами, которые он провёл тут лётчиком-испытателем. Все его детство прошло в домике отца — машиниста силовой станции Вацлавокого завода. И здесь же, на заводе, протекали месяцы его ежегодных студенческих практик.

Ярош не мог представить себе жизни вне завода... И если уж говорить откровенно — без Марты. А ведь Марта — дочь здешнего управляющего. Доктор Ян Кропачек пришёл сюда вместе с первым

заводским машинистом Яном Купкой. Значит, и старый инженер так же неотделим от завода, как сам он, Ярош.

Ему кажется, что старый управляющий так же хорошо, как он сам, понимает, зачем появилась на заводе эта группа немцев во главе с бородатой жабой Винером. Очень жаль, что Марта не хочет серьёзно отнестись к тому, что перестало быть секретом для кого бы то ни было из желающих смотреть правде в глаза. Что это — простая девичья беспечность или?..

В калитку, соединявшую корт с парком, вошёл Луи Даррак.

— Все философствуешь? — с

улыбкою сказал француз.

— Вот, вот, — воскликнула Марта, — с ним невозможно говорить!

— Сейчас я его расшевелю! Новости, Ярош!

— Ты никогда не приносишь хороших.

— Да, тяжёлая рука, — Луи как бы в подтверждение этого поднял было худую руку с узкой длинной кистью музыканта, но тут же смущённо спрятал её за спину. Он все ещё не мог привыкнуть к тому, что на ней нехватало трех пальцев. Именно на левой руке и именно тех, которые больше всего нужны скрипачу. — Сегодня на витрине

булочной старухи Киселовой появился плакат: «Немцы покупают хлеб только у немцев».

— Подумаешь, новость! — сердито проворчал Ярош.

— И на пивной Неруды и на колбасной Войтишка тоже.

— Негодяи!

— В этом, конечно, нет ничего неожиданного, но странно: полиция не позволила нам сорвать эти плакаты!

— Наши полицейские? Они не позволили?.. Казалось, Ярошу нехватало воздуха.

— Говорят, чехословацкое правительство обещало Англии не давать немцам никаких предложений...

— Предлоги! — воскликнул Ярош. — Это называется у них предлогами! Когда с нас будут стаскивать рубашку, когда нас будут бить сапогами по животу, мы тоже будем избегать предлогов?

— Ещё год таких порядков, и немцы будут чувствовать себя тут, как дома, — пожимая плечами, сказал Даррак.

— Год?! — Ярош расхохотался. — Это случится через месяц! Не больше, чем через месяц, Пауль Штризе будет бить чехов по морде только за то, что они чехи. И его нужно будет называть господином штурмбаннфюрером... через месяц!

Он в бешенстве отшвырнул ракетку, порывисто поднялся и пошёл прочь.

— Ярош — крикнула Марта. — Ярош!..

Ярош не обернулся.

— Он невыносим! — сказала Марта, стараясь казаться рассерженной, но в действительности едва сдерживая слезы.

Луи пожал плечами:

— Он не может не принимать это близко к сердцу.

— Я поверю чему угодно, — в отчаянии воскликнула девушка: — тому, что Гитлер хочет проглотить наши Судеты, даже тому, что говорят,

будто он хочет пробить себе сквозь Чехию дорогу на юг, к Балканам, но этим глупостям насчёт уничтожения славян поверить нельзя, нельзя!

— У хенлейновцев уже заготовлены списки тех, кто должен будет покинуть завод.

— Когда?

— Как только придут немцы.

— Я вас не понимаю!

— Тут не останется чехов.

— Какие глупости! — Марта пренебрежительно пожала плечами.

Быстро собрав ракетки и мячи, она пошла к дому.

Луи молча глядел ей вслед.

Когда фигура девушки скрылась между деревьями, Луи вышел с корта

и медленно побрёл в глубину парка. Он долго шёл, задумавшись, когда вдруг увидел среди деревьев сидящего на земле Яроша. Он подошёл к другу и, присев рядом, положил ему руку на плечо.

Ярош молча указал в сторону запада, где над синими силуэтами гор ещё пылало зарево заката.

— Да, — сказал Луи, — как пожар!

— Он идёт на Чехию, — негромко проговорил Ярош.

— Кто его остановит?

— Если нужно будет — мы, грудью! — Ярош вскинул голову. Его голос звучал твёрдо. — Мы зальём его своею кровью!

— Своею кровью? — В ласковых больших глазах Луи блеснул гнев. — Нет, мы будем заливать его кровью цаци!

— А!.. При чем тут ты?! — в раздражении воскликнул Ярош.

— Можно подумать, будто ты забыл, где мы с тобою встретились!.. Тогда ты поехал к испанцам, теперь они приедут помогать сюда. — И немного смущенно добавил: — Вообще все мы...

Ярош грустно улыбнулся:

— Опять интернациональная бригада?

— Если будет нужно...

— Я знаю, — уверенно сказал Ярош, — нам на помощь придут

славяне: сербы, болгары, словенцы, черногорцы.

— На пилсудчиков не надейся, — скептически проговорил Луи.

Ярош в нерешительности посмотрел на француза:

— Но, может быть, придут и русские. Даже наверно придут.

— Русские? — Луи подумал. — А ты знаешь, в этом нет ничего невероятного. Только бы Даладые не довёл свою подлую игру до того, что сорвёт и для русских возможность выполнить обязательства в отношении вашей республики.

— Впрочем, ведь речь идёт о Чехословакии, — продолжал

Ярош, — и заботиться о ней должны мы сами. Никто не полезет в пекло ради нас! Молодцы русские: они никогда не полагаются на других!

Луи хотел ответить, но его внимание привлёк звук приближающегося по лесной дороге автомобиля. Из-за деревьев вынырнула маленькая, похожая на серую черепаху «татра». За рулём сидел худощавый брюнет с подвижным лицом, молоджавость которого резко контрастировала с седыми висками. Затормозив, он поспешно выскочил из-за руля. Заметив его возбуждение, друзья в один голос крикнули:

— Что с вами, Гарро?

Он смотрел на них с удивлением:

— Как, вы ничего не знаете?! Чемберлен торгуется с немцами. Для отвода глаз он послал сюда какого-то лорда.

— На кой нам чорт этот лорд! — гневно воскликнул Ярош.

— Он «изучает положение».

— Послушайте, капитан, — проговорил Луи, — не с ведома ли Даладье Чемберлен торгуется с немцами?

— О, Даладье! — воскликнул Гарро. — Это хитрый кабатчик! И этот его длинноносый Боннэ тоже.

— Тоже жулик первой статьи, — зло проговорил Лун.

— Но, но! Вы увидите: эти двое проведут и Гитлера и англичан.

— Или нас с вами... Это скорее!

— Да, расплачиваться-то, повидимому, будут все же нашею шкурой, — с горечью сказал Ярош.

— Перестаньте, Купка! — Гарро с жаром ударил себя в грудь. — Когда запахнет порохом, вы увидите, где будут французы.

— В воздухе уже попахивает этим снадобьем, — сказал Даррак и вопросительно посмотрел на своего соотечественника, как будто ожидал от него разъяснений.

Как член французской военной миссии, прикомандированный к Вацлавскому заводу, Гарро

располагал данными, которых не было и не будет в печати.

— Я заехал к вам, — сказал он, — с совершенно мирными намерениями: вы обещали отвезти меня в Либерец, на демонстрацию независимости.

— Сейчас сговорюсь с Мартой, послезавтра мы едем, — отозвался Ярош.

— Стоит ли? — с сомнением произнёс Луи. — Граница, немцы...

Но Ярош уже не слушал, он бежал к дому. Одним прыжком взлетел на веранду и уже открыл было рот, намереваясь позвать Марту, но слова замерли у него на устах: развалившись в шезлонге, перед ним

сидел Штризе с книгой в руках.

Оживление Яроша погасло.

— Где Марта?

Пауль подвинул ему кресло.

— Садись...

— Мне нужна Марта.

Штризе отбросил книгу и поднялся.

— Ты не можешь её видеть.

Не сдерживая себя, Ярош крикнул:

— На этот счёт меня интересует мнение Марты, а не твоё!

Он шагнул к двери, ведущей в дом, но Штризе загородил ему путь.

— Ты не можешь её видеть, — повторил он.

Яроша одолевало желание

ударить его. Охрипшим от ярости голосом он сказал:

— Сойди в сад!..

Пауль с усмешкой пожал плечами.

— Тебе действительно лучше сойти и... больше никогда сюда не подниматься.

Не помня себя, Ярош бросился к Паулю и поднял руку. Он не заметил, как Штризе сунул руку в карман и на его пальцах блеснула сталь кастета.

Дверь за их спинами распахнулась, и на балкон выбежала Марта. Она в испуге остановилась между молодыми людьми. Оба сразу, как по команде, приняли, насколько могли, непринуждённый вид. Ярош

напрасно пытался придать своему голосу спокойные интонации, когда обратился к Марте:

— Я к тебе. Послезавтра мы едем в Либерец.

Штризе не дал ему договорить:

— Марта не поедет! — И добавил, стараясь придать своим словам как можно более обидную окраску: — С тобой она никуда не поедет!

Гнев снова залил сознание Яроша. Он шагнул к Штризе, но Марта загородила Пауля собою.

— Ты с ума сошёл!

— Ты дала ему право распоряжаться собою?

Марта покраснела и опустила

голову. Ярош ждал. Наконец он хрипло спросил:

— Уйти?

Она продолжала стоять с опущенною головой и молчала.

Ярош медленно повернулся и, шаг за шагом, спустился по ступеням веранды. Отойдя немного, он приостановился в раздумье, но удержался от желания обернуться и, подняв голову, быстро пошёл, глядя прямо перед собой.

Марта так и стояла с опущенной головой. Слезы стекали по её подбородку, и тёмные пятнышки отмечали их падение на полотне блузки.

— Ты не должен был... —

нерешительно проговорила она.

— Вот ещё! — воскликнул Штризе. — Пора все привести в ясность!

Он стукнул кулаком по барьеру веранды. Кастет, все ещё надетый на его пальцы, издал громкий звук.

— Что это? — спросила Марта, боязливо притрагиваясь к стальным шипам.

Пауль коротким ударом расщепил край балюстрады. Марта в ужасе передёрнула плечами.

— Ты... ты мог бы...

Он взял её за руку и сильным движением посадил в кресло.

— Поговори с отцом, пусть он уберёт его отсюда.

— Яроша?.. Он же работает здесь с детских лет!

— Ему здесь не место... Ему и всей этой банде!

— Банде?

— Чехам.

— Но это же чешский завод!

— В прошлом!

— Папа тоже чех...

— Тем хуже для него!

— Ты держишься так, словно ты тут хозяин.»

— Да! Если дядя Ян хочет избавиться от неприятностей, он должен уехать. И как можно скорей!

— Я не понимаю, о чём ты говоришь.

— Тебе нечего и понимать.

Пусть уезжает завтра же.

— Можно подумать, что мы не у себя дома...

Он нагнулся к её лицу.

— Я хочу добра тебе и всем вашим, ты же знаешь!

Марта не могла смотреть ему в лицо, когда он говорил.

— Тут может произойти такое, чего не сумею отворотить ни я, ни кто-либо другой. Потом, когда все уляжется, отец вернётся и все пойдёт по-старому. Мы найдём ему место и дело... Ты же знаешь, чем я ему обязан. Неужели я оставлю его! Но теперь он пусть уезжает. Если ты его любишь, уговори его.

Он испытующе вглядывался в её

помертвевшее лицо.

— А мама? Она не оставит ело.

— Я достану пропуска им обоим.

— Я знаю: папе нужно было во Францию, у него там много разных дел.

— Пусть летит во Францию! — обрадованно сказал Пауль. — Он получит пропуск через Австрию.

— Как странно! — прошептала она, оглядываясь так, словно смотрела на всё, что окружало её, в последний раз. — Нужно уходить из дома... Не понимаю, как могла бы я уйти. Мне, чешке, уйти из Чехии?

— Ты чешка?! — в деланном ужасе Штризе всплеснул руками. —

Сколько тебе твердить: забудь, забудь, забудь! Ты рождена немкой. Пойми своё предназначение, Марта. Пойми высокую миссию, которую возлагает на тебя наш великий народ и наш фюрер.

— Я не знаю его, я не хочу его знать, — в страхе прошептала она.

— Тебе дано стать проводником наших идей в этой стране, нашим передовым бойцом. Мы пойдём с тобою рядом.

— Я не могу! — крикнула она, сбрасывая его руку со своей. — Я не могу оттолкнуть папу!

— Человек нашей крови может все!

— Мой отец — чех.

— Забудь его, отрекись от него.

Она вытянула руки, защищаясь от его слов.

— Пауль!

— Иметь отца славянина! Это достойно жалости. Кровь твоя должна возмутиться. Я не был бы тут с тобой, если бы не знал, что ты можешь стать нашей, забыть своё чешское прошлое! — Он торжественно поднял руку. — Я верю: наше великое северное начало возьмёт верх над тем низким, что вошло в тебя с кровью славянина.

Он постарался скрыть раздражение, когда Марта, покачив головой, сказала:

— Папа не бросит заводов.

— Он предпочтёт, чтобы его вывезли на тачке?

— Он не верит тому, что немцы придут сюда.

— А кто им помешает? — спросил Штризе заносчиво.

— Русские. — Сказала — и сама испугалась.

Пауль смотрел на неё с удивлением.

— Кто распространяет такие сказки?

— Папа верит русским.

— Вот когда большевики повесят дядю Януша, он будет знать, как им верить! А они его непременно повесят, если придут сюда.

— Он им ничего не сделал.

— Он директор завода, инженер... Этого достаточно.

— Я поговорю с папой.

Он с облегчением рассмеялся.

— Пойми же, мне было бы легче сидеть спокойно, ни о чём не заботясь, но я люблю тебя!

Ей так хотелось верить этому...

Деревья проплывали в свете фар, ажурными золотыми башнями. Несмотря на холодную осень, листва ещё только начинала опадать. Лемке казалось, что густой аромат её увядания проникает даже к нему в кабину автомобиля. Лемке любил осень, любил её запах, любил эти глухие уголки Грюневальда. Но сейчас его внимание было сосредоточено на том, чтобы не пропустить условленное место встречи. Он напряжённо следил за поворотами, в которых мог разобратся только человек, хорошо знающий эти места.

Перекрёстки были донельзя похожи один на другой, и в Лемке уже несколько раз закрадывалось сомнение: не пропустил ли он тот перекрёсток, где следовало повернуть, чтобы выбраться в самую заброшенную часть леса? Нет, этого не могло быть! Слишком долго он ждал этой встречи, слишком хотел её, чтобы... Но снова червь сомнения заставлял его придерживать ход машины, чтобы дать себе время приглядеться к подробностям лесного пейзажа.

Нет, он не ошибался! Рука уверенно повернула штурвал, и машина углубилась в узкую тёмную просеку. Лемке погасил большие

фары и включил только одну горную, дававшую короткий, широкий пучок света. Лемке нужно было видеть обочины дороги.

Наконец-то! Наконец Клара! Его Клара! Он сразу различил её маленькую фигурку, прижавшуюся к стволу огромного дерева.

Первым движением Лемке было нажать тормоз, выскочить из машины и бежать к жене, сжать её в объятиях. Ведь он не видел её столько времени! С того самого дня, как оставил в Любеке на таком опасном посту...

Но он тут же пришёл в себя: молодец Клара! Она даже не пошевелилась у своего дерева. Только он, зная, что она его тут ждёт, и

мог различить серую фигурку в мгновенно промелькнувшем луче фары. Никто другой и не заметил бы. Молодец, молодец Клара, — ни одного движения, серый плащ, серый платок на голове... Лемке погасил свет и, проехав ещё несколько шагов, остановился. Когда его глаза привыкли к темноте, он ещё несколько времени приглядывался к дороге, потом постоял и прислушался. Наблюдение могло быть и за ним и за нею. Ни один из них не должен был подвести другого. Но за ним можно было бы уследить только на автомобиле, значит с этой стороны все спокойно. А у неё?

Смешно!

Разве

Клара

остановилась бы тут, разве стала бы его ждать, если бы допустила хотя бы малейшее подозрение, что за нею следят?!

Лемке смело пошёл в ту сторону, где он заметил её фигуру.

Это было их личное свидание. Это был их час. Один час после месяца разлуки и перед расставанием неизвестно на сколько времени.

Только когда они, обнявшись, подошли к автомобилю, Лемке решился сказать, что из плана Клары увидеться ещё разок, прежде чем ей придётся ехать дальше, на запад, куда партия перебрасывает её для подпольной работы, — что из этого

чудесного плана... ничего не выйдет.

— Завтра утром я уезжаю в Чехию.

Она ни о чём не спросила, только подняла на него взгляд — такой лучистый, что казалось, глаза светились даже в лесной тьме.

Лемке сказал сам:

— Везу генерала Шверера.

— А ты не мог отделаться от этой поездки? — спросила она. И, заметав, что он пожал плечами, пояснила: — Ведь для работы тебе, наверно, лучше быть здесь?

— Я не могу вызвать и тени подозрения, что мне это нужно, — сказал он. — А без каких-нибудь веских причин генерал меня не

оставит. — И со смехом прибавил: — Он меня очень любит... Я его лучший шофёр.

— Я боюсь этой любви, Франц, — тихо проговорила она, — твоего генерала боюсь. Всех Швереров боюсь...

— Ну, ну... — неопределённо пробормотал он. — Наверно, мы скоро вернёмся. Вряд ли наци решатся на военный поход против чехов... По крайней мере сейчас.

— От этих разбойников можно ждать чего угодно.

Клара подставила циферблат ручных часов слабому лучу месяца, прорвавшемуся сквозь облака и вершины деревьев.

— Ого!.. Пора!

Франц привлёк её к себе и после долгого поцелуя сказал:

— Садись рядом со мною...

Она в испуге отпрянула:

— Что ты!

— Я хочу довезти тебя.

— В этом автомобиле?!

— Тем в большей безопасности ты будешь, эти десять минут. Кому придёт в голову...

Она, не слушая, перебила:

— А если придёт, если уже пришло?.. Если кто-нибудь узнает меня на первом же светлом перекрёстке?.. — Клара заметно волновалась. — Позволить им поймать меня в твоей машине?

Допустить твой провал из-за нескольких минут моего страха?!. Ты подумал о том, какой опасности подвергаешь себя, своё место, эту явку, которую так ценит партия?!

Лемке опустил голову, как провинившийся ученик, взял руку Клары и прижал к губам.

Она ласково погладила его по волосам.

— Мне хотелось... ещё несколько минут, — виновато сказал он.

— Знаю, все знаю, Франц... — прошептала она. — Верь мне, все будет хорошо, очень хорошо... Мы будем вместе, всегда вместе...

Она приподнялась на цыпочки и

поцеловала его в губы.

— Иди!

И сама отворила ему дверцу автомобиля.

...Лемке ехал, ссутулившись за рулём, как если бы был очень утомлён. Вокруг его рта лежала глубокая-глубокая морщина.

Но вот автомобиль выехал на ярко освещённую аллею — и снова за рулём сидел прямой и крепкий человек, с сухим лицом, не отражавшим ничего, кроме профессионального внимания. Это был снова товарищ Лемке, которого партийные руководители считали образцом выдержки и человеком,

особенно пригодным для конспиративной работы. Они были совершенно уверены, что у товарища Лемке не существует личного «тыла», может быть, даже не существует понятия семьи в том смысле, как это принято у менее целеустремлённых и менее дисциплинированных людей...

А по тёмным аллеям Грюневальда, бессознательно оттягивая минуту — неприятную, но неизбежную, — когда нужно будет появиться в полосе яркого света, на улицах, где снуют чужие и часто враждебные люди, где на углах торчат шупо и где на каждом шагу может привязаться шпик, по аллеям

Грюневальда пробиралась маленькая худенькая женщина с усталым лицом. На этом лице ярко, так ярко, что казалось, они светились в ночи, горели большие синие глаза...

Клара сняла с головы серый платок и повязала его кокетливым жгутиком вокруг тугого узла пепельных волос. Да, волосы её были совсем-совсем серые и в лучах редких фонарей казались серебристыми, как седые. В тридцать лет?..

Завидя впереди синий свет у входа в подземку, Клара приостановилась, будто собираясь с силами. Глубоко вздохнула и, кинув последний взгляд на оставшуюся за

спиною тёмную массу деревьев, решительно зашагала по площадке...

Лейке, как всегда, спокойно и уверенно вёл свой автомобиль на юг.

Пелена удушливого дыма от выхлопов стояла над дорогой, стекала с насыпи и голубоватыми полосами повисала над полями, застревала среди деревьев.

Насколько хватал глаз, по дороге тянулись машины: автомобили — легковые, грузовые и бронированные; тягачи и транспортёры; моторизованная артиллерия и зенитные пушки. Все, что стояло на резиновом ходу, шуршало баллонами по асфальту. Сотни фургонов,

покрытых причудливыми пятнами камуфляжа, тащились, похожие на злых насекомых.

Без всякой видимой причины все это останавливалось, выдыхало тучи синего зловония и снова, неожиданно рванувшись, устремлялось на юг. Под хлопающими на ветру брезентами виднелась плотная серо-зелёная масса солдат: глубокие стальные каски, винтовки между коленями, гранаты у пояса, ранцы и скатки — все, как на образцовых манёврах. За стенками бронетранспортёров, словно ряды поставленных доньями вверх котлов, виднелись шлемы мотопехоты.

Заглушая шорох шин, гудки автомобилей и крики солдат, лязгали гусеницами тянувшиеся по обочинам танки и тяжёлые пушки.

Все двигалось, грохотало, все стремилось на юг.

На юг, на юг!..

Там вставал мираж ещё невидимых, но вожаделенных массивов Богемского леса. На юг, на юг!

— Вы видите, — в восторге воскликнул Шверер, — это непреодолимо!

Лицо лорда Крейфильда не отразило ни малейшего удовольствия. Ему был отвратителен этот грохот, и эта вонь, и вид людей,

словно сросшихся с массой некрасивого, неуклюже склёпанного, уродливо раскрашенного железа.

Бен считал войну весьма полезным и действенным средством в руках правительства его величества. Но это относилось к тем случаям, когда в войне можно было столкнуть другие страны с таким расчётом, чтобы плоды победы любой из них достались Соединённому королевству. Да, тогда Бен считал войну положительным явлением в жизни народов. Так же, как голод и некоторые эпидемии. Война в Южной Африке, голод в Индии, холера в Бирме — все это были факторы, полезно влияющие на

состояние Сити и на могущество Британской империи. Но непременным условием своего благожелательного отношения к войне Бен считал то, что она должна была протекать за пределами достижения его, лорда Крейфильда, зрения и слуха.

Бен отдавал себе ясный отчёт в целях своей нынешней миссии: оценить все «за» и «против» в большой игре, которую вёл премьер. Прежде всего надлежало сказать, представляет ли немецкая военная машина силу, способную справиться с чехами, если тем взбредёт в голову послушаться рекомендаций своих могущественных друзей — Англии и

Франции — и оказать сопротивление Гитлеру. Знать это было необходимо, чтобы не очутиться а глупейшем положении, когда вдруг оказалось бы, что потерявшие терпение чехи нокаутировали фюрера, на которого была сделана главная ставка министров его величества. Такой оборот дела мог бы иметь для Англии ещё более далеко идущие последствия: неожиданное усиление континентальных позиций Франции. И, наконец, произошло бы то, о чём Бену доверительно рассказал Гаусс, — приход к власти в Германии генералов, которые с их фетишизацией планов и отработкой деталей ещё отодвинут военное

столкновение с Советами.

А ведь к этому столкновению Германии с Советской Россией и сводился для Англии весь смысл сложной и опасной игры. Правда, некоторая поспешность в натравливании немцев на русских заключала в себе риск провала, но ведь рисковали-то немцы, а не англичане, — тут можно было и рисковать. Если немцев побьют, можно будет наскоро поставить их на ноги и снова пустить в дело.

Да, Бен сознавал значение своей поездки, но то, что ему пришлось нос к носу столкнуться со всеми этими железными принадлежностями войны, от

соседства с которыми у него разболелась голова, вывело лорда из равновесия.

По восторженному виду Шверера и по тому, с какой уверенностью тот называл ему номера корпусов и дивизий, названия специальных частей и их назначение, Бен догадался, что его нарочно потащили в эту гущу войск. Он решительно ничего не понимал и не поймёт в их истинной ценности; он даже не в состоянии был ответить себе на вопрос: много ли тут войск или мало? Являются ли они последним словом техники или военной архаикой? Но чем дальше его везли, чем больше войск они со

Шверером и Монти обгоняли, тем сильнее разбаливалась у него голова, тем подавленней делалось настроение и тем легче он готов был поверить, что разговоры о военных приготовлениях Гитлера не были пустыми сплетнями. Он готов был согласиться с тем, что нацистская армия способна раздавить несчастную Чехословакию и, если прикажет фюрер, через сутки вступить в Прагу.

А Шверер, стремясь подавить англичанина зрелищем непреодолимой мощи германского оружия, сам приходил в восторг и, забывая о спутниках, то и дело приказывал Лемке остановиться,

чтобы с часами в руках проверить прохождение контрольных пунктов теми или другими частями. Он приходил в раздражение от того, что «дурацкий балахон», как он называл штатский пиджак, лишает его возможности стать на сиденье автомобиля и обратиться к войскам с восторженным приветствием, какого заслуживали, по его мнению, эти серо-зелёные колонны. Он гордо вздёргивал голову, видя, как час в час, минута в минуту войска проходили пункты, намеченные им самим в тиши берлинского кабинета. Да, всю жизнь ему не везло, не повезло и тут: чего доброго, наступление начнётся раньше, чем он успеет вернуться из

Чехословакии. Прусту достанутся лавры подготовленной им, Шверером, победы. Усатый негодник Пруст родился в рубашке. Всегда-то ему достаются плоды чужих трудов!

Шверер с таким же искренним восхищением отмечал чёткость отрегулированной им гитлеровской машины убийства, с каким «мэтр Пари» проверял, вероятно, остроту ножа гильотины. По мнению Шверера, нужно было быть совершенным трусом или истерическим пессимистом, чтобы утверждать, будто в Европе есть сила, способная остановить эту машину войны, когда она двинется на восток.

— Трум-туру-рум, трум-туру-

рум... Германское оружие, ты победишь весь мир... германское...

Он поймал себя на том, что напевает в присутствии англичан. Покопался на Бена и почувствовал облегчение: тот был погружён в свои мысли и не обращал на него внимания. Генерал перевёл взгляд на Отто, сидевшего вполоборота рядом с Лемке и, повидимому, с таким же удовольствием, как отец, наблюдавшего движение войск. Смешно сказать: ещё недавно Шверер готов был заподозрить этого отличного офицера чуть ли не в измене по отношению к армии. А за что?.. Да, будем смотреть правде в глаза: только за то, что тот раньше

своего старого недальновидного отца определил политическую ситуацию. Именно так: Отто раньше его понял, что нужно веку. Генерал даже не стал задавать сыну лишних вопросов. И отлично сделал! Допустим, что Эрнст не врал и Отто действительно сообщал кое-куда подробности жизни своего отца и шефа, — допустим! Так пусть уж лучше это делает его собственный сын, чем какой-нибудь посторонний лоботряс! По крайней мере, Отто знает, что вся его будущая жизнь связана с карьерой генерала; он не так глуп, чтобы рубить сук, на котором сидит.

Да, жизнь становится все сложнее. Она заставляет во всем —

вплоть до собственной семьи — пересматривать старые нормы. Уж не раз Швереру приходило в голову, что он был несправедлив и к Эрнсту. Конечно, тяжело обнаружить в своём доме вора в лице собственного сына! Неприятно знать, что воришка сваливает вину на его любимицу Анни. Но, пожалуй, ещё неприятней было б выдерживать косые взгляды сослуживцев, если бы Эрнст не сумел свалить вину с себя. К тому же он, как отец, должен был тогда же принять во внимание все обстоятельства, вызвавшие дурной поступок Эрни: у парня не было денег на жизнь, соответствующую его положению. Старый колпак!

Разве не узостью было с его стороны не понять, что мальчишке хочется лишний раз кутнуть с приятелями из его организации? А он раскипятился из-за каких-то отживших понятий о честности, с которой теперь не заработаешь и лейтенантской звёздочки!..

Да, в конце концов он не смеет забывать, что является отцом трех молодых немцев. Впрочем, Эгона можно не считать, — тот уже достаточно твёрдо стоит на своих ногах. Но Эрнст и Отто — это же молодые немцы, идущие в славянские земли открывать новую эру в истории великой Германии! Не должен ли он поставить их на такие

места, где вместе с внешним блеском на их долю выпадет нечто более реальное? Как никак, а ведь одною из задач созданной им армии является утверждение прав германцев на «жизненное пространство». Согнать с земли славян, сесть на эту землю и заставить остатки побеждённых служить себе — вот ради чего движется эта стальная машина. И он, Конрад фон Шверер, чей род успел растерять свои земли в Германии, он, ставший парией в среде немецких генералов из-за своего оскудения, теперь за себя и за своих сыновей отрежет такой кусок славянской земли, чтобы не стыдно было

взглянуть в глаза внукам. В одну из ближайших ночей должно родиться новое племя германских владетельных баронов, чьи земли, завоёванные огнём и железом, будут тянуться по просторам всей Юго-Восточной и Восточной Европы!

Унесшись мечтой в беспредельные русские просторы, где ему мерещились будущие гигантские латифундии Швереров, он забыл о присутствии англичан. Неожиданное обращение впервые заговорившею Бена вернуло его к действительности.

— Не кажется ли вам, что было бы приятнее проехать какою-нибудь другой дорогой?

— Другой дорогой? — не понял Шверер. — Что вы имеете в виду?

— Весь этот шум! — И Бен, презрительно скривив рот, ткнул пальцем в сторону движущихся войск. Потом он страдальчески дотронулся пальцем до лба: — Ещё я имею в виду мою голову...

Генерал повернулся ко второму спутнику, чтобы узнать его мнение на этот счёт, но увидел, что Монти крепко спит.

Стараясь скрыть обиду, вызванную необъяснимым на его взгляд отношением лорда-инспектора к лучшему, что создано богом — к немецкой армии, он отдал приказание Отто найти объезд.

По мере приближения к границе дорога, выбранная Отто по карте, становилась все хуже — недавнее прохождение по ней многочисленных войск давало себя знать выбоинами и колеями. Шверер не без злорадства косился на Бена, морщившегося от толчков, и с удивлением видел, что Монти продолжает спать, как убитый.

Лес ближе подходил к дороге, подъёмы и спуски делались все круче. На смену моторизованным колоннам появились горно-стрелковые части. Появилось много конных запряжек. Послышался привычный, милый сердцу Шверера стук обозных фур, звон передков,

перебирающихся через каменные
ложе потоков. Наконец на смену
повозкам пришли и вьюки. Войска
подтягивались к истокам небольшой
реки, проложившей себе путь в
теснинах Лужицких гор. Движение
войск делалось все медленней.
Крупы лошадей, повозки, брезент
санитарных фур и амуниции людей
— все было мокро, все блестело, как
лакированное. Дождь моросил
непрерывно, затягивая серой пеленой
лежащие впереди горы, прогалины
леса, всю долину реки, в которую
спускалась убегающая из-под
автомобиля дорога.

Войска двигались в молчании, и
солдаты угрюмо поглядывали на

штатских, перед которыми должны были сходиться с дороги.

Рука Шверера по привычке то и дело тянулась к голове. Лишь коснувшись полей шляпы, он вспоминал о цивильном одеянии, в котором не мог достойно приветствовать войска.

В конце концов и Шверер с облегчением подумал о близком ночлеге. Но из-за того, что они свернули с главной дороги, пришлось остановиться не там, где предполагалось. Вместо подготовленного к их встрече замка они очутились в скромной деревенской гостинице, где их вовсе не ждали. Бен удивлённо

причмокивал, вытянув губы, пробуя поданное ему крестьянское вино. Шверер краснел, хмурился и вздохнул с облегчением, когда Отто увёл англичан в предназначенные им комнаты.

Монти зашёл к брату, чтобы вместе выкурить вечернюю сигару. Он выспался в пути и, в отличие от Бена, был в прекрасном настроении.

— Ну, что скажешь?

Бен состроил страдальческую мину:

— У меня невозможно режет в желудке от этой немецкое кислятины, которую мы пили за ужином.

— Это тебе пришла фантазия

свернуть с главной дороги?

— Я больше не мог выносить вонь этих скрежещущих колесниц.

— Да, в кинематографе это выглядит гораздо привлекательней!

Бей раздражённо пожал плечами.

— Удивительно! — сказал он, с болезненным видом потирая висок. — Хорошие идеи приходят тебе, когда они уже бесполезны. Нужно было послать сюда кинооператора, и мы могли бы все увидеть, не выходя из комнаты. Я уверен, будь тут Флеминг...

— ...было бы кому сформулировать твоё мнение о виденном?

— Всегда получается какая-нибудь глупость, если я послушаю тебя.

Бен в отчаянии опустил на постель и принялся расшнуровывать ботинок. Он, конечно, доедет до Праги, но — всевышний свидетель! — он не взглянет больше ни на одну военную машину и не станет разговаривать ни с одним генералом. Все ясно и без того — немцы справятся с чехами и, судя по всему, готовы броситься в эту авантюру.

— Послушай, Монти, — Бен с досадою рванул запутавшийся шнурок (только этого ещё нехватало: самому развязывать ботинки!) —

найди мне бумагу и перо!

— Уж не собираешься ли ты писать донесение?

— Мне все ясно!

Монти расхохотался.

— А Флеминг?.. Ты же напишешь нивесть что!

— Лучше всего будет, если ты пойдёшь спать, — резко сказал Бен и, когда дверь за Монти затворилась, уселся за стол.

«Дорогой премьер-министр!

Вы, конечно, поверите тому, что мне решительно безразлично, будет ли Судетская область и вся Чехословакия принадлежать рейху или нет, но, поскольку я проникся, с ваших слов, уверенностью, что такой

дар Гитлеру является единственным, что может примирить его с нами и послужить основанием для дальнейшего укрепления дружественных отношений, а может быть, и союза между Англией и Германией, все мои мысли направлены к тому, чтобы этот дар был сделан от нашего лица и без затрат для нас. С этих именно позиций я и подходил к решению той тяжёлой задачи, которую вы, мой дорогой премьер-министр, поставили передо мной. Мой вывод совершенно ясен: немцы не только решили взять себе то, что им нравится, но они имеют для этого достаточно людей и...»

Бен на мгновение задумался. Его познания в военном деле не были так велики, чтобы дать в письме представление о значительности немецкого вооружения. Хотелось вставить какое-нибудь специфически военное слово, что-нибудь лаконическое, но в то же время достаточно внушительное. Он в мучительном раздумье потёр висок и быстро дописал:

«...холодного и горячего оружия. Считаю необходимым особенно подчеркнуть: если мы не поспешим с нашим даром, немцы возьмут его сами. В этом я убеждён. Я решаюсь сказать: поспешите с осуществлением намерения, в

которое вы столь великодушно
посвятили меня при расставании:
поезжайте к фюреру и вручите ему
Судеты, а если нужно, то и всю
Чехословакию как дар его
величества. Да укрепит вас
севышний в этом великодушном
намерении! Вспомните пример
вашего великого отца, более полувека
тому назад предвидевшего
необходимость усиления Германии
как военного государства,
способного выполнить наши планы
на востоке Европы. К нашему
счастью, теперь в Германии нет
человека, подобного Бисмарку, не
пожелавшему без всяких условий
сделать Германию „гончей собакой,

которую Англия натравливает на Россию“. Когда вы увидите Гитлера, вы сможете повторить слова старого Рандольфа Черчилля: „С вами вдвоём мы можем управлять миром“. Я разгадал эту фигуру: он на это пойдёт».

Бен уже сложил было листок, намереваясь вложить его в конверт, но тут ему пришло на память признание, сделанное Гауссом. Он подумал, что все планы премьера, клонящиеся к тому, чтобы пустить историю Европы по рельсам, которые надолго уведут её в сторону от опасности натиска народных масс на существующий порядок, могут вылететь в трубу, если в один

прекрасный день Гитлер будет вдруг убит. Чорт их знает, этих генералов, — каково будет с ними сговариваться и захотят ли они драться с Россией, не обезопасив себя с тыла от коварства Англии, попросту говоря, не покончив с нею? У них может оказаться не такая короткая память, как у Гитлера, забывшего заветы «железного канцлера» и уроки, полученные «королём Фрицем» от русских.

Бен снова развернул листок и написал постскрипtum:

«Я не советовал бы передавать фюреру содержание известной нам беседы, ради которой я недавно возвращался в Лондон. Этот выход

необходимо резервировать для нас самих на случай провала нашей чехословацкой комбинации. Рекомендую вам назначить фюреру свидание с таким расчётом, чтобы по окончании нюрнбергского съезда он не возвращался в Берлин и пробыл, по возможности, в отсуствии до самого момента победоносного вступления его войск в Чехословакию».

Бен заклеил конверт и спрятал на груди. Он надеялся, что уж завтра-то они остановятся в заранее назначенном месте, где его встретит сотрудник британского посольства в Праге. Послезавтра с рассветом письмо будет лежать в сумке

дипломатического курьера, летящего в Лондон.

Успокоенный этими мыслями, Бен надел снятые было очки, поставил ногу на стул и принялся терпеливо развязывать запутавшийся шнурок ботинка. В маленькой сельской гостинице царила мёртвая тишина. Бену показалось, что пружины старого матраца зазвенели, как бубны, когда он улёгся в постель. Он заснул, мечтая о том, что завтра сможет уже спокойно заняться изучением свиноводства в Чехии.

Так же как старый Шверер и как лорд Крейфилед, Отто сразу после ужина улёгся в постель. Он порядком устал и не видел никакого смысла в том, чтобы одиноко торчать в маленьком зале гостиницы за стаканом кислого вина или тащиться в какое-нибудь место, где развлекались офицеры проходящих войск.

Хозяину гостиницы пришлось трижды постучать ему в дверь, прежде чем Отто проснулся.

— Господина майора просят к телефону.

Уверенный в том, что тут он

никому не может понадобиться, Отто хотел было послать хозяина ко всем чертям, но, окончательно очнувшись, сообразил, что в тревожное предвоенное время может произойти любая неожиданность, и, шлёпая туфлями, поплёлся к телефону. Однако его слипающиеся глаза сразу открылись и сон вылетел из головы при первых же звуках голоса, который он услышал в телефонной трубке.

— Шверер?.. Мне нужно вас видеть.

— Как вы меня разыскали? — вырвалось у Отто.

— За одно то, что мне пришлось вас разыскивать, вместо того, чтобы

получить от вас самого сообщение об изменении маршрута англичан, с вас следовало бы снять голову, — сердито ответил Кроне.

— Где мы увидимся?

— Разумеется, не у вас.

Приезжайте сейчас же... —

Помолчав, Кроне назвал перекрёсток дорог в десятке километров от гостиницы и в заключение повторил: — Сейчас же, слышите!

Через несколько минут, разгоняя мощными фарами дождливую мглу, Лемке осторожно вёл генеральский «мерседес» извилистой горной дорогой.

Повидимому, Кроне переоценил возможность езды в такую погоду на

мотоцикле. Стук его мотора слышался лишь минут через десять после того, как Лемке достиг условленного места.

— Включите малый свет и поднимите внутреннее стекло! — приказал Отто Лемке и, подняв воротник, вылез на дождь.

— Можем говорить в вашем автомобиле? — спросил Кроне, пряча свой мотоцикл в кусты.

— Вполне. Кабины разделены двойным стеклом. — Отто поспешно распахнул дверцу «мерседеса», так как ему было вовсе не по душе стоять под дождём, забиравшимся за воротник плаща. Он сказал Лемке: — Поезжайте потихоньку, с тем чтобы

через полчаса вернуться к этому же месту.

Усевшись на место, где обычно сидел генерал, Кроне осмотрел стекло между кабинами шофёра и пассажиров и задёрнул на нём шторку.

Лемке не нужно было объяснять значение этих приготовлений. Он понял, что происходящее за спиною не для его ушей, и под ласковое воркованье мощного мотора мягко тронул машину, приготовившись сосредоточить все внимание на трудностях горной дороги. Но каково было его удивление, когда из маленького раструба переговорной трубы, расположенного возле самого

его уха, ясно слышался голос подсевшего к ним незнакомца. В первый момент Лемке подумал, что это обращаются к нему с каким-нибудь приказанием, но в следующий миг понял, что в прошлую поездку генерал попросту не заткнул переговорную трубку резиновой пробкой. Значит, будет слышно каждое слово, произнесённое незнакомцем, а может быть, и ответы Отто...

Из рупора слышалось:

— Похоже на то, что вашему воинственному родителю скоро удастся размять кости.

И реплика Отто:

— Кажется, он больше всего

боится, как бы дело не кончилось миром.

— К сожалению, и такая возможность не исключена.

— Не вижу предмета для сожалений.

— Непременно протелеграфируйте ваше мнение фюреру.

— Разве он...

— А вы и в самом деле не понимаете, за каким чортом сюда тащатся эти английские селёдки?

— Я не занимаюсь политикой, — кисло пробормотал Отто.

— Я всякий раз забываю, что вы конченный человек, — насмешливо

произнёс Кроне. — Вы могли вообразить, что всё это снаряжение вытащили к границе только для того, чтобы продемонстрировать каким-то двум англичанам? Подумаешь, много толку в том, что испугается какой-то лорд, которого хорошая свинья интересуется больше всей Чехословакии.

— Откуда вы знаете?

— Мы должны во что бы то ни стало опередить этих идиотов, стремящихся поднести фюреру Чехословакию в шоколадной бумажке.

— Мы и так уже у границы.

— А должны быть за нею раньше, чем англичане и французы

окончательно запугают чехов и те поднимут руки. Поняли?

— Не совсем.

— Одним словом, вы здесь не для того, чтобы спать и вкусно обедать с лордами.

— Об этом я догадываюсь. Но отец пока только восторгается войсками и не говорит ничего... такого.

— Пусть восторгается на здоровье. Пока дело не в нём.

— Но я дурно понимаю по-английски.

— Не нужно изъясняться, как Уайльд, чтобы отправить двух английских тупиц на тот свет.

Лемке поймал себя на том, что

нога его сильнее нажала акселератор.

В автомобиле воцарилось молчание.

Вот снова говорит Кроне:

— Не стройте из себя нервную девицу и поймите, что если бы чехи убили наших английских гостей, мы без долгих разговоров вошли бы в Чехословакию и Бенешу пришлось бы распрощаться не только с Судетами, а и с Прагой.

Почему же не слышно голоса Отто? Впрочем, и того, что говорил Кроне, было достаточно, чтобы раскрыть страшный замысел нацистов, связанный с поездкой генерала Шверера.

Чем дальше Лемке слушал, тем

страшнее становились детали плана, излагаемого Кроне.

— Не распускайте слюни, Шверер, вам не из чего выбирать. Да, по существу, у вас нет и особых причин волноваться. Поверьте мне: если бы жизнь вашего отца понадобилась англичанам в качестве предлога для вторжения, они не задумались бы поручить его убийство вам самому.

Лемке хорошо расслышал испуг в возгласе Отто:

— Вы с ума сошли!

— Я не вкладываю пистолет вам в руку и не говорю: помните, Шверер, как вы стреляли в Висзее в спину одного человека?

В машине наступило короткое, но выразительное молчание. Может быть, дело было в той угрожающей интонации, которую Лемке уловил в голосе Кроне и от которой неприятный холодок пробежал у него по спине. Теперь голос Кроне зазвучал насмешливо:

— Вам очень не хочется, чтобы я называл это имя. Пожалуйста, но постарайтесь, чтобы ваша память работала, как хороший фонограф: следующий ночлег приготовлен вам по ту сторону границы, в Рейхенберге... вот тут... смотрите на карту.

— Англичане собирались быть завтра в Праге.

— Нам удобнее убрать их в Рейхенберге, на чешских картах он называется Либерец. Значит, ваше дело сделать так, чтобы «миссия» застряла там. По соседству есть великолепное свиноводство. Можете свозить туда этого кретина лорда. Ночевать вы должны в отеле «Золотой лев». Гутенбергштрассе, три. Запомните: «Золотой лев». Комнаты англичан и генерала — в бельэтаже, рядом... Подождите, не перебивайте меня. Никто из них не станет возражать: отличные апартаменты, зелень под окнами, вид на старинный замок...

— Я не могу поместить отца рядом с комнатами, в которых...

— Вы чего-то не договорили?

— Позвольте мне поместить отца в другом этаже!

— Нет.

— Хотя бы в другом конце коридора.

— Нет.

— Зачем вам это нужно?

— Неужели я должен называть все своими словами?

В голосе Отто слышалось отчаяние:

— Честное слово, я не понимаю.

Наступила пауза. Снова заговорил Кроне:

— Убийство англичан — хорошо, но если добавить к ним немецкого генерала — будет

отлично... Ну, ну, спокойно, Шверер, спокойно! Я уже предупредил: нам не до сантиментов.

Лемке содрогнулся, с трудом удерживая руки на руле. Он отлично понимал, что теперь его собственная жизнь зависит от того, заметят ли те двое, что переговорная трубка не закрыта. Если заметят — выстрел в затылок, и все. А он боялся теперь не только за собственную жизнь: он стал обладателем тайны провокации, от предупреждения которой зависело, быть может, спасение Чехословакии. Выбить предлог для вторжения из рук Гитлера — вот что он обязан теперь сделать.

Отто продолжал молчать.

Говорил один Кроне:

— Я знал, что не могу в этом деле положиться на вас с вашими бабьими нервами. Все произойдёт почти без вашего участия. Завтра в Рейхенберг приедет иностранная журналистка, француженка. — Кроне громко рассмеялся. — Вы неблагодарный свинтус: я предусмотрел для вас даже то, чтобы вы могли провести приятную ночь с вашей курочкой.

— Сюзанн?! — слышался возглас Отто.

— А вы не верите в мою любовь к вам... Однако слушайте дальше: француженка приедет, чтобы проинтервьюировать генерала и

англичан. Вы должны устроить это свидание. Она «забудет» в комнате одного из них свой дорожный несессер. Если хватятся и будут искать владелицу, ваше дело сделать так, чтобы он всё-таки остался на месте. Этого будет совершенно достаточно, чтобы разнести в клочья половину отеля.

— А... остальные? Мы... я?

— Неважно, это деталь. А вас там не будет. Вы будете у своей подруги, в другом отеле, — по официальной версии, «чтобы вручить ей проверенный текст интервью». Понятно? Чем вы будете заниматься в действительности — ваше дело. Советую при этом не

терять времени, так как в тот момент, когда раздастся взрыв, вы будете обязаны застрелить Сюзанн из этого вот маленького дамского «вальтера». Держите же, он не кусается, обыкновенный пистолетик чешского изготовления. Не вздумайте стрелять ей в спину, как... Не нужно и в затылок, как вы стреляли Шлейхеру. Она должна иметь вид самоубийцы. Лучше всего — в висок. Пистолет вложите ей в правую руку. О последствиях не беспокойтесь... Кажется, я ещё не сказал, что несессер Сюзанн устроен так, что после взрыва от него должна остаться деталь, ясно обличающая для любого профана, что это была не

столько принадлежность дамского обихода, сколько адская машина чешского происхождения. Вот и все. Не забудьте: не следует слишком афишировать, что журналистка прибудет под именем француженки: в подкладке её чемодана будет спрятан паспорт на имя чешки.

Лемке мучительно думал над тем, как скрыть от пассажиров то, что он слышал все... Он резко затормозил и, поспешно выскочив из автомобиля, распахнул дверцу пассажирской половины, чтобы предупредить возможное желание Отто нагнуться к трубке.

— Не могу ли я просить господ выйти? Я должен достать

инструмент из-под сиденья. — Лемке чувствовал, как дрожали его руки, когда он поднял подушку и, доставая первый попавшийся ненужный ему инструмент, мимоходом заткнул переговорную трубку. — Господа могут занять места. Ровно через минуту мы поедем.

Повозившись для вида под капотом, он поспешно сел на своё место и тронул автомобиль. Теперь ему было важно, чтобы дальнейшие указания Отто отдал ему именно по переговорной трубке.

Когда Отто потянулся к ней, Кроне встревоженно остановил его:

— Тут трубка? Какого же чорта

вы не предупредили?

— Он не слышал ни звука.

— Это нужно проверить! —

Кроне приблизил губы к самому раструбу, из которого торчала медная крышка пробки: — Алло, шофёр!

Лемке не отзывался.

Кроне позвал ещё громче.

— Кажется, в порядке, — сказал он, успокоившись, но через некоторое время, когда они уже ехали обратно, неожиданно крикнул в закрытый раструб: — Стоп!.. Немедленно стоп!

Автомобиль продолжал катиться.

Кроне окончательно успокоился: шофёр действительно ничего не

Слышал.

Кажется, никому, кроме Винера, переезд в Чехословакию не доставлял столь полного удовлетворения.

Гертруда с Астой, не заезжая на завод, проследовали из Берлина в Карлсбад. Винер мог пользоваться своим временем, как хотел, — вплоть до возможности в любой день отправиться в Прагу, где можно было недурно «встряхнуться». Но первым делом надо было обеспечить движение дел на заводе в том направлении, какое было указано Берлином. А вторым... вторым делом Винер определил для себя разведку: у

кого из чехов и евреев есть картины и какие? Он даже побывал у председателя местной еврейской общины и внёс ему некоторую сумму на тот случай, «если, не дай бог, произойдёт что-нибудь, что заставит евреев быстро сниматься с места и продавать художественные ценности». Свой взнос он сопровождал списком того, что он готов был приобрести.

— Из чисто благотворительных целей, — добавил он, поглаживая черно-синюю бороду, — во имя сострадания к вашему несчастному народу.

Одним словом, все складывалось самым приятным

образом. Единственным «но» было то, что Берлин до сих пор не пересылал ему контрольного пакета вацлавских акций, как было обещано. Это было тем более удивительно, что скупка их в охваченных паникой чешских деловых кругах не могла представлять затруднений. Впрочем, он и эту задержку приписывал какой-нибудь случайности, так как пока ещё не имел представления об истинном положении вещей на бирже, где шла спекуляция чешскими бумагами, скупавшимися по поручению Ванденгейма. Это делалось умело, осторожно. Самый тонкий биржевой нос не мог бы почуять американскую руку за

комбинациями французских, английских и немецких компаний, оплетённых путами ванденгеймовских картельных соглашений или прямо являвшихся его собственностью.

Джон Третий, зная конечный смысл игры, ведущейся между Лондоном и Берлином, намеревался захватить в Чехии все, что можно, прежде чем туда придут немцы. Чем дальше шло дело, тем меньше ему нравился тон гитлеровской банды. Начиная чувствовать под собой твёрдую почву, она, кажется, намеревалась вести самостоятельную игру. Нужно было или дать ей по рукам, или крепче

затянуть на шее Германии ошейник американских вложений. Во всяком случае, Ванденгейм не намеревался уступать кому бы то ни было, — будь то немцы, англичане или французы, — ни крошки из того, что останется от рушащегося чехословацкого государства. А в том, что оно обрушится, Ванденгейм имел все основания не сомневаться. Он знал всё, что должно было произойти на европейской сцене, как актёр-кукольник, дёргающий за верёвочки, знает, что проделают его куклы. Верёвки, за которые дёргал Ванденгейм, были прочными, свитыми из золотых нитей.

То, что Винер не имел

представления об истинном смысле
махинаций на европейских биржах и
пока ещё не знал, что он сам
является не больше как пешкою в
руках американца, делало
настроение господина генерального
директора отличным. Этого не могли
о себе сказать другие, прибывшие с
ним из Германии, вплоть до Эгона.

Эгона с каждым днём раздирали
все большие сомнения по поводу
ценности доводов, которыми он
пытался оправдать своё пребывание в
Чехии. Словно в нём поселились два
существа. Одно из них при встречах с
такими людьми, как Цихауэр и Зинн,
пыталось опровергнуть их
пораженческие настроения

лжепатриотическими фразами; другое при встречах со Штризе отстаивало то, что первое только что опровергало.

Кроме того, его мучили отношения с Эльзой. Привезя её сюда с твёрдым намерением начать с нею новую жизнь, он убедился, что сделать это не так-то легко. Оба они продолжали жить обособленно и даже не очень часто виделись.

Попав в Чехословакию, Эльза недолго наслаждалась иллюзией свободы. Предположение, что, бежав от Шлюзинга, она вырвалась из пут гестапо, оказалось пустой мечтой. Как только Штризе огляделся на новом месте, он дал ей понять, что

пора браться за дело. В выражениях, хорошо ей знакомых по общению со Шлюзингом, Пауль посоветовал выбросить из головы сентиментальные глупости и поставил ей столь же ясную, сколь и неожиданную задачу: добиться дружбы Марты, войти к ней в доверие и добыть данные, которые позволили бы ему целиком взять Марту в руки.

— И прошу иметь в виду: если я не услышу от Марты, что вы самая симпатичная из девиц и что она обожает вас, вы поймёте: Шлюзинг был всего лишь неповоротливым и мягкотелым малым... Запомните это хорошенько!

Если бы при этом Эльза не видела глаз Штризе, она, может быть, и не оценила бы до конца его слов. Но эти глаза!.. При воспоминании о них мороз пробежал у неё по спине.

Все это стало источником новых затруднений для Эльзы, испытывавшей к Марте тёплое чувство, как к попавшей в беду младшей сестре. Со слов самой Марты она знала о её сомнениях, порождённых отношениями с Паулем, но не имела права предупредить её о том, что с его стороны нет ни тени чувства — одна игра, рассчитанная на то, чтобы сделать Марту заложницей за отца.

Снова Эльза, как некогда в Любеке с Эгоном, не знала ни дня душевного покоя. Она решилась, хотя и осторожно, предостеречь Марту. Увы, она недооценивала силу влияния, которое Штризе имел на девушку. Даже отдалённый намёк Эльзы на нечестность Штризе в его отношении к Марте вызвал со стороны той резкий отпор. Поссорившись с Эльзой, она все рассказала Штризе.

В тот же вечер Пауль ласково взял Эльзу под руку и повёл в лес.

Они шли долго. Пока была вероятность, что их могут видеть, Пауль говорил о пустяках, улыбался. Почувствовав себя вне наблюдения,

он перестал улыбаться и замолчал. Эльза напрасно пыталась подавить нервную дрожь в локте, который крепко держал Пауль. И чем больше она старалась совладать с этой дрожью, тем яснее ощущала её и знала, что чувствует её и он.

Лес становился гуще, темней, а Пауль шёл. Эльзе делалось все страшней, но она не смела остановиться или хотя бы замедлить шаг. Она спотыкалась о корни, ветви хлестали её по лицу, и она в испуге закрывала глаза.

Наконец он остановился и выпустил её локоть. Она почувствовала необходимость опереться спиной о ствол дерева,

чтобы не упасть. И в тот самый момент, когда она ощутила сквозь ткань жакета неровность коры, голова её мотнулась в сторону от пощёчины. Она не вскрикнула, не сделала попытки защищаться или хотя бы закрыть лицо. Пауль ударил её по другой щеке.

— Паршивая, глупая курица! — крикнул он. — Забыла, что я тебе обещал? — Он крепко схватил её левою рукой за воротник блузки у самого горла.

Она молчала. Он ещё и ещё раз ударил её по лицу.

— Вместо того чтобы благодарить меня за то, что я избавил тебя от необходимости следить за

твоим милым, решила предать меня? — Он несколько раз потрянул её за воротник так, что голова её билась о дерево. Но она не чувствовала боли, словно все в ней вдруг опустело и нечему стало болеть. У неё нехватило сил поднять руку и оттолкнуть его. Все её тело обмякло, стало чужим. Присутствие Штризе было единственно реальным, — таким огромным и страшным, что не было смысла ни искать защиты, ни оправдываться, ни хотя бы плакать.

Реакция наступила внезапно и именно тогда, когда Штризе думал, что уничтожил волю Эльзы, унизил её настолько, что она уже не посмеет

больше сопротивляться даже в мыслях. Вспышка произошла после того, как он сказал:

— Если ты не сумеешь восстановить отношения с Мартой, я заставлю тебя заняться Эгоном. И уж у меня те данные, которые ты будешь приносить, не пропадут, — я сумею обратить их против твоего гуся!..

— Не буду, ни слова не буду тебе говорить! Никому из вас! Ни об Эгоне, ни о Марте... Будьте вы все прокляты!

Она с такой силой ударила его кулаком в лицо, что он на мгновение опешил, но в следующий миг она лежала на земле, и удары ногою заставили её корчиться от боли и

ужаса.

Пауль понял, что на этот раз она добита.

Тяжело дыша, не столько от физических усилий, сколько от переполнявшего его бешенства, он закурил и сказал лежавшей, сжавшись в комок, девушке:

— Не думай, что тебе удастся нас провести. Если бы я мог это предположить, уже пять минут тому назад из тебя вылетел бы дух! И запомни: ты доведёшь до конца дело с Мартой, и тогда я не буду мешать твоему «счастью» со Шверером, либо тебе придётся помочь мне затянуть петлю на его собственной шее. Вот и все. — Он смял

недокуренную папиросу и совершенно спокойным тоном, словно заканчивал обычный разговор, произнёс: — Завтра я должен знать, как Марта выполнила моё поручение относительно Кропачека... И довольно мелодрам. Отправляйся домой. Но так, чтобы никто тебя не видел.

С минуту он стоял, глядя на неё сверху вниз, потом молча повернулся, чтобы уйти. Эльза медленно поднялась.

— Никогда... ни одного слова! — хрипло выкрикнула она. — Я ненавижу тебя, ненавижу всех вас!

Она собрала силы, словно намереваясь нанести удар, и плюнула

ему в лицо. Сквозь застилавшие взгляд слезы она смутно видела, как Штризе поднял руку, но, вместо того чтобы нанести ей смертельный удар, которого она ждала, он только растерянно вытер лицо.

Эльза, шатаясь, побрела прочь.

И все время, пока она удалялась от него, ей казалось, что вот сейчас, прежде чем она сделает следующий шаг, горячий удар пули в спину швырнёт её лицом вперёд... Только горячий удар в спину — ничего больше... Говорят, что пуля долетает раньше, чем звук выстрела...

Но не было ни пули, ни выстрела.

На следующий день, сидя за рулём, Лемке не мог думать ни о чём другом, кроме слышанного ночью.

Что было делать?.. Что делать, что делать? Открыть все генералу? Он сочтёт его за сумасшедшего, а Кроне немедленно отправит его, Лемке, к праотцам и организует новое покушение. Сделать сообщение чешским властям? При его положении генеральского шофёра, при том, что у него в кармане паспорт на имя Курца? Чешские власти откроют все англичанам. Они постараются оградить себя от возможных

случайностей с этою проклятой сумочкой. А как только его, Лемке, участие в этом деле будет открыто, он простится с местом возле генерала, на которое его поставила партия и которое уже никогда не удастся занять ни одному её члену...

Предоставленный себе в таком неожиданном и необычном деле, чувствуя огромную ответственность, которая свалилась на него, Лемке искал выхода. Самым правильным было бы связаться в Либереце с коммунистической организацией и посоветоваться о дальнейших действиях. Дело было большим, политическим, — он не должен был действовать изолированно от партии.

Но как быть и тут с его нелегальным положением? Пожертвовать и поставить крест на возвращении в Германию?..

По прибытии в Либерец он бросился на поиски местного комитета коммунистической партии Чехословакии. Но нашёл его помещение опечатанным: руководство партии в пограничных районах, подготовившись к приходу немцев, ушло в подполье. Искать его в положении Лемке было бы безнадёжным занятием. Приходилось действовать в одиночку.

Лемке в подавленном настроении возвращался в гостиницу «Золотого льва», когда увидел

впереди себя двух мужчин. Некоторое время он шёл вслед за ними, машинально разглядывая их спины. Но чем больше он смотрел на фигуру небольшого коренастого крепыша, тем увереннее мог сказать, что он его знает. Лемке прибавил шагу и, поравнявшись с крепышом, узнал в нём Августа Гаусса, с которым встречался в Берлине как с участником антигитлеровского подполья. При виде Лемке патер было смутился, но быстро оправился и сказал:

— Сама судьба посылает мне вас!

А его спутник остановился, глядя на часы.

— Мне пора, — сказал он и, сделав приветственный жест, исчез за углом.

По манерам Роу Лемке сразу определил в нём иностранца и подозрительно спросил Августа:

— Кто это?

— Английский товарищ.

— Антифашист?

— Прогрессивный журналист.

Надеется «разоблачить» здесь двойственную политику британского кабинета в отношении Чехословакии.

Лемке уже почти не слушал патера. Он лихорадочно соображал: присутствие здесь левого английского журналиста в тот момент, когда будет раскрыта

махинация Кроне, могло бы принести пользу. Но сказать ли обо всём патеру или только намекнуть?.. Он решился:

— Мне нужно вам кое-что сказать.

— Любое кафе... — начал было патер, но Лемке перебил:

— Нет, нет, сядем где-нибудь на бульваре... Дело, знаете ли, такое... — Он насторожённо огляделся.

Через несколько минут они сидели в уединённой аллейке парка. Лемке, с трудом скрывая волнение, поделился «своими подозрениями» о том, что, «как ему кажется», может быть устроено покушение на англичан и Шверера. Он не ожидал,

что его слова произведут на патера такое сильное впечатление: Август изменился в лице, он даже не пытался скрыть, что озадачен. После короткого размышления он предложил встретиться вечером в гостинице, причём обещал привести с собою нескольких местных друзей. Попрощавшись, он поспешно удалился.

Сидя в дешёвом ресторанчике, Лемке из разговоров местных жителей узнал, что неподалёку расположен Вацлавский самолетостроительный завод — тот самый, на котором служили Зинн и Цихауэр. Какая досада! Как мог он не взглянуть на карту!

Лемке помчался на телеграф. Неужели было упущено время, чтобы связаться с товарищами и до прихода террористки вызвать их сюда? Зинн и Цихауэр! Вот кто нашёл бы путь к местным товарищам по партии, вот с чьей помощью была бы предотвращена ужасная провокация!

Телеграмма, посланная Лемке, была лаконична, но друзья, достаточно хорошо знавшие его спокойствие, должны были понять необычную тревожность её тона и, бросив все, примчаться сюда. А что, если их нет дома или на заводе? Что, если... Их было столько, этих коварных «если», что, рассуждая хладнокровно, нечего было и

надеяться на приезд друзей.

Время шло. Лемке поспешил в гостиницу, чтобы не пропустить приход Сюзанн. Он не боялся ошибиться, так как хорошо знал француженку: ему приходилось возить её с Отто в генеральском автомобиле.

Вскоре приехал лорд Крейфильд. Он был в отличном расположении духа: осмотренная им свиноводческая ферма превзошла ожидания и постановкой дела и породами свиней.

— Просто не ожидал, что эти чехи так понимают дело, — с удивлением сказал он брату.

— Не знаю, что они понимают в

свиньях, но в собственных делах их министры понимают не больше свиней! — раздражённо проговорил Монтегю, только сегодня узнавший, что нет никакого смысла ехать на Вацлавские заводы — немцы перехватили их у него под носом и уже хозяйничали там.

Бен, блаженно улыбаясь и не слушая брата, продолжал:

— Быть может, я даже не поеду завтра в Прагу. Я купил тут изумительную пару. Она словно сошла с полотна Рубенса. Ты представляешь себе эту прелесть?

А Лемке не отходил от окошка своей маленькой комнатки в третьем

этаже. Его взгляд был прикован к подъезду «Золотого льва». Кто появится раньше: Зинн и Цихауэр или Сюзанн?

К своему удивлению, он увидел, что напротив гостиницы появился Роу и стал прохаживаться от угла и до угла короткого квартала. А ещё через несколько минут появился и патер Гаусс. Он казался идущим в одиночестве, но Лемке тут же понял, что те четверо, что следовали парами в некотором отдалении от него, и есть его друзья. Следом за патером они исчезли в подъезде гостиницы. Но странно: патер и его друзья не поднимались к Лемке... Неужели Зинн и Цихауэр не приедут? Лемке

сам не знал, что именно, но что-то ему все больше не нравилось в поведении патера. Если бы Август не знал уже всего, Лемке предпочёл бы теперь сохранить тайну про себя и действовал бы один.

Лемке глянул поверх крыш на видневшуюся вдали башню магистрата с часами: могут ли ещё приехать Зинн и Цихауэр?

Едва его взгляд вернулся к улице перед гостиницей, он понял: все кончено. По той же стороне, где прогуливался Роу, шла рыжеволосая Сюзанн. Но что это? Почему Роу с такой нарочитой внимательностью рассматривает витрину? Почему француженка с таким подчёркнуто

безучастным видом отвернулась от журналиста? Неужели они знают друг друга? Что все это значит?

Новое сомнение вползло в сознание: не кроется ли тут подвох? Ведь если его втянут в какую-нибудь историю, гестаповцам останется только докопаться до того, что он вовсе не Курц. Можно себе представить, какой шум они поднимут тогда вокруг всего дела: «Коммунисты убили британских эмиссаров и немецкого генерала!» Чтобы избежать этого, он готов был отказаться от участия в деле... Но нет, его долг — сделать все для предотвращения провокации!

Лемке выбежал в коридор и

сразу встретился взглядом с пятью парами устремлённых на него внимательных глаз. Патер и все его спутники тотчас вскочили. Август проворно взбежал по лестнице.

В конце коридора слышался шум. Отворилась дверь в комнату Отто, и он вышел, предшествоваемый Сюзанн.

— Угодно вам начать с генерала или вы сначала пройдёте к англичанам? — громко проговорил он.

Но прежде чем француженка успела ответить, Лемке был перед нею и повелительно проговорил:

— Ваш зонтик и несессер.

Он видел испуг на её лице,

слышал возглас удивления патера, заметил растерянную физиономию Отто. Едва сдерживая себя, чтобы не выхватить смертоносный снаряд, он осторожно, но настойчиво потянул изящную кожаную сумку из рук Сюзанн. Растерянность её была так велика, что она остановилась и испуганно посмотрела на Отто. Но и тот не знал, что следует делать, так как не понимал, чему приписать странное поведение шофёра. У Отто мелькнула трусливая мысль, что заговор Кроне открыт какой-то другой секретной службой, представителем которой является Курц. Что мудрёного в том, что, скажем, Александер или кто-нибудь

ещё, о ком он, Отто, не имеет и представления, держит возле отца секретного агента в лице шофёра?

Прежде чем Отто нашёлся, что сказать или сделать, Лемке сбежал по лестнице, сопровождаемый четырьмя молчаливыми спутниками патера. На какое-то мгновение он задержался в вестибюле, не зная, куда девать снаряд, но, вспомнив, что патер собирался отвезти его в лес, решил именно так и сделать. Прямо против дверей гостиницы стоял таксомотор. Но когда вышел Лемке, шофёр не сделал обычного в таких случаях движения, чтобы услужливо отворить дверцу, пока вслед за Лемке не выбежали те четверо. Только тогда

шофёр распахнул дверцу, и Лемке почувствовал, как его втолкнули в машину. Это было сделано с тою профессиональной ловкостью и силой, по которой можно было сразу угадать гестаповцев. В следующее мгновение двое из них сидели по сторонам Лемке и платок с хлороформом был прижат к его губам...

Роу недоуменно посмотрел вслед такси и пошёл следом за вышедшим из подъезда гостиницы патером.

— Что за чертовщина? Мне показалось, что они увезли бомбу.

Патер раздражённо повёл

плечами:

— Все провалилось!

От неожиданности Роу даже остановился.

— Что вы сказали?

— В дело вмешались коммунисты.

— Коммунисты? Эти молодцы с такси были больше похожи на агентов гестапо!

— Ах, это какая-то невозможно путаная история. Я ничего не могу понять, — в отчаянии проговорил Август. — Давайте выпьем по кружке пива, а то у меня от досады перехватило горло.

— Вечная история, — недовольно пробормотал Роу. —

Стоит вам взять дело в свои руки — и оно блистательно проваливается. Все-таки немецкая служба ни к чорту не годится!

Август дипломатично молчал. Он пытался решить для самого себя: которой же из двух секретных служб принадлежит большая часть его самого? Но тут же он вспомнил, что, кроме англичан и Кроне, он служит ещё Александру и ватиканской курии... Было бесполезным занятием разбираться в том, которой из четырех разведок он принадлежал, — каждая имела на него ту долю прав, какая определялась числом серебряников, за которые он продавал ей интересы

трех других...

Двумя часами позже, когда Зинн и Цихауэр подошли к подъезду «Золотого льва», перед ним стоял хорошо знакомый им обоим генеральский «мерседес».

— Только не очень афишируй своё знакомство с Францем, — сказал Зинн ускорившему шаги Цихауэру.

— Просто попрошу огонька, — ответил Цихауэр, заранее улыбаясь при мысли о встрече с другом. Но улыбка застыла у него на губах: за рулём «мерседеса» сидел незнакомый человек.

Однако отступить было уже

НЕВОЗМОЖНО.

— Не найдётся ли огонька, приятель? — И, когда папироса затлелась, тихонько: — Недавно на этой машине?

— А тебе что? — подозрительно спросил шофёр.

— Да ничего... Просто видел на ней утром другого водителя.

Шофёр подозрительно оглядел Цихауэра и перевёл взгляд на Зинна.

— А вам, друзья, не нужен ли часом Бодо Курц? — И прежде чем Цихауэр нашёлся, что ответить, шофёр крикнул в растворённую дверцу гостиницы: — Тут двое спрашивают Курца!

Из подъезда поспешно выскочил

субъект, с которым ни Зинну, ни Цихауэру не нужно было быть знакомым, чтобы сразу опознать в нём гестаповца.

— Вот эти двое, — пояснил шофёр.

— Заходите, ребята, в отель, — с подозрительней любезностью предложил агент, но, видя, что они не намерены принять его приглашение, сказал. — Ладно, подождите минутку, я сейчас позову Курца, — и поспешно скрылся в подъезде.

Зинн и Цихауэр переглянулись. Им не о чём было даже советоваться: Лемке тут не было. Оставалось только поскорее исчезнуть.

Цихауэр с увлечением работал над портретом Марты. Этот неожиданный заказ был для него не только подспорьем к заработку на заводе, но и отдыхом. Сангвина отлично передавала золотисто-коричневое освещение осеннего парка, на фоне которого девушка стояла, опершись о балюстраду веранды.

Сегодня, прежде чем взяться за работу, художник долго вглядывался в лицо Марты. Неужели он так непозволительно проглядел в её чертах выражение озабоченности, граничащей с растерянностью? Не

может быть! Этой горечи в них прежде не было. Совсем иными стали и глаза.

— Вы нездоровы? — спросил он.

Она взглянула на него с испугом.

— Что вам вздумалось?

— Глаз художника — глаз врача.

Марта опустила голову.

— Это скоро пройдёт.

Она боялась взглянуть на художника: он угадает, что она лжёт. Не могла же она признаться Цихауэру, что не знает покоя от непрерывных атак Пауля! Все, что до сих пор было содержанием её жизни, он называет ошибкой, чуть ли не преступлением. Он хотел, чтобы она

перестала любить тех, кого любит, верить тому, что было для неё святым, забыла родной язык! Пауль стремился разрушить светлый мир её молодости и заставить её построить что-то новое, смутное и мрачное. Скажи ей все это кто-нибудь другой, она сочла бы его сумасшедшим, но ведь это был Пауль!

В его устах истерические выкрики о мировом господстве расы господ, утверждаемом огнём и железам, звучали для неё мужественным кличем войны. Она сознательно закрывала глаза на то, что Пауль иногда откровенно проговаривался о желании захватить место её отца, делала вид, будто не

слышит или не понимает этого. Когда Пауль был рядом, говорил, держал её руку, ей казалось невероятным, что она могла когда-нибудь сомневаться в его правоте.

Ярош?

При воспоминании о Яроше она терялась.

Был ли Пауль умнее Яроша? Нет. Красивей? Нет. Может быть, мужественней, сильнее? Тоже нет.

И все же Пауль был Паулем, — тем, кем он был.

Шло время, влияние Пауля вытесняло все остальное из её сознания. Марта и сама не могла бы уже сказать, действительно ли такой вздор утверждение, будто Пауль

призван господствовать над чехами, даже над её собственным отцом? Уж не совершила ли её мать и в самом деле ошибки, выйдя замуж за чеха, что сделала её, Марту, только наполовину немкой? Мысль о чешской крови, текущей в её жилах, начинала преследовать её, как кошмар. Чем дальше, тем менее странными и страшными становились для неё напоминания Пауля:

— Забудь о своей чешской крови!

Было даже приятно слушать, когда он иногда милостиво бросал:

— К счастью, ты всё-таки дочь немки, — значит, больше немка, чем

чешка!

Ей и в самом деле начинало представляться счастьем не то, что её мать — это мать, какою она знала её и беспрдельно любила с детства, а то, что пани Августа немка...

— Или вы перестанете думать о том, что у вас на душе, или мне придётся начинать новый портрет, — донёсся до неё откуда-то из бесконечной дали голос Цихауэра.

— Разве у вас не бывает дум, от которых вы не можете уйти? — спросила она.

— Но я не могу вложить в один портрет два внутренних мира!

Марта подошла к мольберту и взгляделась в своё изображение. С

картона на неё глядело её беззаботное прошлое, то, чего уже не было и никогда не будет. Портрет той Марты, какой она была теперь, нужно было писать сызнова.

— Может быть, вы и правы. Лучше вернуться к началу.

Она хотела сказать это твёрдо и весело, как всегда говорит Пауль, но слова прозвучали такой тоской и жалобой на невозможность возврата к потерянному, что Цихауэр отодвинул мольберт.

Может быть, потому, что Цихауэр сумел проникнуть во внутренний мир Марты, а может быть, и потому, что после ссоры с Эльзой у неё не осталось никого,

кому она могла бы сказать хоть несколько откровенных слов, она рассказала ему кое-что. Разумеется, далеко не все, но достаточно, чтобы понять происходящее с нею. О том, кто такой Штризе, он знал от рабочих завода. «Слава» тянется за людьми, подобными Штризе, как тёмный шлейф. Короче говоря, Цихауэр вместе с вацлавскими рабочими знал о нем почти всё, что было известно и рабочим далёких немецких заводов в Травемюнде.

После разговора с Мартой сеансы приняли новый характер: Цихауэр решил объяснить Марте, кто такой Штризе и на кого он работает.

Но так же, как в случае с

Эльзой, Марта и тут подвела своего возможного спасителя. Кое-что в её словах навело Пауля на мысль об их разговорах с Цихауэром. Как бы случайно, пришёл он на один из сеансов. От него не укрылось, что художник умолк на полуслове. Некоторое время Штризе сидел молча, наблюдая за его работой. Пытаясь казаться любезным, спросил:

— Вы недавно приехали из рейха?

— Хотел поглядеть на чужие края, — небрежно ответил Цихауэр, хотя отлично понимал, что этот человек знает все обо всех, приехавших из Германии. Художника

заинтересовало: не захочет ли Штризе поиграть с ним, как кошка с мышью? Но Штризе напрямик спросил:

— Вы антифашист?

Не будь Цихауэр так уверен, что Штризе заранее выяснил всё, что ему нужно, вплоть до того, что художник прибыл сюда почти напрямик из Заксенгаузена, он, вероятно, не ответил бы так, как ответил:

— Разумеется!

Штризе посмотрел ему в глаза и тоном того же любезного безразличия сказал:

— Даже коммунист?

Было очевидно, что он не ждёт возражений, и Цихауэр в тон ему

ответил:

— Даже.

— Кто-то говорил мне, будто вы дрались добровольцем в интернациональной бригаде на стороне Испанской республики.

Цихауэр так же без запинки ответил:

— К сожалению...

Штризе глянул на него с удивлением:

— Значит, всё-таки сожалеете?

— О том, что меня там уже нет!

— А-а... — несколько растерянно протянул Штризе.

На следующий сеанс Марта не пришла. Вместо неё явился Штризе. Он вручил художнику конверт с

сотней крон от имени директора Кропачека и тоном хозяина заявил, что сеансы закончены и портрет дописываться не будет.

Цихауэр понял, что наступил конец не только его встречам с Мартой, но и пребыванию на Вацлавских заводах. Когда он рассказал об этом происшествии Зинну, тот согласился, что увольнение художника с завода состоится не сегодня — завтра, и предложил ему принять участие в организации тайной станции «Свободная Германия». Прежде всего нужно было подыскать надёжное убежище для передатчика. Предложенную Цихауэром

заброшенную сторожку лесника пришлось оставить. Местность была наводнена бандами хенлейновцев, производившими военные учения и манёвры под видом туристических походов. Посещение такою бандой одинокого домика в лесу не сулило бы ничего хорошего. Не лучше оказался и проект использовать развалины какого-то здания в окрестностях завода. В первый момент Зинну показалось заманчивым устроиться в подземелье уединённых руин, в достаточном удалении от человеческих глаз и в полной безопасности быть услышанными. Но рано или поздно кто-нибудь должен был бы обратить

внимание на частое посещение друзьями заброшенных развалин.

Как часто бывает, решение пришло неожиданно.

Зинн снимал комнату у отца Яроша — механика силовой станции Вацлавских заводов, старого Яна Купки. С тех пор как его сын окончательно перебрался на завод, старика томило одиночество. Он был рад жильцу. Ян сразу увидел, что в лице Зинна имеет дело не с одним из этих крикливых молодцов, которые частенько являются теперь с той стороны границы, чтобы вместе с белочулочниками дебоширить на судетской земле.

Между хозяином и новым

жильцом вскоре возникло даже нечто вроде своеобразной дружбы сдержанных людей. Приглядевшись к Зинну, Купка обнаружил, что у того светлая голова и золотые руки, а уже то, что он из «своих», старик понял давно. Он предложил Зинну работу на своей силовой станции. Зинн без колебаний принял предложение: заведывание аккумуляторной с заманчивой простотой решало вопрос о питании его передатчика. Кроме того, чулан около аккумуляторной и был тем убежищем для передатчика, которое они с Цихауэром тщетно искали. Работа генератора Купки послужит отличным прикрытием, которое

спутает нацистские радиопеленгаторы, а постоянный монотонный гул, стоящий на силовой станции, отлично замаскирует небольшой шум разрядника и голос диктора «Свободной Германии».

Роу не привык находиться в состоянии неизвестности, в каком оказался из-за неопределённых ответов Августа Гаусса. Раз провокационное убийство было санкционировано британской секретной службой, то Роу хотел, чтобы оно либо совершилось, либо ему стали ясны причины провала. Поведение же отца Августа наводило его на мысль о нечистой игре. Он не собирался падать в обморок от неожиданности, если бы обнаружилось, что патер является сотрудником не только британской службы. Включись Август в работу и

немецкой разведки для пользы секретной службы его величества, это было бы записано в его послужной список как заслуга. Но в таком случае об этой двойной службе должен был бы знать шеф. А Роу подозревал, что шеф этого не знает, иначе он предупредил бы его, Роу, во избежание ложных положений, подобных тому, в котором он очутился теперь. На кого же в действительности работал патер?

Роу пришло в голову, что объект не состоявшегося покушения, лорд Крейфильд, может оказаться источником каких-нибудь данных об этом деле, и, несмотря на поздний час, он отправился в гостиницу

«Золотой лев». Роу был уверен, что лорд примет его если не в качестве журналиста своей страны, то как старого знакомого.

Действительно, Бен не только не заставил его ждать, но встретил так, словно появление Роу было большою радостью:

— Уинн, старина, вы как нельзя более кстати. Монти уговорил меня отказаться от услуг Флеминга, а сам бросил меня на произвол судьбы.

Бен растерянно порылся в стопке бумаг на столе.

— Что мне делать? — спросил он, протягивая листок телеграммы.

Роу, сдерживая усмешку, посмотрел на лорда: ведь Чемберлен

не мог не знать о плане убийства Бена. Шеф наверняка получил его согласие. Что же означает этот вызов: отмену плана или желание премьера подчеркнуть свою непричастность к нему?..

— Что мне делать? — переспросил Бен.

— Вас смущает полет?

Бен с досадою проговорил:

— Я не могу разорваться: быть в Берхтесгадене и наблюдать тут за отправкой Сусанны. Я уже выписал для неё самолёт из Праги.

— У неё много багажа? — спросил Роу.

— Ах, какой там багаж! — с досадою воскликнул Бен. — Я

говорю о свинье, которую купил сегодня.

Роу расхохотался, а Бен совершенно серьёзно сказал:

— Боровок отлично выдержит перелёт, а вот дама, дама — она же супоросая. Послушайте, Уинн, вы не могли бы оказать мне услугу и взять это на себя?

— Полет в Берхтесгаден?

— Нет, сопровождать свиней в Лондон.

— К сожалению, сэр...

— Что вам стоит?

— Вам же нужен секретарь, сэр, — проговорил Роу. — Я не могу вас покинуть.

Убедил ли Бена тон Роу, или он

действительно чувствовал себя беспомощным, но он, видимо, колебался. Роу поспешил его успокоить:

— Что касается ваших свиней, то мы поручим их лучшим специалистам.

— Что дало вам блестящую идею насчёт секретарства, Уинн?

— То, что произошло тут с вами, сэр.

— Со мной? — Лицо Бена отразило искреннее недоумение. — Ах, да, я вас понял: затруднительное положение со свиньями...

Оказалось, что он не имел никакого представления о покушении, жертвою которого едва

не стал. Услышав осторожные намёки Роу на якобы прошедший слух о готовившемся покушении, он ещё охотнее согласился на то, чтобы Роу сопровождал его в Оберзальцберг.

— Это меня только лишний раз убеждает в том, что чехи — настоящие варвары, — сказал Бен. — Премьер глубоко прав, решая передать их в управление немцам.

— Речь идёт не о них, — осторожно заметил Роу, полагавший, что Бен по своему обыкновению все перепутал. — Германии передаётся только Судетская область, населённая немцами, а не чехами.

— Пока, Уинн, пока, —

убеждённо возразил Бен. — Чтобы не раздражать нашу оппозицию. А пройдёт немного времени — и мы отдадим Гитлеру всю Чехословакию.

— Это решено?

— Абсолютно, мой мальчик, абсолютно... И вот что, Уинн: пусть они непременно дадут мне телеграмму, когда операция будет закончена, непременно.

— Операция занятия Судет?

— Ах, господи! Очень меня беспокоят эти Судеты! Пусть дадут телеграмму в Берхтесгаден, когда свиньи будут отправлены, и об их прибытии в Лондон тоже. Непременно! Теперь над каналом стоят туманы, я буду волноваться.

Как вы думаете, Уинн, мы сможем в Берхтесгадене знать состояние погоды над каналом?

— Это я беру на себя, сэр, — с готовностью проговорил Роу. Обрадованный тем, что он сможет проникнуть в святая святых Гитлера, Роу готов был обещать что угодно, лишь бы Бен не раздумал взять его с собою.

Но Бен этого уже и в мыслях не имел. Он был в восторге от того, что было на кого переложить отправку свиней, которая заботила его значительно больше собственного путешествия. Занятый мыслями о своей покупке, он даже ни разу не подумал как следует о том, зачем мог

понадобиться премьеру. Быть может, тот на правах старой дружбы, — как никак они были товарищами по колледжу, — хочет неофициальным образом посоветоваться с ним, прежде чем принять какое-нибудь решение? Бен искренно воображал, будто кто-нибудь может серьёзно относиться к его дипломатическим способностям и знаниям. Ему и в голову не приходило, что премьер отправил его в поездку по Чехословакии потому, что был уверен: у Бена не может сложиться собственного впечатления о том, что он увидит, и благодаря своей лени и хорошо всем известной ограниченности Бен вообще ничего

ре увидит. Все это, вместе взятое, позволит Чемберлену и Галифаксу получить подпись лорда Крейфильда под любым документом, какой им будет нужен. И они заранее знали, что это будет за документ: заготовленный в министерстве иностранных дел, он уже ждал возвращения «миссии» Крейфильда. Больше того: когда премьер решил лететь в Берхтесгаден, Галифакс передал это готовое «мнение миссии Крейфильда» одному из советников, сопровождавших Чемберлена, и Бену, таким образом, оставалось его только подписать. Для этого его и вызвали. Советоваться с ним Чемберлену было не о чём. Все

нужные советы он уже получил в Лондоне и не собирался от них отступать: почва для соглашения с Гитлером за счёт Чехословакии должна была быть найдена.

В то самое утро, когда специальный самолёт увёз из Либереца в Лондон погруженных под наблюдением Роу свиней Бена, несколькими часами раньше, чем покинул этот город сам лорд со своим новоявленным секретарём, двухмоторный «Локхид-Электра» взлетел с Кройндонского аэродрома в Лондоне, увозя на материк семидесятилетнего британского премьера, спешившего пожать руку Гитлеру, прежде чем тот перестанет

нуждаться в этом ободряющем жесте. В 12.30 «Электра» спустилась на мюнхенский аэродром Визенфельд, но, к удивлению дряхлого премьера, пожать его склеротическую длань явился не фюрер, а всего лишь развязный, как всегда, Риббентроп.

Не дав дряхлому гостю возможности прийти в себя после качки, испытанной в самолёте, Риббентроп усадил его в бронированный вагон и помчал в Берхтесгаден. Только там, в приготовленных для него апартаментах «Гранд-отеля», Чемберлен смог, наконец, сунуть зябнущие ноги в тёплые туфли и протянуть их к камину. Премьер с

наслаждением растянулся в кресле, мысленно восхваляя себя за жертву, приносимую отечеству этим утомительным путешествием. Его веки сомкнулись. Горбоносая голова склонилась на грудь.

Премьер уснул.

Но торжествовавший свою победу Риббентроп не пощадил его и тут. Словно издеваясь над седидами высокого гостя, он отпустил ему на сон всего лишь десять минут.

— Десять минут! — в ужасе воскликнул Чемберлен вечером, рассказывая об этом Бену. — Вы понимаете, Бенджамен, дорогой, — десять минут на сон! Этот негодяй мстил мне за унижения, которые ему

пришлось претерпеть в Лондоне. Но должен вам сказать: я решил снести все... все ради славы и величия нашей родины и его величества короля!

Он сидел перед Беном, — долговязый, тощий, судорожно вцепившийся в подлокотники, словно боялся свалиться с кресла.

— Бенджамен! Вы видите перед собой Даниила, вышедшего из берлоги льва. Да, да, кто из глав правительств решался на то, на что пошёл я? Посмеют ли потомки это забыть?

— Ещё бы, ещё бы, дорогой Невиль! — заражаясь его волнением, воскликнул Бен. — Поколения будут

воздавать славу вам, умиротворителю Европы и создателю мира и счастья народов.

Чемберлен слушал с нескрываемым удовольствием. Его голова моталась на тонкой шее взад и вперёд, как у истрёпанной тряпичной куклы.

— Да, мой друг, — промямлил он, — я решил снести все и не жалею, совсем не жалею. Не жалею даже о том, что не повернулся и не ушёл, когда этот невоспитанный чурбан фюрер заставил меня подниматься по лестнице дворца, не дав себе труда сойти больше чем на три-четыре ступени. Да, да, я очень хорошо помню: именно четыре

ступени! Представьте себе такого коротконогого уродца в чёрных бриджах и в чём-то напоминающем коричневую куртку грума. Дрянной выскочка глядел на меня сверху вниз все время, пока я взбирался по этой проклятой лестнице!

Чемберлен возмущённо поднял руку, как бы показывая на стоящего где-то под потолком Гитлера.

— Да, да, Невиль, это отвратительно, — сочувственно проговорил Бен. — Ужасно иметь дело с некорректными людьми.

— Я снёс все, все! — трагически повторил премьер. — И я вознаграждён, стократ вознаграждён: план, который я ему предложил, был

для фюрера очевидной неожиданностью.

— Как! — удивлённо воскликнул Бен. — Он не имел намерения взять Судеты?

— Но он собирался сделать это с грохотом, с битьём посуды и натворить бог знает что. Мне пришлось уверить его, что нет никаких препятствий к тому, чтобы приступить к делу теперь и без драки. Мне кажется, я убедил его: нет никакого смысла тратить на это порох, который пригодится для дел более важных.

— Тут я вас не вполне понимаю, дорогой Невиль.

— Мы с ним приблизились к

пониманию наиболее существенных пунктов основных требований немцев в отношении отстранения СССР от решения судебных Европы.

— Это великолепно, Невиль! Просто великолепно!

— Да, да, Советскому Союзу нечего делать там, где мы можем все устроить путём двусторонних переговоров!

— Правильный путь, Невиль, совершенно правильный путь!

— Я куплю этого коротышку ценою пустячной подачки — Чехословакии. Это не для печати, Бенджамен, — я даже велел выбросить это из записи беседы, но я дал Гитлеру слово: если он потерпит

полгода, за Судетами последует вся Богемия. Пусть только он теперь же даст публичную клятву, будто ничего не хочет, кроме Судет.

— Как умно, как умно, Невиль! — умилённо воскликнул Бен. — Общественное мнение Англии будет успокоено.

— А тогда мы увидим, как устроить и вторую часть подарка. Даю вам слово Чемберлена, мы проведём коротышку, как волка: вместо жирного телёнка подсунем ему чешскую мышь. Не пройдёт и года, как он станет нашим союзником. — Чемберлен сложил руки на впалом животе и мечтательно устремил глаза к

потолку. — Представьте себе Европу, где в центре формируется такой стальной кулак, как Германия, на юге сидит Муссолини, на востоке Польша Бека...

— Ну, Бек — приобретение сомнительное, — покачав головою, произнёс Бен, — этот господин способен нас продать.

— Прежде чем он соберётся продать нас, мы продадим его, — скрипуче рассмеялся премьер и весело поиграл старомодной цепочкой, перепоясывавшей жилет. — Да, да, клянусь всевышним. На востоке — Польша полковников, а на том конце земного шара — японцы. Россия в клещах!

— Вы забыли Америку, Невиль.

— Америка?.. Ах, да, Америка!

Пустяки! Штаты будут с нами. Душой Рузвельт с нами, поверьте, Бенджамен.

— Надеюсь, сэр, надеюсь.

— Могу вас уверить, Бен, — вы позволите мне называть вас этим юношеским именем, словно бы мы снова студенты?.. Я говорю: последствия реализации моего плана выйдут далеко за пределы нынешнего кризиса.

— Ещё бы, они могут произвести настоящий переворот в международной обстановке. — И вдруг вспомнив: — Кстати, Невиль, какова была сегодня погода над

каналом?

— О, я чувствовал себя молодцом.

— Не было ли тумана или чего-нибудь в этом роде? — беспокоился Бен.

— Не знаю, Бен, я, кажется, вздремнул.

— Полёты над каналом теперь опасны.

— У нас отличный пилот — мастер своего дела.

— Я очень взволнован...

— Обратно мы полетим вместе, и вы будете чувствовать себя, как если бы плыли на пароходе. Сказать вам откровенно, Бен, я, кажется, ни за что не решился бы на такое

путешествие, не позвони мне Даладье из Парижа и не посоветуй эту поездку.

— Я же первый предложил вам её в своём письме, — озабоченно проговорил Бен.

— В письме?.. Ах, да, отлично помню, как же, как же, в письме...

— Я ещё сообщал вам... гм-гм...
— Бен огляделся и договорил полушопотом: — Я уведомил вас о заговоре генералов.

— Ах, вот что! — Премьер опять закивал головой. — Помню, помню! Что же вы мне сразу не сказали? Отлично помню...

Бен понял, что премьер притворяется, будто все забыл, и

подробно повторил, ради чего прилетал в Лондон. Только тогда Чемберлен «вспомнил» все.

— Дорогой мой, — сказал он, — я с этим не согласен, совершенно не согласен. Нет оснований сейчас убирать этого нахала. Это от нас никогда не уйдёт. А сейчас мы с ним сговоримся. Он нам пригодится, вполне пригодится... вполне... вполне...

Премьер спал. Его голова была откинута на спинку кресла, и кадык ритмически двигался под морщинистой кожей непомерно длинной старческой шеи.

Бен некоторое время сидел в нерешительности, потом осторожно

кашлянул. Чемберлен вскинул тёмные веки и поглядел на него мутными, усталыми глазами.

— Я вам больше не нужен, сэр?

— Ах, это вы, Бен. Извините... мне показалось, что я вас перебил, продолжайте, пожалуйста...

— Я могу итти, сэр?

— Пожалуйста, не обижайтесь, Бен, но я вам должен сказать: Сити совершенно не удовлетворено вашей поездкой в Чехию, совершенно.

— Я сделал больше, чем мог, — обиженно проговорил Бен.

— Ах, вы меня не поняли, совершенно не поняли. Кто смеет думать, что можно было сделать больше! Кто, я вас спрашиваю? — Он

с трудом поднёс руку к лицу и подёргал себя за жалко обвисший ус. — Попросту они хотят, чтобы там побывал более близкий им человек, их человек... Они просили меня ещё раз послать туда вашего брата.

— Этого недотёпу?! — недоброжелательно проговорил Бен. — Хорошо будет выглядеть миссия его величества! Он прикарманит там одно-другое дельце — вот вам и вся миссия.

На лице премьера появилась болезненная гримаса.

— Вы и в юности были склонны распылять внимание на мелочи, Бен. Да, да, именно так: на мелочи. Я очень хорошо помню, очень...

ПОМНЮ... В ЮНОСТИ...

На этот раз голова Чемберлена упала на грудь, словно подрезанная, и Бен услышал тонкий пронзительный храп. Дрожащий палец испуганного Бена коснулся пуговицы звонка, и он молча указал вошедшему камердинеру на премьера, полагая, что тому плохо. Но слуга не выказал ни малейшего беспокойства. Он приподнял за подбородок голову старика и одним ловким движением снял с него высокий крахмальный воротничок. Вместе с галстуком он бережно опустил его в кожаный ларец, оклеенный изнутри бархатом.

Бен не смог удержаться от

вопроса:

— Что вы делаете?

— Воротничок размок на сэре Невиле во время свидания с Гитлером, сэр, — важно, деревянным голосом ответил камердинер. — Сэр Невиль полагает, что это будет исторической реликвией империи, сэр.

Бен благоговейно покачал головой и на цыпочках вышел из комнаты.

Он вернулся к себе в отличном настроении.

— Завтра мы летим домой вместе с премьером, — весело сказал он Роу.

— Последнее сообщение

Гендерсона, сэр, — и Роу протянул ему листок.

«...я подчеркнул в разговоре с Герингом, что главы наших правительств согласились подождать результатов переговоров до их следующей встречи. На это он мне заявил в весьма агрессивном тоне: „Германия подождёт ещё этой второй окончательной встречи, но вообще она тянуть не намерена. Если Англия начнёт войну против Германии, то трудно представить исход войны. Одно только совершенно ясно: до конца войны немного чехов останется в живых и мало что уцелеет от Лондона“.

Бен со смехом отбросил листок.

— Поверьте мне, Уинн, — весело заявил он, — мы обведём этих немецких тупиц вокруг пальца, как малых ребят. И их невоспитанного коротышку, и этого кровожадного толстяка. Да, да, Уинн, это так и будет... Спать, спать, Уинн. Сегодня мы честно потрудились. — И вдруг спохватился: — Стойте! Неужели нет депеши об их прибытии в Лондон?

— В дипломатической почте её не было, сэр.

Когда автомобиль Гарро въехал на вокзальную площадь городка, выросшего вокруг Вацлавских заводов, сидевшие в машине увидели огромное скопление народа. Все новые и новые группы людей подходили с разных сторон. У многих были в руках корзиночки с провизией. В Либерец уезжали на целый день. Туда стекалось на демонстрации столько народу, что нечего было и думать прокормить всех. Надёжнее было ехать со своей едой. Скоро должны были подойти поезда, специально подаваемые в такие дни для доставки

манифестантов. Всех волновал вопрос: как-то пройдёт этот день? Что-то выкинут белочулучники? Чешский и немецкий говоры сливались в оживлённый гул, висевший над толпою.

Чем больше белых чулок появлялось на улицах чехословацких городов, тем многолюднее делались либерецкие сборища. Все шире становились слои общества, посещавшие эти демонстрации единства народов, населявших республику. К неудовольствию Хенлейна, по мере усиления террора, которым его люди старались убить в судетских немцах всякую мысль о возможности сопротивления

гитлеризму, число немцев, приезжавших в Либерец, тоже росло из года в год.

Толпа задержала автомобильчик Гарро; людей скопилось слишком много, они запрудили шоссе. Бывало Гарро выезжал в Либерец в форме французского офицера. Сегодня он не решился её надеть. Но почти весь городок знал его в лицо. Ему приходилось то и дело раскланиваться. Иные снимали шляпы при виде колодки хорошо знакомых французских орденов, украшавшей грудь Гарро. Многие чехи все ещё готовы были видеть в нём представителя прекрасной Франции — великого друга

чехословацкого народа. Здесь популярность Франции была ещё больше потому, что французским консулом был чех, пользовавшийся всеобщим уважением, доктор Кропачек. Так или иначе, при появлении Гарро большая часть чехов приветливо махала шляпами. Только кое-кто из немцев хмуро отворачивался или, наоборот, с нарочитой любезностью уступал дорогу автомобилю француза.

Тем не менее маленькая «татра» безнадёжно застряла в людском месиве. Кончилось тем, что пассажиры покинули машину, решив переждать, когда поезда увезут часть людей с площади. Но сегодня поезда

почему-то задерживались. Железнодорожники, с полным правом гордившиеся точностью своей службы, должны были отшучиваться от нападок сограждан. Им приходилось то и дело бегать к начальнику станции, чтобы узнать, где застряли поезда для манифестантов. Но он также ничего не знал.

Дождёвая пирожок, он вышел на балкон станционного здания и попробовал шутить. Сначала толпа отнеслась к этому благодушно, но скоро стало ясно, что она ждёт не шуток, а поезда.

Толпа начинала сердиться.

Может быть, начальнику

станции самому хотелось поскорее попасть на праздник, а может быть, он уже знал, что такое недовольство нескольких тысяч сограждан. Во всяком случае, он послал дежурного на телеграф.

Толпа притихла, словно боясь заглушить слова, бежавшие по проводам. Взоры людей были устремлены на балкон, где доевший пирожок начальник станции не спеша вытирал усы. Наконец появился телеграфист и передал начальнику депешу. Начальник лукаво подмигнул толпе и вооружился очками. Но, по мере того как он читал, выражение его лица становилось все более растерянным.

От толпы не укрылась нерешительность, с которою начальник станции топтался на балконе.

— Эй, эй, давайте поезда!.. Скоро ли будут поезда? — слышалось снизу.

Начальник станции крикнул телеграфисту:

— Эй, Вацек, принеси мою шапку!

Тот исчез и через минуту вернулся, бережно неся обшитую галунами форменную фуражку. Начальник станции встряхнул её и провёл по тулье рукавом. Может быть, он сметал с неё пылинки, которых не было видно с площади, а

может быть, просто старался протянуть время. Потом он надел фуражку и, подойдя к перилам балкона, поднял руку. Вокруг его шеи все ещё была повязана салфетка. Крики утихли. Начальник повернул телеграмму текстом к толпе, словно с площади можно было разобрать хотя бы одну букву. Над толпою пронёсся ропот. Тогда начальник снова надел очки и, не глядя на бланк, громко, прерывающимся от волнения голосом сказал:

— Поездов в Либерец не будет. Таково распоряжение правительства! Либерецкий митинг отменён.

Над площадью было слышно дыхание нескольких тысяч людей.

Неожиданно к нему примешался отдалённый гул. Скоро он сделался таким сильным, что покрыл дыхание толпы. Приближался поезд. Он не остановился, только сбавил ход, чтобы принять жезл, и помчался дальше, в сторону Либереца. Все ясно увидели в окнах вагонов каски полицейских.

Гул негодования пронёсся над толпой.

Начальник станции поспешно нырнул в балконную дверь и через какую-нибудь минуту появился на площади. На голове его, вместо фуражки с галунами, была шляпа, — такая же, как на тысячах мужчин, заполнявших площадь. Все поняли,

что он превратился из должностного лица в частного гражданина, чтобы иметь возможность принять участие в обсуждении удивительного события: правительство запретило собрание в Либереце; правительство послало в Либерец поезд с полицейскими, чтобы помешать собранию!

Голоса, обсуждавшие происшествие, делались все громче. Толпа разбилась на группы. Многие требовали посылки телеграммы президенту. Кто же, как не Бенеш, должен стоять на страже интересов демократии, кто, как не он, ответствен за их нарушение?! Уж не выдумали ли и это новшество

английские лорды и французские министры, чтобы угодить ублюдку Гитлеру?

Кое-где раздавались голоса, пытавшиеся доказать, что отмена праздника — простая мера предосторожности, имеющая целью избежать столкновения с белочулочниками. А к чему могло бы привести такое столкновение в городе, расположенном у самой границы, должно быть ясно всякому благоразумному человеку.

Но благоразумных, желающих выслушивать эти убеждения, нашлось немного. Голоса протеста раздавались все громче. Тут распахнулось окно пивной,

выходившее на площадь, и на подоконнике появился радиоприёмник. Голос диктора бесстрастно бросал слова, заставившие толпу притихнуть. Все лица обратились к репродуктору. Повидимому, заканчивая начатое ранее сообщение, диктор проговорил: «...Чехословацкое правительство вновь обращается к британскому и французскому правительствам с последним призывом и просит их пересмотреть свою точку зрения. Оно делает это, веря, что защищает не только свои собственные интересы, но также и интересы своих друзей, дело мира и дело здорового развития Европы. В

этот решительный момент речь идёт не только о судьбе Чехословакии, но также и о судьбе других стран и особенно Франции».

Диктор умолк. Из репродуктора слышалось только монотонное гудение.

Кто-то в толпе крикнул:

— Браво, Бенеш! Долой капитуляцию! Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!

— Да здравствует независимая республика! — крикнуло сразу несколько голосов.

Им ответили другие:

— Долой Чемберлена!

— Позор Франции!

Эти возгласы покрыли все остальные.

Во вот чья-то рука подвинула рычажок настройки, и диктор заговорил громче:

«...вкратце смысл британского ответа на ноту нашего правительства сводится к абзацу британской ноты, который мы передаём полностью и без комментариев: „Правительство его величества просит чехословацкое правительство спешно и серьёзно взвесить все последствия, прежде чем оно создаст ситуацию, за которую правительство его величества не могло бы принять на себя ответственность“.

Голос диктора был покрыт

криками с площади:

— Мы не хотим никаких величеств!

— Чехословакия не нуждается в няньках!

Но, как живой человек, воспользовавшийся минутной паузой, диктор начал своё сообщение, заставившее мгновенно умолкнуть даже самых крикливых:

«Полностью публикуем депешу Москвы советскому послу в Праге: «Первое: на вопрос Бенеша, окажет ли СССР, согласно договору, немедленную и действительную помощь Чехословакии, если Франция останется ей верной и также окажет помощь, можете дать

от имени Правительства Советского Союза утвердительный ответ.

Второе: такой же утвердительный ответ можете дать и на другой вопрос Бенеша, — поможет ли СССР Чехословакии, как член Лиги наций, на основании статей 16-й и 17-й, если в случае нападения Германии Бенеш обратится в Совет Лиги наций с просьбой о применении упомянутых статей.

Третье: сообщите Бенешу, что о содержании нашего ответа на оба его вопроса мы одновременно ставим в известность и французское правительство».

Рядом с лакированным

квадратом репродуктора появилось возбуждённое лицо человека с седыми усами. Все сразу узнали в нём начальника станции. Высоко держа шляпу, он крикнул:

— Теперь Даладые некуда деваться. Слава Москве! Сталину на з дар!

И толпа дружно прогремела:

— ...здаррр!... здаррр!...

— Нас предают в Лондоне!

— Нас предают в Париже!

— Мы хотим защищаться!

— Пусть нам дадут оружие!

— Пусть нам дадут оружие, мы будем защищаться!

Опираясь о плечо начальника станции, на подоконник взобрался

такой же седоусый человек и, потрясая кулаком, прокричал:

— Мы будем защищать Чехию, мы будем драться за республику. Пусть нам дадут оружие! — Он кричал по-немецки, он был немец. Его знали тут все. Толпа ответила ему радостным приветствием.

Но вот в толпе послышался смех, громкий, истерический. Он был так пронзительно громок, что его слышали во всех концах площади, и словно мгновенный испуг заставил всех затихнуть.

Хохот оборвался и сменился задыхающимся воплем:

— Защищаться?.. Одним против всех — против Гитлера, Чемберлена,

Даладье, против всей сволочи всего мира? Нет, это наш конец.

Кричавший так же истерически-громко разрыдался.

Прежде чем толпа успела выразить своё отношение к этому неожиданному заявлению, на балконе станции появился Гарро.

Его встретили пронзительными свистками, единодушным криком:

— Долой Францию!.. Позор французам!

Гарро стоял бледный, вцепившись в перила, и ждал, когда стихнут крики. Наконец ему дали говорить.

— Друзья мои, чехи и немцы, я вместе с вами кричу: позор! Позор

предателям чести Франции, позор изменникам слову! Но клянусь вам словом солдата: Франция не виновата в этом позоре. Виноваты те, кто предаёт её в целом так же, как каждого из вас. Ваш позор — позор всех честных французов, ваше несчастье — несчастье Франции. — Гарро перегнулся через перила и, казалось, готов был прыгнуть в толпу. Он с возрастающим возбуждением прокричал: — Старый французский солдат, сражавшийся рядом со многими из вас за честь Франции и за свободу вашей республики, я хочу сохранить право называться французом, хочу сохранить право на ваше

рукопожатие — я буду с вами до конца, что бы ни случилось, хотя бы сам Даладье пришёл сюда вместе с Гитлером. Моя пуля будет первой, которая пронзит грудь ренегата. Клянусь вам, друзья мои, тысячи французов станут в ваши ряды, как они стали недавно в ряды бойцов Испанской республики, вопреки воле наших продажных и глупых министров. Да здравствует незыблемая дружба наших великих народов, да здравствует верность и честь! — Он отогнул лацкан своего пиджака и, показывая толпе вдетую в петлицу розетку почётного легионера, крикнул: — Пусть это будет залогом моей верности клятве,

которую я даю сейчас Чехословацкой республике. — С этими словами он отколол красную розетку, поднёс к губам и бросил в шляпу. За нею зелёную ленточку с пальмовыми ветвями — знак военного креста, а там следующую и следующую — все ленточки своей разноцветной колодки. Он поднял шляпу над головою, чтобы её видели все. — Я возвращаю это правительству Франции как знак презрения к нему.

Через минуту он появился на крыльце. Сотни рук тянулись к нему с выдернутыми из петлиц ленточками французских орденов. То были боевые ордена, заработанные чешскими солдатами на полях

сражений Европы. На глазах некоторых стояли слезы, но они все же бросали свои ленточки в шляпу Гарро. Красные, зелёные, белосиние.

Гарро глазами отыскал в толпе Кропачека и подошёл к нему через расступающуюся толпу.

— Прошу вас как французского консула принять это.

И он высыпал содержимое шляпы к ногам ошеломлённого чеха.

Несколько мгновений толстяк смотрел на разноцветную кучу, закрывшую носки его башмаков, потом в испуге отступил.

— Что вы, что вы, господа!.. Я не могу, я никак не могу... Господа, я

слагаю с себя обязанности консула
Франции... Я не могу, никак не могу,
господа, исполнять эти
обязанности... Представлять
господина Боннэ и прочих?.. Нет,
господа!

Он снял шляпу и поклонился
толпе. Толпа аплодировала.

Внезапно шум смолк. Все лица
обратились к одной из улиц,
выходивших на площадь. Оттуда
слышался ритмический шаг идущих в
строю людей. И тут же снова
заговорил репродуктор:

«Гитлер призвал полтора
миллиона резервистов». И все.

Слышалась дробь тяжёлых шагов
из улицы: рррах, рррах, рррах,

рррах...

Словно аккомпанемент к сообщению радио.

Рррах, рррах...

Вот достойный ответ проклятому крикуну Гитлеру: он ещё только призвал своих башибузуков, а чешские солдаты уже подходят к границе!

Рррах, рррах...

Покраснев от усилия, Кропачек взобрался на тумбу и, раздувая светлые усы, крикнул:

— Славной чешской армии на здар!

— Здаррр... здаррр... здаррр!.. — бурею пронеслось над площадью и вдруг оборвалось: из

улицы показался отряд. Ряды ног в белых чулках, с голыми коленками поднимались, как одна, и с треском обрушивали на мостовую подкованные подошвы: рррах, рррах... рррах, рррах...

Навстречу ему, из противоположной улицы, донёсся такой же угрожающий стук: рррах... рррах...

Приближался второй отряд.

Кропачек недоуменно озибался со своей тумбы, поворачивая голову то к одной, то к другой колонне фашистов. Он понял, что сейчас произойдёт то, чего правительство хотело избежать в Либереце. Повидимому, хенлейновцы давно

готовились к этому дню. В руках у них виднелись стальные прутья и резиновые дубинки. Но прежде чем он сообразил, что же, собственно, следует сказать или сделать, кто-то сильно дёрнул его за рукав, и он должен был спрыгнуть, чтобы не упасть.

— Сейчас же уезжайте, — повелительно бросил Цихауэр.

— Да, да, живо домой, дядя Януш, — подтвердил вынырнувший тут же Ярош. — Здесь будет жарко.

Он рассмеялся, показав все зубы, и, махнув рукой на прощанье, побежал за Цихауэром.

Они с трудом прокладывали себе путь к пивной, где появился

вытащенный на улицу столик. Столик был мраморный, на тонких железных ножках. Он угрожающе раскачивался при каждом движении взбравшегося на него грузного чеха. Чех что-то с натугою кричал, но его никто не слушал. Все взоры были обращены на появившихся с двух сторон хенлейновцев.

Возле самой пивной Цихауэр и Купка нагнали Зинна, так же усиленно, как они, работавшего локтями.

В это время грузный чех, убедившись, вероятно, в том, что его всё равно никто не слушает, неловко спрыгнул со столика. Вместо него на столике сразу появился другой

оратор. Едва увидев его, Цихауэр остановился как вкопанный: он узнал Золотозубого.

— Это гестаповец, — сказал он Ярошу и толкнул локтем Зинна, чтобы тот посмотрел на оратора, Зинн тоже сразу узнал щуплого немчика в помятом дорожном плаще, мутным взором кокаиниста обводившего толпу, и тоже сказал Ярошу:

— Это гестаповец.

Ярош с двойным усердием заработал локтями, но когда ему оставалось преодолеть всего несколько рядов людей у самого столика, он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд.

Посмотрел в том направлении — и сразу узнал Штризе. Прежде чем Ярош сообразил, что происходит, Штризе одним прыжком оказался у столика и, спихнув с него обезумевшего от страха Золотозубого, погнал его толчками в сторону. Можно было подумать, что он беспощадно избивает немчика, но Ярош отлично видел, что Штризе старается поскорее увести Золотозубого к улице, где стояли, пока ещё недвижимые, ряды хенлейновцев. Ярошу, вероятно, так и не удалось бы пробиться к Штризе, если бы на помощь не пришёл Зинн.

— Разве вы не видите? — крикнул он. — Немец спасает

провокатора.

Толпа расступилась, и Ярош очутился рядом со Штризе, но тот, бросив на произвол судьбы Золотозубого, поспешно кинулся к хенлейноецам и исчез в их рядах. Отдал ли он какую-нибудь команду, или все было условлено заранее, но белочулочники тотчас ринулись на площадь.

Зинн вскочил на шаткий мраморный столик. Вокруг него сгрудилось несколько человек. Через минуту к ним присоединился и Гарро.

Из распахнувшихся окон пивной слышались звуки раз битого пианино. Звонкий баритон Зинна,

усиленный микрофоном, полетел над площадью:

Тяжёлые тучи над чешской
землёй,
И вороны кружат над
Прагой,
И чешский народ на
решающий бой
Выходит с безмерной
отвагой.

По мере того как напев доходил
до возбуждённой толпы, голоса
подхватывали его:

Ни шагу назад, ни шагу,
Смелее, смелее вперёд!

Да здравствует древняя
Прага,
Да здравствует чешский
народ!

Песня вацлавцев все более
мощным напевом неслась вслед
отступившим в улицы хенлейновцам:

И пусть нас железным
охватят кольцом, —
Кто вольного к рабству
принудит?
Не будет народ под
нацистским ярмом,
И Прага немецкой не будет!

Радостно и грозно гремел
припев:

Ни шагу назад, ни шагу,
Смелее, смелее вперёд!...

Все чаще слышались крики:

— Дайте нам оружие!

— Оружия!.. Оружия!..

Вокруг площади звенели стекла витрин, трещали двери. Из окон в хенлейновцев полетели стулья, кастрюли, тарелки. Яркое вспыхивало на выглянувшем солнце стекло бутылок, которые женщины швыряли в гитлеровцев.

— Оружия!

С этим криком толпа, сминая хенлейновцев, чулки которых давно перестали блистать белизной, устремилась к ратуше.

— Пусть Бенеш даст нам оружие!.. Смерть врагам республики!.. Позор Франции! Долой Чемберлена!.. Судеты должны быть чешскими!

Старинная низкая дверь, выходящая на маленький балкон ратуши, отворилась. Опираясь на костыль, на балкон вышел бургомистр, рослый старик в старомодном чёрном сюртуке. Он поднял костыль и торжественно расправил длинные седые усы. Когда крики стихли настолько, что можно

было слышать его голос, он крикнул:

— Дорогие сограждане... чехи!

Правительство объявило
дополнительный призыв. Многих из
вас отчизна призывает в ряды армии.

Громкое «ура» прокатилось по
улицам.

Бургомистр снова поднял
костыль, и его надтреснутый
старческий голос бросил в толпу
первые слова национального гимна.
Одни подхватила его, другие
неистово кричали:

— Позор Парижу! Позор
Лондону!

— Не будет народ под
нацистским ярмом, и Прага
немецкой не будет...

— И Тешин тоже... Тешин должен быть чешским!

И, словно угадывая то, что происходило в этом маленьком пограничном городке, пражское радио спокойным голосом диктора посылало в эфир:

«...если бы войска Польши действительно перешли границу Чехословацкой республики и заняли её территорию, Правительство СССР считает своевременным и необходимым предупредить правительство Польской республики, что, на основании статьи второй пакта о ненападении, заключённого между СССР и Польшей 25 июля 1932 года, Правительство СССР,

ввиду совершенного Польшей акта агрессии против Чехословакии, вынуждено было бы без предупреждения денонсировать означенный договор».

Репродуктор на секунду умолк и затем сказал:

«Мы передавали ноту Советского правительства правительству Польши».

Гарро порывисто обнял стоявшего рядом с ним Кропачека и восторженно заявил:

— Неужели Париж капитулирует и после этого?!

Рузвельт опустил книгу на укутанные пледом колени и откинулся на спинку шезлонга. Вокруг царил такой мир, что не хотелось даже читать. Жёлтые листья с едва уловимым шорохом падали на землю. Сквозь наполовину оголённые ветви деревьев виднелись белые колонны дома.

Эти колонны! Он помнил их столько же, сколько самого себя.

Да, были ведь времена, когда он пробирался сквозь кусты и молодую поросль деревьев, воображая, что не может быть ничего более огромного, чем этот парк, боясь заблудиться в

«джунглях» и не найти вот этих самых белых колонн родного дома. С тех пор молодые деревья шестьдесят раз теряли листву и одевались новою. Они стали большими и тенистыми, иные даже высохли и их спилили, а на их месте посадили новые. Он смотрел на дом, где родился, на парк, где рос и играл, и ему казалось, что решительно ничего не изменилось в мире и он, Рузвельт, попрежнему, как маленький мальчик, боится заблудиться в зарослях. Оттого, что он стар и сед, ему не менее страшно, чем было, и он ещё больше боится не найти дорогу к дому с белыми колоннами.

Его веки сомкнулись сами

собою, и голова откинулась на изголовье. Длинные пальцы лежали, бледные и неподвижные, на зелёных клетках пледа. Этот плед был единственным ярким пятном посреди усыпанной жёлтыми листьями поляны.

Гопкинс сразу увидел Рузвельта и свернул с дорожки.

Рузвельт сквозь дрему слышал его приближающиеся шаги и узнал их. Но ему не хотелось возвращаться из мира далёких, грустных воспоминаний в суету деловой действительности. Эта

действительность вставала вокруг него тёмным лесом, наполненным неожиданностями; и этот лес был

страшнее воображаемых джунглей раннего детства. Президент слышал, как Гарри присел рядом, как сунул под себя зашелестевшую пачку бумаг, щёлкнул зажигалкой. Ему казалось, что он слышит даже мысли Гарри, размышляющего над тем: будить ли президента из-за срочных депеш?

Рузвельт упрямо не поднимал век, хотя от мечтаний уже не осталось следа. С шелестом бумаг в мозг ворвались мысли о тысяче препятствий, которые нужно было преодолевать каждый день, чтобы провести сквозь бури корабль Штатов, не утопив его вместе с грузом золота, в котором есть и его собственная доля.

Он был из тех капитанов, что являлись пайщиками в деле, — капитанов, которые терпели тяготы своей профессии не за жалованье, а потому, что боялись доверить кому-нибудь другому драгоценный груз. Не было бы ничего легче, чем сдать бразды правления недовольным, подсиживающим его на каждом шагу. Но что случится, если он им уступит? Они доведут команду до бунта — и тогда пиши пропало. Матросы поднимут красный флаг, не признавая ни авторитета хозяев, ни их прав на корабль. Офицеров выкинут за борт. Пайщики превратятся в таких же нищих, обыкновенных людей без дворцов и

дивидендов, как сами матросы. И первым лишится всего капитан: и паев, и корабля, и его золотого груза. Нет, не ради такого финала стал он за руль корабля Америки!

Не дать офицерам погубить груз, не дать взбунтоваться команде!

Что же, пожалуй, нужно возвращаться к водовороту европейских дел, в который непременно будут втянуты Штаты, если начнётся буря...

Он чуть-чуть раздвинул веки и, не шевелясь, взглянул на Гопкинса. Тот сосредоточенно курил и смотрел куда-то в глубину парка, словно забыв под действием окружающего покоя, зачем пришёл. Рузвельт

осторожно потянул к себе книгу, намереваясь подшутить над Гарри, но тот заметил это движение и приветливо улыбнулся:

— Так сладко спали, что не хотелось будить...

Спал?! Хорошо, пусть Гарри думает, что он спал.

— А на свете опять случилось что-нибудь, что не даёт вам сидеть спокойно? — с улыбкой спросил Рузвельт.

— В этой Европе все время что-нибудь случается, — неприязненно сказал Гопкинс. — Право, Франклин, они совершенно не умеют жить.

— Нечто подобное приходило мне в голову о моих родителях, когда

я лет шестьдесят тому назад сидел в самодельном вигваме, среди этих вот самых деревьев, и удивлялся отцу, который предпочитал скучную фетровую шляпу боевому убору команчей.

— А сейчас мы смотрим, раскрывши рот, как европейцы размахивают томагавками.

— В общем все живут, как умеют, и всем кажется, что они живут недурно, — заключил Рузвельт, — пока в их дела не начинают путаться посторонние.

— У каждого должна быть своя голова.

— Вы же сами жаловались, Гарри, что Ванденгейм по уши залез

в немецкое болото и что из-за этого расквакались лягушки в Европе.

— Я и не беру своих слов обратно. Но мне кажется, что Европа из тех старушек, которым не прожить без полнокровного и богатого друга дома.

— Кое у кого на том материке есть тоже шансы разбогатеть.

— Я знаю, Франклин, на кого вы намекаете, но, честное слово, если дело идёт о соревновании с Советами, то я на стороне Джона.

Президент посмотрел в глаза другу.

— Мне что-то подозрительна защита, под которую вы вдруг взяли этого разбойника.

Он захлопнул все ещё лежавшую на коленях книгу и отбросил её на стул.

— Какую ещё гадость вы принесли там? — Рузвельт потянул за угол пачку бумаг, на которых сидел Гопкинс.

— Если верить Буллиту...

— Самое неостроумное, что мы с вами можем сделать, — с неудовольствием перебил Рузвельт.

— ...Гитлер не отступает ни на шаг от своих требований, и англо-французы не выказывают намерения удержать его от вторжения в Чехию.

Рузвельт сделал усилие, чтобы сесть, плед упал с ног; Гопкинс заботливо поднял его и положил

обратно. Рузвельт потянулся было за палкой, но тут же с раздражением махнул рукой.

— Все ещё не могу привыкнуть к тому, что лечения в Уорм-Спрингс мне хватает уже не больше чем на два-три месяца... Какая дрянная штука старость, Гарри. — И тут же улыбнулся: — Чур, это между нами.

Он откинулся на спинку и сделал несколько беспокойных движений рукой. Такое волнение находило на него редко и никогда на людях. Единственным, перед кем он всегда оставался самим собою, был Гопкинс. Но даже в его присутствии минуты несдержанности бывали краткими. Рузвельт быстро брал себя

в руки.

Подавляя вспышку раздражения, он сказал:

— Меня поражает близорукость англичан и французов. Неужели там не понимают, что тигра нельзя ублаготворить мышинным хвостом? И Ванденгейм и остальные должны понимать, что война не будет изолированной европейской, — она утянет нас, как водоворот, потому что не может не втянуть.

— Они рассчитывают взять своё в драке.

— В конце концов есть же среди нас люди в здравом рассудке! — в возмущении воскликнул президент. — Нужно быть

совершенными кротами, чтобы, подобно нашим изоляционистам, воображать, будто чаша может нас миновать, если она перельётся через край.

— Они этого и не воображают, — осторожно заметил Гопкинс. — Они только хотят уверить в этом других.

— Тем подлее и тем глупее с их стороны воображать, будто среди полутора ста миллионов американцев не найдутся такие, которые выведут их на чистую воду.

— Это одна сторона глупости, есть и другая — более опасная: втянуть нас в игру в первом тайме, Франклин!

— Кто же, по-вашему, Гарри, должен начать игру?

— Думаю, что начнут её всё-таки немцы, несмотря ни на что.

— А с той стороны?

— Может быть, для начала чехи, может быть, русские — не знаю. Да и не в этом дело. Важно, чтобы мы могли вступить в игру только в решающий момент, когда ни у кого из них уже не будет сил довести дело до конца.

— А что вы считаете концом игры?

— Порядок... относительный порядок в мире. Когда можно будет хотя бы на пятьдесят лет вперёд уверенно предсказать, что

революций не будет. И я считаю, что это станет возможно только при одном условии: мы вступаем в игру только в решающий момент и забиваем решающий мяч. Мы должны выйти из игры такими, словно только разминали ноги.

— Чтобы снова драться?

— Драться-то будет не с кем. Наше дело будет тогда только присматривать, чтобы выдохшаяся команда не отдышалась раньше, чем это будет нужно нам.

— Нет, Гарри, — решительно воскликнул Рузвельт, — вы, чересчур оптимистически смотрите на вещи. Есть ещё Англия...

Черты Гопкинса отразили

недоумение.

— Вы думаете, её нельзя заставить разумно смотреть на вещи?

— Только до тех пор, пока вы не станете посягать на целостность империи.

— Не может быть и речи, чтобы англичане могли вечно сидеть на половине глобуса, присосавшись, как спрут, ко всем материкам, — с решительным жестом сказал Рузвельт.

Опершись подбородком на руку, он, нахмурившись, смотрел в сад и, казалось, забыл о Гопкинсе, но вдруг оживился:

— Послушайте, Гарри, мне кое-что пришло в голову: принесите-ка

вчерашнюю папку Кордэлла, я её так и не просмотрел. Он говорил, что там есть подробное политическое донесение Керка.

— Я знал, что это вас интересует.

Гопкинс привстал и вытащил из-под себя бумаги. Отобрав одну из них, протянул президенту, остальные положил на траву.

— Керк пишет, что позиция Советов остаётся попрежнему ясной и твёрдой. Они готовы к выполнению своих обязательств в отношении чехов.

— Так что же ещё нужно Даладье? — начиная раздражаться, спросил Рузвельт.

— Одно единственное: не позволить советским войскам войти в Западную Европу.

— Я их понимаю... я их понимаю, — машинально повторял президент, пробегая глазами бумагу. — Но не думают же они, что дело дойдёт до войны, если Гитлеру будет ясно сказано, что вместе с французами выступят русские.

— Вероятно, они именно этого и боятся. А предоставить Красной Армии роль освободительницы Европы... — Гопкинс пожал плечами.

— Д-да... — Рузвельт почесал бровь. — Ну, до этого дело не дойдёт, не может дойти. Я достаточно понял

шакалью природу Гитлера: он подожмёт хвост от настоящего окрика. Только не нужно перед ним расшаркиваться, — это опасно, так как открывает всю игру. — Он задумался и как бы про себя повторил: — Только не расшаркиваться... Знаете что...

Гопкинс ждал, но президент молчал. Он продолжал напряжённо думать, наконец медленно проговорил:

— Вот что, Гарри: если ни Париж, ни Лондон не хотят понять, как нужно действовать, им покажет Вашингтон.

Гопкинс сделал протестующий жест.

Президент улыбнулся и успокоил его мягким движением руки.

— Мы сделаем это, не дразня гусей, а Гитлер получит то, что нужно. Возьмите-ка перо, Гарри...

— И, подумав, продиктовал: — «Президенту Калинину, Москва. Мистер президент, по мнению правительства Соединённых Штатов, положение в Европе является столь критическим и последствия войны были бы столь губительны, что нельзя пренебречь никаким демаршем, могущим содействовать сохранению мира. Я уже обратился в срочном порядке с призывом к канцлеру Германии, президенту

Чехословакии...» — Рузвельт
остановился и подумал. — Одним
словом, Гарри, пусть Кордэлл сам
ставит там всё, что нужно по смыслу,
а в заключение напишет:
«Правительство Соединённых
Штатов полагает, что если бы глава
СССР или советского правительства
счёл необходимым немедленно
обратиться с подобным же призывом
от собственного лица —
собирательный эффект такого
выражения общего мнения даже в
последнюю минуту мог бы повлиять
на развитие событий». — Рузвельт
снова сделал небольшую
передышку. — Пусть Кордэлл сам все
это отредактирует.

— И всё-таки, Франклин, я не облакал бы этого в форму вашего личного послания президенту Калинину.

Рузвельт удивлённо посмотрел на Гопкинса.

— Вы же понимаете, что речь идёт обо всём нашем корабле, — проговорил он. — Его нужно спасти от глупых претендентов в капитаны.

Молчание длилось долго. Оба думали о своём. Наконец Гопкинс, стараясь скрыть раздражение, спросил:

— Значит, телеграмма Керку?

Рузвельт посмотрел ему в глаза и усталым движением поставил в углу листка свои инициалы. Заметив,

что Гопкинс достаёт новую бумагу, Рузвельт закрыл глаза.

— Нельзя ли отложить, Гарри?.. Завтра мы уезжаем из Гайд-парка, и тогда я в вашем распоряжении.

Гопкинс молча собрал бумаги и, ступая на цыпочки, вышел на дорожку. Дойдя до секретарской, он тотчас передал телеграмму на аппарат, а сам прошёл в кабинет президента. Но ещё прежде чем телеграфист начал передачу, дверь комнаты распахнулась и в ней показался высокий жилистый мужчина в чёрном кителе, с золотыми нашивками адмирала флота на рукавах. С морщинистого, словно измятого лица адмирала, из-

под собранных в маленькие, но высоко торчащие мохнатые кустики бровей глядели колючие глаза ястреба. Губы небольшого, старушечьего рта были поджаты, высоко над ними горбился короткий, хищно-крючковатый нос, скривлённый вправо, словно был сворочен на сторону в кулачном бою.

— Дешу президента! — бросил он с порога, протягивая руку.

— Сейчас приступаю к передаче, сэр, — сказал телеграфист.

— Дайте сюда, — резко приказал адмирал.

Телеграфист послушно подал лист.

Некоторое время он

выжидательно смотрел на дверь, захлопнувшуюся за адмиралом, готовый при его появлении вскочить и принять депешу к отправке. Но время шло, а дверь оставалась затворенной, адмирал не приходил. Телеграфист принялся за другую работу.

На дорожке, неподалёку от места, где лежал в шезлонге президент, снова заскрипел песок. Гопкинс осторожно приблизился к Рузвельту и, убедившись в том, что тот не спит, протянул ему бумагу.

— Что такое? — с очевидной неохотою спросил Рузвельт.

— Леги внёс маленькое

изменение в вашу телеграмму,
Фрэнк. — Что-то похожее на улыбку
искривило бледное лицо
Гопкинса. — Совсем
незначительное...

— В какую телеграмму, Гарри?

— Президенту Калинину.

— А-а... — неопределённо
протянул Рузвельт.

— Сейчас я прочту вам это
изменение. — С этими словами
Гопкинс развернул было лист, но
президент отвёл взгляд и сделал
усталое движение рукой. Вернее
даже, это было слабое движение
одних только пальцев, и лишь такой
человек, как Гопкинс, привыкший с
полуслова и с одного жеста

угадывать желания Рузвельта, мог понять, что тот не хочет слышать слов, вписанных адмиралом.

— Не стоит, — негромко проговорил Рузвельт. — Если так сделал Леги, значит это хорошо...

И Рузвельт опустил веки, чтобы не встретиться взглядом со своим самым верным советником и самым близким человеком, с тем, кого вся Америка, и не без оснований, считала «вторым я» президента Штатов. Будучи великим мастером притворства, Рузвельт все же не был уверен в том, что глаза не выдадут его именно этому человеку. Это изменение вовсе не было выдумкой Леги. Просто-напросто адмирал

лучше помнил то, что было заранее обусловлено и решено между ними, а сам Рузвельт, диктуя депешу, пропустил эти несколько слов. А может быть, он пропустил их намеренно? Рузвельт мысленно усмехнулся: как знать! Может быть, именно так... Разве не лучше, чтобы из Белого дома по всему свету расползся слух о том, что он, самый либеральный и самый миролюбивый из всех президентов, прошедших пред глазами американцев за двести семь лет, продиктовал ясную и целеустремлённую депешу Калинин, а уж там, в его канцелярии, другие люди добавили к ней слова, вытравили звучавшую в ней

реши́мость удержи́ть агрессора... Конечно, именно так и должно быть: другие, другие, а не он сам, должны сводить на-нет попытки умиротворения Европы, если уж такая политика неизбежна. Хотя, видит бог, ему очень хотелось бы избежать потрясений, с какими будет связана война. Даже если она разгорится на той половине земного шара. Кто знает, к чему все это может привести? Кто знает, не кроется ли страшная правда в словах человека, владеющего умами простых людей мира? Несколько лет тому назад Сталин говорил о том, что нет никаких оснований предполагать, что война может дать

действительный выход. По его мнению, она должна ещё больше запутать положение... Что же, весьма вероятно, что так оно и будет, и очень жаль, что американские политики не хотят разобраться в этом. Впрочем, не говорит ли уже опыт истории нескольких войн, что прав именно он, Сталин, не развяжет ли и эта новая война все силы, враждебные установившемуся порядку вещей? Не приведёт ли война к революции?.. Быть может, так оно и будет. Но, как ни парадоксально, именно это соображение не даёт права им, американским политикам, отгораживаться от дел остального

мира. Только дураки могут воображать, будто им удастся спрятаться от последствий войны и революции за гнилым забором изоляционизма. Именно для того, чтобы избежать краха, следует теперь же, не оттягивая дела ни на один день, вмешаться, самым решительным образом вмешаться в европейские дела. Наступали новые времена. США были до сих пор великой державой, теперь они могут стать мировой. Но не теми путями, которые пробует Ванденгейм... Нет, он груб и нетерпелив и, видит бог, может все испортить... Чересчур откровенен, от глупости и жадности, и все хочет себе, себе... Да, чорт

возьми, нужно же в конце концов
втолковать ослам из Капитолия, в
чём заключается подлинная
американская политика:
отгородиться нужно не от дел мира, а
от нежелательных последствий. А
для этого необходимо вмешательство,
самое решительное вмешательство,
но без последствий, без
революций... Только миссурийские
мулы могут этого не понимать!

Когда шаги Гопкинса затихли
вдали, Рузвельт нагнулся и, пошарив
рукою под шезлонгом, нащупал
книгу. Он открыл её наугад,
перекинул несколько страниц. Края
их были уже достаточно потрепаны.
Было видно, что книгу часто

листают. На полях виднелись пометки карандашами разного цвета — первыми, какие попадались под руку.

Найдя интересовавшее его место, Рузвельт углубился в чтение. Все в этой книге было ему знакомо донельзя, но он не уставал её читать. Глаза его сузились, и на губах появилась усмешка — тонкая, лукавая усмешка самого умного президента Штатов со дня смерти Авраама Линкольна.

Солнечный луч, пробившийся сквозь листву деревьев, зажёг алым светом потрёпанный красный коленкор переплёта. Когда-то, видимо, золотые, полустёртые буквы

заглавия позволяли с трудом прочесть: «Мехен. Влияние морской силы на историю».

Телеграфист прикасался к клавишам, внутри телетайпа раздавался лёгкий стук, совершалось какое-то невидимое движение. Все было, как нужно, как рассчитано конструкторами и строителями аппарата, привычно для телеграфиста. Ему в голову не приходило анализировать сложный процесс, происходивший в аппарате, в проводах, соединявших Гайд-парк с Вашингтоном. Телеграфиста не интересовало то, что происходит в этот момент в телеграфной комнате

Белого дома, такой же, как эта, только гораздо больше, не с одним, а со многими телеграфистами. Они тоже прикасались к клавишам аппаратов, связывавших резиденцию президента с государственным департаментом и с главным телеграфом в Нью-Йорке, откуда в воду океана уходила толстая свинцовая кишка трансатлантического кабеля. Единственно, что занимало телеграфиста, — стопка депеш, лежавших перед ним. Эта стопка, казалось ему, убывала слишком медленно, медленнее, чем следует для того, чтобы ему не нужно было задерживаться, когда закончится его

дежурство. Сегодня это было бы чертовски некстати — у телеграфиста были свои дела. Ему казалось, что его личная жизнь не имела ничего общего с тою, что протекала в этом долге Гайд-парка.

Следя взглядом за строками лежавшей перед ним депеши, телеграфист машинально, не вдумываясь в передаваемые слова, трогал клавиши телетайпа.

Внезапно, прямо напротив него над дверью кабинета вспыхнула лампочка. Телеграфист выключил аппарат и подбежал к двери, но она уже отворилась и вошёл адмирал.

Телеграфист напряжённо вглядывался в его лицо, пока адмирал

ещё раз внимательно перечитывал депешу, прежде чем протянуть её телеграфисту с лаконическим:

— На аппарат.

— Да, сэр.

Кажется, адмирал ещё что-то хотел сказать, но из-за неплотно притворённой двери кабинета слышался голос Гопкинса:

— Хэлло, Уильям!

— Иду...

Адмирал скрылся за дверью.

Телеграфист положил перед собою лист новой депеши, и его пальцы заходили по клавишам.

Размышляя о том, что теперь-то ему уж непременно придётся задерживаться на добрых четверть

часа сверх времени, положенного дежурством, телеграфист, не вдумываясь в смысл, передавал слово за словом приписку, сделанную почерком Леги, к депеше, написанной Гопкинсом:

«Высказывая вышеизложенную мысль, правительство Соединённых Штатов отнюдь не формулирует тем самым своего мнения по существу возникшего спора».

Раньше, чем слова, отстуканные телеграфом в Гайд-парке, пройдя через государственный департамент в Вашингтоне, отредактированные и окончательно приглаженные, достигли Москвы и были прочтены поверенным в делах Соединённых Штатов Керком, они, зашифрованные личным кодом адмирала Леги, настигли Ванденгейма в пути из Парижа в Берлин.

Джон лежал на диване в заказном салоне, прицепленном к экспрессу Париж — Берлин, и, покряхтывая от удовольствия, просматривал весёленький

парижский журнальчик, когда секретарь положил перед ним расшифрованный текст. Джон нехотя оторвался от картинок и небрежно пробежал депешу. Но тут же, забыв о журнале, он вторично внимательно, слово за словом, перечитал её.

— Где мы? — бросил он через плечо секретарю.

Тот топтался в нерешительности; патрон был трезв, — как же он мог забыть, что находится в вагоне экспресса, мчащего его в Берлин?

— Сколько мы отъехали? — рявкнул, выходя из себя, Джон.

Секретарь поднял телефонную трубку и через минуту назвал

маленькую станцию, находившуюся на незначительном расстоянии от Парижа.

— Шляпу и трость.

— Поезд тут не останавливается, сэр.

— Шляпу и трость!

Джон подошёл к стенке вагона и потянул ручку тормоза.

Поезд ещё скрипел тормозами и на полу вагон-ресторана гремели слетевшие со столов тарелки, а с антенны поездной радиорубки уже нёсся приказ приготовить в Бурже скоростной самолёт, чтобы доставить в Берлин никому не известного мистера Горация Ренкина.

К вечеру того же дня Ванденгейм пересел в Берлине в ожидавший его автомобиль Геринга и помчался в замок Роминтен, куда этот «никому не известный американец» был приглашён «Наци номер два» для охоты на коз.

Джон, воображавший, что охота является лишь традиционной формулой Геринга для тайных переговоров, был искренно удивлён, увидев генерал-фельдмаршала в зелёной курточке, с животом, стянутым широчайшим кожаным поясом, на котором болтался охотничий нож. Голые колени с жировыми натёками виднелись между шерстяными чулками и

короткими панталончиками. Все ещё не принимая этого маскарада всерьёз, Джон с неохотою взял предложенное ему ружьё и уселся в маленький автомобиль, все заднее сиденье которого было занято тушею хозяина. Но когда он увидел, что среди скал, где остановился автомобиль, их ожидает несколько егерей с запасом ружей разных калибров, американец не выдержал:

— Не можем ли мы обойтись без этих молодцов?

Наступила очередь Геринга удивляться. Он не представлял себе, что может найтись смертный, который, попав в Роминтен, не пожелает полюбоваться редким

зрелищем его прославленной охоты. Это было то, в чём он рассчитывал перещеголять Джона Третьего. Он-то мог себе сделать золотую ванну Ванденгейма, а пусть-ка тот устроит себе второй Роминтен!..

Удобно устроившись на краю высокой скалы, Геринг с неохотою отпустил егерей. Коллекцию ружей он сложил около себя, выбирая всякий раз другое, в зависимости от расстояния, на каком появлялась выгоняемая егерями коза.

Все это мало занимало Джона, и он проклинал в душе спектакль, мешавший овладеть вниманием хозяина. В конце концов он решил не стесняться и раздражённо

проворчал:

— Может быть, мы сначала поговорим, а потом вы будете тут стрелять хоть до страшного суда.

Дерзость потрясла Геринга настолько, что он пропустил очередную козу и остолбенел, молча глядя на американца. Тот даже заёрзал на своём месте, опасаясь, не хватит ли этого борова удар, прежде чем он успеет от него чего-либо добиться. Это было бы ужасно: во всей гитлеровской шайке Геринг был самым подходящим субъектом для сделки, которую хотел заключить Джон. Ему нужен был человек, способный сломить колебания Гитлера, который, несмотря на все

англо-французские поощрения, уже готов был идти на попятный в чешском деле и который может ещё больше испугаться, узнав об американо-советском демарше. Чтобы покончить с колебаниями самого Геринга, Ванденгейм привёз ему в подарок огромный портфель, набитый шкодовскими акциями, и, кроме того, собирался гарантировать «ИГФИ», пайщиком которой состоял Геринг, овладение всей химической промышленностью Чехии, прежде чем англичане и французы успеют сообразить, что произошло.

Джон без стеснения выложил все это так, как если бы перед ним был не крупнейший вельможа

империи, а обыкновенный биржевой жук.

Решительность и прямота натиска заставили Геринга забыть все свои чины, и он принялся торговаться без всяких церемоний.

Через час все было закончено. Ванденгейм поднялся, уверенный в том, что ненасытный толстяк не даст теперь остановиться немецкой военной колеснице, даже если бы Гитлер распластался перед нею собственной персоной. «Наци номер два», не сморгнув, задавит «Наци номер один»! Со своей стороны, Ванденгейм заверил Геринга, что нет на свете таких сил, которые заставили бы британское и

французское правительства
ослушаться, его, Ванденгейма,
директив. Больше того: прощаясь с
хозяином, Джон фамильярно
похлопал его по коленке.

— Прodelай как следует этот
первый шаг, и не больше чем через
полгода вся Чехия будет у вас в
кармане.

— У меня или у вас? — с
усмешкой спросил Геринг.

Чтобы ничего не отвечать, Джон
громко рассмеялся. Он допускал, что
этот толстопузый хитрец знает о его
прямой заинтересованности и в
Стальном тресте, и в «ИГФИ», и во
всех других могущественных
немецких объединениях,

стремившихся ворваться в Чехословакию, но у него не было желания подтверждать это самому.

— Можете держать с Рузвельтом пари на миллион долларов: раньше, чем закончится осенний листопад, Судеты будут нашими, — сказал Геринг.

— Вашими или моими? — спросил Джон.

Геринг раскатисто заржал и несколько раз потрянул красную ладонь Ванденгейма.

Стоя у окна своего кабинета, генерал Леганье задумчиво следил за движением пешеходов и автомобилей на перекрёстке. Волны пешеходов сливались и снова растекались; вереницы автомобилей перемешивались, подобно струям разноцветных жидкостей. И все это было обрамлено пылающей осенней листвой каштанов.

Но генерал сейчас не думал ни о прохожих, ни о машинах, словно это были пылинки, суесящиеся в солнечном луче и не мешающие ему смотреть на что-то, видимое за ними ему одному. В его памяти одна за

другую проходили прежние встречи с нынешним генерал-инспектором армии Гамеленом. Первая относилась к давним временам, когда один из них был полковником, а другой всего лишь капитаном. С тех пор, продвигаясь по службе, Гамелен не забывал своего расторопного начальника дивизионной разведки, и вот Леганье очутился там, где стоит сейчас, — на посту начальника Второго бюро. У него не было никаких оснований опасаться последовавшего сегодня приглашения высокого начальника. Их отношения давно приобрели характер, который французские генералы любят с декоративной скромностью

именовать «дружбой старых солдат». Со стороны Гамелена эта дружба носила форму немножко менторского, но благожелательного покровительства.

Все это было так. И тем не менее на душе Леганье не все было спокойно. Он знал за собою достаточно много грешков, которые генерал-инспектору могли, пожалуй, показаться настоящими грехами, выходящими за пределы допустимой гибкости, которую должен проявлять разведчик. Оба они принадлежали, разумеется, к тому лагерю, который проповедовал твёрдый порядок в стране и армии; оба придерживались мнения об опасности тесных

отношений с Советским Союзом и его армией, могущих завести дальше, нежели это необходимо для маневрирования в сложной политической обстановке внутри и вне Франции. Оба они одинаково признавали формулу «лучше с Гитлером против Народного фронта, чем с Народным фронтом против Гитлера». Оба хотели одного: чтобы при любых обстоятельствах, хотя бы на короткое время, была исключена возможность комбинации «Гитлер против Гамелена». Но много лет барахтавшийся в грязном болоте секретной службы Леганье знал, что его бывший дивизионный превратился в кабинетного стратега,

воображающего, будто сведения о противнике, которые кладутся ему на стол в виде чистенькой сводки, доставляются ангелами небесными, не желающими ни есть, ни пить, ни строить виллы. Да, чорт побери, Гамелен может не понять, что вилла, недавно купленная Леганье в окрестностях Севра, всего десятая доля того, что стяжал бы на его месте другой!

Леганье взглянул на часы и через несколько минут сидел за рулём своего «рено» и лавировал в потоке машин, а через час входил в штаб-квартиру Гамелена в Венсенне.

Начальник Второго бюро сразу определил, что шеф сохранил

прежнюю привычку не смотреть на собеседника. Наградив гостя приветливой улыбкой, когда здоровался, Гамелен тотчас отвёл взгляд и стал слушать внимательно, сосредоточенно, как умел, пожалуй, слушать он один. Это дало Леганье возможность рассмотреть его и найти, что он отлично сохранился: почти нет морщин, в светлых, рыжеватых волосах незаметно седины; такие же, как прежде, небольшие, тщательно подстриженные светлые усики, все те же светлые внимательные глаза, готовые ежесекундно насторожиться, но остающиеся спокойными и избегающие взгляда собеседника.

Реплики генерал подавал лаконические, негромкие, такие же точные и аккуратные, как и все в нём, — от пробора до складки на брюках.

Когда Леганье закончил свой обстоятельный доклад, в комнате несколько мгновений царила такая полная тишина, что отвыкшему от неё в парижском шуме Леганье она показалась многозначительной. Ему чудилось, что именно сейчас, после этой длинной паузы Гамелен заговорит о главном. Поэтому он был приятно разочарован, когда Гамелен произнёс своим неизменно ровным голосом:

— Что вы скажете о ситуации в

целом, мой друг?

И в ответ на довольно общие фразы начальника Второго бюро добавил:

— Меня занимает вопрос о том, что сказали бы французы, если бы мы без особых околичностей отвергли предложение русских о переговорах наших генеральных штабов на случай осложнений в Чехии.

— Французы?.. Они вышли бы на улицу, — уверенно проговорил Леганье. — Это удивительно, мой генерал, но, оказывается, французы ещё помнят, как в семидесятом году, когда все друзья Франции показали ей спину, чешская депутация в

венском парламенте протестовала против присоединения Эльзаса и Лотарингии к Германии.

— Значит, по-вашему, нужно продолжать «делать вид»?

— Безусловно, мой генерал.

— Ваше мнение совпадает с тем, что я слышал на-днях от одного писателя. — Леганье насторожился, но генерал так и не назвал имени. — Он убеждён, что кипучая деятельность, которую развили немцы, внушает опасения. Многим начинает казаться, будто речь идёт вовсе не об одной Чехословакии.

— Это и я могу подтвердить, мой генерал.

— Вы согласны со мною,

Леганье, что если мы во-время и с надлежащей тщательностью приведём в движение нашу военную машину, то можем выйти победителями из схватки с Германией?

— Вполне, мой генерал.

— Но вам ясно и то, что если мы дадим Германии усилиться за счёт Чехословакии, Польши и Прибалтики, а сами лишимся союзников в Южной и Восточной Европе, наши карты можно считать битыми?

Леганье не знал, какого ответа ждёт генерал, и потому предпочёл смолчать. Гамелен заговорил снова, с очевидною неохотой:

— А можете ли вы мне гарантировать, что никто ни в кабинете министров, ни в кругах, стоящих за ним, не строит такого рода планов?

— Это было бы ужасно!

— Не можете ли дать мне более конкретный ответ?

— Мне просто не верится, мой генерал!

Первый раз за всю беседу светлые глаза Гамелена остановились на лице собеседника. Этот взгляд был коротким, но никто не назвал бы его теперь ни добрым, ни невнимательным.

Голос генерал-инспектора прозвучал необычно твёрдо, когда он

спросил:

— В ком из министров я наживу врага, если на прямой вопрос правительства, можем ли мы выступить, отвечу «да»?

Леганье сделал вид, будто не понял Гамелена, и тот пояснил:

— Если я скажу: мы можем выступить и победить.

Леганье стало очевидно, что Гамелен знает больше, чем следовало. Нужно было не попасть впросак: не показаться нерадивым дураком, но и не сказать лишнего. После короткого раздумья он проговорил тоном, которому стремился придать интонацию неуверенности:

— Если бы в состав кабинета входил Фланден...

Гамелен перегнулся через ручку кресла и снова посмотрел ему в глаза:

— А поскольку его там нет?

— Может быть... Боннэ? — промямлил Леганье.

Гамелен откинулся в кресле, и его взгляд ушёл в сторону.

— Вот мы и поняли друг друга, мой дорогой Леганье.

Леганье, испугавшись, что совершил ошибку, сказав про Боннэ, поспешно добавил:

— Хотя должен доложить, что в довольно узком кругу, где ему не было нужды скрывать свои мысли,

Боннэ в связи с вопросом о Суэце решительно заявил, что ни дюйма французской территории не будет уступлено ни при каких обстоятельствах.

— Это хуже, чем если бы он прямо заявил, что готов не только Гитлеру, но и Муссолини отдать всё, что тем нравится. Из-за того, что он держит и Чехословакию в уверенности, будто мы безусловно исполним свои договорные обязательства, Бенеш может пойти на какой-нибудь неверный шаг и... дом загорится с двух концов.

— Не думаю, мой генерал, чтобы Бенеш ещё сохранил какие-нибудь иллюзии.

— Он предпочитает итти с русскими против немцев, чем отдать эти Судеты, — безглаголиво проговорил Гамелен.

— Даже если мы совсем отступимся?

— Появление русских по эту сторону Карпат сейчас же вызвало бы крестовый поход против них всей Европы, а значит...

— И против нас?

— Увы!.. Все это очень грустно, дорогой Леганье, очень грустно. — Гамелен в задумчивости побарабанил ногтями по мрамору пресс-папье, которое перед тем внимательно рассматривал. — Ужасно, но, по-видимому, это так:

мы должны пожертвовать своею южной линией Мажино в Судетах, чтобы спасти Европу от вступления Красной Армии. Тут больше ничего не придумаешь. — Он взмахнул прессом, как бы предостерегая Леганье от реплики. — Насчёт Боннэ, мой друг... На-днях, на заседании кабинета, он так искажил мою докладную записку о готовности вооружённых сил, что создалось впечатление, как раз обратное тому, которое я хотел достичь. Вместо того чтобы убедиться в нашей готовности драться и победить, министры остались при мнении, что мы обречены на поражение.

— Если угодно, мой генерал, мы можем доставить материал, который позволит вам опровергнуть слова Боннэ.

— Что вы, что вы, Леганье! Как можно! Такое опровержение станет известно англичанам, и у Чемберлена создаётся впечатление будто мы намерены действовать одни. Мы с вами не должны вмешиваться в дела дипломатов. К тому же, мой друг, какие бы опровержения вы мне ни доставляли, я уже ни за что не решусь в присутствии Боннэ сделать ни одного откровенного доклада.

— Не слишком ли далеко идут ваши подозрения, мой генерал?

— Какое там далеко! — с неожиданной резкостью проговорил Гамелен. — Вы знаете, что мне сказал премьер? «Я не поручусь за то, что любой ваш доклад, сделанный в присутствии Боннэ, не станет на другой же день известен немцам». Вы, Леганье, должны были бы знать это раньше премьера.

— Принимаю ваш упрёк, мой генерал, — делая огорчённое лицо, смиренно проговорил Леганье.

Тон генерала стал снова мягким, как всегда:

— Не принимайте мои слова близко к сердцу. Все, что меня сегодня интересует насчёт Боннэ, — его спекуляции на фондовой бирже.

— Простите, мой генерал?..

— Да, да, вы не ослышались: его биржевая игра, успех которой зависит от наших уступок Гитлеру, — вот и всё.

С этими словами Гамелен стукнул прессом по столу и поднялся в знак того, что приём окончен.

На следующее же утро, как только закончилось совещание начальников отделов, Леганье приказал майору Анри задержаться и изложил ему деликатное поручение: офицер прикомандировывался к министру иностранных дел с задачей информировать бюро о каждом слове господина Боннэ.

— Но предлог, мой генерал? Как смогу я проникнуть в штат господина Боннэ?

— Ему нужен секретарь. Я обещал прислать человека.

Леганье не стал добавлять, что при этом он предупредил Боннэ о том, что посылаемый им человек является офицером секретной службы и что донесения этого офицера он, Леганье, должен будет докладывать Гамелену.

— Генерал-инспектор особенно интересуется вашими сделками на фондовой бирже, — сказал тогда Леганье Боннэ.

— Ах, старый «молчальник»! — со смехом воскликнул министр и

почесал карандашом кончик длинного носа. — Теперь я понимаю, кому обязан последней потерей на пакете «Чешских анилиновых». Старый хитрец! Ну, подожди же!

В присутствии нового секретаря патриотические фразы лились из большого рта Боннэ нескончаемым потоком. При этом министр был уверен, что каждое его слово делается достоянием Второго бюро. Он не подозревал, что большая часть его усилий пропадает напрасно: донесения Анри Второму бюро были кратки и бессодержательны. Исчерпывающие же доклады обо всем, что Анри слышал от чиновников Боннэ, — а слышал он от

них такое, что господин министр
вовсе не был намерен предавать
гласности, — Анри каждое утро
перед отправлением на службу
отдавал человеку, приносившему ему
завтрак из ресторанчика, который
был одним из многочисленных
пунктов связи разведывательной
сети, раскинутой по Парижу
Абетцем.

Отлёт Бена в Лондон освобождал Роу от каких бы то ни было забот. Самому Роу необходимо было задержаться в Оберзальцберге. Секретная депеша шефа, полученная через редакцию «Телеграфа», требовала сведений о предстоящих встречах Гитлера с венграми и поляками. Поляки не беспокоили Роу: связи в польском посольстве в Берлине у него обширные и прочные. Он был уверен, что в случае надобности мог бы за невысокую цену завербовать и самого посла Липского, которому не было большого смысла разыгрывать

невинность в ведомстве министра, заведомо состоявшего на службе если не в трех разведках сразу, то уже в двух-то наверняка — немецкой и французской.

Хуже обстояло дело с венграми. В их государстве англичане не считали нужным держать обширную сеть секретной службы. Но Роу надеялся, что три дня, оставшиеся до свидания Гитлера с Хорти, — срок достаточный, чтобы можно было сварить кашу с таким темпераментным народом, как мадьяры. Так оно и случилось. Через три дня перед Роу уже лежали два плоских футлярчика, похожих на изящно переплетённые записные

книжки. Каждый футляр содержал миниатюрный звукозаписывающий аппарат. Благодаря хорошо оплаченной любезности поляка и венгра аппараты эти, находясь в их карманах, записали каждое слово, произнесённое во время свидания Гитлера с главою фашистской Венгрии Хорти и с польским послом Липским.

Роу не рисковал возить такие вещи на немецких самолётах, поэтому английский лётчик ждал его на мюнхенском аэродроме...

Бен, сидевший у Галифакса как раз в то время, когда принесли этот материал, просмотрел его без

особого интереса, но, едуци домой, подумал, что прочитанное может пригодиться на завтрашнем обеде у Маргрет. Для общества, которое у неё соберётся, такого рода сообщение — сущий клад. Не говоря об Уэллсе, может быть, даже для толстяка Черчилля это явится новостью!

Когда Бен рассказал Маргрет о «гвозде», припасённом на завтра, она со свойственной ей экспансивностью даже потрепала его за ухо.

— Уверяю вас, дорогой, если я приложу некоторые усилия, из вас получится ничуть не худший министр, чем свиновод.

— Умоляю, дорогая, не раньше, чем окончится вся эта кутерьма с

Чехословакией.

— Вы думаете, тогда наступит рай?

— Премьер уверяет: на полстолетие по крайней мере...

— Перестаньте болтать чепуху! — неожиданно раздался над головою Бена пронзительный, скрипучий голос, заставивший его вздрогнуть и испуганно оглянуться.

Маргрет расхохоталась.

— Разве не прелесть? Меня уверяли, что ему триста лет.

Бен скептически оглядел попугая.

— За триста лет можно было научиться чему-нибудь более умному.

— Я прикажу незаметно внести

его перед десертом, когда всем будут угрожать снотворные сентенции Уэллса.

— Старик действительно становится скучноват.

Супруги не виделись до следующего вечера, так как Бен уехал в Грейт-Корт посмотреть на свиней и вернулся только к обеду. Обычно он равнодушно относился к обедам Маргрет, иногда даже досадовал на то, что приходится тратить усилия на поддержание разговоров, которые его мало занимали. Случаи, когда удавалось поговорить о свиньях, он мог перечислить по пальцам, а политика, искусство, жизнь общества — ото всего этого его

только клонило ко сну.

Сегодня совсем иное дело. У него есть новость, которая заставит позеленеть от зависти даже милейшего Черчилля, всю жизнь подтрунивавшего над его неповоротливостью.

Бен с трудом сдерживал нетерпение, когда отворялась дверь и дворецкий докладывал о приходе нового гостя. Краем уха слушал он рассказ Уэллса, недавно вернувшегося с юга Европы, и с беспокойством косился на Маргрет, способную сесть за стол и без Черчилля. Багровая громада Ванденгейма, которого Маргрет демонстративно называла «дядей

Джоном», — он был троюродным братом её матери, — давно заполнила добрую половину диванчика у камина, и его громкий голос покрывал сдержанные реплики министра государственных имуществ Горация Нельсона.

Наконец, едва дворецкий успел скороговоркой произнести: «Мистер Уинстон Черчилль», толстяк стремительно влетел в комнату, сверкая розовым глянцем широкого лица, широкими лацканами смокинга, широкими шёлковыми лампасами брюк, лаком ботинок. Все в нём блестело и лоснилось от самодовольства и уверенности в себе. Сильно выдвинутая вперёд

челюсть, маленькие глазки, свирепо блестящие из-под сдвинутых бровей, немного наклонённая голова — все придавало ему сходство со старым бульдогом. Нехватало только обнажённых клыков и свирепого рычания. Впрочем, оно не замедлило послышаться, едва Черчилль увидел поднявшегося ему навстречу хозяина:

— Об успехе вашей миссии говорит весь Лондон!

Неожиданный комплимент заставил Бена растеряться. Он поспешно искал в нём скрытый смысл, так как не мог допустить, что Черчилль способен сказать что-либо действительно приятное.

Бен обратил на оскалившегося в

улыбке бульдога растерянно-умоляющий взгляд, но после короткой паузы последовало новое рычание, такое громкое, что его слышали все:

— Говорят, ваше дипломатическое приобретение в Чехии весьма удачно: от его скрещивания с йоркширами можно ждать отличных результатов.

И, не обращая внимания на оторопевшего Бена, ещё больше выпятив челюсть, Черчилль устремился к Маргрет.

Обед начался в напряжённом ожидании следующего броска бульдога. Но он пережёвывал пищу, старательно двигая массивной

челюстью, хмурился и молчал. Бену стало неважно удерживать просившуюся наружу сенсацию. При первом удобном случае, как только речь зашла о политическом положении в Европе, он сказал:

— На-днях Гитлер пригласил польского посла для секретного разговора...

По тому, как на миг перестала двигаться челюсть Черчилля, а маленькие глазки метнулись в его сторону, Бен понял, что попал в точку: бульдог ещё не имел этих сведений. Бен заговорил смело:

— Полякам очень хочется, чтобы война между Германией и Чехословакией произошла, потому

что они рассчитывают стащить кость во время драки.

— Из-за этого желать европейской войны? — возмущённо проговорил Уэллс. — Да ведь это значит утратить остатки морали!

— Насколько я понимаю, речь идёт не о героях вашего социального романа, а о Гитлере и Беке, — насмешливо проворчал Черчилль в топорщившуюся у его подбородка накрахмаленную салфетку, но так, что могли слышать все.

Приняв это за неожиданную поддержку, Бен ещё более оживился:

— Канцлер подчеркнул, что если Польша сама откроет военные действия из-за Тешина, Третий рейх

её тотчас поддержит.

— Боннэ скорее умрёт со страха, чем позволит полякам предпринять что-либо подобное, — заметил Нельсон.

При этих словах Ванденгейм нагнулся над столом так, что его салфетка окунулась в соус. Он хотел видеть говорившего. Там, где дело шло о Боннэ, он был кровно заинтересован. Дело Боннэ поддержать в поляках задор, а не мешать им. Свои страхи он может спрятать в карман! За это Джон платил наличными!

Не обращая внимания на спрашивавшую его о чём-то Маргрет, Джон тут же сделал заметку на

манжете: «Телегр. Долл. Б». Это значило, что следует, не откладывая, послать телеграмму Долласу с требованием прочистить мозги французскому министру.

Бен поспешил продолжить своё сообщение:

— Гитлер решительно заявил Липскому, что если Чемберлен не заставит чехов удовлетворить его, Гитлера, требований, то он не остановится и перед вооружённым нападением на Чехословакию.

— А если мы их удовлетворим? — спросил Нельсон.

— Похоже на то, что именно этого он и не хочет.

— Следует ли это

рассматривать, как желание этого варвара зажечь европейскую войну во что бы то ни стало? — спросил Уэллс.

— Война позволила бы ему коренным образом решить вопрос о Юго-Восточной Европе, которая стоит на его пути на восток, — словно это было его собственное мнение, заявил Бен.

— Вполне разумное желание, — сказал Нельсон. — Нельзя же в конце концов не понимать, что Германия не успокоится до тех пор, пока не получит своего.

— Если мы не даём Гитлеру колоний, то нельзя ему отказывать в расширении за счёт Европы, —

вставила Маргрет. — Это нам ничего не стоит и ничем не угрожает.

— Речь идёт кое о чём большем, нежели простой захват куска земли, — глубокомысленно заявил Бен. — Прибалтика, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния — это барьер, который Гитлер хочет водрузить между Европой и большевиками.

— А раз так, у кого поднимется рука мешать ему? — слышался громкий голос Ванденгейма, и он обвёл сидящих за столом налитыми кровью глазами.

Все головы повернулись к нему.

— При всем том, что я никогда не вкладываю в Европу ни одного цента, который не приносит сто

процентов дохода, я не пожалел бы ничего на цемент для надёжного барьера против русских, — сказал Джон.

— Вы хорошо знаете Советскую Россию? — негромко спросил Уэллс, и все же при этом вопросе за столом наступила тишина.

— Да, — безапелляционно заявил Джон.

— Вы бывали там?

— И не собираюсь.

— На месте американцев я попытался бы спасти мир, прокламируя идеи Сталина, а не загораживаясь от них.

— На месте американцев?! — крикнул Ванденгейм. — Почему

англичане не попробуют привить коммунистическую бациллу самим себе?

Уэллс покачал головой и отодвинул тарелку.

— Потому, что мы не можем себе представить никакой другой системы, кроме той, которую в течение семисот лет создавали своими руками на этом острове. Мы слишком стары для новых идей. В этом наша беда.

— Наше счастье! — сердито бросил Черчилль.

Уэллс взглянул на него с сожалением.

— Из-за этого заблуждения мы и погибнем. А Америка молода, она...

Джон прервал его на полуслове:

— Ну, что касается нас, то мы не собираемся погибать и не нуждаемся ни в каких прививках.

— Вы так уверены? — насмешливо спросил писатель.

— Америку оставьте в покое, — отрезал Джон.

Уэллс снова покачал головой.

— Вам не избежать общей участи.

Ванденгейм выдернул из-за жилета салфетку и, комкая её, сказал ещё громче, почти крикнул:

— Так беритесь же за дело, или придём мы!

— Берёмся и притом довольно крепко, — сказал Бен, тоже повисив

на этот раз голос так, чтобы на него не могли не обратить внимания. — Линия правительства ясна: миром должна управлять твёрдая рука. Сэр Гораций лучше меня изложит вам нашу точку зрения.

Все повернулись к Нельсону. Было достаточно широко известно, что он является ближайшим советником Чемберлена и что в действительности многое из того, что большинство считало идеями премьера, было подсказано ему именно Горацием Нельсоном. Но так же хорошо была известна и молчаливость этого истинного кормчего британского кабинета.

Не оставляя вилки и продолжая

маленькими кусочками класть себе в рот лососину, Нельсон негромко и как бы с неохотою неторопливо проговорил:

— Мистер Уэллс прав в одном: если не будет наведён порядок, мир быстро придёт к своему концу. Война и хаос, полное опустошение земель и обнищание народов ждёт Европу, если мы немедленно не возьмёмся за её оздоровление...

— Это непосильно для одной нации, хотя бы такой великой, как наша, — сказал Бен.

— Вы правы, — меланхолически согласился Нельсон. — Особенно учитывая ужасающую раздроблённость Европы

на десятки мелких государств-карликов.

— Это ужасно, — живо откликнулся Бен. — На вопросах свиноводства можно ярко показать, что...

Но Маргрет без стеснения прервала его:

— Бен, здесь никто, кроме вас, в этом не разбирается!

Бен обиженно замолчал.

— Сэр Гораций, — пригласила Маргрет, — вы говорили о государствах-карликах...

— О карликах, которые вносят только беспорядок во всякую попытку упорядочить дело. Всякие там Чехии, Румынии и тому

подобные рассадники беспорядка, вообразившие, будто вопрос о фикции, которую они называют национальным суверенитетом, должен нас беспокоить больше, чем забота о рынках.

— Проблема рынков действительно очень осложнилась с тех пор, как Россия объявила монополию внешней торговли, а в Китай все глубже проникают японцы, — глубокомысленно заметил Бен.

— Слишком глубоко лезть мы им не позволим, — возразил Джон.

— Если вопросы России и Китая как наших рынков не будут разрешены в течение ближайшего

десятилетия, мы задохнёмся, — сказал Бен.

— Нас спасут колонии, — сказала Маргрет. — У нас их теперь больше, чем когда-либо.

Челюсть бульдога выпятилась так, что обнаружила ряд зубов. Это были, правда, не жёлтые клыки, а белые, как снег, фарфоровые изделия дантиста, но выражение лица Черчилля стало все же крайне угрожающим.

— Мне не нужны даже три четверти мира, пока существует Россия! — прорычал он.

— Тем скорее вы должны признать правоту правительства, стремящегося в первую голову

покончить именно с ней, — ехидно вставил Нельсон.

Черчилль фыркнул так, что взлетел конец заправленной за его воротник салфетки. Складка на его затылке налилась кровью.

— Мистер Чемберлен ещё в колледже страдал недостатком логики. Чтобы уничтожить Красную Армию, её следовало бы именно сейчас сравнить с немцами.

— Не смеем не отдавать должного вашему опыту в деле борьбы с Красной Армией, но мы вынуждены считаться и с тем, что немцы не готовы, — вкрадчиво ответил Нельсон. — Русские снова могли бы выйти победителями.

— Вашим делом было бы не допустить нашего вторичного провала.

— Ваш личный опыт должен вам подсказывать, что тут опять можно просчитаться, — с ещё большим ехидством сказал Нельсон.

Черчилль прорычал что-то грозное, но неразборчивое. Нельсон же невозмутимо продолжал:

— А какова была бы реакция всего мира, если бы русские оказались спасителями Европы? Можно себе представить, как бурно расцвели бы в ней коммунистические идеи!

— В Англии этого никогда не могло бы случиться, — проворчал

Черчилль. — Да и вообще вы неверно представляете себе картину. Россия могла бы прийти к победе только в состоянии полной обескровленности, экономической разрухи и политического развала. В таком виде она не была бы страшна никому. — Он энергично ткнул в воздух вилкой. — Ни она, ни её идеи!

— Годы не умилили вашего оптимизма, — усмехнулся Нельсон.

Черчилль в бешенстве оттолкнул тарелку.

— Чтобы бросить Германию на Россию, нужно оставить кое-какие приманки прозапас, а вы, кажется, решили выдать Германии все авансом. Это ошибка.

— Иначе Гитлер бросится на нас прежде, чем мы заставим его повернуть на восток.

— Если речь идёт о том, чтобы успокоить Германию, — с тревогой проговорил Уэллс, — то я предпочёл бы отдать ей всю Чехословакию, нежели кусочек Британской империи. — Он обвёл всех взглядом выцветших усталых глаз. — Тем более, что все это имеет очень временное значение. Мир идёт к концу. И не все ли равно, как он к нему придёт.

— Так шли к упадку великие цивилизации Азии и на их месте появлялись колонии Европы, — громогласно произнёс Джон

Третий. — Так идёт к своему упадку Европа, чтобы стать колонией Америки.

Дворецкий наклонился к уху Бена. Бен поднялся:

— Прошу прощения, джентльмены: премьер у телефона.

В течение нескольких минут, что отсутствовал хозяин, в столовой царило насторожённое молчание. Было слышно только позвякивание сменяемой лакеями посуды. Когда Бен, наконец, вошёл, все взглянули на него с нескрываемым любопытством. Он остановился в дверях, интригуяюще оглядывая гостей.

— Послу его величества в Праге предложено предъявить Бенешу

условия капитуляции Чехословакии.

Пальцы Уэллса, барабанившие по столу, на мгновение замерли, потом он испуганно поднёс руку к губам.

А Бен, сделав рассчитанную на эффект паузу, сказал:

— Ньютон сделает свой демарш вместе с французским послом. Они заявят Бенешу, что если он не примет англо-французских условий, то весь мир признает его виновником неизбежной войны.

— Неизбежной войны... — едва слышно прошептал писатель.

— Послы скажут президенту, что если чехи объединятся с русскими, то война примет характер

крестового похода против
большевиков.

Уэллс поднял руку к глазам.

— Закат Европы начинается...

— Правительства Англии и
Франции не смогут остаться в
стороне от такого похода, —
закончил Бен. — Они должны будут
выступить.

— На чьей стороне?! — в страхе
воскликнула Маргрет.

— Разумеется, немцев, —
успокоил её Нельсон.

— И да благословит их тогда
господь-бог! — с облегчением
воскликнула Маргрет.

— Аминь, — торжественно
провозгласил Ванденгейм.

Оттуда, где стоял высокий буфет,
послышался пронзительный,
скрипучий крик:

— Перрестаные боллтать
чепухху!

Второй день они сидели на аэродроме. Больше других доставляла Ярошу хлопот пани Августа. Она не переставала досаждать и Кропачеку, находя все новые и новые поводы для слез и упрёков. Слушая её, можно было подумать, что добродушный директор виноват даже в том, что Вацлавские заводы оказались в спорной зоне, и уж во всяком случае его виною было то, что гитлеровцы не желали оставить его директором.

Сдерживая бешенство, осунувшийся и даже похудевший, Кропачек бегал из угла в угол тесной

каморки, снятой за большие деньги у аэродромного сторожа. Располагая этой комнаткой, Кропачеки могли считать себя счастливцами. Насколько хватал глаз, вокруг всего огромного аэродромного поля, защищённые от холода только забором, прямо на размокшей от дождя земле ютились толпы беженцев. Тысячи лихорадочно горящих глаз завистливо следили за изредка взлетавшими самолётами. Подавляющему большинству этих людей разум давно должен был подсказать, что ждать на аэродроме совершенно бесполезно: на борт отлетающих за границу машин попадали почти исключительно

иностранцы. Французы, англичане и американцы, чьи правительства были истинными виновниками огромного несчастья чешского народа, спешили первыми покинуть страну, которой угрожало нашествие гитлеровцев. Они сустились у самолётов, нагруженные чемоданами и картонками, боясь поднять глаза, чтобы не встретиться с ненавидящими взглядами тысяч несчастных, предательски покидаемых ими на произвол гитлеровских орд.

Но что было делать беженцам, когда поезда проходили через городок, уже набитые людьми доотказа? Итти пешком? Сотни

километров? Это были первые беженцы от гитлеровских орд. Люди ещё не знали, что настанет время и в их собственной стране и во многих других странах Европы, когда детские коляски и тачки будут продаваться за бешеные деньги, как единственные средства для перевозки домашнего скарба. Они ещё не знали, что придётся ходить пешком, с мешком за плечами, — и ходить при этом быстро, не по асфальту шоссе, а по грязи обочин и лесным тропам, чтобы не сделаться жертвой немецких лётчиков, из чисто спортивных побуждений охотящихся за беглецами.

Люди ещё не видели этого в

прошлом и не угадывали в будущем. Они сидели на своём тяжёлом скарбе, наивно воображая, что самолётов и поездов должно хватить для всех желающих покинуть родные места. Должно!.. О чем они думают там, в Праге?

По сравнению с ними Кропачек мог чувствовать себя счастливым. Не только потому, что над его головою была крыша, но главным образом потому, что он был уверен: его ждёт самолёт, он улетит во Францию, куда немецкие власти обещали пропустить его через территорию Австрии. И в самом деле, было бы просто смешно, если бы ему, директору Вацлавских заводов, не

удалось резервировать для себя самолёт, просто смешно. Удивительно было, конечно, что ему не удалось получить для своего самолёта бензин, но этот товар перестал продаваться, а мальчишка, посланный на завод к Штризе с запиской Кропачека об отпуске бензина из заводской кладовой, как сквозь землю провалился.

Наконец он вернулся, но вместо разрешения на бензин принёс записку Марты, написанную по-немецки. Кропачек отказался взять её в руки.

— Девчонка хочет лететь с нами? — спросил он жену.

— А ты разучился читать?

— По-немецки? Разучился, — решительно заявил он. — И никогда больше не научусь. Клянусь господом-богом.

— Сумасшедший, настоящий сумасшедший!

Воздев руки к небу, пани Августа взяла записку. Марта просила улетать как можно скорее.

Пани Августа просительно проговорила:

— Может быть, ты сам пойдёшь поговоришь с нею? А, Янушку?.. Нам было бы лучше остаться здесь.

— Остаться здесь? — Кропачек остановился перед женой. — Остаться здесь?..

Он больше ничего не мог

выговорить.

— Пойди поговори с девочкой, — робко попросила жена.

— Говорить с нею? — Маленькая фигурка Кропачека, утратившая всю свою жизнерадостность, стала олицетворением злобного отчаяния. — Говорить?.. О завтрашней погоде?.. Может быть, о модах?..

— Сумасшедший! Настоящий сумасшедший!

— Я не хочу, ни о чём не хочу с нею говорить, пока она не придёт сюда и не скажет, что желает остаться честным человеком, что она остаётся моею дочерью, чешкой...

Да, да, именно так: остаётся чешкой. Чешкой, чешкой!..

Он продолжал, как одержимый, твердить одно и то же и, охватив голову руками, прислонился к раме маленького окна, за которым тускнел осенний день.

Пани Августа оглядела его согнутую спину, на которой обвисавший непомерно широким пиджак.

— Так я пойду одна, — как ей казалось, решительно, но в действительности жалко проговорила она.

Он не обернулся.

— Я пойду и скажу нашей девочке, что у неё нет больше отца,

что... — и она прижала к губам платок.

— Открой ей такую Америку. — Кропачек через силу рассмеялся. — Как будто не сама она заявила нам это.

— Но ты же видишь, девочка хочет нам добра.

— Я не нуждаюсь в помощи гитлеровцев.

— Янек!

— Мне помогут мои руки и моя голова.

— Ах, Януш, Януш!.. — Августа покачала головою. — Ты стал таким непримиримым. Пауль тоже хочет нам добра. Кто, кроме Пауля, может теперь нам помочь?

— Пусть Марта оставит его помощь себе. Так и передай ей: мне ничего не нужно ни от неё, ни от этого её негодяя. — И крикнул вслед, приотворив дверь сторожки: — Имей в виду: каждую минуту может найтись бензин, и мы немедленно вылетим... Ведь правда, Ярош?

— Да, — сумрачно отозвался Ярош.

— Но вы же можете подождать ещё час... Можешь ты пожертвовать один час твоему ребёнку?! — с негодованием воскликнула Августа, но Кропачек не ответил и с треском захлопнул дверь за женой.

Некоторое время царило молчание, потом дверь осторожно

приотворилась и в сторожку заглянул старый Ян Купка — механик силовой станции.

— Здравствуй, сынок, — сказал он, обращаясь к Ярошу. — Пришёл узнать, уже не надумал ли и ты улетать?

— Что вы, отец?! — И Ярош обиженно пожал плечами.

— То-то!

Взволнованно шагавший по сторожке Кропачек остановился как вкопанный.

— Может быть, ты, старый приятель, — с оттенком неприязни сказал он механику, — думаешь, что и мне не следует покидать Чехию?

Старик усмехнулся.

— Чтобы узнать мой ответ, пан директор, вам достаточно было бы посчитать чемоданы, с которыми я сюда пришёл. — И он широко расставил пустые руки.

Кропачек невольно покосился на груды своего багажа, наваленного в углу сторожки. Механик поймал его взгляд и рассмеялся.

— Не смущайтесь: не вы первый, не вы последний.

— Ты говоришь это так, словно... укоряешь нас.

— Укоряю?.. — Старик пожал плечами. — Стоит ли, директор? Чему это поможет, что поправит? Разве от моих укоров что-нибудь стало бы на место? Если я кого-

нибуть и стану укорять, так только самого себя.

— Уж ты-то ни в чём не виноват, старина!

— В том-то и беда, директор, что виноват, крепко виноват! Пойми я несколько лет тому назад, где настоящая правда, не бывать бы тому, что происходит.

— Ишь ты! — насмешливо проговорил Кропачек. — Достаточно было бы одному такому орлу, как Ян Купка, взяться за дело и...

— Не смейтесь, пан директор, — с укоризною проговорил механик. — Вы, небось, понимаете, что я говорю не об одном себе. Таких старых ослов, как я,

оказалось, к сожалению, очень много. Но вам не к лицу смеяться. Всю жизнь вы провели среди рабочего люда и ничего не поняли в происходящем. Это простиительно мне, простому механику, а не такому образованному человеку, как вы, пан директор.

— Куда ты клонишь, старина? — насторожённо спросил Кропачек.

— Оба мы не углядели настоящей дороги, по которой следовало идти, чтобы не стать дермом, которое Хенлейн теперь топчет ногами. Вспомните-ка, директор, время, когда мы с вами покидали социал-демократическую партию. Что говорил тогда нам

обоим он? — При этих словах механик кивком указал на молча сидевшего Яроша. — Эх, сынок, сынок, стыдно тебе, небось, за своего старика!

— Перестань, Ян! — Кропачек сердито топнул ногой. — Не хочешь же ты сказать, будто раскаиваешься, что не пошёл с коммунистами?

— Да, директор, именно это-то я и считаю своей виной. Вам-то, конечно, было бы со мною не по пути...

— Что ж, старина, — Кропачек обиженно надулся, — значит, теперь наши дороги разошлись. А ведь когда-то... когда-то мы с тобою были социал-демократами...

Механик прервал его
протяжным свистом:

— Фью-ю! О тех временах я и думать не могу, не краснея. Да и немудрёно покраснеть, вспоминая, что всю жизнь ты, как баран, на верёвочке ходил по указке жуликов, уводивших тебя от настоящего дела.

— Кажется, ты не можешь пожаловаться на то, что плохо поработал в своей жизни.

— Поработал-то я не хуже других, но все в чужую пользу.

— Мы с тобою трудились на одного хозяина! — не без гордости произнёс Кропачек.

— Этого-то мне и стыдно. Вот этими руками всю жизнь подкидывал

кроны в карман каких-то акционеров, которых даже в глаза не видел.

— Ну, в этом-то отношении мы с тобою в одинаковом положении.

— Не совсем, уважаемый пан директор, не совсем. Вы-то, по крайней мере, были участником в деле.

Кропачек насторожился.

— Что ты имеешь в виду?

— Только то, что вы за свою службу получили от хозяев хорошую пачку акций, а я вот что, — и старик соорудил комбинацию из трех пальцев. — Да я тужу не об этом. Мне многого и не нужно. Ярош в наследстве не нуждается, у него своя

голова. А вот плохо, что, работая на толстосумов, я забыл о своём настоящем рабочем деле, о том, что я не единственный рабочий на свете. Вот что, директор!

Кропачек с усмешкою положил руку на плечо Яроша:

— Вижу — твоя работа! Хорошо, что я в своём доме запретил тебе говорить о партийных делах. А то бы ты и меня распропагандировал так, что, чего доброго, и я стал бы коммунистом.

— Может быть, и плохо, что этого де случилось, директор! — сказал старый Купка. — Не бежали бы вы теперь из своей страны, как крыса с тонущего корабля.

— Но, но, ты, старина, полегче!
Тебе-то на меня грех жаловаться.

— Если не считать того, что вы всех нас крепко обманывали.

— Ты в уме? — Кропачек побагровел от негодования.

— Всю жизнь вы толковали нам, что мы работаем на нашу республику, а вот теперь мы вдруг узнали, что дело не столько в нашей Чешской республике, сколько в американских биржевиках, которые сцапали контрольный пакет Вацлавских заводов.

— Кто сказал тебе такую чепуху?! — крикнул Кропачек, но в голосе его звучало больше смущения, чем решительности.

— Уж кто бы ни сказал...

— Тоже, может быть, господа коммунисты?

— Может быть, и коммунисты, — с улыбкою ответил механик.

— А если бы это и было правдой, так что тут плохого? — подбоченясь, спросил Кропачек.

— А что хорошего, ежели чешскими заводами распоряжаются янки?.. Сегодня заводы, завтра банки, послезавтра парочка-другая министров, а там, глядишь, и вся Чехословакия окажется в кармане иностранных торгашей. Может быть, так оно уже и вышло. Оттого и очутились мы теперь в таком

положении, что сами себе не принадлежим, а?

Кропачек сумрачно молчал, отведя взгляд от собеседника.

Тут впервые подал голос Ярош. Он говорил негромко, сосредоточенно глядя себе под ноги.

— Нет, отец, тут ты не прав. Сколько бы усилий ни прилагали иностранцы к тому, чтобы захватить нашу страну, она никогда не будет им принадлежать. Её единственным законным хозяином всегда был, остаётся и будет во веки веков чешский народ.

Старый Купка лукаво покосился в сторону Кропачека.

— И те, кто бросает родину в

эти дни, они тоже будут хозяевами? — спросил он.

Ярош молча покачал головой.

— Я тоже так думаю, сынок, — сказал механик. — И убей меня бог, ежели я поверю, что праздник будет на их улице. Никакие американцы, ни кто бы то ни было другой, кто заинтересован в наших нынешних делах своим карманом, не поможет им спасти свои шкуры. Уж это как пить дать. Верно, сынок?

Ярош ответил таким же молчаливым кивком, и в сторожке наступила напряжённая тишина, в которой отчётливо слышалось сердитое сопение Кропачека.

Внезапно дверь порывисто

распахнулась и на пороге появился Гарро. Он сумел сохранить не только бодрость духа, но и вид человека, уверенного в себе, в будущем, в жизни. Его смуглое сухое лицо не отражало даже усталости, хотя именно на его долю выпали все хлопоты с визами и пропусками друзей.

Он вошёл в сторожку, потрясая над головой пачкою бумаг.

— Я вам говорил: все будет в наилучшем порядке.

— Французская виза? — бросился к нему Кропачек.

— Я ни минуты в ней не сомневался.

— Ещё бы! — сразу

приободрясь, воскликнул
Кропачек. — Моё имя достаточно
известно деловой Франции.

— К сожалению, нет времени,
чтобы достать визы для иного пути,
как только через Австрию.

— Полетим хотя бы через ад.

— Мне такой путь не очень
нравится, — усмехнулся Гарро. — Я
предпочёл бы отправить вас
кружным путём.

— Не имеет значения, не имеет
значения, — твердил Кропачек,
рассматривая документ. — Ярош!
Как быть с бензином?

— Бензин есть, — сказал
Ярош, — сейчас заправим.

Он поспешно вышел, чтобы не

оставить директору времени для вопросов. Пришлось бы признаться, что бензин он решил перекачать из собственной машины, которая должна была перевести самого Яроша в Прагу. Пришлось бы сказать, что ему вообще не нужно лететь в Прагу, так как он остаётся здесь, записавшись добровольцем в армию, которой предстояло защищать родные горы. Он остаётся вместе с товарищами, которые стали ему ближе всей родни, ближе дяди Яна и даже... да, даже ближе и дороже Марты. Это были Гарро, Даррак и Цихауэр, уже оформившие переход в чехословацкое подданство ради того, чтобы иметь право сегодня же

вечером явиться на армейский сборный пункт.

Выйдя из сторожки, Ярош по привычке оглядел серый горизонт и в сомнении покачал головой: погода не внушала доверия. Тем не менее самолёты садились и взлетали. Ярош направился к своей машине. Через полчаса бензин был перекачан, и Гарро повёз к самолёту на своей «татре» Кропачека с грудой чемоданов. От возбуждения лицо директора покраснелось, усы растрепались. Сопя и смешно семеня короткими ногами, он помогал грузить багаж. Ярош вместе с пилотом в последний раз осматривал машину.

— Можете прогреть моторы! — крикнул Крсшачек лётчику в крайнем возбуждении.

— А пани Кропачек? — удивился пилот.

Кропачек сделал решительное лицо:

— Я ей сказал: один час.

— Не хотите же вы сказать... — в нерешительности начал было Ярош, но директор перебил его:

— Именно это я и хочу сказать! Да, да, не смотри на меня, как на сумасшедшего.

Кропачек пытался закурить сигару, по руки его так дрожали, что он только раскрошил её и раздражённо бросил. Тут раздался

испуганный возглас пилота:

— Кто-то выкачал масло из моего бака!

Ярош побежал к зданию склада. Вернувшись, он, не обращая внимания на протянутый Кропачеком бумажник, обратился к Гарро:

— Кладовщик предлагает масло в обмен на вашу «татру».

Кропачек возмущённо закудахтал, но Гарро вскочил в автомобиль и умчался с Ярошем. Они вернулись с маслом в запломбированных бидонах. За рулём «татры» сидел немец с налитой кровью физиономией, — такою же красной, как шарф вокруг его шеи.

Как только бидоны были вынуты, он, не сказав ни слова, угнал автомобиль. Гарро добродушно расхохотался:

— Даже не извинился в том, что ограбил нас.

— Вы так и не сказали мне, сколько стоит ваша «татра»? — обеспокоенно проговорил директор, все ещё держа в руках бумажник.

Гарро беспечно отмахнулся:

— Рассчитаемся, когда я приеду в Париж.

Ярош давно уже не следил с таким трепетом за стрелками приборов, как в те минуты, когда пилот грел моторы. Привычные прикосновения к рычагам

управления казались Ярошу полными нового смысла: быть может, он касается их последний раз в жизни... И кроме того... кроме того, в душе его ещё не угасла надежда на то, что пани Августа вернётся с Мартой. Марта улетит с родителями прочь от всего, что может ждать её тут, прочь от ненавистного Пауля. Марта придёт!.. Она не сможет не прийти!

На аэродроме слышались шум и крики. Толпа беженцев заволновалась. В ней замелькали каски полицейских. Из уст в уста передавалась невероятная весть: власти очищают аэродром от чехов. Таково требование англо-французской комиссии. Сюда будут

садиться только её самолёты. Отправлять отсюда будут только иностранцев.

Беженцы яростно сопротивлялись полицейским, выкидывавшим их чемоданы за забор. Женщины пускали в ход зонтики, мужчины — палки и кулаки. Людей было слишком много, чтобы полиция могла что-нибудь сделать. В распахнувшиеся ворота въехали грузовики с войсками. Но когда солдаты узнали, зачем их привезли, они принялись со свистом и бранью ударами прикладов выгонять полицейских с аэродрома. Беженцы в восторге приветствовали солдат. Ярош понял, что нужно

спешить.

— В вашем распоряжении считанные минуты, — сказал он Кропачеку. — Что делать с пани Августой?

Кропачек, ещё несколько минут тому назад уверявший, что не станет ждать ни одной секунды сверх назначенного часа, теперь совершенно растерялся. Его пугали не опасности, которым мог бы подвергнуться он сам, оставшись здесь. Нет, страшно было подумать, что могут остаться неулаженными все дела, связанные с переходом завода к немцам, нарушиться его связи с французскими деловыми кругами. Он растерянно смотрел то

на Яроша, то на Гарро и, бессмысленно суется, бегал вокруг самолёта.

Внезапно он преобразился. Растерянность как рукой сняло. Он широко расставил коротенькие ножки, заложил руки за спину и с видом победителя уставился в поле.

— Один час и ни секундой больше! — торжествующе воскликнул он к общему удивлению. — Прошу готовиться к старту.

Но стоило Ярошу посмотреть в направлении его взгляда, как он понял все: по грязи поспешно шагала Августа. Тут и Ярош едва не вскрикнул от радости: за матерью

следом шла Марта... Значит, Марта летела с родителями!

Когда женщины подошли к самолёту, винты уже медленно вращались под мелодичное позванивание моторов. Избегая устремлённого на него взгляда дочери, Кропачек сам приставил к борту стремянку и протянул руку, намереваясь помочь жене войти. Но Августа решительно повернула его лицом к Марте.

Отец и дочь стояли друг против друга, опустив головы.

— Ну же, Марта, — сказала Августа.

— Пауль сказал, что... — начала было Марта.

Но отец не дал ей говорить:

— Пауль сказал?! — Он едва не задохнулся от гнева. — Пауль сказал! Передай, что он может убираться ко всем чертям. Я даже не хочу знать, что он сказал. — Он в отчаянии схватился за голову. Шляпа покатилась в грязь. Махнул рукой жене: — Садись! — Видя, что она колеблется, гневно повторил: — Садись же! — И обернувшись к пилоту: — Старт!.. Прощу старт!

Он схватил за руку Августу и потянул её к стремянке, но она вырвалась и, рыдая, прильнула к Марте.

— Ты должна лететь... ты должна лететь... — бормотала она,

захлёбываясь слезами.

Марта стояла неподвижно, устремив пустой взгляд в пространство — мимо отца, мимо самолёта, мимо стоявшего около него Яроша. А Ярош едва сдерживал желание схватить её и бросить в отворённую дверцу. Он никогда не представлял себе, что человек может являть собою такое яркое олицетворение душевного опустошения, каким была стоявшая перед ним Марта.

Наконец она нерешительно потянулась к отцу.

— Прости меня...

И заплакала.

Ярош привык видеть Марту

сильной, уверенной в себе, иногда даже немного высокомерной. Ему было невыносимо смотреть, как она стоит с протянутой, словно нищенка, рукой и слезы текут по её ввалившимся, побледневшим щекам. И он с удивлением подумал: как это может Кропачек стоять и смотреть на неё и не протянуть ей руки?

Впрочем, Кропачек недолго сумел выдержать суровый вид. Он обеими руками схватил голову дочери и прижал к своему плечу... Плечи его вздрагивали, так же как плечи Марты.

Он взял Марту под руку, подвёл к лесенке и подтолкнул к самолёту. Его губы дрожали, и он только мог

прошептать:

— Ну...

— Я не должна, не должна... — лепетала она, вцепившись в поручни.

Не помня себя, Ярош подхватил Марту сзади и втолкнул в пассажирскую кабину. Судорожно всхлипывая, протиснула в дверцу своё грузное тело и пани Августа. Последним проворно взбежал Кропачек.

— Вот так, вот так... — бормотал он, сквозь слезы улыбаясь Ярошу.

Ярош захлопнул дверцу и махнул пилоту. Тот дал газ и медленно зарулил к старту.

Но ещё прежде чем он вырулил

на бетонную дорожку, дверца самолёта отворилась и из неё выпрыгнула Марта. Она упала, сделала попытку подняться, чтобы отбежать в сторону, но пилот уже дал газ. Поднятый винтами вихрь грязи ударил Марту, она снова упала. Самолёт побежал.

На секунду вихрь брызг скрыл от Яроша и удаляющийся самолёт и распростёртую на земле, рыдающую Марту.

Чемберлен сидел усталый, равнодушный. Его длинное худое тело так глубоко ушло в кресло, что голова оказалась много ниже высокой готической спинки. Ему было неудобно, хотелось откинуться, но прямая спинка мешала. От этого он совершал головой странные, беспомощные движения. Взгляд бесцветных старческих глаз был устремлён прямо на жёлтое лицо Флеминга, но тот не мог бы сказать с уверенностью, что премьер его видит. Временами голос Флеминга повышался, тогда во взгляде Чемберлена мелькало что-то вроде

испуга и выражение его лица делалось несколько более осмысленным, но по мере того, как снова затихал голос секретаря, черты лица премьера принимали прежнее отсутствующее выражение.

Премьер старался сдерживать одолевавшую его нервную зевоту. Насколько хватало сил, он внимательно слушал нового секретаря, которого ему подсунул Бен. Бен уверял, будто, имея рядом с собой этого человека, можно отказаться от собственной памяти. Будто бы однажды сказанное при Флеминге или прочитанное им может быть воспроизведено им в любой момент и в точном контексте.

Перед тем как отправиться на совещание, Чемберлен хотел освежить в памяти всё, что относилось к чехословацкой проблеме, восстановить содержание переговоров и тексты решений, предложений и нот, посланных чехам и полученных от них.

— Слава всевышнему! Сегодня этой возне со строптивым народцем будет положен конец!

Взгляд Чемберлена равнодушно скользнул по массивной фигуре Флеминга, по его большому, с нездоровой жёлтой кожей лицу с резко выдающимися скулами и тёмными мешками под глазами.

— Вы нездоровы, Флеминг? —

ни с того, ни с сего спросил премьер, прерывая доклад, от которого ему неудержимо хотелось спать.

— Тропическая лихорадка, сэр.

— Где вы её подцепили?

— На Новой Гвинее, сэр.

— Стоило ездить этакую даль за таким товаром.

— Я привёз ещё отличную коллекцию бабочек, сэр.

При этих словах взгляд Чемберлена заметно оживился, и он выпрямился в кресле.

— Вы говорите: бабочки?

— Совершенно удивительные экземпляры, сэр.

— С Новой Зеландии?

— С Новой Гвинеи, сэр.

Чемберлен посмотрел мимо уха Флеминга на видневшуюся за высоким окном светлую голубизну осеннего баварского неба. Он мечтательно улыбнулся.

— Я вам признаюсь, Флеминг: в раннем детстве я любил бабочек.

— В этом нет ничего предосудительного, чтобы делать из этого тайну.

— Да, но понимаете, — Чемберлен бессмысленно хихикнул, — мне тогда казалось, что мальчику должно быть очень стыдно носиться по полям с сачком и потом восхищаться красотой насаженных на булавки крохотных разноцветных существ... Честное слово, из-за этого

стыда я отказывал себе в удовольствии ловить бабочек. Это было моею тайной, никогда не удовлетворённой страстью, хе-хе... А вы их много наловили?.. Да вы садитесь, почему вы стоите?

— Благодарю, сэр. Отличную коллекцию. Когда я преподносил её в дар Ботаническому музею, то мне сказали, что у них никогда ещё не бывало такого экземпляра. *Troides meridionalis* Rothsch.

Чемберлен приставил ладонь к уху:

— Как вы сказали?

— *Troides meridionalis* Rothsch, изумительный вид.

Чемберлен оживился и заёрзал в

кресле.

— Очень интересно, Флеминг, чрезвычайно интересно!

— Если это вас действительно интересует, сэр, я буду рад поднести вам мою печатную работу о бабочках Гвинеи. — Флеминг скромно потупился. — Она удостоена Малой бронзовой медали Королевского общества.

— Это все необыкновенно интересно! — Чемберлен сделал попытку приподняться с кресла. — Как только мы покончим с этими скучными делами и вернёмся в Лондон, вы непременно должны показать мне вашу работу.

— Вы очень любезны, сэр.

— Может быть, я займусь ещё бабочками, а? Как вы думаете, Флеминг?

— Это очень увлекательно, сэр.

— Действительно, что может мне помешать заняться тем, что мне нравится?.. Жаль, что у меня не будет времени побывать на Новой Гвиане.

— Гвинее, сэр.

— Я и говорю: Гвинее, у вас неладно со слухом... Но я думаю, что при удаче и в Англии можно поймать недурные экземпляры. Я видел бабочек даже в Ричмонде... Я вам очень благодарен, Флеминг, вы вернули меня в далёкое детство...

Он не договорил: без доклада, как свой человек, вошёл Нельсон.

— Несколько слов, сэр.

— Прошу, Гораций, прошу.

Нельсон повёл глазами в сторону Флеминга.

— Вы свободны, Флеминг, — послушно промямлил премьер.

— Прилетел господин Даладье, — сказал Нельсон, когда Флеминг вышел. — Я передал ему ваше желание повидаться в частном порядке, прежде чем начнётся конференция.

— Я выражал такое желание?

— Сегодня утром.

— Ну что же... это очень умно, очень.

— Кому прикажете присутствовать, сэр?

— Нет, нет, Гораций. Никаких секретарей, никаких записей, совершенно частная и доверительная встреча.

— Если позволите, я проведу Даладье сюда так, что о встрече, кроме нас троих, никто не будет знать...

— Именно так, Гораций, именно так... Вы одобряете мою идею, Гораций?

Чемберлен беспокойно заёрзал в кресле.

— Мне нужно несколько минут, чтобы переменить воротничок. В последнее время у меня стала потеть шея.

— Вы уже говорили мне, — с

досадою, морщась, сказал Нельсон. — Я советовал вам поговорить с врачами...

— С врачами? Прекрасная идея. Пусть врач придёт, я должен с ним поговорить. Это отвратительно: вечно мокрый воротничок.

Нельсон терпеливо ждал, когда он кончит болтать, потом невозмутимо сказал:

— Через пять минут я приглашу господина Даладье.

— Даладье? Ах, да, Даладье, а я думал — вы о враче.

Когда Нельсон вернулся с Даладье, на Чемберлене был свежий стоячий воротничок необыкновенной вышины,

казавшийся все же слишком низким для его морщинистой жёлтой шеи.

Даладье старался придать значительность выражению своего неприветливого мясистого лица, которое считал похожим на лицо Наполеона. Каждое движение его тяжёлого, грубо срубленного тела было исполнено сознанием важности миссии, определённой ему историей.

Едва обменявшись с ним несколькими словами приветствия, Чемберлен заговорил о беспокойстве, которое ему внушает предстоящее свидание.

— Что ещё может выдумать Муссолини?

— Какие бы предложения он ни сделал, — меланхолически заявил Даладье, — я заранее с ним согласен.

— Давайте условимся, — несколько оживившись, сказал Чемберлен: — обещаем дуче принять всякое его предложение. А в дальнейшем будет видно, что из наших обещаний стоит выполнить.

— Выполнить придётся все, без чего нельзя умиротворить Гитлера, — с важностью произнёс Даладье.

— Да, да, именно так: умиротворить его, умиротворить во что бы то ни стало. Я совершенно убеждён: если мы не достигнем соглашения, он завтра откроет

военные действия.

— И вместе с тем я верю в искренность его желания установить твёрдый порядок в Средней Европе, что вовсе не противоречит и нашим намерениям. Твёрдый порядок!

— А возражения чехов?

Морщины, собравшиеся вокруг рта и носа Даладье, превратили его лицо в безобразную маску. У французского премьера это называлось улыбкой.

— Известен ли вам в юридической практике случай, когда суд спрашивал у приговорённого согласия быть обезглавленным?

Но Чемберлену было не до шуток. Ему не давал покоя страх,

испытываемый перед реакцией английского народа на происходящее. Ведь с этой реакцией ему придётся столкнуться по возвращении в Лондон. Он не был уверен в том, что рядовой англичанин, воспитанный на парламентско-демократической фразеологии, простит ему преступление, замышляемое сегодня против Чехословакии.

— Канцлер не понимает, что я не могу вернуться в Лондон с решением, которое хотя бы внешне не будет приемлемо для общественного мнения Англии, — пожаловался Чемберлен. — Гитлер не хочет этого понять. Он требует все больше и больше, — ворчливо

проговорил он. — И я вынужден уступать и уступать, не считаясь ни с чем.

— Надеюсь, в этом смысле дуче будет на вашей стороне. Я восхищён его идеей собрать нас тут, в Мюнхене, для решительного разговора.

— Я все же сожалею, — сказал после некоторого молчания Чемберлен, — что Гитлер не пригласил сюда ни одного чеха, с которым можно было бы посоветоваться в случае затруднения.

— Никаких затруднений нет и не должно быть. — Даладье разрубил воздух решительным движением смуглой, поросшей чёрными

волосами руки. — Если мы скажем «да», то о чём же спрашивать чехов?

— Речь идёт о важнейших укреплениях в Судетских горах! Отдав их немцам, мы делаем чехов совершенно беззащитными.

— Эти укрепления были нужны нам не меньше, чем чехам. Недаром же французы называли их «южной линией Мажино». И если я решаюсь отдать их, при чем тут чехи? — Даладье высоко поднял толстые, словно набитые ватой, плечи. Он пошевелил в воздухе короткими волосатыми пальцами, как будто пытаясь ухватить ускользавший от него довод. — Разве мы не были правы тогда, в деле с Испанией, когда

вас меньше всего интересовало мнение самих испанцев? — Он исподлобья посмотрел на Чемберлена, но, не дождавшись ответа, продолжал: — Мы с вами до сих пор не были бы уверены, что испанский вопрос исчерпан, если бы стали слушать Альвареса дель Вайо и других... Не хотите же вы повторения такого спектакля и с этими... с чехами!.. Все складывается чрезвычайно удачно; дело можно, повидимому, закончить — трик, трак! — И он, как фокусник, прищёлкнул пальцами: — Трик-грак!

— Прага может заупрямиться. Бенеш в отчаянии может броситься в объятия русских.

— К счастью, аграрии достаточно сильны, чтобы не допустить такого оборота дел.

Даладые встал и прошёлся, без стеснения потягиваясь. Он остановился напротив британского премьера, расставил толстые ноги и, засунув одну руку сзади под пиджак и без церемонии почёсывая поясницу, другою похлопал себя по губам, желая показать, как ему скучно от этих разговоров.

— Будем откровенны, — с развязностью проговорил он. — Важно, чтобы все было решено как можно быстрее, прежде чем чехи действительно успеют сговориться с русскими.

— Вы правы: главное — как можно быстрее, — согласился Чемберлен.

— Нужно отдать Гитлеру Судеты, прежде чем он придумает ещё какие-нибудь требования, которым мы уже не сможем уступить. — И Даладьё снова решительно рубанул воздух.

Капли падали с бетонного свода с угнетающей размеренностью, как будто где-то там, в многометровой железобетонной толще купола, был запрятан точный прибор, отмеривавший их секунда за секундой. Хотя от места, куда падала вода, до изголовья было сантиметров десять, Ярошу казалось, что капли ударяют ему в самое темя. Вообще ему было трудно привыкнуть к жизни в каземате форта. Легко ли лётчику вместо свободного простора неба оказаться в подземелье, на глубине нескольких метров, вместо жизни птицы влачить существование

крота! Пусть он пошёл на это добровольно, пусть все они, кто сидит в этой норе, поклялись, что форт «Ц» достанется нацистам только с трупами его защитников, — все это не скрашивало неприглядности непривычного жилья. И, право, не будь около Яроша старых товарищей по испанской войне, он, наверно, не выдержал бы — ушёл бы на поверхность, проситься обратно в воздух. Жаль, что с ним нет ещё и Зинна, не вступившего в отборный гарнизон форта, чтобы не бросать своего передатчика.

Люди нервничали. Большая часть их сумрачно молчала, сбитая с

толку поведением французов и англичан. Но кое-кто ворчал, Ярош — больше других.

— Что за идиотизм! — говорил он сквозь сжатые зубы. — Построить чудесные форты, набить их замечательными орудиями, снабдить самыми совершенными приборами — и забыть о людях, которым предстоит приводить все это в действие.

— Люди! — насмешливо проговорил телефонист, сидевший в дальнем углу каземата. — Цена солдату — десять граммов свинца. Тесно, сыро? Подумаешь! Солдат не барышня.

— Со всем этим я готов

примириться, — сказал Ярош, — но вот эта проклятая капля... Я сойду с ума...

— Перестань, — остановил его Цихауэр. — Посмотри на Даррака.

И он кивком головы указал на скрипача, лежавшего на койке, закинув ногу на ногу, и сосредоточенно читавшего нотную тетрадь.

— Луи?! — воскликнул Ярош. — Ему хорошо. Вокруг него всегда тот мир, который он пожелает создать. Вон посмотри: воображает себя в волшебном лесу или, быть может, в хижине горного короля... А я не могу не думать о том, что, вероятно, сейчас мои товарищи на

мною испытанных самолётах идут в воздух...

— Брось философствовать, — перебил Цихауэр. — Ты уже сказал себе, что ты простой пехотный солдат, — и баста.

— Да, — согласился Ярош, — это так... Если бы только не эта проклятая капля.

Луи оторвался от нот.

— Ты надоел мне со своею каплей. — Он размял отсыревшую сигарету. — Капля — это в конце концов напоминание о том, что мир не кончается у нас над головою, что над нами есть ещё что-то, кроме железа и бетона, пушек и пулемётов, мин и колючей проволоки... — Он

привстал на койке и поймал в пригоршню несколько капель, упавших со свода. — Не суп, не водка, а самая честная вода. Оттуда, где под ногами пружинит засыпанная осенними листьями земля, где щебечут птицы... Одним словом, вода из того мира, который ещё существует и который безусловно опять будет нашим. Может быть, там дождь шуршит сейчас по ветвям деревьев и ручьи звенят все громче...

— Или светит солнце, — мечтательно проговорил Цихауэр, — и высоко-высоко над вершинами кедров, так высоко, что невозможно изобразить кистью, висят лёгкие мазки облачков...

Он спустил ноги с койки и оглядел товарищей.

— Даже удивительно думать, что где-то голубеет небо и есть, наверно, люди, которые не думают о возможности войны.

— В Чехии таких нет, — раздражённо сказал Ярош. — Чехи хотят драться. Мы не хотим, чтобы нацистские свиньи пришли на нашу землю. Да, я буду драться за то, чтобы ни один кусочек моей земли не принадлежал коричневой сволочи.

— Все будет именно так, как ты хочешь, — уверенно проговорил Цихауэр. — Не думаешь же ты, что все правительство покончит самоубийством?

— Я не знаю, капитулируют ли наши министры и генералы, — сказал Ярош, — но народ будет драться.

Луи в сомнении покачал головою.

— Воевать без министров трудновато, а уж без генералов и вовсе нельзя.

— Если взамен выкинутых на помойку негодных не явятся такие, которые пойдут с народом и поведут его, — сказал Цихауэр.

Каптенармус, рыхлый человек с пушистыми чёрными усами, закрывавшими половину розовых щёк, оторвался от губной гармоники, из которой неумоимо извлекал

гнусавые звуки.

— Ну, нет, брат, — сердито сказал он, — ты такие разговоры брось. Делать революцию, когда враг у ворот, — за это мы оторвём голову.

— Дело не в революции, а в защите нашей страны от врагов, кто бы они ни были — немцы или свои, — проговорил телефонист.

— Верно, друг! — воскликнул Цихауэр. — Вооружённый народ сумеет отстоять от любого врага себя и своё государство, которое создаст на месте развалившейся гнилятины.

Несколько мгновений в каземате царило молчание, в котором были отчётливо слышны удары капель, падающих с бетонного свода.

— Не понимаю я таких политических тонкостей, — проворчал каптенармус. — По мне государство — так оно и есть государство. Мне во всяком государстве хорошо... Только бы оно не было таким, о котором толкуют коммунисты.

— Вот что! — Телефонист протяжно свистнул. — Дрожишь за свою бакалейную лавку. — И сквозь зубы зло добавил: — Шкура!.. А впрочем... — задумчиво продолжал он, — я полагаю, что на этот раз не прав и Руди Цихауэр: если французы не помогут нам сдержать проклятых гитлеровцев — крышка! Всем нам крышка! И тем, что сидят на горе в

Праге, и нашему брату — простому люду. Гитлер вымотает из нас кишки!

— Да что вы, в самом деле, заладили похоронные разговоры? — рассердился Даррак. — Французы одумаются, они заставят своих министров понять, что капитуляция перед Гитлером — смерть для них самих.

— Чорта с два! — огрызнулся телефонист. — Одумались они с Испанией?.. Капитулировали — и стригут себе купоны как ни в чём не бывало. Видели мы, как они «одумываются». Господа Даладые и Гамелены могут сдать Гитлеру и Париж.

— Никто не посмеет даже в

мыслях пустить немцев к сердцу Франции! — запальчиво воскликнул Луи. — Народ им не позволит!

Телефонист расхохотался:

— Уж не ты ли им помешаешь?

— Нас миллионы.

— Тошно тебя слушать. Прежде чем вы успеете сообразить, немцы будут маршировать под Триумфальной аркой.

— Молчи! Ты не смеешь об этом и думать.

— Бросьте ссориться, — вступился Цихауэр. — Каждый прав по-своему; настоящие французы не могут об этом даже думать, но сумеют ли они предупредить катастрофу, которая идёт к ним из-за

Рейна?

— Скажи откровенно, Руди, — спросил Луи, — ты презираешь французов?

— Я дрался рядом с батальоном Жореса.

— Почему же ты так говоришь?

— Я презираю ваше правительство.

— А говорят: каждый народ имеет то правительство, какого заслуживает, — усмехнулся телефонист. — И не будут ли сами французы достойны презрения, если станут терпеть правительство, которое продаёт их на каждом шагу?

— Кому это? — спросил каптенармус.

— Тем же немцам... Хотел бы я знать, откуда у этих немцев столько денег? Ещё недавно они были голы и босы, а теперь, глядите, покупают правительства налево и направо.

— Видно, у них нашёлся дядюшка с деньгами, — сказал Луи. — Но нынче дядюшки даром ничего не дают.

— Ясно, что не даром... Может статься, Германия не единственная фигура в этой тёмной игре? — Телефонист хитро подмигнул.

— А кто же ещё, по-твоему? — с недоверием спросил каптенармус.

— Американский дядюшка нашёлся у фрица.

— Скажешь тоже!

— А что же тут невероятного? Народ правильно толкует: кто боится Испанской республики?.. Те, у кого денежки плачут, если народ власть возьмёт. А чьи там денежки? Знающие люди говорят: английские да американские... А что этот голоштанник Гитлер без богатых дядюшек? Пшик — и нет его!.. — И с нескрываемой ненавистью закончил: — Мало что палач, так ещё за чужой счёт... А тем-то, американцам, такие и нужны!.. И среди чехов ищут таких же скотов: нельзя ли кого купить, да подешевле?.. Чтобы чужими руками Чехию в американский карман сунуть...

— Что бы ни случилось там,

наверху, наше дело держаться, — сказал Цихауэр. — Мы пост номер семнадцать — инженерное обеспечение склада боеприпасов форта «Ц». Я стараюсь, чтобы мои мозги работали сейчас в таком масштабе.

— Это потому, что ты ещё слишком немец, — сказал Ярош. — Небось, не был бы так спокоен, если бы за спиною вместо Праги стоял Берлин. — Поймав на себе укоризненный взгляд Цихауэра, Ярош смутился. — Не сердись. Это я так, от ярости. Знаю: ты весь тут. Так же, как Луи, как я, как все мы, настоящие чехи.

— Все: чехи, чехи, чехи!.. —

неожиданно раздалось из чёрной пасти, которою начиналась потерна. Там уже некоторое время стоял Каске и слушал разговор, происходивший в каземате. — Как будто мы здесь не для того, чтобы защищать своё отечество. Ну, что же вы замолчали?.. Чужой я, что ли?

Ответом Каске было общее молчание.

— Молчите... — обиженно повторил он. — Словно вошёл не такой же солдат, как вы.

— С чего ты взял, мы вовсе не замолчали, — сконфуженно проговорил каптенармус. — Честное слово, Фриц, мы тут ничего такого не говорили... просто поспорили

немножко. Ты все где-то пропадаешь, мы даже и забыли про тебя.

— Вот, вот, — стараясь казаться добродушным, что ему, однако, плохо удавалось, проговорил Каске, — про меня всегда забывают. Каске что-то вроде старого сапога: надели на ногу и забыли.

— Ты о себе довольно высокого мнения, — иронически бросил Цихауэр, который с особенным удовольствием пользовался теперь тем, что солдатский мундир уравнил его с деспотичным механиком.

Все засмеялись. Каске оглядел их, одного за другим, исподлобья злыми глазами и остановил взгляд на вошедшем в каземат священнике.

Отец Август Гаусс осенил солдат быстрым, небрежным крестом и притронулся пальцами к фуражке военного капеллана.

— Все спорите, ссоритесь, — сказал он укоризненно и присел на койку Яроша. — Разве теперь время разбирать, кто немец, кто чех?

— Этому всегда время, — хмуро проворчал телефонист.

— Каске немец и должен им оставаться — для себя, для всех нас. В душе и в делах, — наставительно произнёс священник. — Разве деды господина Каске не жили в этих горах, не обрабатывали их, не содействовали их процветанию, не ели честно заработанный хлеб,

забывая о том, что они немцы, трудясь бок о бок с чехами?

— Именно, — не сдерживаясь, выкрикнул телефонист, — бок о бок, всегда с плёткой в руках; всегда либо в шапке жандарма, либо с тростью помещика. Мы их хорошо помним — и наших «королевско-императорских» немцев и мадьяр великой двуединой империи славных Габсбургов.

— По-вашему, чтобы быть честным человеком, нужно перестать быть немцем? — Август покачал головой. — Словно немцы не такой же народ, как все другие.

— Тут-то и зарыта собака! — горячо воскликнул Даррак. —

Вопрос в том, о каких немцах идёт речь. Из-за того, что некоторые из них возомнили себя особенным народом, все и пошло кувырком. Вот и приходится теперь выбирать: называть ли кого-либо немцем или честным человеком? Разве я не прав, Руди? Ты сам был немцем...

Цихауэр вскинул голову.

— Немцем я не только был, но и остался. И всегда останусь. Но именно немцем, а не гитлеровской швалью.

Каске посмотрел на него злобно горящими глазами, но смолчал.

— Послушайте-ка, ребята, — вмешался каптенармус, — бросьте вы ссориться. Политика не для нас с

вами.

— Заткнись ты, Погорак! — крикнул телефонист. — Сейчас опять заговоришь о Сыровы. Слышали мы его речи: «Идите по домам и доверьтесь правительству». К чорту правительство, которое поджигает хвост при одном виде немецких псов!

— Я тоже умею браниться, ребята, — вдруг повышая голос и как бы сразу превращаясь из священника в офицера, проговорил Август. — Не воображайте, что вы одни были солдатами и никто, кроме вас, не сумеет постоять за себя. К чорту такие разговорчики! С чего вы взяли, будто немец не может понять того,

что надвигается на Судеты? Именно потому, что мы с Каске немцы, мы здесь, в этом форте, и не уйдём из него даже тогда, когда уйдёте все вы. Не одним вам тесно на этом свете с Гитлером.

— Пусть сам Бенеш придёт сюда и скажет: «Каске, оставь свой пост» — я не уйду, — сказал Каске.

— А знаете, ребята, мне это нравится! — воскликнул Даррак. — Так и должен рассуждать солдат.

— Да, — раздельно и громко сказал Цихауэр. — Если он... провокатор.

Каске подскочил к художнику.

— Что ты сказал?

Цихауэр спокойно выдержал

взгляд механика. Он знал, что Каске дрянь, ни на грош не верил ни его разглагольствованиям, ни проповедям отца Августа. Больше того, он подозревал их в способности предать, но раз власти нашли возможным включить их в состав гарнизона, не его дело спорить.

Он только сказал:

— Солдат, даже самый храбрый, должен понять, что один несвоевременный выстрел на границе может окончиться трагедией для всей Чехословакия. Вы, Каске...

— Господин Каске, — сердито поправил механик.

— Вы, Каске, — упрямо повторил художник, — знаете, что

Гитлеру только и нужен такой провокационный выстрел на границе, чтобы вторгнуться сюда всеми силами и захватить уже не только Судеты, которые так любезно предлагают им господа чемберлены, а всё, что ему захочется.

Повелительным движением Август заставил спорщиков замолчать.

— Послушайте, Цихауэр, вы ещё новичок в таких делах, а я вам скажу: если чехи отдадут без боя эти прекрасные укрепления на оборонительном рубеже, созданном для них самою природой, то чешское государство будет беззащитно, как цыплёнок.

— Правительство знает это не хуже вас.

— Знает или нет, но у него не будет больше естественной линии для обороны против наступления гитлеровцев и, поверьте мне, не будет времени, чтобы создать новые форты. Это говорю вам я, старый солдат, видевший Верден. У чехов один выход: ни шагу назад, что бы ни толковали политики.

— Мы дали клятву слушаться офицеров.

— Бог дал мне власть разрешать клятвы... Умереть на этих фортах — вот задача честного защитника республики. Если будет бой, мы будем драться. Если бой будет

проигран — взорвём форт. Вот и все, — решительно закончил Август.

— Нет, не все, господин патер! — возразил Цихауэр. — Есть ещё одна возможность. — Он на мгновение умолк и с видимым усилием договорил. — Капитуляция, приказ отойти без боя.

— Отойти без боя? — Август рассмеялся. — Сразу видно, что вы не прошли школу немецкой армии.

— В Германии мне довелось побывать в школе, от которой отказались бы и вы.

Август с любопытством посмотрел на Цихауэра, но тот промолчал. Священник продолжал тоном наставника:

— Вы — семнадцатый пост, и не мне вас учить тому, что это значит. — Он положил руку на маленький пульт с рубильником, прикрытым запломбированным щитком. После некоторого молчания он, прищурившись, посмотрел сначала на Яроша, потом на телефониста. — Или вы боитесь? Скажите мне прямо: отец, мы хотим жить, — и я помогу вам перенести это испытание... Ну, не стыдитесь, говорите же, перед вами священник. — Он снова притронулся к маленькому рубильнику. — Если вам страшно, я останусь тут. — В его голосе появились тёплые нотки: — Понимаю, друзья мои, вы все

молоды. Я понимаю вас. Хорошо, идите с миром, я останусь тут, как если бы господь судил испить эту чашу не вам, а мне. — Он исподтишка наблюдал за впечатлением, какое производят его слова на солдат. Но ни выражение их лиц, ни взгляды, которыми они избегали встречаться с глазами Августа, не говорили о том, что его речи доходят до их сердец. Один только Каске, стараясь попасть в тон священнику, с напускной отвагой сказал:

— Нет, отец мой, не ваше это дело — взрывать форты. Пусть уходят отсюда все. Каске включит рубильник и взлетит на воздух

вместе с фортом. Ни одна пушка, ни один патрон не достанутся врагу. В этом вы можете быть уверены.

Август издали осенил его размахистым крестом так, чтобы видели все.

Ярош стукнул кулаком по краю койки.

— Никто из вас не прикоснётся к рубильнику без моего приказа. Здесь ваш начальник я, и делать вы будете только то, что прикажу я.

— Но, но, господин унтер-офицер, — усмехнулся Каске. — Никто не оспаривает вашего права приказывать, но даже вы не можете мне приказать быть трусом.

— Так я тебе скажу, — крикнул

Ярош: — тот, кто протянет руку к рубильнику без моего приказа, получит пулю!

И в подтверждение своей решимости расстегнул кобуру пистолета.

— Тут не о чём спорить, — примиряюще сказал патер Август, — именно так и должен держать себя начальник, который отвечает за исполнение приказа старших начальников. — Он сделал паузу и соорил загадочную мину. — Весь вопрос только в том, чтобы там, среди этих старших офицеров, не... не оказалось предателей.

Ярош вскочил с койки. Его губы вздрагивали от негодования.

— Кто дал вам право так думать? Там, наверху, сидят чехи.

— А вы думаете, среди чехов не может быть предателей?

— Когда речь идёт о родине...

— Люди суть люди, господин Купка. Разве полгода назад любой чех не счёл бы меня сумасшедшим, если бы я сказал, что не верю в честность французов или англичан?

— Франции и Англии или французов и англичан? — запальчиво крикнул Даррак.

— А это не одно и то же? — насмешливо спросил священник.

— Да, мы, побывавшие в Испании, научились отличать правительство Англии от её

народа, — сказал Даррак.

— Ах, вот как! И вы побывали там? И тоже, может быть, в качестве «защитника республики»?

— Иначе я постыдился бы об этом упоминать.

— Браво, Луи! — воскликнул Цихауэр. — Ты научился разговаривать по-настоящему.

— А вы знаете, что это очень сильно смахивает на пропаганду русских большевиков? — насупившись, сказал патер Август. — Тех самых большевиков, что отступились сейчас от своих обязательств защищать Чехословацкую республику от Гитлера.

— Это ложь! — с возмущением крикнул Цихауэр. — Мы знаем, что происходит в действительности: Советы заявили о своей готовности выступить в защиту Чехословакии.

— Это Годжа и Сыровы не пожелали, чтобы за нас заступился Советский Союз, — сказал Ярош. — Сами побоялись, или же не позволил английский дядюшка.

— И правильно сделали, — попробовал вставить Август. — Приди сюда русские, вся Чехия стала бы красной.

Но Цихауэр перебил его:

— Да, министры побоялись заключить трехсторонний договор и ограничились отдельными

договорами с Францией и СССР, обусловив советскую помощь выступлением французов.

— Кто же знал, что наши министры окажутся такими подлецами, — заметил Даррак.

— Опять за старое! — недовольно проговорил каптенармус Погорак. Он достал из-под койки банку консервов и большую флягу. — Благословите, отец!

Но прежде чем Август успел сделать движение простёртою рукой, в глубине потерны вспыхнул яркий свет ручного фонаря и послышалось звонкое эхо торопливых шагов. Все замерли с вилками в руках. В каземат вошёл Гарро.

— Садитесь с нами... — начал было каптенармус, но запнулся, увидев взволнованное лицо француза.

— Чемберлен, Даладье и Муссолини прилетели к Гитлеру в Мюнхен, — быстро проговорил Гарро. — Они открыли конференцию, на которой решают судьбу Чехословакии без участия чехословацких представителей.

— Этого не может быть, — тихо проговорил Даррак. — Они не посмеют... не посмеют!

Гарро опустил на край его койки. Молчание нарушил Август.

— Пансион для нервных барышень! — Он придвинул к себе

консервы, отвинтил крышку фляжки и бережно налил её до краёв. Прежде чем выпить, насмешливо оглядел остальных.

Следующим налил себе Каске. Он заметно волновался, но старался делать все, как священник. Глядя на них, ткнул вилкой в банку и каптенармус. Когда Ярош потянулся к фляжке, она была уже наполовину пуста. Он сделал глоток и передал её телефонисту.

— Может быть, вы и правы, — сказал Гарро. — Иначе действительно тут можно повеситься, пока эти господа заседают в Мюнхене.

Но на его долю во фляжке уже

ничего не осталось.

— Жаль, — сказал он. — У тебя, Ярош, ничего нет?

— Нет...

Каске полез в свой ранец и, достав две бутылки коньяку, с торжествующим видом поднял их над головой.

Гарро взглянул на часы.

— Странно, должны бы уже быть какие-нибудь известия.

Все, словно сговорившись, поглядели на телефон.

Гарро потянул к себе лежавшую на постели Даррака раскрытую книгу. Пробежав глазами с полстраницы, он сказал с усмешкой:

— Если бы старик знал, что ему придётся принять участие в обороне и этих фортов, тоже предаваемых французскими министрами!..

— В этом и сила Гюго, — сказал Луи: — сказанное им сохраняет смысл на долгое время.

Он взял книгу из рук Гарро и прочёл вслух:

— «Вы, потомки тевтонских рыцарей, вы будете вести позорную войну, вы истребите множество людей и идей, в которых нуждается мир. Вы покажете миру, что немцы превратились в вандалов, что вы варвары, истребляющие цивилизацию». — Луи торжественно простёр руку. — «Вас ждёт возмездие, тевтоны. История произнесёт свой приговор...»

— И привести его в исполнение суждено нам! — крикнул Ярош. Он был возбуждён, его глаза блестели.

— Если бы форт мог передвигаться, подобно танку, он

перешёл бы сейчас в атаку, —
насмешливо проговорил Август.

— Неужели ещё ничего
неизвестно?

Гарро вопросительно посмотрел
на телефониста. Тот, нахмурившись,
постучал рычагом, подул в трубку,
осмотрел аппарат, проводку,
недоуменно пожал плечами и
несколько раз крикнул:

— Алло!.. Алло!..

Центральный пост не отзывался.

Гарро провёл ладонью по
вспотевшему лбу.

— Это не может быть...

Август злорадно ухмыльнулся:

— Все, все может быть там, где
люди не знают своего долга.

— Отец мой, вы прекрасно сделаете, если пройдёте в другое помещение, — резко сказал Гарро.

Ему только сейчас пришло в голову, что не следует оставлять в каземате ни этого попа, о котором давно ходят слухи, не располагающие в его пользу, ни подозрительного Каске, чьи пронацистские симпатии были известны всему заводу.

Гарро отрывисто бросил:

— Рядовой Каске! — В голосе его звучали нотки, заставившие механика вскочить и вытянуть руки по швам. — Вы пойдёте со мной. — И пока Каске брал винтовку и надевал шлем, Гарро пояснил Ярошу: — Мы дойдём до центрального

поста, узнаем, в чём там дело. Оттуда я позвоню сюда.

Август молча поднялся и последовал за ними. Скоро их шаги смолкли в чёрном провале бетонного тоннеля, и в каземате снова не стало слышно ничего, кроме звонкого падения капель. Четверо солдат, как зачарованные, глядели на молчащий телефон; пятый — каптенармус, — отяжелев от коньяка и еды, клевал носом, сидя на койке, потом приткнулся к изголовью и заснул.

Ярошу казалось, что там, на земле, поверх многометровой толщи брони, изрытой норами казематов и ходами потерн, уже произошло что-то, что решило их судьбу, судьбу

страны, народа, может быть всей Европы. Ему ни на минуту не приходило в голову, что молчание телефона могло быть простой случайностью. Маленький аппарат представлялся ему злобным обманщиком, злорадно скрывавшим от них, заточенных тут, важную, может быть роковую, тайну мирового значения...

Цихауэр то и дело подносил к уху карманные часы, словно движение секундной стрелки было недостаточным доказательством того, что они идут.

Прошло с четверть часа. Гарро давно должен был достичь центрального поста. Луи переводил

взгляд с телефона на часы Цихауэра и обратно.

Телефонист несколько раз в нетерпении снимал трубку и дул в неё.

Ярош насторожённо следил за действиями телефониста. Когда тот в отчаянии бросил немую трубку на рычаг, Ярош спросил Цихауэра:

— Ты думаешь, что уже началось?

Цихауэр сердито повёл плечами.

— Если война начинается с того, что в фортах перестаёт работать связь, то...

— Ну?.. Что ты хочешь сказать? — нетерпеливо спрашивал его Луи.

— ...поздравить нас не с чем.

— А как ты думаешь, Руди, — спросил телефонист, — они действительно такие негодяи или просто дураки?

— Ты о ком?

— Мюнхенские продавцы.

— Мне кажется, что Чемберлен — старый подлец. У него простой расчёт: заткнуть Гитлеру глотку за счёт Франции.

— А французы! Дураки или предатели?

— А французы?.. Одни из тех, кто согласился на Мюнхен, — дураки, другие чистой воды предатели, — не задумываясь, сказал Цихауэр.

— Господи боже мой! — в отчаянии воскликнул телефонист. — И всегда-то одно и то же: чем больше у людей денег, тем меньше у них совести. Словно золото, как ржавчина, ест человеческую душу.

— Пожалуй, ты не так уж далёк от истины, дорогой философ, — сказал Ярош.

— Да, жизнь частенько оказывается неплохим учителем. Какая книга может так открыть глаза на правду, как жизнь? — спросил Цихауэр.

— Тому, кто хочет видеть.

— Таким, как мы, незачем ходить по земле с завязанными глазами, — сказал телефонист.

— А именно этого-то и хотели бы те — «хозяева» жизни, — сказал Цихауэр.

— Это верно, — согласился телефонист. — Если бы мы могли на них работать без глаз, они ослепляли бы нас при самом рождении.

— Договорились, — неприязненно бросил проснувшийся каптенармус. — Тебя послушать, выходит, что ежели у человека завелось несколько тысчонок, так он уже вроде зверя.

— А разве не так? Разве все эти типы, там, наверху, не хуже зверей?! Разве они знают, что такое честь, патриотизм, честность?! — гневно воскликнул Ярош. — Разве для них

отечество не там, где деньги? Не готовы ли они продать Чехословакию любому, кто обеспечит им барыш? — Ярош кивкам указал на телефониста: — Он верно сказал: всюду одно и то же. Все толстобрюхие заодно с этой шайкой — в Англии, в Германии, у нас. Всюду фабрикант — фабрикант, всюду помещик — помещик. Кровь для них — деньги. Честь — барыш. Наши чешские ничем не хуже остальных.

— И что самое обидное, — проговорил сквозь зубы телефонист, — каких-нибудь двадцать жуликов вертят двадцатью миллионами таких олухов, как я. Взяв пример с русских, и мы ведь

можем, наконец, стукнуть кулаком по столу: а ну-ка, господа хорошие, не пора ли и вам туда же, куда послали своих кровососов русские?!. Ей-ей, и мы ведь можем, а?

— Это зависит от нас самих, — заметил Даррак.

— Луи, ты становишься человеком! — с улыбкой повторил Цихауэр.

Француз подбежал к рубильнику.

— Пора сорвать пломбу, Ярош! — быстро и взволнованно проговорил он. — Я чувствую, что случилось что-то нехорошее: телефон молчит, и Гарро не звонит, и Каске не возвращается... Что, если

наверху уже немцы?

— Не говори глупостей. —
Заметив, что Даррак тянется к
пломбе, Ярош вскочил и оттолкнул
его руку.

— Что-нибудь случилось с
Гарро, — встревоженно проговорил
Луи. — Позволь мне, капрал, сходить
на пост.

Ярош одно мгновение в
нерешительности смотрел на него,
потом перевёл взгляд на Цихауэра.

— Пойдёшь ты! — И, подумав,
прибавил: — С телефонистом, всё
равно он тут не нужен.

Цихауэр вытянулся, щёлкнул
каблуками и, выслушав приказание
Купки, тихонько сказал:

— Проводи меня немного.

Они отошли так, чтобы их не могли слышать оставшиеся в каземате.

— Дай мне слово, Ярош, что ты не позволишь тут наделать глупостей.

— Иди, иди, Руди... тут все будет в порядке.

Ярош помахал рукою удалявшимся Цихауэру и телефонисту и пошёл обратно к каземату. Навстречу ему бежал каптенармус.

— Господин капрал, господин капрал! — Усач задышался от волнения. — Они там... рубильник...

Вбежав в каземат, Ярош увидел

Луи, склонившегося над пультом. Крышка была уже поднята. Были открыты и рубильник и аварийная подрывная машинка, которую следовало привести в действие в случае нарушения главной сети. Лицо Даррака отражало крайнюю степень нервного напряжения, на лбу его выступили крупные капли пота.

— Назад!.. Луи!.. — крикнул Ярош с порога, но, увидев Луи, понял, что за несколько минут его отсутствия тут произошло нечто чрезвычайное: глаза Луи, стоявшего с телефонной трубкой, казались безумными. Он пробормотал:

— Они приняли условия капитуляции!

— Соединись с комендантом.

— Он уже оставил форт. Лишним людям приказано выходить наверх. — С этими словами Луи отбросил трубку и положил руку на рубильник.

— Послушай, Луи, не будь девчонкой, — просительно произнёс Ярош. — Ты же не Каске, ты понимаешь, чем это грозит.

Нет, француз уже ничего не понимал. Он едва слышно пробормотал:

— Сдать им форты? Разве ты не помнишь, как нас надули после Испании? Ты веришь им ещё хоть на полслова?

— Довольно! — крикнул Ярош и

резким движением передвинул на живот кобуру. — Рядовой Даррак, три шага назад!

Луи засмеялся.

Ярош медленно потянул пистолет из кобуры.

Его взгляд был прикован к расширенным глазам Луи, глазам, которые он так хорошо запомнил с того дня, когда впервые увидел француза склонившимся над ним, там, в Испании, когда этот француз вместе с американцем Стилом вытащил его из воронки. В тот день он понял, что готов сделать все для этого молодого скрипача с большими глазами мечтательного ребёнка... И вот...

Ярош вынул пистолет.

За спиной Яроша слышались поспешные шаги и голос запыхавшегося Каске:

— Комендант приказал: всем отсюда... один остаётся, чтобы взорвать форт.

Ярош боялся оторвать взгляд от руки Даррака, лежавшей на рубильнике. Не оборачиваясь, спросил немца:

— Где Цихауэр?

— Почём я знаю...

Ярош не обернулся, хотя эти три слова значили для него гораздо больше, чем подозревал Каске: это значило, что Каске не был в центральном посту, что он передавал

чей угодно приказ, только не приказ коменданта. Если бы он шёл оттуда, то не мог бы разминуться с Цихауэром. Значит, нужно дожидаться возвращения Руди... Но куда же девался Гарро?

Сбитый с толку, Каске несколько неуверенно произнёс:

— Комендант при мне передал сюда приказ по телефону. — И крикнул Дарраку из-за спины Яроша: — Слышишь? Исполняй же приказ: включай пятиминутный механизм — и все мы успеем отсюда выбраться... Ну?!

Ярош видел, как дрогнули пальцы француза, и поднял пистолет.

Но прежде чем Ярош решился

спустить курок, его цепко охватили длинные руки Каске. Только когда раздался крик немца, приказывавшего Дарраку включить рубильник, Ярош до конца понял, что целью Каске была катастрофа во что бы то ни стало. Он понял и провокационное значение этой катастрофы, и смысл сегодняшнего появления патера Августа, и коньяк Каске — все.

Ярош сделал усилие освободиться из объятий Каске и вместе с немцем упал на пол. Пока они боролись, в поле зрения Яроша несколько раз попадала лампочка под потолком каземата. Он видел, что свет её делается все более

тусклым, как если бы напряжение в сети падало по мере уменьшения числа оборотов динамо. Охваченный страхом, что в темноте, которая должна вот-вот наступить, Луи включит рубильник, он крикнул:

— Луи... помоги мне!..

Он поймал взгляд Луи, видел, как тот оторвал руку от пульта, сделал шаг в их сторону, но тут наступила полная темнота, — в тот самый момент, когда Ярошу удалось рукоятью пистолета нанести Каске удар по руке, заставивший того разжать объятия.

— Луи!

Француз молчал. Потерявший в темноте ориентировку, Ярош не

представлял теперь, с какой стороны находится пульт.

— Луи! — повторил Ярош.

— Не подходи, не смей приближаться!.. Я буду стрелять.

Вот как?! Повидимому, бедняга окончательно утратил контроль над собою.

— Луи!

— Пойми же: иначе нельзя. Немцы не должны захватить все это. Я не могу иначе, не могу...

Очевидно, говоря это, француз продолжал на ощупь отыскивать пульт, так как Ярош слышал шум падающих вещей.

— Эй, Луи, ты обязан мне повиноваться!

— Это не должно достаться немцам!.. — твердил Даррак.

— Приказываю тебе не шевелиться!

— Нас предали дважды и предадут ещё раз, если мы будем им повиноваться. Собственная совесть — вот кого я обязан слушать. Никого больше.

— Ты не имеешь права решать за наш народ...

— Ваш народ? — Француз истерически расхохотался. — Ваш народ должен перевешать министров, которые капитулируют, и защищать свою страну!.. Народ? Я тут потому, что верил в него, но больше не верю. Никому не верю. Не мешай мне, если

не хочешь, чтобы я убил тебя...

И в доказательство того, что он намерен осуществить угрозу, Даррак передёрнул затвор винтовки.

Ярош вскинул пистолет и выстрелил в кромешную черноту каземата. И тотчас же с непостижимым для такого солдата, как Луи, проворством в лицо Ярошу сверкнула вспышка винтовочного выстрела.

Слившийся воедино грохот двух выстрелов потряс низкий свод каземата и оглушил Яроша. Но, словно боясь, что решимость оставит его, он один за другим разрядил патроны туда, где за секунду до того видел вспышку выстрела. Ярош

думал теперь лишь о том единственном, о чём обязан был думать: взрыв форта должен быть предотвращён.

И он стрелял, стрелял до последнего патрона.

Обойма была пуста.

Ярош понял, что не сможет сменить обойму. Его рука, сжимавшая пистолет, дрожала мелкой неудержимой дрожью.

Тихо, словно боясь нарушить наступившую тишину, он прошептал в чёрное пространство:

— Луи!..

Он не мог себе представить, что одна из его восьми пуль сделала своё дело, хотя за минуту до того только

этого и желал.

— Луи!.. — в отчаянии крикнул он, уже понимая, что друг не может ему ответить.

Прежде чем он сообразил, что должен теперь делать, в потерне слышался топот бегущего человека. В каземат вбежал, светя перед собою ручным фонарём, Цихауэр.

— Сюда! — крикнул Ярош. — Посвети скорее сюда!

Он растерянно осматривал распростёртое на полу тело француза.

— Пусти, — сказал Цихауэр, опускаясь на колени и нащупывая пульс Луи.

Он хотел было спросить Яроша о том, что тут случилось, но, увидев его глаза, молча снял со стены и развернул носилки.

Они положили на них Луи и, обойдя распростёртого у входа в потерну Каске, углубились в тоннель. Немец был мёртв. Одна из пучь Луи, видимо, попала в него.

Шаги их гулко отдавались под бетонными сводами. Они шли длинными подземными переходами, через залы казарм, мимо казематов со сложными механизмами управления, мимо складов с запасным оружием, где на стеллажах поблёскивали жёлтой смазкою длинные тела орудий и ребристые

стволы пулемётов.

Вдруг вспомнив, Ярош спросил:

— А куда девался Гарро?

— Мы нашли его без сознания в потерне.

— Каске!

Цихауэр сделал такое движение, словно хотел пожать плечами, но ему помешала тяжесть носилок.

Свет фонарика Цихауэра дробился на стальных решётках, то и дело перегораживавших путь.

Вокруг не было ни души. Все было мертво и молчаливо. Маленькие электровозы застыли на рельсах с прицепленными к ним вагонетками, полными снарядов. Ящики консервов и заиндевевшие

мясные туши виднелись сквозь растворённые двери холодильника; шанцевый инструмент чередовался в нишах с запасными винтовками и ручными пулемётами, с яркою медью пожарных принадлежностей. Все было готово к бою, к упорному, длительному сопротивлению.

Но вот, наконец, впереди показалась полоска слабого света. Это был серый сумрак леса, затянутого пеленою мелкого осеннего дождя. Сквозь него пробивался рассвет рождающегося дня — первого дня октября 1938 года.

Флеминг прислушивался к ровному голосу Нельсона и неторопливо помешивал ложечкой в чашке. Это была десятая чашка кофе, которую он выпивал за этот вечер.

Он прихлёбывал кофе и старался не смотреть на сидевших в уголке чехов — посла в Берлине Мастного и референта Масаржика, вызванных для того, чтобы доставить чехословацкому правительству решения мюнхенского сбора. Он видел, как этих двух людей везли с аэродрома под охраною гестаповцев, словно они были не представителями свободной и независимой страны, а

уголовными преступниками. Он слушал теперь, как Нельсон с видом снисходительного превосходства объяснял им точку зрения англо-французских делегатов, скучающе-нудным голосом повторяя на разные лады одно и то же:

— Этот план и карта с обозначением зон эвакуации являются окончательными. Никакие отступления от них не могут быть допущены.

— Позвольте, — в десятый раз восклицал Мастный, — план неприемлем ни с какой точки зрения. Он должен быть пересмотрен. Отторжение некоторых районов нарушает жизненные интересы

нашей страны, оно парализует транспорт, обессиливает индустрию, делает невозможной оборону границ.

Нельсон демонстративно в десятый раз взглядывал на часы и, не уставая повторять одно и то же, начинал:

— План принят британской делегацией. Если вы его не примете, то будете улаживать ваши дела с Германией в полном одиночестве.

— Быть может, оно и не будет таким полным, как вы полагаете, — выходя из себя, сказал Масаржик.

— Я бы предпочёл не слышать этого намёка, — высокомерно ответил Нельсон, — чтобы не давать ответа, который вам, может быть,

ещё и неизвестен, но уже совершенно сложился у правительства его величества.

— Мы будем апеллировать к Франции! — воскликнули чехи в один голос.

Нельсон кисло улыбнулся:

— Быть может, французы и будут выражаться более изысканно, но могу вас уверить, что они так же приняли план, как мы.

Чехи растерянно переглянулись, но не успели больше ничего сказать, так как Нельсона вызвали из комнаты.

Флеминг видел, что чехи сидят в состоянии полной подавленности. Масный то свёртывал полученную

от Нельсона карту, то снова расправлял её. Оба непрерывно курили.

Не меньше получаса прошло в совершенном молчании.

Флеминг налил себе новую чашку кофе. Он поймал при этом жадный взгляд, брошенный на кофейник Масаржиком, и вспомнил: за двенадцать часов, проведённых чехами в этой комнате, он не заметил, чтобы кто-нибудь предложил им поесть.

Он выжал в кофе половинку лимона и налил виски, так как чувствовал приближение приступа лихорадки. Вот уже полчаса, как ему приходилось стискивать зубы, чтобы

не дать им стучать от начинавшегося озноба. Но он не мог позволить болезни свалить его, прежде чем он увидит финал трагедии.

В дверь просунулась голова одного из секретарей Чемберлена:

— Мистер Флеминг, проводите чешских делегатов в зал конференции.

До слуха Флеминга эти слова дошли сквозь уже заполнявший голову горячий звон, но он отчётливо слышал, как кто-то из чехов с горькой иронией сказал:

— Нас ещё называют делегатами...

Когда они втроём вошли в зал конференции, ни Гитлера, ни

Муссолини там уже не было. Даладые сидел вполоборота к вошедшим и ни на кого из них не посмотрел. Чемберлен же, то и дело прерывая речь широкими зевками, сообщил делегатам, что дальнейшее существование Чехословацкой республики в границах 1918 года противоречило бы решению конференции глав правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Мастный стоял смертельно бледный, с опущенной головой, как если бы ему читали его собственный смертный приговор. Масаржик же со вспыхнувшим лицом порывисто обернулся к продолжавшему сидеть

спиною к чехам французскому премьеру:

— Вы ждёте декларацию нашего правительства?

Но Даладье и тут не обернулся к чехам и сделал знак стоявшему возле него Леже.

Леже сделал шаг вперёд и с аффектацией произнёс:

— Главы четырех правительств, заседавших тут, — Германии, Италии, Великобритании и Франции... — при этом Леже отвесил по глубокому поклону пустым креслам, в которых раньше сидели Гитлер и Муссолини, бесцеремонно покинувшие конференцию, как только стало ясно,

что ни Англия, ни Франция не помешают фашизму по-своему разделаться с Чехословакией. Поклонившись во вторую очередь дремлющему Чемберлену и широкой спине Даладье, Леже продолжал: — Высокие главы этих правительств не имеют времени ждать от вас какого бы то ни было ответа. Да он и не нужен. В пять часов утра, — он перевёл взгляд на большие стенные часы и указал на них, — через два с половиною часа чехословацкий делегат должен быть на заседании международной комиссии в Берлине. Предупреждаем: она тоже не будет ждать его приезда, чтобы приступить к определению последовательности,

в какой немецкие войска будут занимать территорию, отданную Германии. Вступление немецких вооружённых сил начнётся в шесть часов утра, ни минутою позже.

Он сделал поклон и отошёл за кресло Даладые.

— И это нам говорят французы! — едва сдерживая рыдания, воскликнул Масаржик. — Чехи никогда этого не забудут... Вы поймёте, что наделали, но будет поздно.

Он закрыл лицо руками и побежал к выходу. Масный шёл следом, со взглядом, устремлённым в пол.

Совершенно машинально, так,

словно и его звали сюда для того, чтобы выслушать приговор, Флеминг повернулся и вышел вместе с чехами.

В лесу царила тишина. Изредка слышался стук прикладов, звяканье штыка о штык да чваканье многочисленных ног в грязи.

Солдаты неохотно строились в полутьме пронизанного мелким дождём леса. Их лица были сумрачны. Шеренги выравнивались медленно.

Из-за бронированной двери командного пункта показался полковник. За одну ночь широкое лицо его стало усталым и серым, как будто он тяжело заболел. Следом за ним, выбирая места посуше, шагали два английских офицера. Один из

них, худой и высокий, с аккуратно подстриженными светлыми усами, на каждом шагу ударял себя стеком по ярко начищенному жёлтому голенищу. Другой держал подмышкой крепкую походную трость. Рядом с хмурым и бледным полковником они казались особенно розовыми и довольными собою. Они были такие же добротнo-крепкие, как их защитные пальто, как сапоги с необыкновенно толстыми подошвами, как плотные перчатки, как каждая пуговица, которая, казалось, тоже была довольна собой и своими хозяевами.

Полковник подошёл к выстроившемуся гарнизону форта.

Англичане остановились поодаль и с нескрываемым любопытством рассматривали солдат. Один из них вынул пачку сигарет, оба закурили и громко, не стесняясь, перебрасывались замечаниями.

Никто, кроме полковника, не понимал их языка, но все отчётливо сознавали, что замечания англичан относятся именно к ним, незадачливым защитникам великолепного форта, который сдавался немцам, не сделав ни одного выстрела. Всем казалось, что англичане посмеиваются над чехами, безропотно выполняющими решение конференции, на которой такой же

довольный собою и уверенный в своей правоте и неприкосновенности англичанин с лёгким сердцем продал Гитлеру независимость маленькой республики в обмен на что-то, о чём никто из солдат ещё не знал, но что безусловно существовало, не могло не существовать и что было, повидимому, англичанам нужнее, нежели независимая Чехословакия. Может быть, это было спокойствие, которое в обмен на Чехословакию обещал англичанам Гитлер, может быть, что-нибудь другое. Солдаты не знали.

Полковник остановился перед строем и, словно через силу подняв взгляд, медленно обвёл им своих

солдат.

— Солдаты!.. Чехи!.. — Каждое слово стоило ему труда. Голос его звучал негромко, но казалось, в лесу притихли даже птицы, чтобы дать возможность всем услышать каждое слово.

Солдаты подняли лица и ждали, что он скажет. В эту минуту их держала в строю не дисциплина, а неосознанное, но крепкое чувство солидарности с офицером, грудь которого была расцвечена длинною колодкой орденских ленточек. Они верили тому, что приказ о сдаче форта, о котором они уже знали, для него так же нестерпим, как для них; они верили и тому, что его более

богатый жизненный опыт подскажет сейчас те настоящие слова, которые они хотели услышать, чтобы понять страшный смысл происходящего и убедиться в неизбежности и правильности его. Но вместо того чтобы услышать эти единственно правильные слова, которые должны были сохранить в солдатах веру в правительство, в генералов, в самих себя, они увидели, как, закусив седую щётку усов, полковник старался сдержать дрожь губ. Он так ничего и не сказал, отвернулся и махнул рукой майору. Солдатам казалось, что спина и поникшие плечи полковника вздрагивают.

Стоявший на правом фланге

гарнизона майор сделал было шаг вперёд и раскрыл уже рот, чтобы отдать команду, но солдаты не захотели его слушать. Они не хотели его слушать сегодня именно потому, что у него была немецкая фамилия, потому, что они знали; в частной жизни он говорит по-немецки.

Гул солдатских голосов покрыл его слова.

— Нельзя бросать форт! — кричали солдаты.

— Или драться, или взорвать!

— Мы не хотим вооружать немцев своими пушками!

Полковник резко повернулся. Все видели, что глаза его красны, но голос его звучал теперь твёрдо.

— Наше правительство приняло условия четырех держав...

— Позор Чемберлену!

— К чорту Даладье!

Полковник повысил голос:

— Будьте же благоразумны, чехи!

— Позор!.. Позор!..

— Мы должны сдать сооружения неповреждёнными! — крикнул полковник, но ему ответил дружный крик:

— Защищаться или взорвать!

Хотя англичане не понимали чешских слов, но смысл их стал им, повидимому, ясен. Они перестали прогуливаться вдоль опушки. Длинный сердито отбросил сигарету

и крепко ударил себя стеком по голенищу.

— Скажите этим ослам, — крикнул он полковнику: — если они позволят себе не подчиняться условиям передачи, Англия оставит их на произвол судьбы!

Но полковник даже не обернулся в его сторону и только поднял руку, требуя у солдат молчания.

— Нарушение условий, принятых правительством, будет на пользу немцам, — сказал он. — Они только и ждут, к чему бы придраться, чтобы подвергнуть нашу несчастную родину ещё большим несчастьям и позору. Будьте же благоразумны... Солдаты, братья, дети, заклинаю вас

священным именем родины:
исполняйте приказы офицеров!

В конце шеренги, на её левом фланге, врач закончил перевязывать Лун Даррака. Раненый лежал на здоровом правом боку и своими большими, всегда удивлёнными глазами смотрел на выстроившихся солдат. Некоторых из них он знал до службы. Это были рабочие Вацлавских заводов. Но Луи никогда не видел у них таких сосредоточенных лиц. Словно все они смотрели в эту минуту куда-то внутрь себя, боялись пропустить что-то очень, очень важное, что совершалось в их душах. И странно, взгляды солдат были опущены к

земле. Луи тоже посмотрел на неё и не увидел ничего особенного: это была обыкновенная лесная почва, влажная, покрытая слоем темнеющих листьев. Странно! Он ещё раз обвёл взглядом лица солдат, и на этот раз от него не ускользнуло, что по некоторым из них катились слезы. Тогда он понял, почему плачут солдаты: это была их родная земля, и с нею они расставались без боя.

Луи жадно втянул воздух и ощутил запах намокшего чернозёма, гниющих листьев и набухшего от дождя валежника.

И он понял, что именно этой земли, так же как чехи, не увидит и он до тех пор, пока не отвоюет её

обратно у гитлеровцев. Может быть, драться за неё нужно будет вовсе не здесь, но драться придётся, и он будет драться.

Он выпростал из-под одеяла здоровую руку и дотронулся ею до земли. Земля была прохладная и мягкая. Лун показалось, что все его горящее в лихорадке тело прильнуло к ней. Стало так хорошо, что он закрыл глаза. Его пальцы впились в землю, и он поднял влажный комок. Стыдясь того, что кто-нибудь может заметить, он поспешно втянул руку с землёю под одеяло.

Санитары подняли его носилки и понесли к автомобилю. Ярош шёл рядом. Он ждал, что Луи спросит его

о чём-нибудь, но тот отводил взгляд и молчал. Тогда Ярош сказал сам:

— Ты должен меня простить. Я не мог поступить иначе.

— Да, если бы я был на твоём месте, я непременно сделал бы то же самое, но... гораздо раньше.

Санитары вкатили его носилки в автомобиль, где уже лежал раненный чем-то тупым в голову Гарро.

Солдаты рассаживались по грузовикам. Полковник прошёл вдоль колонны, прощаясь с солдатами. Он оставался, чтобы передать форт немцам с рук на руки, в присутствии британских наблюдателей. Но в то время, когда майор, который должен был вести колонну, уже уселся в свой

автомобиль, из-за леска вылетело несколько мотоциклистов. За мотоциклистами показался броневик. Он стал поперёк дороги, по которой должны были уехать чешские грузовики. Из него не спеша вылез немецкий офицер. Он небрежно козырнул полковнику.

— Что это за транспорт?

— Гарнизон моего форта, — через силу сохраняя спокойствие, ответил полковник.

Англичане приблизились и издали приветствовали выглянувшего из-за стальной дверки броневика французского офицера. При виде англичан он смело выскочил и тоже подошёл к разговаривающим.

Немец отчеканил:

— Оборонительные сооружения сдаются в неповреждённом виде со всем вооружением и инвентарём.

Полковник молчаливым движением пригласил его убедиться в целости форта, но немец сделал протестующий жест.

— А эти автомобили? — и показал на грузовики с солдатами.

— Пешим порядком мои люди не успеют покинуть зону к обусловленному сроку, — ответил полковник.

— Меня это не касается. Автомобили — имущество форта. — Немец вынул опись и ткнул в неё пальцем.

Англичане и француз заглянули в неё и согласно закивали.

Они пошептались, и длинный, в жёлтых сапогах, сказал полковнику:

— В случае расхищения имущества мы не сможем помешать применению оружия со стороны германской армии.

Но полковник, не дослушав, показал ему спину.

— Оставить машины! — багровея, приказал он, но, видя, как насупились солдаты, негромко прибавил: — Ребята... во имя Чехии.

Солдаты неохотно вылезали.

Немец указал на санитарку, где лежали Даррак и Гарро.

— Это тоже останется здесь.

— У нас есть больные.

— Машина входит в опись и остаётся здесь, — строго повторил немец.

Англичане снова согласно кивнули. Француз хотел что-то сказать, но полковник показал спину и ему, как только что англичанам.

Молодой шофёр санитарной машины, выскочив из кабинки, ткнул штыком в баллон. С шипением вырвался воздух. Немецкий офицер поднял руку и отдал команду, мотоциклисты вскинули автоматы.

— Взять его! — крикнул немец, указывая на шофёра, но солдаты-чехи уже сбрасывали винтовки, защёлкали затворы.

Англичане опасливо отошли в сторону, француз поспешно скрылся в броневике.

Полковник понял, что именно здесь, на его участке, произойдёт сейчас то, чего так жаждут немцы, — столкновение. Он бросился в промежуток, разделявший чехов от немцев, и, раскинув руки, обернулся к своим солдатам:

— Ни шагу! — Он вынул пистолет. — Помните приказ: ни одна капля крови не должна быть пролита сегодня.

Часть чехов в нерешительности остановилась, другие продолжали наступать.

— Жизнью своею заклинаю: ни

шагу! — крикнул полковник и поднял пистолет.

— Довольно предательств! — крикнул кто-то из рядов чехов.

— Долой предателей! — повторил молодой солдат и бросился вперёд со штыком наперевес.

Его возглас подхватили многие. Их голоса почти заглушили слабый хлопок пистолетного выстрела, но все увидели, как голова полковника резко мотнулась в сторону и с неё слетела фуражка. Несколько мгновений он, словно в раздумье, стоял, все ещё держа предостерегающе вытянутую левую руку, потом рухнул вперёд, лицом в пахучие мокрые листья, мягким

покровом устилавшие землю.

Англичане переглянулись. Длинный пожал плечами, достал блокнот и, посмотрев на часы, стал писать.

Немец захлопнул дверцу броневика. Её резкий металлический стук показался особенно громким на притихшей поляне. Чехи в оцепенении глядели на тело полковника. Его раскинутые руки продолжали преграждать путь к немецким машинам.

Прошло несколько минут. Солдаты положили тело полковника на носилки и поставили их позади вынутых из санитарки носилок Даррака и Гарро.

Немец выглянул из броневика и крикнул, держа над головою часы:

— У вас ровно столько времени, сколько нужно, чтобы бегом достичь границы зоны эвакуации.

Чехи построились. Майор занял место впереди. Его негромкая команда глухо прозвучала среди деревьев. Колонна двинулась. В голове несли трое носилок. Было отчётливо слышно чваканье многочисленных ног на мокрой земле. Англичанин спросил немецкого офицера:

— Кажется, все в порядке?

Немец щёлкнул каблуками и, приставив два пальца к козырьку, снисходительно ответил:

— Jawohl!

Англичане молча уселись в автомобиль и выехали на шоссе.

Поравнявшись с идущим во главе гарнизона майором, длинный англичанин затормозил и предложил ему сесть. Майор отвернулся и ничего не ответил. Англичанин пожал плечами и нажал акселератор. Брызги грязи плеснули из-под шин и обдали прикрытые одеялами носилки. Закусив губу, Ярош отёр грязь с лица Луи.

Деревья по сторонам дороги стояли молчаливые, серые, печально кивая ветвями вслед уходящим чешским солдатам.

Там, где проходила колонна, лес

сбрасывал с себя остатки
праздничного убранства осени и
деревья оставались стоять большие и
суровые, с поникшими, словно в
трауре, чёрными ветвями.

Ян Бойс проделал перед зеркалом все двенадцать гимнастических упражнений, накинул на шею полотенце и, прежде чем идти мыться, остановился перед висевшим на стене расписанием. Он помнил каждую фамилию в каждой из шести клеток, соответствующих рабочим дням недели; помнил часы и минуты, стоявшие против каждой из тридцати фамилий. Изменения в расписании происходили редко, — только тогда, когда Трейчке давал Бойсу какой-нибудь новый адрес. Тогда Бойс шёл к новому клиенту, и шофёр или дворник какого-нибудь

генерала или советника снабжали его папиросными коробочками для Трейчке.

Итак, Бойс мог бы, и не глядя в расписание, сказать, что сегодня ему предстоит натирать полы у Шверера, и в доме Александера в Нойбабельсберге, и у самого Трейчке. Бойс знал: генерал Шверер и все его сыновья в Чехии, дома одна старая фрау Шверер, целыми днями сидевшая со своим вязаньем в гостиной. Тем не менее сегодня вторник, в расписании стоит: «его превосх. ф. Шверер» — значит, полы должны быть натёрты. Впрочем, Бойс всё равно пошёл бы к генералу: ему необходимо повидать мойщика

автомобилей Рупрехта Вирта. Рупп должен дать ему новую коробочку для Трейчке. Сигаретная коробка Руппа должна попасть к Трейчке со скоростью самого спешного письма. Таковы были сегодня неотложные дела.

Сотни коробочек перенёс Бойс за годы работы связным подпольной партийной организации. Ради этого он и таскается по опостылевшим ему квартирам генералов и «советников». Каждый божий день он рискует быть схваченным. Изо дня в день, из месяца в месяц скучная и такая незначительная на вид, но тяжёлая работа полотёра; замечания клиентов, унижительные чаевые. И

ни Трейчке, ни кто бы то ни было из товарищей никогда ни полусловом не обмолвился о значении коробочек, которые Бойс переносил с места на место и каждая из которых могла стоить ему головы. Он не ждал ни награды, ни благодарности. Лучшей наградой ему было сознание исполненного долга, однообразного, опасного и незаметного.

Через полчаса Бойс взял в москательной лавке мастику для полов Шверера. Это была не какая-нибудь стандартная мастика. Прежде чем позволить намазать ею паркет, фрау Шверер тщательно проверит её оттенок. Генерал сразу заметил бы уклонение от раз навсегда принятого

образца: чуть темнее третьего номера и светлее второго. Старый дуб паркета должен просвечивать сквозь неё своею естественной желтизной, но и не иметь такого вида, будто его просто натёрли воском.

В десять часов, со щёткой, суконкой и банкой мастики прижатыми к боку протезом, Бойс входил в квартиру Шверера, а без четверти двенадцать Вирт затворил за ним калитку. Новая сигаретная коробочка лежала в кармане полотёра.

Ещё три квартиры, прежде чем Бойс сядет в поезд на Потсдам. Три квартиры — шесть часов работы. Он

как-то подсчитал: каждую секунду — два движения ногою со щёткой. Сто двадцать движений в минуту. Двадцать тысяч движений на каждую квартиру! Значит, ещё шестьдесят тысяч движений, прежде чем он сдаст коробочку Вирта адвокату Трейчке!..

Наконец-то он в вагоне электрички! Пусть его бранят, но он не в силах натирать сегодня ещё и у Александера. Он всего только стареющий, усталый человек. На сегодня хватит и четырех квартир.

К тому времени, когда он добрался до домика Трейчке, лампочка над крыльцом уже зажглась. Адвокат, как всегда,

отворил сам. Он молча пропустил мимо себя полотёра и так же молча взял у него пустую сигаретную коробочку. Но если обычно он рассматривал трофеи Бойса после его ухода, то сегодня, не скрывая нетерпения, сейчас же исчез в спальне с лупой в руке.

Вернувшись из спальни, он схватил со спинки качалки подушку и бросил её на решётку вентиляционного отверстия в полу комнаты и даже прижал ногою. Но тут же передумав, он поспешно поднял подушку и швырнул обратно на качалку. Во всех его движениях Бойс видел волнение и торопливость, столь несвойственные

адвокату. После короткого раздумья Трейчке поманил полотёра движением руки и провёл его через кухню на чёрный ход во двор. На дворе было темно и тихо. Бойс молча ждал, пока Трейчке прошёл вдоль всей ограды.

Подойдя вплотную к полотёру, адвокат тихонько проговорил:

— Лемке перевезут в Берлин сегодня ночью. Можете вы принять участие в попытке спасти его? — И тут же, как будто уже получив утвердительный ответ от молчавшего Бойса, торопливо продолжал: — Ваша задача — задержать тюремный автомобиль в районе... — чуть слышно он назвал место. — Только

заставьте его остановиться!

— А остальное? — спросил Бойс.

— Это дело других.

— Можете дать мне кого-нибудь в помощь? — спросил Бойс, покосившись на свой протез.

— Нет.

Бойс помолчал.

— Благодарю за доверие, товарищ Трейчке, — сказал он. В первый раз за годы общения с адвокатом он назвал его товарищем.

— Вас могут схватить даже в случае удачи, — сказал Трейчке.

Бойс понимающе кивнул головой и посмотрел на часы.

Трейчке сказал:

— Можете сегодня не натирать полы. Вы и так не успеете заехать домой.

Когда они вернулись в комнаты, Трейчке взял суконку и щётку полотёра и вместе с коробкой из-под сигарет бросил в пылающий камин.

Адвокат и полотёр простились молчаливым рукопожатием.

Уже на крыльце Трейчке спросил:

— Нужны деньги на дорогу?

Бойс ответил отрицательным движением головы, приподнял шляпу и исчез в темноте.

Все время, пока он ехал к названному Трейчке месту в окрестностях Берлина, он не

переставал думать о той перемене, которая произошла в его судьбе. Ощущение большого доверия, оказанного ему партией, было настолько осязательно, как если бы удостоверение об этом, с подписями и печатями, лежало у него в кармане. Ему казалось, что Трейчке сделал правильный выбор. Чувство гордости заполняло его грудь теплотой. Но когда мысль дошла до более чем вероятного конца всего дела — до его собственного ареста, Бойс понял, что именно тогда-то перед ним по-настоящему, во весь рост, и встанет вопрос: достоин ли он доверия, оказанного ему партией? Ведь гестаповцы прежде всего захотят

узнать, кто он и что заставило его задержать автомобиль, кто послал его на это дело... Да, именно тогда и встанет вопрос о том, оправдает ли он доверие. Но ведь этого не мог не понимать и Трейчке, когда давал ему задание. Значит, он решил именно ему, Яну Бойсу, доверить свою судьбу, судьбу операции, судьбу подпольной связи партии. И снова чувство гордой благодарности тёплой волной поднялось в полотёре. Важно было одно: остановить автомобиль.

Приблизившись к шоссе в указанном Трейчке районе, Бойс убедился в том, что Трейчке не случайно выбрал это место, чтобы задержать тюремный автомобиль:

дорога была перегорожена временной изгородью, на которой светился красный фонарь и висела надпись — «Ремонт». Для проезда оставалась лишь левая сторона шоссе, достаточная только для одного автомобиля.

Бойс уселся в придорожной канаве и достал из кармана бутерброд. По существу говоря, было достаточно стать в узком проезде — и автомобиль должен будет остановиться. Да, если бы это не был автомобиль гестаповцев...

Бутерброд был съеден, тщательно подобраны крошки с бумаги. Бойс внимательно вглядывался в силуэты

приближающихся автомобилей.

Так он сидел час, два... Тюремного фургона все не было. На востоке появилась полоска зари. Бойс понял: они повезли Лемке другой дорогой.

Трехдневный непрерывный допрос, — без сна, без пищи, с побоями и пытками; потом день перерыва, — ровно столько, сколько нужно, чтобы вернуть истерзанному телу чувствительность к боли, а сознанию — способность воспринимать окружающее. После этого — снова допрос.

Лемке знал: это называлось здесь «мельницей». Для попадавших в неё было только два выхода: быть «размолотым», то-есть забитым кулаками следователей, подкованными каблуками надзирателей, пряжками поясов,

шомполами, резиновыми палками — всем, что попадало под руку, и умереть тут же, в стенах тюрьмы, или в камере следователя — первый выход и топор палача — второй.

Обычно к третьему дню допроса, а иногда и к концу второго Лемке не только не испытывал уже острых физических страданий, которые вначале, казалось, способны были лишить рассудка, но даже переставал отчётливо воспринимать происходящее.

Чаще всего начиналось с того, что следователь предлагал сесть. Затем протягивал сигареты. Уже потом начинался допрос и избиения.

По этому же расписанию все

происходило и в последний раз. Следователь показал Лемке автомобильный номерной знак.

— Узнаете?

Лемке видел эту жестянку впервые и, как всегда, с самого ареста, ответил пренебрежительным молчанием. Но на этот раз, к его удивлению, следователь не вышел из себя, а сказал:

— Молчите, сколько влезет, мы и так знаем все.

Лемке был уверен, что это пустая похвальба гестапо.

— Этот номер вы сняли с автомобиля генерала фон Шверера, — сказал следователь, — чтобы организовать бегство в Чехию

своего сообщника.

Лемке молчал. Он знал, что следователю очень хотелось заставить его подписать протокол со всей этой чепухой, но он мог только молчать.

— Может быть, вы скажете, что у вас не было сообщников? Вы никого не переправляли в Чехию? — И следователь сам себе ответил: — А патер Август Гаусс!

Он выкрикнул это с торжеством победителя и, потряхивая в воздухе вынутым из папки листком, щурился на арестованного.

— Все молчите?.. Ну что же, молчите, сколько вам влезет. Вы будете, вероятно, своим дурацким

молчанием отрицать и то, что привезли в Хонштейн патеру Августу Гауссу это письмо? Прочтите его и попробуйте сказать, что вы тут ни при чем.

Лемке увидел, что адресованное Августу письмо содержит совершенно ясное сообщение о том, что он, Франц Лемке, скрывающийся под именем Бодо Курца, направляется Берлинским комитетом компартии для связи с католиками и для совместной организации террористического акта против руководителей германской армии. Под письмом стояла грубо подделанная подпись одного из членов Берлинского комитета

партии, даже не ушедшего в подполье, так как его арестовали до того.

Все это было настолько вздорно, что Лемке не хотелось даже доказывать подложность документа.

— Вы и теперь попробуете это отрицать? — Следователь угрожающе выпятил челюсть. Потом, порывшись в бумагах: — Так полюбуйтесь на это! — И он стал цитировать «показания священника Августа фон Гаусса».

Патер Гаусс! Значит, все же верны были подозрения Лемке: этот поп проник в подполье как провокатор. Вот когда гестаповцы выдали себя! Все это неумно

подстроенные попытки запутать его партию в покушение на Шверера. Если бы дело происходило в публичном заседании суда, перед зрителями и прессой, — о, тогда другое дело! Тогда бы Лемке заговорил. Он знал бы, что говорить и делать! Разве можно было забыть благородный пример Димитрова?! А тут? Нет смысла втолковывать что-нибудь тупоголовым палачам. Достаточно того, что он не скажет ничего и ничего не подпишет.

Ещё несколько фраз следователя — и Лемке окончательно убедился: патер Август Гаусс — предатель и провокатор. Вероятно, он вовсе и не арестован и все его показания

сфабрикованы ради попытки навязать компартии то, чего она никогда не делала и не могла делать, так как приписываемые ей действия, вроде террористического акта против Шверера, просто противоречили партийной тактике и всегда отрицались его. С этого момента все внимание Лемке сосредоточилось на том, чтобы не упустить какой-нибудь детали, которая поможет понять, куда проникли щупальцы гестапо, как много знает Август Гаусс и знает ли он что-нибудь вообще, работает ли он один, или у него есть сообщники. Все душевные силы Лемке были теперь сосредоточены на этом: только бы не потерять эту

нить, когда будет пущена в ход «мельница». Эта мысль не покидала Лемке ни на первой стадии допроса, с папиросами, с уговорами и обещаниями, ни на второй, когда его били, а следователь кричал, брызжа слюною:

— Скажешь?! Скажешь?!

Скажешь?!

Наконец пошла в ход «мельница».

И тут ещё Лемке пытался сосредоточиться на мысли: «Не забыть, не забыть главного!..» Но багровый туман боли заволок сознание. Даже струя ледяной воды не могла привести Лемке в чувство.

Следователь вошёл в кабинет

Кроне.

— Ничего! — устало пробормотал он.

Кроне посмотрел на него исподлобья.

— Сдаётесь?

Следователь растерянно молчал.

— Идите, — так же негромко, словно он тоже был утомлён до крайности, проговорил Кроне. — Идите, я займусь этим сам.

— Не думайте, что я не все использовал, — оправдываясь, поспешно сказал следователь.

Кроне раздражённо отмахнулся.

— Это совсем особенный народ, эти коммунисты, — виновато сказал следователь.

— Убирайтесь... вы! — крикнул вдруг, выходя из себя, Кроне.

Как заставить говорить этих коммунистов? Если бы кто-нибудь знал, как он их ненавидит!.. Это по их милости его гнетёт страх, выгнавший его из Чехословакии, страх, привезённый даже сюда, в Германию. А что, если?.. Что, если все его старания напрасны? Что, если победа останется за теми, кого они тут истязают, казнят, кого они пытаются заставить признать себя побеждёнными? Откуда у коммунистов такое сознание правоты, такая нестигаемая уверенность в победе? Откуда эта сила сопротивления, стойкость,

бесстрашие? Откуда?

Лучше не думать.

Неудача следователя с Лемке ещё раз доказывала, что для борьбы с арестованными коммунистами нужно искать какие-то особые методы. И Кроне показалось, что он придумал: Тельман. Вот кого он использует, чтобы развязать им языки!

Он тут же протелефонировал Герингу и Гиммлеру.

— Разумно, милый Кроне, очень разумно! — ответил Геринг. — Но держитесь меры; очень прошу вас: держитесь меры! Тельман может нам ещё понадобиться.

Откровенно говоря, Кроне не

знал, зачем им может понадобиться Тельман. Он не разделял взгляда Геринга, хотя и понимал, что убийство Тельмана — большое и опасное преступление, связанное с огромным риском для нацистов. Но лучше пойти ещё на один взрыв возмущения общественного мнения всей Европы, всего мира, чем вечно чувствовать над головой эту угрозу: Тельман! Неужели Геринг и компания не понимают, что даже в тюрьме Тельман — как пружина гигантского и таинственного механизма, скрытую силу которого никто из них не в состоянии учесть? Ведь если бы тюремные власти и работники тайной полиции не

дрожали за собственные шкуры, они довольно часто могли бы докладывать, что никакая система изоляции — ни стены тюрьмы, ни тройная охрана — не может помешать мыслям Тельмана проникать в мир, словно их разносят какие-то таинственные токи. Тельман продолжал оставаться сердцем немецкой компартии. Кровоточащим, но мужественным и полным веры в победу сердцем.

Кроне знал, что чем более жестоким становился режим нацистских застенков, тем сплоченнее становились заключённые, тем меньше оставалось уверенности в

надёжности тюремной стражи.

Что, если?..

Впервые, когда Кроне вернулся из Чехии, он задумался над тем, что, быть может, далеко не все обстоит так благополучно с прочностью нацизма, как ему казалось прежде. Когда Кроне, напуганный народной ненавистью к нацистам в Чехии, стал приглядываться к немцам, ему почудилось, что немало немцев делает вид, будто они являются нацистами. Чем усерднее клялся в своей правоверности немец, тем подозрительнее становился он для Кроне. Не страх ли заставляет их маскироваться под нацистов? Кроне стал внимательней вслушиваться в

вольные шутки высокопоставленных нацистов, в рассказанные, как бы невзначай, антигитлеровские анекдоты, ненароком переданные тревожные слухи. Честное слово, нужно взять себя в руки, иначе он перестанет верить самому себе!

Да, будь его воля, он не стал бы держать даже в подземном каменном мешке такую потенциальную силу, как Тельман. Он втрое, вдесятеро быстрее вёл бы в гестапо дела всех коммунистов. Каждый день жизни каждого коммуниста — это слово правды, просочившееся из тюрьмы, это лозунг борьбы, призыв к сопротивлению Гитлеру и его хозяевам, среди которых главный,

конечно, хозяин и самого Кроне — Ванденгейм.

Чем остановить этот поток правды, какой плотиной? Хватит ли золота у Ванденгейма и у всех остальных — морганов, рокфеллеров, меллонов и дюпонов — на постройку такой плотины? Неужели приходит время, когда идеи и слово начинают весить больше чистого золота? Ведь если так — конец! Конец всему, всем им!.. Кроне нервно повёл лопатками: неужели этот отвратительный страх прополз за ним даже сюда, в самую цитадель фашизма, где он всегда чувствовал себя так хорошо и уверенно? Кроне медленно поднял руку и закрыл ею

глаза.

Через несколько дней, когда немного оправившийся от предыдущего допроса Лемке обрёл способность воспринимать окружающее, Кроне устроил ему очную ставку с Тельманом.

Лемке смотрел на обросшего седою бородой богатыря, сидевшего перед ним на носилках. Да это тот же их любимый, неукротимый Тэдди. Это его глаза — прежние, умные, горящие неугасимым огнём мужества глаза Эрнста Тельмана.

Поняв, что они узнали друг друга, Кроне издевательски проговорил тоном соболезнования:

— Пока господин Лемке не ответит на наши вопросы, господин Тельман не получит ни глотка воды... хотя бы нам пришлось уморить его жаждой.

И провёл рукою по стоявшему тут же графину с водой.

Лемке видел, как судорога свела челюсти Тельмана, и тотчас исчезло последнее сомнение: да, перед ним настоящий Тельман. Что-то вроде улыбки тронуло бескровные губы вождя, и он прошептал, глядя в глаза Лемке:

— Будь... как... сталь!

— Хорошо, — сказал Лемке Кроне, — я скажу, от кого узнал о покушении на генерала Шверера и

кто поручил мне его предотвратить.

Следователь, сидевший рядом с Кроне, насмешливо проговорил:

— Не валяй дурака! Мы же знаем: именно ты и переправил для этой цели в Чехию патера Гаусса.

Но Кроне остановил его движением руки и сказал Лемке:

— Продолжайте.

И Лемке продолжал:

— Ни я как коммунист, ни партия в целом не имели никакого отношения к покушению. И вы это отлично знаете. Поэтому-то вам и хочется знать, кто вас выдал. Больше того: я могу вам сказать, кто просил меня помочь ему в предотвращении покушения на генерала...

— Кто?! — рывкнул следователь и стукнул по столу кулаком.

Кроне поморщился и кивнул Лемке:

— Продолжайте.

— Меня просил помочь ему майор Отто фон Шверер, сын генерала. — Произнося это, Лемке не спускал глаз с Кроне. Он добавил ещё несколько деталей ночного разговора в автомобиле, якобы переданных ему Отто Шверером.

Внимательно следя за лицом Кроне, Лемке уловил впечатление, произведённое на него известием о двойной игре Отто. Лемке понял, что нанёс чувствительный удар.

Кроне сейчас же прекратил

допрос и, поднимаясь, сказал следователю:

— Он мне больше не нужен. —
И с этими словами поспешно вышел.

Ага! Теперь он поспешит взяться за Отто. Он будет вытягивать из него «признания» и звено за звеном разрушать свою собственную цепь.

Тельман, внимательно следивший за допросом со своих носилок, с благодарностью посмотрел на Лемке, и снова что-то вроде бледной улыбки пробежало по его губам.

Прежде чем надзиратели увели Лемке, он успел ещё раз поймать ободряющий взгляд Тельмана. Он не

слышал слов, но это и не имело значения. «Будь, как сталь!» Он знал, что должен держаться, и был уверен, что будет держаться до конца.

А конец?.. Лемке уже мало интересовало, что будет дальше. Его заботило одно: дать знать на волю, что Август Гаусс — провокатор. Осторожное перестукивание, едва уловимый шопот, пока санитары-заключённые переносили его из камеры в камеру, — и известие побежало по невидимым проводам, мимо навострённых ушей надзирателей, сквозь толстые стены камер. Оно вырвалось из тюрьмы на свободу и, превратившись в сигаретную коробочку, очутилось в

нише гранитного постамента, с которого хмуро глядит на мир фельдфебелевская морда Эйхгорна. А там... там связной, однорукий полотёр Ян Бойс, доставил эту коробку адвокату Алоизу Трейчке.

Проходит несколько дней. Трейчке докладывает об открытом провокаторе руководящим товарищам, ни имён, ни местопребывания которых не знает больше никто из подпольщиков. И вот снова, в нарушение громовых указов, подписанных «самим» Гиммлером, в обход циркуляров Гейдриха и Кальтенбруннера, в насмешку над строгими приказами группен — и бригаденфюреров,

мимо ушей доносчиков, над головами рычащих тюремщиков, сквозь стальные двери камер, в тюрьму несётся ответный призыв к бодрости и благодарность партии стойким борцам. Он достигает камеры Тельмана, попадает к измученному Лемке. Смысл этого приветствия партии Лемке скорее угадывает по едва уловимому движению губ арестанта, разносчика хлеба, чем слышит; его повторяет уборщик параши, осторожно подтверждает санитар. И эта весть звучит для Лемке прекрасной музыкой, какой ему ещё никогда не доводилось слышать. Теперь он знает: партия не позволит

провокатору проникнуть в её ряды. Больше Лемке не о чём заботиться, разве только о том, чтобы выдержать до конца. Ну, а в этом-то он не сомневается. Да, теперь он свободен, он может думать о чём угодно. Он не может выдать своих мыслей даже во сне, даже под действием любых расслабляющих волю составов, хотя бы ими заменили всю кровь в его жилах.

Теперь Лемке свободно думает о том огромном и прекрасном, неодолимом, как разум, как свет, что заставляет гестаповцев скрипеть зубами от бессильной злобы, в борьбе с чем гитлеровцы, может быть, прольют ещё реки крови, но

что победит непременно. Это все покоряющая сила идей Маркса и Ленина; это сила сталинского гения, несущего трудовому человечеству свободу и мир; это железная воля Эрнста Тельмана...

Сколько тысячелетий существует на земле человек — Homo sapiens, и сколько понадобилось ему времени, чтобы достичь первой ступени познания истины, что человек человеку перестанет быть волком, когда исчезнут классы, когда перестанут существовать господа и рабы, когда исчезнет эксплуатация человека человеком. Лемке не знает, сколько ещё тысячелетий тюремного

заклучения и концлагерей отбудут в
сумме люди, чтобы добиться
осуществления этого открытия, но
дело идёт к развязке. Он не знает,
будет ли его голова последней на
вершине гекатомбы, принесённой в
жертву богу тьмы и стяжания, но он
гордится тем, что коммунист Франц
Лемке оказался честным солдатом
партии — передового отряда
человечества, штурмующего
твердыню мрака. У Лемке легко на
душе — он не изменит партии ни под
кнутом, ни под топором палача. Да
взрастут на его крови цветы
подлинного братства всего
трудящегося человечества —
свободного и счастливого! А

теперь...

Чего он хочет теперь? Заставить отлететь слабую искру жизни, едва тлеющую в его истерзанном теле? Нет. Он ещё хочет немного подумать о том, ради чего жил и боролся; о том прекрасном будущем, где будет жить идея, которую он сумел пронести до конца. Бессмертная идея! Вот оно, подлинное бессмертие, о котором столько веков мечтает человек.

Лемке закрыл глаза.

Может быть, он лежал так сутки, может быть, всего лишь минуту, — он не знал. Его заставил очнуться звон ключей, лязг дверного засова, тяжёлые шаги в камере, у самой его

ГОЛОВЫ.

Куда бы его ни поволокли, Лемке знал: он победил их. В бессилии перед его духом они уничтожали то, что осталось от его тела. Преступные дураки! Они думали, что вместе с ним можно уничтожить идею, носителем которой он был, хотя бы крошечную частичку этой идеи! Жалкие человекообразные, разве могут они понять, что уничтожение того, что от него осталось, будет ещё одним шагом к окончательной победе над ними, над их гитлерами, над их нацизмом, над тьмою средневековья, к которому они пытаются вернуть человечество. Нет, человечество не

пойдёт назад. Слишком ясно, — с каждым днём яснее, — видит оно впереди цель: свободу, мир, счастье! Каждое новое имя в списке жертв фашизма — призыв к совести народа. Может быть, тяжким будет похмелье немцев, но оно придёт. Вон она, победа, — она уже видна впереди!..

Нить, по которой Цихауэр, приехав в Берлин, пытался добраться до источника сведений о Лемке, была тонка, как паутина, и грозила ежеминутно порваться.

Объявление вне закона, режим сыска и полицейского террора вынудил немецких коммунистов уйти в глубокое подполье. Не только оставшиеся в живых руководящие работники, но и рядовые функционеры партийного аппарата были тщательно законспирированы. Каждый подпольщик знал не больше двух-трех товарищей. Всякий новый человек, представлявший собою

звено цепи, которой пробирался Цихауэр, боялся увидеть в художнике гестаповскую ищейку, и, в свою очередь, каждый из них мог оказаться провокатором, увлекающим Цихауэра в западню.

Можно себе представить его удивление, когда он обнаружил, что явка, на которой он должен был, наконец, ухватиться за последнее звено цепи, привела его к дому с поблёскивающей на дверях медной дощечкой «Конрад ф. Шверер. Генерал от инфантерии». Об этом он не был предупреждён и в нерешительности замедлил шаги, хотя все сходилось с данным ему описанием: и номер над воротами, и

под ним две кнопки звонка с надписью: «Просим нажать». Возле них дощечки: «Сторож», «Гараж». Вот сейчас он нажмёт эту верхнюю, распахнётся калитка и... «пожалуйста товарищ Цихауэр».

Нет, глупости!

Они не стали бы устраивать ловушку в доме такой персоны, как генерал Шверер. А с другой стороны, это просто невероятно, чтобы нужный Цихауэру человек находился на том самом месте, где провалился Лемке.

Цихауэр в десятый раз мысленно проверил данные: малейшее недоразумение в Берлине грозило провалом ему, приехавшему с

паспортом музыканта Луи Даррака. Вздумай полицейский на первой же проверке сунуть ему в руки скрипку и никогда уже он не попадёт в Париж, через который лежит его путь в далёкую Москву.

Цихауэр нажал условным образом на кнопку с надписью «Гараж».

Было бы мало назвать удивлением то, что он испытал, когда отворилась калитка: перед ним стоял, в кожаном фартуке, вытянувшийся и повзрослевший Рупрехт Вирт. Цихауэр узнал его сразу, хотя не видел, кажется, с тех пор, как они вместе расклеивали предвыборные плакаты в тридцать

третьем году. Но, делая вид, будто не узнает молодого человека, художник сказал:

— Я от лакировщика...

Рупп в нерешительности потрогал пальцем тёмную полосу пробивающихся усов.

— Вы маляр? — спросил он так, будто тоже впервые видел Цихауэра.

— Нет, художник. Ведь вам нужна тонкая работа.

Рупп молча, жестом, пригласил Цихауэра войти. Не обменявшись ни словом, они пересекли двор, по сторонам которого росли старые липы, и вошли в гараж.

— Здравствуйте, товарищ Цихауэр, — с усмешкою сказал Рупп,

но, заметив, что Цихауэр хочет протянуть ему руку, поспешно добавил: — Нет, нет, делайте вид, будто осматриваете царапины на краске... на левом переднем крыле... Это у нас теперь постоянная история. На месте Франца — настоящий разбойник. Генерал терпит его только потому, что его прислали из гестапо.

Цихауэр коротко рассказал Руппу о телеграмме, полученной от Лемке на Вацлавских заводах, о том, как они с Зинном не успели спасти Лемке от ареста, и о подозрениях насчёт участия в этом деле патера Августа.

— Да, он окончательно

разоблачён как провокатор, — подтвердил Рупп, стоявший у открытой двери и внимательно наблюдавший за двором. — Он провалил много наших людей, оставшихся в Судетах после прихода наци. По нашим данным, не сегодня — завтра произойдут трагические для чехов события.

— Мы это чувствовали и там, но я приехал сюда специально ради того, чтобы организовать помощь Лемке.

— Помощь Лемке? — Рупп отвернулся и грустно покачал головой. — Ни о какой помощи не может быть и речи, — не сразу сказал он.

— Его содержат так строго?

Рупп ответил дрогнувшим

голосом:

— Да...

Цихауэр почувствовал, что это далеко не всё, что тот знает.

— Вы мне не доверяете?

— Просто тяжело говорить...

Франц был мне очень близок.

Рупп все смотрел в сторону.

— Рупп — осторожно позвал

Цихауэр.

Молодой человек обернулся:

— Его казнили третьего дня...

И над ухом Цихауэра, делавшего вид, что он осматривает царапины на крыле, послышался тревожный шопот Руппа:

— Мой разбойник идёт!

В гараж вошёл новый шофёр. Делая вид, будто они говорили о ремонте крыла, художник равнодушно произнёс.

— Эта работа мелка и слишком проста для меня. Вам дешевле обойдётся простой маляр.

Следуя за ним под длинною аркой ворот, Рупп тихонько проговорил:

— Мне очень хотелось бы с вами повидаться ещё разок.

— Это не удастся... Раз я тут не нужен, надо ехать.

— Да... так лучше, — подавляя вздох сожаления, сказал Рупп. — Каждая минута здесь — риск.

— Не страшно?

Рупп пожал плечами:

— Я уже привык! У меня слишком важная явка, чтобы партии можно было её лишиться.

Цихауэр посмотрел на его усталое лицо и без страха сказал:

— Я уже не туда... Я в Москву...

— Счастливец!

Глаза Руппа на мгновение загорелись, и лицо разгладилось. Цихауэру показалось, что молодой человек сейчас улыбнётся, но горькая складка снова появилась у его рта.

— Желаю счастья и успеха, — тихо сказал он.

— Надеюсь, увидимся. — Цихауэр снял шляпу и почтительно

поклонился молодому человеку; тот молча кивнул.

Калитка закрылась с таким же железным стуком, с каким захлопываются двери тюрьмы. И так же звякнул за нею засов.

Грета Вирт сидела на железном табурете между двумя стрелками подъездных путей, соединявших набережную с угольным складом газового завода. Тяжёлая железная штанга, которой она переводила стрелки, была зажата между коленями, так как Грета засунула руки в рукава пальто, пытаясь согреть заочиненные пальцы. Может быть, март и не был таким уж

холодным, но не так-то просто просидеть десять часов на ветру и дожде, её выпуская из рук эту пудовую штангу, и быть ежеминутно готовой перевести правую или левую входную стрелку перед возвращающимися в парк вагонами.

Пальто давно промокло, и напитавшиеся влагой концы рукавов не согревали застывших пальцев. Но не было сил вытащить их и снова взяться за холодную штангу. Может быть, вагоны дадут ей передышку в несколько минут — под конец её смены они уже не так часто сновали взад и вперёд...

Грета сидела сгорбившись и думала о том, что вот уже несколько

дней, как она не видела сына. Рупп давно уже не жил дома, но он отлично помнил часы её дежурств и иногда забегал повидаться. И вот уже несколько дней...

На сердце было беспокойно. Да и могло ли быть спокойно на сердце женщины, которая отдавала себе отчёт в том, где и когда живёт! Коричневые палачи уже отняли у неё мужа, и она даже не знает — жив ли он, вернётся ли когда-нибудь. Только вера в справедливость и надежда на то, что дело, за которое пострадал её муж, не может не победить, давало силы смотреть в глаза Руппу и никогда ничем не выдать своей мучительной тоски и тревоги за его

судьбу, за самую его жизнь. Проклятые вешатели не шутили с такими, как её Рупп. Далеко не всегда они ограничивались лагерем. Все чаще доходили слухи о казнях арестованных антифашистов.

Может быть, она как мать могла просто сказать Руппу: «Оставь все это, вспомни судьбу отца, смирись!» И, может быть, Рупп послушался бы её? Ведь он всегда был послушным ребёнком... Может быть...

Может быть, она даже должна была бы как мать сказать это своему мальчику?.. Может быть...

Грета часами, изо дня в день думала об этом. Чем мучительнее становилось ожидание сына, чем

тревожнее делались
распространявшиеся среди рабочих
слухи об арестах и казнях, тем яснее
казался ей ответ на этот вопрос: её
сын оставался её сыном. Но стоило
Руппу появиться перед нею с его
спокойными движениями, с крепко
сжатыми, как бывало у отца, губами
и с таким уверенным и открытым
взглядом карих глаз, как вся её
решимость пропадала, и она уже не
была так, как прежде, уверена, что её
сын — только её сын. Ей приходили
на память разговоры, которые вели в
её крохотной кухне муж и Тэдди. Из
этих разговоров было ясно, как
дважды два, что нет на свете такой
чёрной силы, которая способна

остановить движение народа вперёд,
к свободе. И пособником
капиталистов и
контрреволюционеров становился
всякий, кто пытался мешать этому
движению, так или иначе лил воду на
их мельницу. Вот и выходило, что,
заботясь о голове своего мальчика,
она оказывалась противницей
борьбы, которую он вёл, идя по
следам отца и Тэдди! А ведь она же
не была их противницей! Господи-
боже, какую сложную и страшную
жизнь устроил проклятый Гитлер!..

Грета с тоской поглядела на
стрелки больших электрических
часов, висевших на трамвайном
столбе. Её смена подходила к концу, а

мальчика опять не было!..

Она подышала на руки, чтобы не выпустить штангу из окостеневших пальцев, когда будет переводить стрелку перед показавшимся на повороте угольным вагоном, и, занятая своим делом, не заметила, как со ступеньки проходившего трамвая соскочил Рупп.

Рупп не решился, как бывало, открыто подойти к матери и, взяв её под руку, вместе отправиться к остановке трамвая.

Рупп мимоходом бросил вздрогнувшей от неожиданности женщине, что ждёт её в той же столовой, что обычно. И тон его был так непринуждённо спокоен, шаги

так неторопливо уверенны, что все страхи как рукой сняло. Через полчаса она входила в столовую и, не глядя по сторонам, направилась в дальний угол, где обыкновенно сидел Рупп. Он поднялся при её приближении, бережно снял с неё промокший платок и отяжелевшее от воды пальто и взял своими большими горячими ладонями её посиневшие от холода неподатливые руки, и держал их, и гладил, пока они не стали тёплыми и мягкими. Даже, кажется, подагрические узлы её суставов стали меньше ныть от его дыхания, когда он подносил к губам её пальцы; потом он сам взял поднос и принёс с прилавка еду.

Мать смотрела ему в глаза и старалась уловить тревожную правду в той успокоительной болтовне, которой он развлекал её, пока она, зажав ладонями горячую чашку, прихлёбывала гороховый суп.

Грета изредка задавала вопросы, имевшие мало общего с пустяками, которыми Рупп старался отвлечь её мысли. Но разве можно было отвлечь мысли матери от опасности, которую она видела над головой сына! И тем не менее, как ни велик был её страх, как ни мучительно было её душевное смятение, она ни разу не сказала ему того, что так часто думала, когда его не было рядом: может быть, довольно борьбы, может быть,

смириться на время, пока не пройдёт нависшая над Германией чёрная туча гитлеровщины? Словно отвечая её угаданным мыслям, Рупп тихонько проговорил:

— Верьте мне, мама, совсем уже не так далёк тот день, когда мы заставим рассеяться нависшую над Германией чёрную тучу фашизма!

— Ах, Рупхен!..

И не добавила ничего из того, что вертелось на языке. Ведь Рупп был не только её сыном, — у него был отец, дело которого продолжал мальчик, у него был учитель — железный Тэдди. Она — мать. А разве не мать ему вся трудовая Германия?!

И Грета сжимала зубы, чтобы не дать вырваться стону тоски, когда приходила мысль: «Может быть, в последний раз?» Она не могла не думать этого, прощаясь с ним.

— Послушай, мальчик... Может быть, теперь тебе лучше переехать ко мне и ходить на работу, как ходят другие?

Рупп покачал головой:

— Нет, мама. Я могу понадобиться хозяевам в любую минуту.

Она была уверена, что дело вовсе не в хозяевах. Но если бы знать, что мальчик только боится за её покой, хлопчет об её безопасности?! Тогда бы она не стала и

разговаривать, а сама пошла бы за его вещами и перевезла их домой. Но разве она не помнит разговоров на своей кухне, разве она не понимает, что такое явка?..

У Руппа так и нехватило духу сказать ей, что Франц Лемке с честью прошёл до конца, а у неё не повернулся язык спросить, знает ли он об этом. Каждый решил оставить то, что знал, при себе.

Прощаясь, Рупп протянул ей маленький томик. Грета удивилась, увидев дешёвый стандартный переплёт евангелия.

— Зачем мне?

— Я не мог её уничтожить. Это память об одном друге. Спрячьте её

для меня.

Она поняла, что переплёт — только маскировка, и с тревогой взглянула на сына. Однако и на этот раз она больше ни о чём не спросила и молча сунула книгу в карман. Только дома, поднявши на кухне кусок линолеума, под которым когда-то прятал свои книги муж, Грета заглянула в евангелие: «Анри Барбюс. Сталин. Человек, через которого раскрывается новый мир». Грета раскрыла книгу: «...Он и есть центр, сердце всего того, что лучами расходится от Москвы по всему миру... Вот он, величайший и значительнейший из наших современников... Люди любят его,

верят ему, нуждаются в нём, сплачиваются вокруг него, поддерживают его и выдвигают вперёд. Во весь свой рост он возвышается над Европой и над Азией, над прошедшим и над будущим...»

Забыв о поднятой половице, Грета перебрасывала одну страницу за другой: «Нашей партии мы верим, — говорит Ленин, — в ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи...» «Не всякому дано быть членом такой партии, — говорит Сталин. — Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии!»

Её мальчик выдержит! Как отец, как Тэдди!

«Чтобы честно пройти свой земной путь, не надо браться за невозможное, но надо идти вперёд, пока хватает сил».

Её мальчик идёт вперёд. У него хватит сил дойти до конца. Как у отца, как у Тэдди, как у... Франца!..

Если бы кто-нибудь знал, как трудно ей, матери!..

Грета смотрит на последнюю страницу:

«...Ленин лежит в мавзолее посреди пустынной ночной площади, он остался сейчас единственным в мире, кто не спит; он бодрствует надо всем, что простирается вокруг

него, — над городами, над деревнями. Он подлинный вождь, человек, о котором рабочие говорили, улыбаясь от радости, что он им товарищ и учитель одновременно; он — отец и старший брат, действительно склонявшийся надо всеми. Вы не знали его, а он знал вас, он думал о вас. Кто бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом друге. И кто бы вы ни были, лучшее в вашей судьбе находится в руках того, другого человека, который тоже бодрствует за всех и работает, — человека с головою учёного, с лицом рабочего, в одежде простого солдата...»

Грета захлопнула было книгу, но

снова подняла переплёт, ещё раз
посмотрела на первый лист:
«Сталин» — и нагнулась к тайнику
под полом.

Несмотря на тёплый весенний день, — стоял март 1939 года, — Лорану было холодно. Он был худ, жёлт и много дней не брит. Воротник пиджака он поднял, чтобы скрыть отсутствие под ним чего бы то ни было, кроме красного шарфа, обмотанного вокруг шеи. Пальто у Лорана давно не было.

Для безработного зима неуютна и в Париже. Чтобы пережить её, Лорану пришлось продать все — от часов до одеяла. Вернувшись из Испании, он не мог удержаться ни на одном заводе. И на заводах и в муниципалитете внимательно

сводили за чёрными списками, которые услужливо доставлялись полицией.

Что было говорить о каком-то незаконном увольнении никому не известного эльзасца Лорана, если на всеобщую стачку рабочих, протестовавших против покушения на их права, сам премьер ответил погромной речью по радио! Даладье выкинул на улицу тысячи рабочих, сотни отправил в тюрьму и санкционировал чрезвычайные декреты Рейно, взвалившие на плечи трудового люда бремя непосильных налогов, отменил сорокачасовую неделю и сделал сверхурочный труд принудительным.

Всего пять месяцев назад Лоран из любопытства поехал в Ле-Бурже встречать Даладье, вернувшегося из Мюнхена. Он видел премьера вот так же близко, как сейчас садовника. Честное слово, можно поверить рассказу, будто, выглянув из самолёта и увидев толпу, Даладье готов был хлопнуть дверцу и приказать лететь обратно. Говорят, он думал, что сто тысяч парижан явились растерзать его за позор Франции, за предательство одной из её вернейших союзниц. Но нет, толпа мещан вопила: «Да здравствует Даладье!» Эти остолопы поверили тогда рассказам, будто премьер привёз из Мюнхена мир для нескольких

поколений французов.

Лоран отлично помнил, как через три месяца после этого хвастливого заявления Даладье парижане были повергнуты в уныние известием о падении Барселоны.

Барселона! Ах, господи-боже, можно было подумать, что это происходило в какой-то другой жизни — бригада Матраи и батальон Жореса. Всегда весёлый, беззаветно мужественный генерал и дорогие товарищи... Лоран помнил их всех: и своего соотечественника Даррака; и бригадного художника немца Цихауэра, изрисовавшего груды бумаги карикатурами на Франко, которыми они дразнили

фалангистов; и долговязого англичанина Крисса. Что-то случилось с ним?.. Ах да, он погиб в тот день, когда приезжала эта испанская певица! Да, да!.. А ближе всех стал тогда Лорану американец Стил, с которым они вначале друг друга даже и не понимали. Сколько они спорили, боже правый! И каким дураком казался, вероятно, остальным Лоран, когда он с пеною у рта защищал французских министров-социалистов. Дружище Стил, ты оказался прав: самые продажные шкуры, а не социалисты! Всех бы их на фонарь! Да, чорт возьми, доведись Лорану снова встретиться со Стилом, он знал бы,

что сказать!

Лоран отлично помнил, как переживал Париж дни, когда пала Барселона, и через неделю франкисты очутились у французской границы. Он ходил тогда с толпой к палате — требовать открытия пиренейской границы, где скопились поезда с оружием для республиканцев. Это было всё, что он мог тогда сделать, но он считал себя обязанным хотя бы крикнуть депутатам:

— Долой невмешательство!
Оружие испанцам!

Простая трудовая Франция желала победы Испанской республики, а Боннэ, размахивая

фалдами синего сюртука, кричал своё, и перекричал-таки всех: граница осталась закрытой, республика осталась без оружия. И вот она истекает кровью в неравной борьбе: не сегодня — завтра падёт Мадрид, и потоки пролитой напрасно крови станут ещё обильней под топорами фашистских палачей!

Мадрид?! Лоран хорошо помнил Университетский городок и Каса дель Кампо, где их бригада оставила не одну сотню своих бойцов. Может ли он забыть тот день, когда Стил с этим беспалым скрипачом Луи притащили из воронки раненого лётчика? Кто он был, этот парень? Кажется чех...

Луи Даррак! Славный был парень, настоящий сын Парижа! Но, кажется, и он тогда смеялся над Лораном, восхвалявшим французские порядки? Фу, дьявол, неужели, всю эту чепуху болтал действительно он, Лоран? Будь он парижанином, ему, наверно, давным-давно стало бы ясно все, но ведь он же, чорт побери, всего эльзасец, по традиции двух поколений мечтавший вернуться в лоно прекрасной Франции.

Вот и вернулся!..

Окурок обжёг губы Лорана.

Он с сожалением бросил его и придавил каблуком.

Жизнь!

Почему она казалась такой не

похожей на то, что писалось в газетах? Понадобилось попасть в чужую страну, в Испанию, чтобы кое в чём разобраться. Что же это? Выходит, бригада была для него настоящей школой. А кто были учителя? Люди со всех концов света, и его главный «профессор» — каменщик Стил. Удивительно, как здорово у коммунистов работают мозги! И сам генерал Матраи, и Зинн — комиссар, и длинноногий начальник штаба Энкель, и маленький Варга, и художник Цихауэр, можно сказать, чужие друг другу люди и даже с разных концов земли, а говорят словно на одном языке! Да, подумать противно, каким

дураком он сам, наверное, выглядел тогда в глазах Стила и других ребят. Тьфу!..

Лоран поднялся со скамьи и, машинально ещё раз растерев подошвой окурок, зашагал по аллее. Он старался размышлениями отвлечь себя от боли, которую снова почувствовал в желудке. Слава богу, поразмыслить было над чем. Ведь если быть логичным, то для человека, желающего до конца постичь правду жизни, открытую ему коммунистами в Испании, не может быть ничего более правильного, чем вступить в их партию.

Лоран остановился перед газетным киоском и пробежал

глазами крупные заголовки, видневшиеся на первых страницах газет, приколотых над головой газетчицы.

Он вежливо приподнял шляпу:
— Что нового, мадам Жув?

Он отлично знал, что мадам Жув не читает газет, но когда-то, в хорошие времена, он снимал у неё чердак и, как аккуратный плательщик, сохранил с ней добрые отношения. Поэтому, когда у него не бывало двух су на вчерашний номер газеты, а у неё бывал часок затишья между полуденными и вечерними выпусками, она позволяла ему тут же, около киоска, просмотреть заголовки.

— Только, пожалуйста, сложите опять так, чтобы было незаметно, что газету разворачивали, — проговорила она, откалывая для него отсыревший после утреннего дождя номер «Попюлер».

— Нет, нет! — остановил её Лоран. — Не то! Одно мгновение она смотрела на него с недоумением: Ах, да! — И, оставив «Попюлер», она подала ему номер «Юманите».

— Да кстати уж и объясните мне, что это болтают, будто беженцам из Испании, которые в Париже, прислали пять миллионов франков? Может статься, и на вашу долю немного придётся! Сама-то я очки дома забыла! — Это было

обычным приёмом, с помощью которого она скрывала неумение прочесть что бы то ни было кроме заголовков газет.

Лоран быстро отыскал сообщение, гласившее, что испанский посол в Париже, Паскуа, получил от советского правительства пять миллионов франков для помощи испанским беженцам.

— К сожалению, мадам, на мою долю ничего не перепадёт, — со вздохом проговорил он.

Она критически оглядела его унылую фигуру.

— Все без работы?

Вместо ответа он приоткрыл ворот пиджака.

— А ведь вы такой же социалист, как наши министры, — насмешливо сказала газетчица.

Лоран свистнул сквозь зубы.

— Мы разошлись с ними во взглядах.

— Ха-ха! — Она, как мужчина, провела пальцами по своим густым черным усикам. — Смотрите в их сторону, — и она ткнула пальцем в мокрый лист «Юманите». — Говорят, что в последнее время это до добра не доводит...

— Не все ищут добра, мадам. Кое-кому нужна правда.

— Если судить по спросу на «Юманите», то искателей правды становится все больше... Где

времена, когда «Матен» была самой ходкой газетой?.. — и она вздохнула.

Лоран, не слушая её, просматривал страницы «Юманите».

— Как ни крепко завинтили крышку чехословацкого котла, а он все кипит, — сказал он и стал было складывать газету, но тут взгляд его упал на первую страницу: «Сегодня в зале Народного дома, на площади Арколь, состоится обсуждение доклада товарища Сталина, опубликованного нами во вчерашнем номере».

— Нет ли у вас вчерашнего номерочка? — заискивающе спросил Лоран.

Мадам Жув без особой

готовности перебрала столку газет и протянула Лорану номер.

Он развернул газету и жадно впился глазами в первую полосу: «Сталин докладывает восемнадцатому съезду Коммунистической партии».

Взгляд Лорана бегал по строкам: «Международное положение Советского Союза... Новая империалистическая война стала фактом... фашистские заправилы, раньше чем ринуться в войну, решили известным образом обработать общественное мнение, т.е. ввести его в заблуждение, обмануть его.

Военный блок Германии и Италии против интересов Англии и

Франции в Европе? Помилуйте, какой же это блок! «У нас» нет никакого военного блока. «У нас» всего-навсего безобидная «ось Берлин — Рим», т.е. некоторая геометрическая формула насчёт оси. (Смех.)

Военный блок Германии, Италии и Японии против интересов США, Англии и Франции на Дальнем Востоке? Ничего подобного! «У нас» нет никакого военного блока. «У нас» всего-навсего безобидный «треугольник Берлин — Рим — Токио», т.е. маленькое увлечение геометрией. (Общий смех.)

Война против интересов

Англии, Франции, США? Пустяки!
«Мы» ведём войну против
Коминтерна, а не против этих
государств. Если не верите, читайте
«антикоминтерновский пакт»,
заключённый между Италией,
Германией и Японией.

Так думали обработать
общественное мнение господа
агрессоры, хотя нетрудно было
понять, что вся эта неуклюжая игра в
маскировку шита белыми нитками,
ибо смешно искать «очаги»
Коминтерна в пустынях Монголии, в
горах Абиссинии, в дебрях
испанского Марокко. (Смех.)

Но война неумолима. Её нельзя
скрыть никакими покровами. Ибо

никакими «осями»,
«треугольниками» и
«антикоминтерновскими пактами»
невозможно скрыть тот факт, что
Япония захватила за это время
громадную территорию Китая,
Италия — Абиссинию, Германия —
Австрию и Судетскую область,
Германия и Италия вместе —
Испанию, — все это вопреки
интересам неагрессивных
государств. Война так и осталась
войной, военный блок агрессоров —
военным блоком, а агрессоры —
агрессорами.

Характерная черта новой
империалистической войны состоит
в том, что она не стала ещё

всеобщей, мировой войной. Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств...»

Мадам Жув спросила:

— Вы ещё не стали коммунистом, господин Лоран?

— Это чрезвычайно интересно, то, что здесь написано, — взволнованно проговорил Лоран и, забыв, что газета дана ему на несколько минут, снова погрузился в чтение.

«Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам?

Это можно было бы объяснить, например, чувством боязни перед

революцией, которая может разыгаться, если неагрессивные государства вступят в войну, и война примет мировой характер. Буржуазные политики, конечно, знают, что первая мировая империалистическая война дала победу революции в одной из самых больших стран. Они боятся, что вторая мировая империалистическая война может повести также к победе революции в одной или в нескольких странах...»

Лоран с азартом ударил ладонью по развёрнутому листу.

— Вы понимаете, мадам, этот человек глядит так далеко вперёд, как неспособны смотреть все наши

министры, вместе взятые, —
прошлые, настоящие и будущие.
Честное слово!

— О ком это вы?

Но Лоран так и не ответил на её
вопрос, он с увлечением читал
далее.

«Но это сейчас не единственная
и даже не главная причина. Главная
причина состоит в отказе
большинства неагрессивных стран и,
прежде всего, Англии и Франции от
политики коллективной
безопасности, от политики
коллективного отпора агрессорам, в
переходе их на позицию
невмешательства, на позицию
„нейтралитета“...»

Мадам Жув скрутила папиросу и ловко заклеила её толстым, как баклажан, языком. Заметив, что Лоран сложил газету не по фальцу, сердито пробормотала:

— Вы обращаетесь с газетой так, словно заплатили за неё!

— Прошу прощения, — спохватился Лоран и тщательно разгладил ладонью складку. Он собирался было найти место, на котором его прервала газетчица, но она решительно сказала:

— Давайте-ка её сюда: прохожие начинают обращать на вас внимание. Этак люди подумают, что каждый может читать всё, что ему понравится, не заплатив ни сентима!

— Честное слово, ещё одну минутку! — умоляюще проговорил он.

Но она уже ухватилась за угол листа и потянула его к себе.

— И вообще в мои интересы вовсе не входит, чтобы ажан видел, как возле моего киоска собираются разные люди читать «Юманите».

Но Лоран не мог вернуть газету, не дочитав страницу.

— Я заплачу вам за неё, — сказал он. — Можете записать за мною два су.

— Платить собираетесь, когда получите работу?

Не отдавая себе отчёта в том, что делает, Лоран сорвал с шеи

красный шарф и бросил на прилавок.

— Вот залог!

Он вернулся в парк, сел на скамью и нетерпеливо нашёл место, на котором остановился.

«Формально политику невмешательства можно было бы охарактеризовать таким образом: „пусть каждая страна защищается от агрессоров, как хочет и как может, наше дело сторона, мы будем торговать и с агрессорами и с их жертвами“. На деле, однако, политика невмешательства означает попустительство агрессии, развязывание войны... ...не мешать агрессорам творить своё чёрное дело, не мешать, скажем, Японии

впутаться в войну с Китаем, а ещё лучше с Советским Союзом, не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, — выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, „в интересах мира“, и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия...»

По газетному листу поплыли вдруг зелёные, красные и жёлтые круги. Они расплывались,

смешивались друг с другом, превращаясь в огненных змей. Одновременно Лоран почувствовал нестерпимую резь в желудке.

Он в страхе закрыл глаза; такого приступа не было ещё никогда. Схватка была недолгой, но когда он поднял веки, огненные хвосты попрежнему кружили перед глазами и лоб его был покрыт обильным потом. Он прижал пальцы к глазам, и круги, вспыхнув на мгновение снопами лиловых брызг, исчезли.

Фу, какая боль была в желудке!.. Но где же это объявление, которое ему нужно?.. Ах, да, зал «Арколь». В семь тридцать. Сегодня. Двенадцатого марта... Разве сегодня

двенадцатое марта? Почему же такой собачий холод? У него зуб не попадает на зуб. Поплотнее затянуть шарф на шее. Он же отлично знает, что на шее у него должен быть шарф. Зал «Арколь», семь тридцать. Не опоздать бы... Если уж суждено подохнуть с голоду, то он хочет знать, почему... А может быть, дело ещё и не так плохо? Эти ребята, там, могут показать выход. Честное слово! Если они похожи на генерала Матраи или на Стила, то они расскажут, как свернуть шею таким проходимцам, как Блюм и его друзья, да и не только им, а и всем, кто стоит поперёк дороги настоящим французам, — всем от де ла Рокка до Даладье. А

пора, честное слово, пора!

Двое проходивших по аллее мужчин видели, как Лоран поднялся со скамьи, сделал два шага и, пошатнувшись, упал. В одной руке у него была газета, другою он судорожно шарил около горла, словно искал конец шарфа. Когда он упал, пиджак его распахнулся, и прохожие увидели резко выступающие, как у скелета, ребра.

Один из этих прохожих оглянулся, отыскивая взглядом полицейского, но другой, приглядевшись к Лорану, схватил своего спутника за рукав:

— Пойдите, Гарро! Я знаю этого парня: это же эльзасец Лоран,

из батальона Жореса.

Видя, что спутник хочет поднять Лорана, Гарро спросил:

— Куда мы его денем?

— Возьмём к себе.

— Интербригада?

— Конечно же. — И он бережно вытащил из стиснутых пальцев Лорана номер «Юманите».

Гарро побежал к воротам парка и подозвал такси. Когда они хотели поднять Лорана, тот очнулся. Несколько мгновений он озибался по сторонам, ничего не понимая, потом, взглядевшись в лицо одного из них, вдруг обнял его за шею и неловко прижался к его лицу небритой щекой.

— Я узнал тебя, Цихауэр, честное слово, узнал...

Через день Лоран и Гарро вместе выходили с Северного вокзала. Они расстались с Цихауэром, уехавшим в Гавр, чтобы сесть на пароход, уходивший в Ленинград.

Лоран сказал на прощанье Цихауэру:

— Ты, Руди, непременно передай привет генералу Матраи, слышишь? Если я ему понадобится, ты теперь знаешь, где меня найти.

В кармане Лорана лежал теперь паспорт Даррака, того самого беспалого скрипача, с которым они когда-то служили у генерала Матраи.

На паспорте стояла чехословацкая виза, которая позволит Лорану вместе с Гарро поехать в Прагу.

— Но вы уверены, мой капитан, — почтительно спросил эльзасец, — что там действительно нужны такие люди, как я?

Гарро похлопал его по плечу.

— Если французы не поспешат сменить кабинет, то каждый хороший солдат будет на вес золота.

— У чехов?

— Не может быть, чтобы никто так и не попытался схватить Гитлера за руку, — неопределённо ответил Гарро. — Ну, а если его схватят, он будет огрызаться.

— Вы говорите это так, словно

война не доставит вам ничего, кроме удовольствия.

— Я бывалый солдат, старина, — весело откликнулся Гарро, — и убеждён, что дела не придут в порядок, пока Гитлеру не перешибут хребет.

— Одному ли Гитлеру нужно его перешибить? — проговорил Лоран совершенно таким же тоном, каким когда-то с ним самим говаривал Стил.

Приближаясь к усадьбе, Роу понял, почему шефу вздумалось вызвать его в место, столь удалённое от Лондона. Усадьба была расположена так, что к ней нельзя было приблизиться, оставшись незамеченным.

Роу пришло в голову, что будь у него на душе какой-нибудь крупный грех против секретной службы его величества, он, наверно, не так смело направил бы свой автомобиль по дороге, ведущей к воротам усадьбы. Нельзя было придумать более удачного места, чтобы без лишних глаз отделаться от ненужного

человека. Но Роу с лёгким сердцем нажимал на акселератор. Он очень давно не видел шефа. С тех пор было послано много ценной информации, проведено несколько удачных провокаций. Перебирая все это в памяти, Роу на мгновение споткнулся было о сорвавшееся покушение на Бена и Шверера, но тут же забыл об этой неудаче: она не помешала Чемберлену выполнить план продажи Судет за невысокую плату недолгой покорности Гитлера. Последующие события отодвинули это дело на задний план.

В холле Роу не встретил никто, кроме лакея, который, приняв от него пальто и шляпу, не спеша опустил

шторы и исчез, не задав ни одного вопроса, даже не спросив Роу об имени.

Прошло несколько минут, Роу услышал шаги и, обернувшись к лестнице, узнал шефа.

— Можете не делать никакого доклада, — сказал шеф после первых же слов приветствия. — Все знаю. За хорошо сделанное благодарю, за провал с лордом Крейфильдом не сержусь. В конце концов дело завершилось к общему удовольствию.

— Не знаю, что вы имеете в виду, сэр?

— Вы перестали читать газеты?

— Я прямо с самолёта, сэр.

— Это другое дело.

Просмотрите вчерашнюю речь премьера в палате: правительство не в претензии на то, что Чехия вот-вот перестанет существовать.

— В дороге мне довелось слышать другое.

— Да?

— Считают, что Гитлер оставил нас в дураках.

— Выбирайте выражения, Уинфред, — усмехнулся шеф. — Англо-германская декларация гласит: никогда не позволить никаким разногласиям испортить наши отношения.

По дороге в столовую Роу сказал:

— Разрешите доложить, что я

считаю ошибкой службы?

— Отлично. Только прежде сделайте себе что-нибудь покрепче, — согласился шеф. — На мою долю не нужно, я предпочитаю рюмку малаги... — И наливая вино в большой бокал: — Не понимаю, что вы находите в этих убийственных смесях, которые только обжигают нёбо? — Он с наслаждением сделал несколько глотков и прищёлкнул языком. — Уж ради одного этого стоило помочь Франко навести порядок в Испании... Так чем же вы недовольны?

— Считаю ошибочным решение не продолжать начатые мною поиски передатчика «Свободная Германия»,

сэр.

— Хотите, чтобы мы и это на блюдечке поднесли Гитлеру?

— Эта станция должна заботить нас больше, чем Гитлера.

— Не понимаю.

— Гитлеру в глазах Европы уже нечего терять, а нас эта подпольная станция компрометирует непоправимо. Что ни день, то она посылает в эфир такие разоблачения англо-германских и англо-французских переговоров, от которых премьер, наверно, не заснул бы несколько ночей.

— Имеете адрес передатчика?

— Во главе дела стоит некий Зинн.

— Чех?

— Немец.

— Антифашист?

— Коммунист.

Шеф в задумчивости повертел в руке сигарету, не спеша закурил, прищурился на дым и сквозь зубы пробормотал:

— Хм, цепкий народ... Ну, ничего, Уинн, слава богу, все это происходит не у нас и служит нам отличною школой для того времени, когда нам самим придётся столкнуться с ними вплотную здесь, у себя.

— Трудные будут времена, сэр.

— Тем лучше нужно к ним подготовиться. — Шеф вздохнул. —

Запомните, Роу, на тот случай, если вам придётся вести самостоятельную работу: коммунисты чертовски крепко держатся друг за друга, не считаясь с национальностью. А все вместе — за Москву. Там мозг. Получается бесконечная цепь, которую трудно разорвать.

— Но мне кажется, сэр, — почтительно прервал Роу, — что именно в их интернационализме и заложен шанс на успех нашей работы среди них.

Старик удовлетворённо кивнул.

— Вот мы и подошли к теме, — оживляясь, произнёс он. — Мне кажется, что мы можем взорвать международный фронт коммунистов

именно с этой стороны.

— Национализм? — проговорил Роу.

— Наша первоочередная задача в борьбе с коммунизмом — разрыв интернациональной цепи коммунистических партий. Если мы отыщем в ней несколько слабых звеньев, то и вся цепь не будет нам опасна. Мы разомкнём её тогда, когда нам будет нужно. — Подумав, шеф добавил: — Слабые места нужно искать на Ближнем Востоке, может быть где-нибудь на Балканах...

Тема не нравилась Роу. Он понимал, ради чего шеф говорит эти банальности: сейчас ему навяжут

какое-нибудь сложное поручение на Балканы. Слуга покорный! Хотя, наверно, нигде в другом месте секретная служба его величества не имеет такой сети, как там, на этих «задворках Европы», но нигде в другом месте с такою лёгкостью и не перережут ему глотку за несколько грошей, полученных от любой другой разведки. Нет, с него довольно, он устал.

Роу постарался переменить разговор.

— Как же всё-таки быть со «Свободной Германией», сэр? Быть может, вы прикажете перенять от меня связь, необходимую, чтобы добраться до этого Зинна?

— Связь своя?

— Наполовину... Патер Гаусс.

— А, знаю... Наполовину, пожалуй, много. Дай бог, чтобы он оказался нашим на четвертушку. Тут слишком много акционеров.

— Пусть патер наведёт на станцию самих немцев.

Шеф с живым интересом посмотрел на Роу.

— Он работает и на них?

— Почти уверен.

— Немцы не та фирма, с которой мне хотелось бы сейчас кооперироваться.

— Вполне справедливо, сэр, — сказал Роу, у которого уже начинало шуметь в голове. — Но в деле с

Зинном этот патер не может быть нам вреден, а после того... его можно будет и убрать.

— Что же, если передатчик говорит о нас лишнее... — Шеф кивнул на пустую рюмку Роу: — Не стесняйтесь, старина, сегодня ещё можно... перед довольно основательным постом.

— Ради чего такое ужасное лишение, сэр? — улыбнулся Роу.

— Чтобы всегда держать себя в руках, старина. Там, куда я вас посылаю, мимикрия не удавалась ещё никому.

— Вы начинаете меня пугать, сэр, — с шутливым ужасом произнёс Роу.

— Вы должны отнестись вполне серьёзно к тому, что я говорю. Я потому и остановил свой выбор на вас, что рассчитываю на ваше умение болтать с кем угодно, на любую тему... Кстати! Вы сможете осуществить и одно своё дельце. Ведь вы сделали пьесу по своим «Шести шиллингам и полнолунию»?

— Да, сэр.

— И пока ещё не поставили её в России?

— Так вы посылаете меня в Россию?!

— У вас будет там время перевести и устроить пьесу в театрах.

— Моя командировка так

затянется?

— Ваша задача в том и будет заключаться, чтобы проторчать в Москве как можно дольше. — Шеф некоторое время молчал, неторопливо прихлёбывая вино. — Решено, что премьер-министр выступит в палате с речью, где возьмёт твёрдый тон в отношении Германии. Так сказать: «довольно оставаться в дураках»!

— Перемена курса?

— Подождите, Уинфред, не перебивайте... Через некоторое время премьер повторит выступление в ещё более резких тонах: чтобы обуздать поползновения Германии, правительство его

величества даст гарантии против агрессии Польше, Румынии, Греции и кое-кому ещё из этой мелочи, на которую зарится Гитлер.

— Он уже достаточно хорошо знает, чего стоит наша гарантия, — Чехия ещё шевелится у него в животе.

— Роу!

— Прошу простить, сэр...
Значит, Великобритания перекладывает руль?

— Великобритания не перекладывает руля! — подчёркнуто возразил шеф. — Мы только решили припугнуть Гитлера, хотя прочное англо-германское соглашение попрежнему остаётся главной целью

правительства.

— При верном курсе мы вполне могли бы поделить с Германией рынки всего мира, а может быть, и не только рынки.

Шеф насмешливо посмотрел на него и погрозил пальцем левой руки, так как правая была у него занята пустою рюмкой:

— Урок старика: никогда не выдавайте чужих слов за свои, даже когда, по-вашему, слушатели не могут догадываться об их источнике.

Роу принуждённо рассмеялся:

— Я перестал бы уважать самого себя, сэр, если бы вздумал хитрить с вами.

— Именно поэтому вы и были

представлены в прошлом месяце к производству в коммодоры.

— Вы чересчур добры ко мне.

— Чин капитана слишком незначителен для той миссии, с которой вы поедете в Москву. Угрозы угрозами, а поведение Гитлера в отношении чехов уже показало, что пора нам создать кое-какие позиции второй линии на случай провала основного плана.

— О разделе мира между нами и Германией?

— В конечном счёте — да. Но чем дальше, тем яснее становится, что спущенная нами с цепи собака — фашизм — может сбеситься и... укусить хозяина.

— Нас?

— Нас и даже... янки, которых Гитлер «уважает» больше нас, так как они его лучше кормят... Так я хочу сказать: дрессировку Гитлера нужно довести до конца — снова натравить его на Россию. Вот мы и надеемся, что фюрер станет сговорчивей, когда узнает, что мы ведём серьёзные переговоры о военном соглашении с Россией.

— Серьёзные переговоры, сэр?

— Да, для непосвящённых они должны иметь вполне серьёзный вид. Вы и другие члены миссии будете тянуть это дело, сколько позволят приличия.

— Русские — небольшие

охотники тянуть дела, сэр.

— Мы будем действовать заодно с французами самым корректным образом.

— Если речь идёт о военных делах, то, должен сознаться, я довольно основательно забыл, где у корабля нос, а где корма.

— Адмирал, при котором вы будете состоять, тоже не очень силён в морских делах. Тем лучше: у вас будет достаточно поводов запрашивать Лондон о всякого рода пустяках. К этому, собственно говоря, и будет сводиться задача миссии: запрашивать, запрашивать и запрашивать! Когда вы познакомитесь с остальными

членами миссии, то поймёте, что она не только не будет в состоянии принять какое-нибудь решение в Москве, но и, попросту, в чём-либо разобраться. Если мы увидим, что немцы держат камень за пазухой, то пошлём к вам в Россию людей, которые смогут быстро договориться с Москвой... Мы не можем оставаться в одиночестве лицом к лицу с Германией. Это означало бы крах.

— А французы, сэр?

— Кто может относиться к ним серьёзно?!

— Прошу извинить, но зачем там такой человек, как я?

— Вы и ещё несколько наших

людей должны к отъезду миссии из Москвы... пустить там корни.

Роу покачал головой.

— Знаю, знаю, старина, — шеф ободряюще похлопал его по колену, — задача не так-то проста. Поэтому и посылаю вас вместе с вашей пьесой. Нужно пустить глубокие корни... Не мне вас учить.

— Я все понимаю, сэр, но... — сказал Роу с сомнением.

— Мне хочется, чтобы у вас не было никаких «но», старина.

— Если бы речь шла не о России...

— С некоторых пор вы начали страдать тем, что французы называют *vin triste*. Поэтому я требую

решительно: ни глотка вина.

— Слушаю, сэр, — бодрясь, но все же достаточно уныло проговорил Роу.

— Запомните, дружище: если этот ход с посылкой миссии оправдает себя, то немцы, вероятно, поторопятся заключить с нами соглашение. Оно позволит говорить о наличии в Европе только одной единственной коалиции, способной диктовать свою волю другим, — англо-германской. В таком случае все разговоры о всяких других союзах и гарантиях будут тотчас сданы в архив. Тогда-то уж Германия должна будет воевать с Советами, как бы она этого ни боялась. И начнёт она войну

не тогда, когда это будет выгодно ей, а когда мы прикажем!

— А пока мы должны таскать каштаны для немцев, сэр?

— А разве не стоит поманить их парочкой каштанов, если это позволит нам, в конечном счёте, и их самих ткнуть головой в костёр? — Шеф протянул рюмку. — Бог с вами, ещё один последний глоток перед разлукой. — Он чокнулся с Роу. — Остаётся вам сказать, что на этот раз в Москве рука об руку с вами будут работать несколько французских офицеров Второго бюро.

— Пустой народ, сэр.

— В этом есть своё удобство: в случае провала вы сможете отвести

на них удар русских.

— Моя связь с ними?

— Во главе группы будет стоять генерал Леганье.

— Русские, наверняка, отлично знают это имя.

— Он поедет под чужим именем и будет изображать специалиста в области артиллерии или что-нибудь в этом роде.

— Такой же артиллерист, как я — моряк?

— В этом роде. — Шеф поднялся и сделал приветственный жест, намереваясь покинуть комнату. Роу решил сделать последнюю попытку отделаться от этой командировки, перспектива которой

пугала его все больше, по мере того как шеф развивал свои планы.

— Позвольте, сэр!.. Ещё несколько слов.

Старик остановился, выжидательно глядя на своего агента, но Роу молчал, не в силах скрыть своей подавленности.

— Какого чорта, Уинн?! — негромко проговорил шеф.

— Не может ли поехать в Россию кто-нибудь другой?

— Что вы сказали? — Шеф сделал несколько шагов к Роу. — Я хочу, чтобы вы повторили свои слова...

Но Роу молчал, глядя в сторону.

— Тут что-то неладно, — сказал

шеф. — Сдаётся мне, что вы... попросту боитесь, а?

Роу пожал плечами. Это движение могло означать все что угодно и прежде всего то, что в действительности думал Роу. «Да, я боюсь, чертовски боюсь и не вижу в этом ничего удивительного. Всякий, кто побывал в России в моей роли, поймёт меня».

Шеф долго испытующе смотрел на Роу. Потом спросил:

— Ну что же, значит... страх?

Это было сказано без всякого удара, очень просто, даже почти соболезнующе, но Роу понял, что крылось за этой короткой фразой. В его памяти пронеслось всё, что он

знал о судьбах вышедших в тираж разведчиков, и он, как бы защищаясь от удара, поднял руку.

— Вы дурно поняли меня, сэр...

— выдавил он из себя.

Вплотную приблизившись к Роу, шеф слегка толкнул его в плечо, и Роу без сопротивления упал в кресло.

— Вы превратно поняли меня, сэр, — поспешно повторил Роу. — Я хотел только сказать, что база для работы в России невероятно сузилась. Миссия миссией, переговоры переговорами, но за пределами этого не стоит ни на что рассчитывать. Связи разрушены, маскировка, поглотившая столько наших сил и средств, раскрыта,

людей нет, явок нет... Пустое место, сэр!

— Это верно, дружище, все нужно начинать сначала. Но я никогда не был любителем обманывать себя и теперь лучше, чем когда-либо, понимаю: мы не можем рассчитывать на успех в столкновении с Россией, если не займёмся её тылом: точите, точите дуб, если хотите, чтобы он упал.

— Мириады червей нужны, чтобы подточить такое дерево. А у нас — единицы.

— Послушайте, Роу, — в тоне шефа появилось что-то вроде угрозы. — Ваши возражения мне не нужны. Национализм и религиозный

фанатизм — вот наши коньки на ближайшее время. — При этих словах шеф задумчиво уставился на кончик своей папиросы и умолк. Роу тоже хранил насторожённое молчание. Потом старик потёр висок и сказал: — Мы ещё никогда не бывали в проигрыше, когда пускали в ход эти карты, Уинн, не правда ли?

— Полагаю, сэр, — неопределённо заметил Роу.

— И лучшим полем для их применения, мне кажется, всегда бывал восток... Не так ли, старина?

— Вы правы, сэр.

— Я имею в виду Ближний Восток, не так ли? Если хорошенько поискать на Балканах, то всегда

найдётся парочка-другая прохвостов, которых можно купить по дешёвке.

Не уловив мысли шефа, Роу решился спросить:

— Извините, не понимаю связи. Балканы и Советская Россия?

Шеф снова осторожно потрогал пальцем висок, как бы поощряя мысль к движению, и проговорил:

— К нашему сожалению, идея национального — в широком смысле этого слова — объединения славян вовсе не погасла, как это многие думают. Россия и Советская не перестала быть для славянских народов Балкан Россией — самой старшей и уж безусловно самой сильной сестрой во всем семействе.

И было бы пагубной ошибкой считать, что интернационализм коммунистов навсегда снял с повестки этот очень неприятный для нас вопрос. Балканские революционеры тянутся и будут тянуться к Москве. Вот тут, в этом потоке, мы и должны найти лазейку. Один наш человек на каждую сотню, которым Россия даст убежище, — вот задача.

— Ненадёжный народ эти балканцы.

— Ну, старина, выбор не так уж велик, когда надо бороться с СССР. Приходится хвататься за соломинку. Годится все, все может служить тараном, которым мы будем долбить

стену советского патриотизма, все!

— Все, за что мы сможем заплатить, — с кривой усмешкой проговорил Роу.

— На это мы деньги найдём, а если нехватит у нас самих, найдутся и кредиторы для такого дела.

— Боюсь, что всё это именно те мечты, которых вы так не любите, сэр.

— Там, где шуршат наши фунты, я хочу видеть дело! А мы слишком много фунтов вложили в изучение России. Мы изучаем её триста лет. Не хотите же вы, чтобы мы плюнули на то, что потеряли там? Мы возлагали слишком большие надежды на богатства России, чтобы

так легко отказаться от них. Мы будем за них бороться и заставим бороться за них других.

— Уж не имеете ли вы в виду немцев?

— И немцев тоже.

— Они хотят прежде всего получить кое-что для себя.

— Пусть хотят, что хотят, нам нет до этого дела. Важно то, чего хотим мы.

— Очень боюсь, сэр, что вы не учитываете некоторых обстоятельств, — осторожно проговорил Роу. — Я имею в виду американские интересы в Германии, сэр.

— Как будто я о них не знаю! —

И уже не так уверенно, как прежде, шеф закончил: — Пусть американцы подогревают немецкий суп, клёцки должны быть нашими.

— Сложная игра, сэр.

— Я всегда был уверен в вашей голове, Уинн, — тоном примирения проговорил шеф. — Иначе нам не о чём было бы говорить.

— Польщён, сэр, но... — Роу не договорил.

— Ну?

— Если бы вы знали, как трудно браться за дело, когда видишь его...

Шеф быстро исподлобья взглянул на собеседника и угрожающе бросил:

— ...безнадёжность?..

— О-о!.. — испуганно
вырвалось у Роу. — Трудность,
чертовскую трудность — вот что я
хотел сказать.

— Ещё одно усилие, Уинн.
Руками немцев или кого угодно
другого, но мы должны выиграть эту
игру, понимаете?

— Иначе?..

Шеф не ответил. Он исчез, так и
не сказав ничего больше ожидавшему
напутствия Роу.

Некоторое время Роу стоял
неподвижно, погруженный в
невесёлые размышления. Потом
подошёл к столику с бутылками и,
подняв одну из них, в сомнении
поглядел на свет.

— Старик ещё воображает, будто, получив такую командировку, можно заснуть в трезвом виде...

Он пожал плечами и налил себе полный бокал чистого джина.

События сменяли друг друга в стремительной череде. Никто не верил больше миролюбивым уверениям гитлеровской шайки; если кто и не знал, то чувствовал: мир идёт к войне. Лучшие люди Чехословакии бились в последних попытках спасти независимость своей республики, но становилось все яснее, что не сегодня — завтра Гитлер вторгнется в её пределы, которые он после занятия Судет цинически называл «остатками Чехословакии». Особенно ясно это было тем, кто жил в Судетах.

На бывших Вацлавских заводах,

теперь входивших составною частью в огромный немецкий концерн «Герман Геринг», давно не осталось ни одного чеха. Завод с каждым днём увеличивал выпуск боевых самолётов для немецкой армии.

Всякая надежда на то, что ему удастся уйти от фатерланда, оставила Эгона.

Он занимался проектом, заставив себя больше не думать о его конечном назначении.

Эльза с грустью отмечала каждый новый день, проходивший вдали от Эгона, словно забывавшего иногда о её существовании. Она же не решалась делать какие-либо шаги к сближению, боясь, что он примет

их за новую попытку стать при нем
соглядатаем гестапо, хотя теперь она
могла поклясться ему памятью отца,
что это не так. Одиночество Эльзы
было тем тяжелее, что и Марта так и
не вернула ей своей дружбы. Правда,
с течением времени Марта могла бы
убедиться в том, что в «навете»
Эльзы не было неправды, но любовь
делала её слепой. Она продолжала
закрывать глаза на то, что
происходило вокруг. Ни унижение
отечества, ни страдания народа, ни
разорение родного гнезда, ни
откровенные приготовления к
нападению на беззащитную теперь
Чехословакию, происходившие и на
заводе, не оказывали на неё

отрезвляющего действия. Окружённая немцами, не слыша чешского слова, она забывала о том, что родилась чешкой. Она все реже вспоминала о родителях, и её перестало беспокоить отсутствие от них писем. Пауль, ставший директором завода, полновластно распоряжался не только в его корпусах, но и на вилле Кропачека. Сам он уже никогда не заговаривал о возвращении прежнего хозяина виллы, а если Марта изредка и задавала этот вопрос, отделялся туманными рассуждениями. Однако он не забывал всякий раз упомянуть, будто Кропачек знать не хочет Марты и что тётя Августа ничего не может

поделать с его упрямым чешским характером.

Однажды, — это случилось совсем недавно, — вернувшись из поездки в Германию, Пауль преподнёс Марте красивую диадему, осыпанную драгоценными камнями.

— Дядя Януш называл твою мать королевой, — сказал он, — теперь королевой этого дома будешь ты.

И он показал ей бумагу, в которой было сказано, что доктор Ян Кропачек поручает ему, инженеру Паулю Штризе, единолично и полноправно распоряжаться всем его имуществом и делами, что отныне инженер Пауль Штризе является

хозяином всех вацлавских паев Яна Кропачека.

— Теперь мы так же богаты, как были богаты твои родители.

— А они? Чем же будут жить они?

— Дядя Януш получил от меня больше, чем ему заплатил бы кто-нибудь другой, — важно сказал Пауль. — Ты же понимаешь: всякий на моем месте взял бы все это безвозмездно!

Да, Марта понимала, что они с Паулем теперь богаты, и Пауль подтверждал это подарками, которые привозил из Либереца или из Германии, куда теперь часто ездил по делам. Ежедневными уколами,

умело наносимыми её самолюбиею, он хотел заставить её почувствовать себя оскорблённой тем, что отец отдал все нелюбимому племяннику, забыв о существовании дочери. Чем дальше, тем правдивее начинала выглядеть выдумка Пауля, будто Кропачек запретил пани Августе не только переписываться с Мартой, но даже произносить её имя.

Только осознав истинное значение этого, Марта поняла, что случилось нечто непоправимое, что хозяйничанье Пауля в доме её отца не приятная случайность, совпавшая с её медовым месяцем, а трагический конец её отчего дома.

После нескольких дней

мучительных размышлений она попросила Пауля дать ей адрес отца.

— Напиши, я отправлю письмо, — ответил он.

— Я могу сама отправить.

— Он просил писать ему через чехословацкое посольство в Париже, — без запинки солгал он.

— Хорошо, я так и сделаю.

— Но если ты напишешь в чехословацкое посольство, это может произвести дурное впечатление среди наших.

— Ты же посылаешь, и ничего не случается.

— Я имею на это разрешение.

— Так достань его и мне.

Пауль впервые смешался. Чтобы

скрыть смущение, резко сказал:

— Одним словом: если хочешь писать — пиши, но перешлю письмо я!

Это был первый случай, когда у Марты родилось подозрение, что, быть может, и не все обстоит так, как говорит её Пауль. Она написала матери и послала письмо в чехословацкое посольство в Париже. Очень быстро оттуда пришло сообщение, что госпожа Кропачек в Париж не приезжала. Марте стоило труда совладать с желанием броситься к Паулю и потребовать объяснений. Выбрав день, когда Пауль уехал надолго, преодолевая страх, она вошла в кабинет. Ей были

знакомы все тайники отцовского бюро, и она без труда отыскала то, что хотела видеть: подпись отца на той бумаге, что показывал ей Пауль, была, повидимому, настоящей, но... тут начиналось страшное: подлинность руки Кропачека была засвидетельствована берлинским нотариусом. Берлинским, а не парижским!

Марта долго стояла с бумагой в руках, не в силах собрать разбегающиеся мысли.

На всем заводе у Марты не было человека, которому она решилась бы рассказать о случившемся, от которого могла бы получить совет.

Но тут она вспомнила об Эльзе.

— Как, разве вы не знали, что гестапо задержала вашего отца в Германии, чтобы заставить его подписать доверенность?

— А теперь, где же он теперь?! — в ужасе воскликнула Марта.

Этого Эльза не знала.

Марта стояла, как оглушённая.

— Не бойтесь, — сказала она наконец. — На этот раз я не проговорюсь Паулю...

Она закрыла лицо руками и разрыдалась в объятиях Эльзы.

На этот раз Марта действительно не проговорилась Паулю. Впрочем, Эльза этого и не боялась. После той вспышки в лесу

она вообще не боялась Пауля: он не только не убил её на следующий день, но трусливо избегал встреч с нею. Она была свободна.

Через несколько дней Марта исчезла. Она стремилась в Прагу. Отдавая себе отчёт в том, что чешские власти бессильны вырвать её отца из рук гестапо, она надеялась на помощь французских друзей. Нужно было отыскать в Праге Гарро и Даррака. Они французы, они могли сделать все. Они помогут!

Со справкой адресного бюро в кармане она отправилась на поиски друзей. У них оказался общий адрес.

Марта отыскала улицу в Малостранской части города. Она и

не знала, что в Праге есть такие узкие, тёмные и неуютные улицы. Нужный дом показался ей старым и неприветливым. Он хмуро глядел маленькими оконцами из-под нависших над ними каменных карнизов. Низкая дверь с тяжёлым противовесом неохотно пропустила её в тёмную нишу. Дом был чем-то похож на склепы, какие она видела на кладбище в Либереце.

Привратница после первого же вопроса Марты спросила:

— Уж вы не из Судет ли?

И когда узнала, что это именно так, сейчас же сняла с гвоздя ключ и стала подниматься по узкой каменной лестнице.

— Ни того, ни другого из господ нет дома, но это ничего не значит, я открою вам их комнату. У меня приказ: если приедет кто из Судет, пускать, и кормить. Да теперь в Праге всюду так. Иначе нельзя.

Привратница повела Марту на самый верх. Когда она отомкнула дверь, Марта увидела мансарду, потолком которой служила черепичная крыша.

Узнав, что у Марты нет никаких вещей, добродушная женщина сокрушённо покачала головой и предложила ей располагаться в комнате, как дома.

— А я сварю кофейку!

Марта в изнеможении упала на

стул перед маленьким столом и уронила голову на руки.

Прошло несколько минут. Когда она подняла голову, привратница продолжала стоять около неё, и Марта увидела, что по её щекам текут слезы.

— Идите, — сказала Марта. — Мне ничего не нужно... Я подожду прихода друзей.

Когда привратница ушла, Марта отдёрнула занавеску на маленьком оконце под самой крышей и в полоске света сразу увидела висящее над одной из кроватей изображение девушки. Это был её собственный портрет, сделанный когда-то Цихауэром, — тот самый, который

она назвала «счастливым» и который он не смог закончить. Горели взбитые ветром волосы, сияла беззаботной радостью улыбка. Все было прозрачным и лёгким на этом портрете. Чем больше Марта смотрела на него, тем дальше уходили от неё мысли о сегодняшнем дне, об ужасе, преследовавшем её по пятам во все время путешествия в Прагу. Она забыла о Пауле, и беззаботные дни последних лет проходили перед нею такие же счастливые и далёкие, как улыбка девушки, глядевшей с картона. Внезапно из-за золотой листвы парка выглянуло и тотчас снова скрылось лицо Яроша. Всего один миг видела

она его широкую улыбку, открывавшую белые зубы. Как могла она забыть о Яроше? Может быть, и он теперь в Праге? Сейчас же навести справку!

Она подбежала к столу, чтобы написать записку французам. На столе не было бумаги. Потянула ящик и схватила первый попавшийся листок. Он оказался исписанным с обратной стороны. Внизу стояла подпись. Она была неразборчива, но показалась знакомой Марте. Она перевела взгляд от листка к картону на стене: да это была подпись Цихауэра. Письмо начиналось: «Дорогой друг Луи...» Помимо воли глаза Марты пробежали по строчкам.

Цихауэр убеждал Даррака ехать в Москву. Всем им нужно снова собраться в одном месте, — где-нибудь, куда не дотянется рука Гитлера. Судя по тому, что происходит в Европе, недалёк день, когда всё, что есть честного в мире, должно будет стать под знамёна антигитлеровской борьбы, — снова, как когда-то в Испании. Неужели Луи ещё не понял, что нет никакого смысла ради намерения спасти Марту подвергать себя опасности в Праге, которая не сегодня — завтра станет добычей нацизма? Что ему Марта?.. Случайная натура для случайного портрета?!

Марта должна была сделать над

собой усилие, чтобы не выпустить
листок из задрожавших пальцев.
Теперь она должна была дочитать
письмо:

«Разве эта особа не стала ренегаткой, не изменила родине, своему народу, не забыла своих родителей? Если Вы, Луи, слушали передачи „Свободной Германии“, то уже знаете, конечно, что Штризе заманил директора Кропачека в Австрию, там он был схвачен гестапо и отвезён в Германию. Несчастливого старика истязали до тех пор, пока он не согласился подписать документ, удостоверяющий якобы добровольную продажу всего, что он имел, Паулю Штризе. Ян Кропачек

долго сопротивлялся тому, чтобы отдать своё добро в руки ненавистного ему молодого нациста. Но его сломили, подвергая пыткам на его глазах дорогую старую „королеву“...»

«...пишу вам все это для того, чтобы вы, если пропустили эту передачу нашего друга Гюнтера, знали правду о Марте, наслаждающейся богатством своего умершего от пыток отца!»

...Марта очнулась от боли в затылке. Она лежала на полу мансарды.

В отворённое окно тянуло холодом. Откуда-то издали

доносился такой шум, как если бы ветер шуршал в листве густого леса.

Марта с трудом поднялась на ноги. Её охватило странное, никогда раньше не испытанное состояние: рядом с нею лежала на полу, поднималась, устало подходила к окошку другая, посторонняя ей женщина, а сама она глядела на неё со стороны, с необыкновенным проникновением угадывая её мысли и чувства. Она видела, как эта чужая ей и вовсе не похожая на Марту, бледная и дрожащая женщина подошла к окошку, постояла перед ним, как будто прислушиваясь к странному шуму, но осталась безразличной и к нему. Отошла на

середину комнаты и провела рукою по лицу, силясь что-то понять. Взгляд её упал на лежащий на полу листок письма. Она подняла его и сунула в стол. Потом быстро приблизилась к портрету улыбающейся девушки и долго-долго смотрела на него.

Она глядела на портрет, и из глаз её катились слезы, и бессильно упавшие руки были вытянуты вдоль тела. Но в глазах её не было ни печали, ни какого-либо иного выражения, — они были пусты, точно она была уже мертва.

Марта отвернулась от портрета и пошла прочь из мансарды.

Когда она проходила мимо привратницы, та посмотрела на неё

и, не сразу решившись, спросила:

— Не станете ждать?

Марта, не останавливаясь, молча покачала головой.

— Вы вернётесь? — спросила привратница.

— Нет...

— Они будут знать, где вас искать?

До её слуха донеслось едва слышное:

— Да...

Женщина протянула руку, желая дотронуться до рукава Марты, но только сказала:

— Лучше вернитесь...

Марта приостановилась было, закрыла глаза, но тут же зашагала

дальше, все так же медленно и неверно, навстречу таинственному шуму, колыхавшемуся над городом, как стон колеблемого бурею леса...

Свидание происходило на немецкой стороне, в городе Либерец, который вот уже полгода как носил немецкое название Рейхенберг. Встреча была назначена в том самом «Золотом льве», где в прошлый раз, как ему говорили гестаповцы, было подготовлено покушение. Генерал Шверер должен был признаться себе, что не без страха вторично входил в эту гостиницу. Он удивлялся тому, что служба охраны выбрала её же для такого важного и такого секретного дела, как переговоры с руководителем обороны и премьер-министром Чехословакии генералом

Сыровы. Все должно было быть организовано так, чтобы этот одноглазый генерал продолжал оставаться народным героем чехов до того времени, когда он не будет больше нужен немецкому командованию, то-есть когда немецкие войска займут всю Чехословакию, чехословацкая армия будет разоружена и её арсеналы взяты под немецкий караул. До тех пор чехи не должны были подозревать, что их одноглазый герой когда бы то ни было разговаривал с немцами...

Шверер ревниво перебивал Пруста всякий раз, когда тот пытался что-либо уточнить или сделать

замечание. Он чувствовал искреннюю благодарность к Гауссу, который почти не принимал участия в разговоре, несмотря на то, что был главою этой секреткой делегации немецкого командования.

Никаких протоколов не велось; адъютантам было запрещено делать записи. Немцы считали, что на этот раз могут на слово верить предателю чешского народа. В случае нарушения им условий, продиктованных на этом совещании, по которым Сыровы должен был передать немцам чешскую армию, как спелёнутого младенца, немецкие части перейдут к боевым действиям и, как несколько раз настойчиво повторял Шверер:

— Превратят вашу Прагу в кучу камней, не оставят в живых ни одного чеха, которого застигнут с оружием в руках.

— Нас не будет интересовать, стрелял он или нет, а те населённые пункты, откуда раздастся хотя бы один выстрел, будут стёрты с лица земли. Раз и навсегда! — добавил Пруст, щурясь, как обожравшийся кот, и плотоядно раздувая усы.

Гаусс сидел несколько в стороне и, как обычно, когда мог держаться свободно, слегка покачивал носком лакированного сапога. Изредка он поднимал глаза на толстое лицо Сыровы и так пристально смотрел на повязку, закрывавшую его левый глаз,

словно надеялся увидеть сквозь её чёрный шёлк мысли, копошившиеся в широком черепе предателя. Но мясистые, обрюзгшие черты чеха не выдавали его дум. Гаусс не мог даже понять, какое впечатление произвело на Сыровы сообщение, полученное в самый разгар переговоров о том, что немецкие войска уже заняли города Моравска-Острава и Витковице.

— Мы были вынуждены занять Витковице, чтобы туда не вошли поляки, — заметил Гаусс. — Разведка донесла, что они сделала бы это сегодня.

Сыровы даже не обернулся. Можно было подумать, что ему уже совершенно безразлично, кому

достанется тот или иной кусок его истерзанной страны.

Гаусс посмотрел на часы. До полуночи оставалось ровно столько времени, сколько ему было нужно, чтобы попасть в Берхтесгаден на доклад к фюреру, назначенный на 24 00. Не заботясь о том, кто и что хотел бы ещё сказать, он сбросил ногу с колена.

— Переговоры окончены!

Сыровы поднялся так же послушно, как Пруст и Шверер, словно и на нём был немецкий мундир.

Гаусс обернулся к адъютанту. Тот подал ему футляр, который Гаусс тут же раскрыл и повернул так,

чтобы Сыровы был виден лежащий на бархате большой золотой крест «Германского орла».

— Во внимание к заслугам
вашего превосходительства перед
германским государством и его
армией верховный
главнокомандующий германскими
вооружёнными силами, фюрер и
рейхсканцлер награждает вас этим
высшим знаком отличия рейха.

Сыровы протянул руку, чтобы принять футляр, но Гаусс отстранил его и сухим голосом договорил:

— Однако мы полагаем, что в интересах вашей личной безопасности этот орден должен оставаться на хранении у нас до того

момента, пока не будет разоружён последний чешский солдат и тем самым вам будет обеспечена полная безопасность.

Он захлопнул футляр и вернул его адъютанту. Когда Сыровы вышел, Пруст весело проговорил:

— Прежде чем его повесят, он окажет нам ещё не одну услугу.

Тонкие губы Гаусса сложились в ироническую усмешку:

— Мне сдаётся, что чехи вздёрнут его на фонаре значительно раньше, чем он перестанет быть нам полезен.

С этими словами он оставил генералов и через четверть часа сидел уже в кабине самолёта,

уносившего его в Берхтесгаден.

Ровно в полночь Гаусс входил в приёмную рейхсканцлера, но Гитлер заставил его прождать больше двух часов. Когда его, наконец, пригласили в кабинет, там уже сидели Геринг, Гесс и Риббентроп, готовые к приёму нового чехословацкого президента Гахи и министра иностранных дел Хвалковского.

Гитлер выслушал Гаусса без особенного внимания и не задал ему никаких вопросов. Только Геринг спросил:

— Вы достаточно ясно сказали Сыровы, что если хоть один чех выстрелит в наших солдат, я

превращу Прагу в пыль?

— Мне кажется, генерал Сыровы понял это вполне отчётливо.

— Оставайтесь, — сказал Гитлер Гауссу, — вы можете мне понадобится при беседе с Гахой. Этот глупый старик, наверно, не в курсе своих собственных военных дел. — И обернулся к адъютанту: — Видеман, не думаете ли вы, что нам полезно выпить по чашке кофе?

— Мой фюрер, Гаха и Хвалковский ждут.

— Пусть ждут, — буркнул Гитлер. И после короткой паузы с самодовольным смехом добавил: — Можете им сказать, что я приму их после кофе.

— Не нужно раздражать Хвалковского, — недовольно проговорил Гесс. — Это вполне наш человек, и я хочу, чтобы он сначала написал свои воспоминания о том, как все это было.

— Сначала? — спросил Геринг. — А потом?

— Можете делать с ним, что хотите. Но не раньше, чем Геббельс получит рукопись с его подписью.

Пить кофе перешли в смежную комнату. Гитлер не торопился. Он тщательно выбирал печенье, несколько раз напоминал Гауссу, что тому следует хорошенько подкрепиться после полёта; просмотрел несколько телеграмм.

Наконец часы пробили три.

— Сколько времени они ждут, Видеман?»

— Час сорок, мой фюрер.

Гитлер вопросительно посмотрел на Гесса. Тот кивнул.

— Давайте сюда чехов, Видеман, — бросил Гитлер. И, уже поднимаясь, обернулся к Гауссу: — Пока я не забыл из-за этой болтовни — завтра в двадцать три тридцать вы докладываете мне в Пражском дворце основы плана вторжения в Польшу.

Гаусс щёлкнул шпорами и молча склонил голову. Приказание не застало его врасплох: план в основном был готов. Оставалось

наметить сроки.

Все перешли в кабинет. У стола с бумагою в руке стоял Мейсснер. Статс-секретарь двух президентов, начавший своё знакомство с фюрером с приказа не пускать его на порог президентского замка, а ныне начальник канцелярии рейхсканцлера, имперский министр и генерал СС, большой и грузный, с тупым и самоуверенным лицом, с седою щетиной ёжиком «под Гинденбурга», Мейсснер стоял в позе терпеливого лакея, привыкшего ждать, пока окликнет взбалмошный господин.

— Что ещё? — мимоходом бросил Гитлер.

— Телеграмма регента Хорти, мой фюрер.

Гитлер приостановился, и Мейсснер прочёл ему:

— «Трудно выразить, насколько я счастлив тем, что тяжёлый этап, имеющий жизненное значение для Венгрии, пройден. Несмотря на то, что наши новые рекруты служат в армии всего пять недель, мы вступаем в кампанию с огромным энтузиазмом. Все необходимые приказы уже отданы. В четверг, 16 марта, произойдут некоторые пограничные инциденты, за которыми в субботу последует удар. Я никогда не забуду доказательства дружбы вашего превосходительства.

Ваш преданный друг Хорти».

Мейсснер опустил листок и вопросительно взглянул на Гитлера. Тот, в свою очередь, так же вопросительно посмотрел на Геринга, потом на Гаусса. Оба молчали. Тогда он спросил Риббентропа:

— Гаха знает?

— Для него это уже не может иметь значения.

— Тогда дайте по рукам Хорти, чтобы он не особенно торопился. Мы ещё посмотрим, что стоит отдавать ему и что может пригодиться нам самим.

— Мы дали ему обещание.

— Пустяки, — перебил

Гитлер. — Хвалковский ещё три месяца тому назад обещал мне, что Прага раз и навсегда покончит с политикой Бенеша. А что мы видим? Снова пустые разговоры о независимости и национальном суверенитете... Если они опять начнут болтать подобную чепуху, я выгоню их вон!

— Полагаю, мой фюрер, — поспешно проговорил Риббентроп, — что сегодня они будут себя вести вполне корректно.

— Так зовите их, Видеман. Не хотите же вы, чтобы я ждал этих чехов!

Гаха и Хвалковский вошли вдвоём. Ни их секретарям, ни

советникам не разрешили присутствовать на конференции.

Гитлер не дал себе труда встать навстречу президенту и только молча кивнул головой, не разжимая сцепленных на животе пальцев. Гаха ступал тяжело, волоча ноги, поддерживаемый под руку Хвалковским. Казалось, что он упадёт, не дойдя до предназначенного ему кресла.

Чехи сидели как зачумлённые, отделённые карантинным пространством длинного стола, во главе которого восседало несколько немцев, окружавших Гитлера.

Гитлер заговорил громко. Он почти кричал, временами срываясь

на неразборчивый хрип.

— Пора подвести итоги. Чем была Чехословакия?

— Она ещё существует, — пролепетал Гаха так тихо, что его не слышал никто, кроме испуганно оглянувшегося на него Хвалковского.

— Не чем иным, как средством для достижения тёмных целей еврейства и коммунизма, которым потакал неразумный Бенеш, — прорычал Гитлер. — Ваше правительство должно понять, что ни Лондон, ни Париж не окажут ему никакой поддержки. Никто не может мне помешать сокрушить то, что осталось от вашей республики.

— Мы просим одного, — не

очень громко, но так, чтобы слышал Гитлер, проговорил Хвалковский: — терпения.

— Ага, вы опять заговорили о терпении! Я жду уже три месяца исполнения ваших обещаний. Сам господь-бог не мог бы проявить больше терпения, чем проявил я в вашем деле. У меня его больше нет!

— Ещё совсем немного времени, и все обещания, данные мною вашему превосходительству, будут выполнены самым лойяльным образом. Армия будет сокращена, — робко проговорил Хвалковский.

Гитлер ударил ладонью по столу.

— Перестаньте болтать!

Сокращена?! Нет, теперь это меня не

устраивает!

— Чего же... желает... ваше превосходительство? — Хвалковский начал заикаться.

— Полного разоружения армии.

Хвалковский взглянул на молчавшего Гаху и увидел, что тому дурно. Растерянно оглядев длинный стол, Хвалковский увидел графин и умоляюще посмотрел на адъютантов, подобно истуканам выстроившихся за креслами немцев. Ни один не пошевелился. Хвалковский вскочил и под насмешливыми взглядами немцев побежал к графину.

Только после нескольких глотков воды Гаха смог говорить, но он был немногословен:

— Армия будет разоружена...

— И распущена! — подсказал Гаусс.

— ...и распущена, — как автомат, повторил Гаха.

— Силами германской армии! — в бешенстве крикнул Гитлер. — Приказ уже отдан. Вы окружены. На рассвете мои войска со всех сторон вторгнутся в Чехию.

Лицо Гахи стало похоже на гипсовую маску.

— На рассвете?

— Сейчас! — крикнул Гитлер.

Вода в стакане, сжимаемом Гахою, задрожала мелкой рябью. Президент сделал попытку поднести стакан к губам, но он выскользнул из

его руки и разбился. Гаха всем телом упал на стол, глухо стукнувшись головой.

— Врача! — крикнул было Хвалковский и тут же умоляюще повторил: — Прошу врача...

После того как Гаху привели в чувство, Мейсснер положил перед ним текст соглашения.

Гаха напрасно пытался вчитаться в документ. Он в бессилии опустил бумагу на стол и прикрыл глаза рукою. Хвалковский взял соглашение и стал негромко читать.

Когда он умолк, Гаха слабым голосом проговорил:

— Если мы это подпишем, чешский народ побьёт нас камнями.

— С сегодняшнего дня ни один волос с вашей головы не упадёт без воли фюрера! — крикнул с дальнего конца стола Риббентроп. — Прочтите это, и вы убедитесь в правоте моих слов!

По его знаку один из адъютантов подал Гахе указ о включении Чехии в состав рейха под именем «протектората Богемии и Моравии».

— Это неслыханно, — в отчаянии воскликнул Гаха, — неслыханно!.. Ещё никогда в истории цивилизованного мира белые люди не предъявляли белым таких условий! Я не могу на это согласиться.

С внезапным приливом энергии

он поднялся и, шатаясь, пошёл прочь от стола. Риббентроп вскочил и бросился следом за ним, крича:

— Вы пожалеете, что родились, если сейчас же не подпишете это!

Но прежде чем он догнал едва волочившего ноги чеха, тот снова упал без чувств, на этот раз растянувшись во весь рост на полу.

Пока возились с Гахой, Риббентроп убеждал сидевшего в состоянии полной растерянности Хвалковского подписать соглашение и несколько раз, обмакивая в чернильницу перо, пытался всунуть перо ему в руку, но тот в слепом ужасе отталкивал его.

Наконец Гаху снова подвели к

столу и опустили в кресло. Руки его, словно плети, упали вдоль тела. Видеман поднял их и положил на стол. Глаза президента ввалились, он казался похудевшим за эти несколько минут.

— Чего от меня хотят?!. — повернулся он к Хвалковскому. — Чего они от меня хотят?!. — повторил он дрожащими губами и громко всхлипнул.

Выходя из себя, Гитлер заорал:

— Существуют только две возможности: вторжение моих войск произойдёт в терпимой обстановке, чешская армия не окажет сопротивления, гражданское население беспрекословно

подчинится всем требованиям моих офицеров. И другая: битва!

Он умолк, задыхаясь.

Послышался хриплый голос Геринга:

— Моим эскадрам бомбардировщиков нужно двадцать минут, чтобы достичь Праги. Для вылета им не нужно никаких специальных приказов. Сигналом к бомбардировке будет служить известие о гибели одного немецкого солдата.

— Никто, слышите, никто, — Гитлер театрально поднял руку, — не остановит меня: ваше государство должно быть уничтожено, и я его уничтожу. От вас, господин Гаха,

зависит сделать карающую руку милостивой. Если вы проявите благоразумие, я обещаю даровать чехам известную автономию в границах рейха. Если нет...

Он не договорил. В комнате воцарилось насторожённое молчание. Оно было долгим. Гитлер сидел неподвижно, вперив бессмысленно расширенные глаза в пространство. Геринг медленно потирал ладони пухлых розовых рук. Гесс, сдвинув мохнатые брови, сосредоточенно рисовал что-то в блокноте. Риббентроп в волнении вертел между пальцами зажигалку. Гаусс сидел, выпрямив спину, ни на кого не глядя; монокль плотно

держался в его глазу, седая бровь была неподвижна.

Не опуская взгляда, словно он читал что-то начертанное в пространстве над головами чехов, Гитлер проговорил негромким голосом:

— Советую господам Гахе и Хвалковскому удалиться и обсудить, что нужно сделать для удовлетворения требований, которые я им поставил. Им предстоит великое решение. Я не хочу стеснять их времени. Они имеют десять минут.

— Мне необходимо посоветоваться с правительством республики, — проговорил Гаха так,

будто каждое слово стоило ему огромных усилий.

Риббентроп переглянулся с Герингом, тот сделал отрицательное движение головой, и министр иностранных дел без запинки солгал:

— Это невозможно. Провод с Прагой не работает.

— В таком случае мне нужно хотя бы четыре часа, чтобы предупредить чешский народ о необходимости подчиниться без сопротивления...

Гитлер остановил его движением руки.

— Довольно! — он повёл глазами в сторону стенных часов. — Через два часа мои войска войдут в

Чехию. Военная машина пущена в ход и не может быть остановлена. Моё решение остаётся неизменным во всех случаях.

Гитлер сделал движение, намереваясь подняться, но Геринг удержал его.

— Я думаю дать воздушным силам приказ бомбардировать Прагу в шесть часов утра... — сказал он и тоже сделал вид, будто смотрит на часы, — то-есть через два часа.

Гитлер знаком подозвал сидевшего несколько в стороне Мейсснера. Тот поднёс ему большой бювар с текстом составленного немцами соглашения. Гитлер поспешно, словно боясь, что кто-то

ему помешает, схватил перо и поставил свою подпись; отшвырнув перо, он быстро потёр друг о дружку ладони. Потом все с такою же неудержимою поспешностью вскочил и устремился вон из комнаты.

Мейсснер торжественно, как балетный мимант, изображающий церемониймейстера, направился вдоль стола к тому его концу, где одиноко сидели чехи.

С такою же торжественностью он опустил бювар на стол перед Гахой, обмакнул перо в чернильницу и подал президенту. Тот сделал попытку взять перо, но оно выпало из его пальцев и покатилося по полу.

Хвалковский поспешно взял другое и, сунув в руку президента, сжал его безжизненные пальцы.

— Положение ясно...

Сопротивление бесполезно...

Гауссу с его места было хорошо видно, как дрожит рука президента, разбрызгивая чернила и с трудом выводя подпись.

Гаусс посмотрел на часы: стрелки показывали ровно четыре.

«Четыре часа утра пятнадцатого марта 1939 года, — мысленно отметил он. — Первый мост на восток возведён».

Поставив и свою подпись, Хвалковский хотел передать документ Мейсснеру, но в глазах

Гахи появилось подобие мысли. Он слабым движением удержал руку министра.

— Ещё раз... что тут... написано?

Хвалковский скороговоркой, глотая целые фразы, прочёл:

— «Фюрер и рейхсканцлер приняли чехословацкого президента доктора Гаху и чехословацкого министра иностранных дел Хвалковского по их желанию. Во время этой встречи было с полной откровенностью подвергнуто рассмотрению... обеими сторонами было высказано убеждение, что целью должно быть обеспечение спокойствия, порядка и мира в

Центральной Европе. Чехословацкий президент заявил...»

Мейсснер протянул руку над плечом Хвалковского и без церемонии выдернул бумагу.

— Позвольте, я прочту, — сказал он грубо, — повидимому, вы потеряли голос! — И громко, напирая на каждое слово, прочёл по-немецки: — «Чехословацкий президент заявил, что с полным доверием передаёт судьбы чешского народа и страны в руки фюрера германского государства...» — Мейсснер с треском захлопнул бювар. — Остальное неважно.

Не обращая больше внимания на чехов, он подошёл к группе немцев,

оживлённо болтавших на другом конце стола. Гесс удовлетворённо ухмыльнулся, но тотчас же согнал усмешку с лица и с обычным хмурым видом покинул комнату.

Поезд остановился, не дойдя до вокзала. Все пути, насколько хватал глаз, были забиты воинскими эшелонами. Где прикрытые брезентами, где маскировочными сетками, а где и ничем не прикрытые, громоздились на железнодорожных платформах танки, броневые автомобили, пушки и гаубицы всех калибров и назначений. Великолепная военная техника, изготовленная искусными руками чехословацких рабочих для защиты границ их родной Чехословакии, безнадёжно застряла на путях, ведущих к этим границам, —

бесполезная и беспомощная, как и вся чехословацкая армия, связанная по рукам предателями.

Ярош выскочил из вагона и огляделся. Было темно. Мокрый снег слепил глаза, налипал на шинель и стекал с фуражки за воротник. Было четыре часа утра — тот самый час, когда президент Гаха вывел свою подпись под документом, который его немецкие авторы самонадеянно почитали смертным приговором Чехословакии.

Ярош думал, что увидит спящую Прагу, погруженные в темноту безлюдные улицы, а вместо того, едва он перебрался через загромождённые вагонами пути,

навстречу ему стало попадаться все больше и больше народу. По лицам людей, по их усталым движениям Ярош понял, что пражцы и не ложились. Они провели на улицах всю ночь в ожидании известий от уехавшего в Германию президента. Они ещё надеялись на чудо, которое спасёт их родину; на чудо, которое избавит их от нашествия ненавистных немцев.

Брошенные посреди улиц трамвайные вагоны досказали Ярошу то, что он не мог прочесть на бледных лицах людей. Он прибавил шаг. Прежде чем разразится катастрофа, он должен найти Даррака и Гарро и вместе с ними

выбраться из Праги. Кто знает, сколько часов осталось в их распоряжении?!

Чем ближе он подходил к центру города, тем больше видел на улицах людей. Они стояли вдоль тротуаров, прижавшись к стенам домов, — бесконечными молчаливыми шпалерами. Ярош никогда не видел ничего подобного. Лица мужчин и женщин, старых и молодых, были одинаково сосредоточены, и во всех глазах виднелась насторожённость.

Однако с приближением к ратуше характер толпы изменился. Тут люди уже двигались. Они шли медленным, размеренным шагом, каким ходят на похоронах.

Бесконечная очередь тянулась к месту, где светилось пламя над могилой Неизвестного чешского солдата. Молча, скорбным склонением головы и снятой шляпой люди приветствовали этот символ национального освобождения Чехии, и едва ли не каждый из них думал о том, что в последний раз видит этот огонь, задуть который суждено, повидимому, её незадачливому третьему президенту Гахе, пошедшему по пути прямой измены.

И Ярош, как он ни торопился, стал в очередь, снял фуражку и поклонился могиле своего неизвестного брата.

Когда он добрался, наконец, до

квартиры Даррака и Гарро, его сразу же провели наверх, и он очутился лицом к лицу с Луи.

— Где Гарро?

— Пошёл проводить Лорана. Мы отправляем с ним кое-что в Париж. — Луи взглянул на часы. — Гарро должен бы уже вернуться.

— Мне нужно поговорить с вами обоими, — сказал Ярош.

— Что за спешка?

— Я не хочу оставаться в плену у немцев. Я улетаю.

— Куда?

— Не знаю.

— Цихауэру удалось уехать в Москву.

Ярош грустно покачал головой.

— Завидую я Цихауэру.

— Он зовёт нас.

— Всех?

— «Испанцев»... Москва даст нам приют.

— Это хорошо, мы ещё можем понадобиться революции.

Вбежал Гарро и бросился на шею Ярошу.

— Я потрясён, решительно потрясён этим народом! — восторженно крикнул он. — Какая выдержка, какое самообладание!

— Чехи слишком хорошо знают, что такое неволя, чтобы заниматься болтовнёй, теряя свободу, — с грустью произнёс Ярош.

Гарро поднял руку, приглашая

всех прислушаться.

Неясный шум, доносившийся с улицы, внезапно прекратился. В воздухе повисла такая тишина, что, казалось, стало слышно, как падающие снежинки касаются камней.

И вдруг, как по команде, все склонённые головы поднялись, и все лица повернулись в одну сторону: в громкоговорителе, висевшем на фонарном столбе, раздался треск, — такой негромкий, что его легко заглушили бы шаги одного человека. Но он был услышан всею Прагой, потому что в этот миг в ней не было ни одного человека, который не стоял бы на месте и не ждал бы

минуты, когда заговорит, наконец, радио, всю ночь упрямо хранившее тайну того, что происходило в Берхтесгадене.

Наконец они заговорили, эти чёрные раструбы, заставившие пражцев простоять всю ночь в страхе пропустить первые слова сообщения правительства. Теперь чехам было дано узнать, что они являются уже не гражданами независимой и свободной Чехословацкой республики, а подданными Третьего рейха, живущими в «протекторате Богемии и Моравии».

Радио умолкло.

Толпа оставалась неподвижной.

Ярош опомнился и бегом

бросился прочь. Гарро нагнал его.

— Куда ты?

— Спроси Луи, хочет ли он лететь со мною. — Ярош взглянул на часы. — Мы должны успеть захватить мой самолёт.

— Тебе уже не позволят вылететь.

— Посмотрим...

Ярош нашёл фуражку и устремился к выходу.

— погоди же, мы с тобой... — крикнул Гарро. — Луи!

Улица внезапно наполнилась шумом, несмотря на то, что толпа оставалась все такой же молчаливой. Это был странный шум, какого ещё никогда не слышали улицы древней

чешской столицы. Словно тысячи огромных молотов били по камням мостовой.

Трое друзей, выбежав из подъезда гостиницы, остановились в изумлении: всем троим этот шум был достаточно хорошо знаком.

— Поезда наверняка уже не ходят, — сказал Луи.

— Я знаю, где достать автомобиль, — ответил Гарро и побежал вниз по бульвару.

Они были почти уже у самого моста, когда Гарро обернулся к друзьям:

— Бегом на Малую Страну, берите документы и письма. Через пятнадцать минут я заезжаю за вами.

И почти мгновенно исчез в толпе. Она поглотила его, все такая же молчаливая.

Только на мосту, по которому проходили Ярош и Луи, было заметно некоторое оживление. Небольшая группа людей стояла у перил, наблюдая за несколькими спасательными кругами, быстро уносимыми стремительным течением Влтавы.

До друзей долетали обрывки фраз:

— Её уже никто не спасёт...

— Сегодня не до самоубийц...

— В день самоубийства Чехословакии...

Луи замедлил было шаги,

машинально следя глазами за исчезающими вдали белыми пятнышками спасательных кругов, но Ярош тронул его за локоть, и они побежали дальше.

Нарастающий грохот железа нёсся им навстречу.

Из-за поворота улицы один за другим вылетело несколько мотоциклистов. Они были в серо-зелёной немецкой форме. Один из них остановился, с заднего седла соскочил солдат с красным и белым флажками и стал на перекрёстке.

За мотоциклами появились броневики, за броневиками показались танки. Это они и наполняли Прагу железным лязгом,

немецкие танки. Башни броневиков поворачивались, и дула пулемётов останавливались на группах чехов.

По мере того как приближались немецкие машины, чехи поворачивались к ним спиной. Головы склонялись словно в молитве, и едва слышная вначале песня взлетела вдруг к небу, покрывая грохот железа:

И пусть нас железным
охватят кольцом, —
Кто вольного к рабству
принудит?!

Люди пели под наведёнными на

них дулами автоматов:

Не будет народ под
нацистским ярмом
И Прага немецкой не будет!

Пробежав несколько шагов, Луи и Ярош увидели нагоняющий их автомобиль Гарро. Они сели в машину и понеслись, но на повороте их остановил вылетевший навстречу мотоциклист. Он поднял руку и заорал, свирепо тараща глаза и хватаясь за автомат:

— Эй, вы, в автомобиле! Отныне движение только по правой стороне! Запомните это хорошенько. — И,

выразительно похлопав по автомату, понёсся дальше. Следом за ним показалось ещё несколько мотоциклистов и, наконец, большой легковой автомобиль с развевающимся флажком на крыле. За его опущенным стеклом были видны фигуры двух откинувшихся на подушки немецких генералов.

— Одного из них я знаю, — сказал Гарро. — Это Гаусс.

Генеральский шофёр то и дело пускал в ход пронзительную фанфару, словно для того, чтобы обратить на своих седоков внимание прохожих. Но чехи, завидя автомобиль, поворачивались к нему спиной, и за ним, как угрожающий

шум начинающейся бури, неслось:

Не будет народ под
нацистским ярмом,
И Прага немецкой не будет!

К вечеру в президентском дворце, окружённом сплошной цепью чёрных эсесовских мундиров, водворился гитлеровский «протектор Богемии и Моравии» барон Константин фон Нейрат.

Тяжёлый железный гул немецких танков и бензиновый смрад, как отвратительный фашистский туман, висели над прекрасною Златою Прагой, той самой красавицей

Прагой, которая скоро заставит гитлеровского протектора признать его бессилие и бежать в Берлин; над мужественной древней Прагой, которая, задолго до того, как будет сброшено иго нацистских завоевателей, казнит сначала одного палача чешского народа — Гейдриха, а потом второго — Франка.

Чёрными чудищами торчали немецкие танки на враждебно притихших улицах древней чешской столицы.

Наутро пражцы уже не видели на замке своего национального флага. Вместо него полоскалось по ветру безобразное полотнище гитлеровцев. Свастика корявым

черным крючком, как эмблема
четырехконечной виселицы,
болталась над головами чехов до того
дня, когда, свершив великий
приговор истории, жизнь взяла своё
— на башню взошли солдаты-
освободители. И снова затрепетали
тогда под солнцем Праги её
национальные цвета. Их принесли на
своей груди верные сыны Чехии,
пробившиеся на родину сквозь пламя
великой войны, плечо к плечу с
солдатами победоносной Советской
Армии.

notes

Примечания

К вящей славе бога (лат.).